С.В.Марков

Покинутая Царская Семья

1917-1918

Царское Село - Тобольск - Екатеринбург

Светлой памяти незабвенного Шефа родного полка, Царице-Страдалице Ея "Маленький" Марков

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня, наконец, я решил разобраться в своих тетрадях, отдельных листках и записках. Часть их написана мною в России, часть заграницей. Из этих всех разрозненных страниц, листов и обрывков я хочу составить одно целое, могущее дать представление читателю о переживаниях русского офицера, волею судьбы бывшего свидетелем многих трагических моментов в истории его Родины за эти кошмарные шесть лет.

Тяжела эта задача! Известно, что воспоминания вообще отличаются субъективностью и пристрастностью изложения. Весьма вероятно, не избегну и я этих ошибок на задуманных мною страницах из моей жизни. Я преследую одну цель: исключительную правдивость в изложении пережитого и виденного мною за эти безпредельно тяжелые годы. По понятным причинам мне пришлось некоторые фамилии изменить, другие обозначить начальными буквами, но это не повредит цельности моих воспоминаний. В дни безпримерного гнуснейшего произвола, царящего над моей несчастной Родиной под лозунгом "свободы, равенства и братства", это необходимая и понятная предосторожность!

С сердечной болью обращая взоры к пережитому, недавно минувшему, с трепетным благоговением вспоминая о встречах своих с моим горячо любимым Шефом, Ее Величеством Государыней Императрицей Александрой Феодоровной и Ее Царственной Семьей, я приступаю к своему труду.

Автор.

17 февраля 1923 года.

ЧАСТЬ I

Приношу свою глубочайшую, искреннюю и сердечную благодарность Анне Александровне Танеевой (Вырубовой), давшей мне возможность исполнить мой священный долг перед Их Величествами.

Никогда я не забуду широкой отзывчивости и внимания баронессы Веры Германовны Киш, графа А. Ниари-Норман, майора французской службы А. Эрио, графа И. Замойского и г-на З. Клаубер, помогших мне в предварительных работах

по подготовке моего труда к печати, Светлейшему князю Ярославу Тун-Гогенштейн и графу Эрнсту Тун, без широкой помощи которых моему труду не суждено было бы увидеть свет - от глубины души русское спасибо!

Автор.

Cap d'Ail.

1-го апреля н. с. 1928 г.

Полковая песня

Крымского Конного Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка, посвященная своему Державному Шефу и написанная в походе прапорщиком В. Шене и вольноопределяющимся С. Марковым.

1914 - 1915.

Декабрь - январь

Лихое племя Чингиз-Хана,

Пришельцы дальней стороны,

Заветам чести и корана

Мы до сих пор еще верны.

Мы помним все, не забывая,

Как наших славных куйдышей,[1]

Великих правнуков Сарая,

На Русь привел Шагин-Гирей.

г----------

[1] Куйдыш - по-татарски "земляк", "товарищ".

L_____

В союзе тесном наша сила;

И вот, как в прежние века,

Нас Валидэ[1] опять сроднила

Под стягом Крымского полка.

г----------

[1] Валидэ - по-татарски "мать народа". Так называли крымские татары Государыню.

L_____

Когда при зареве рассвета,

К труду готовясь в ранний час,

Зовет татарин Магомета,

Творя свой утренний намаз,

Он говорит в молитве жгучей:

"Где ни была бы Ты - везде

Тебя хранит пророк могучий,

Господь с Тобою, Валидэ!"

Когда у нас под небом Крыма,

Где горизонт зеркальных вод

С лазурной далью слит незримо,

"Штандарт" у мола пристает,

Тогда на радость саклям знойным

Навстречу ялтинской волне

Татары грянут хором стройным:

"Селям алейкум, Эйменэ!!"[1]

г----------

[1] Селям алейкум, Эйменэ! - Здравствуй, дорогая!

L_____

Когда дорогой у откоса

Унылый слышен скрип можар,

Идущих в зелени Фороса

Из Симеиза и Байдар.

И там, где веют дружно ветры,

Где всюду вырос дикий злак,

Уходит в облако Ай-Петри

И рвется к небу Чатыр-Даг.

И, разбегаясь, ярко краски

Скользят от моря к склонам гор

И льется где-то, точно в сказке,

Крикливых чаек разговор.

Когда на берег полусонный

Лениво смотрит лунный взор

И светит в даль неугомонной

Своей лампадой Ай-Тодор.

И в душной неге аромата,

Где розы пышно расцвели,

При свете розовом заката

Дюльбер виднеется вдали.

Когда уснет Алупка в лени

В цветах глицинии густой

И спит на мраморной ступени

У моря лев сторожевой.

И не играют зыби даже

На море Черном, без конца -

Тогда не дремлет только стража

У Ливадийского дворца!

Так время шло: и мирно речи

В кругу веселых куйдышей,

Не предвещая близость сечи,

Лились у дружеских огней.

Хвалясь без удержу тогда-то,

Народ, пытающий судьбу,

Стальными звуками набата

Россию вызвал на борьбу.

И в путь далекий собираясь

От жутких высей Крымских скал,

Мы говорили расставаясь:

"Сулухненхал! Сулухненхал!"[1]

г----------

[1] Сулухненхал - Прощайте!

L_____

Забиты двери в минарете,

И он затих теперь один,

За нашим строем из мечети

Ушли мулла и муэдзин.

Любимцы славы, удалые

На бой расходятся полки.

Вперед! Наездники Батыя,

Издавна меткие стрелки!

Вперед! Наш полк за Русь Святую,

Вперед! За Батюшку Царя,

Вперед! За Валидэ родную,

Молитву Господу творя!!

Стучат лихих коней подковы,

Трубит атаку Ибрагим -

Мы до последнего готовы

Костьми полечь... но победим!!!

ГЛАВА I

Озаглавив настоящие мои записки "Покинутая Царская Семья". Царское Село-Тобольск-Екатеринбург, 1917-1918 гг.", я хочу сказать предварительно несколько слов о своем прошлом и поделиться с читателями моими воспоминаниями о Царской Семье до войны, вплоть до революции.

Родился я, благодаря службе моего отца, в Крыму, в Ялте, с которой ничто до той поры нас не связывало, так как мой дед и отец были помещиками Тамбовской, Саратовской и Костромской губерний.

Через несколько месяцев после моего рождения мой отец был переведен на службу в Одессу. Казалось, что роль Ялты в моей жизни кончилась, но судьба решила иначе. Наша южная жемчужина сыграла в моей жизни едва ли не первенствующее значение, явившись не только местом моего рождения, но и местом, где мне было дано великое счастье ближе узнать, полюбить и оценить моего Державного Повелителя, моего будущего Царственного Шефа и всю Их Августейшую Семью.

Дед мой, действительный тайный советник Сергей Владимирович Марков, окончивший в сороковых годах прошлого столетия Школу Гвардейских Подпрапорщиков и Кавалерийских Юнкеров, вышедший на службу в лейб-гвардии Измайловский полк, участвовал в Венгерской и Севастопольской кампаниях, закончил военную службу адъютантом командира Гвардейского Корпуса. Перейдя на службу по гражданскому ведомству, он был впоследствии главным помощником графа С. Ю. Витте в его известной реформе казенной продажи питей в России. Верно и преданно послужив четырем Императорам, сделав блестящую гражданскую карьеру исключительно благодаря своим выдающимся способностям, он умер членом Государственного Совета в 1907 году, 80-ти лет от роду, всего на год с небольшим пережив верную спутницу своей жизни, мою бабушку, дочь Министра Народного Просвещения Е. П. Ковалевского в царствования Императоров Николая I и Александра II.

Отец мой воспитывался в Императорском Александровском Лицее и после отбывания воинской повинности служил по Министерству Иностранных Дел, а потом перешел на службу по Министерству Финансов, а в начале Мировой войны был назначен в распоряжение главного начальника Одесского Военного Округа и одесского генерал-губернатора, генерала от инфантерии Эбелова.

Детство мое не долго протекало в нормальных условиях. Русско-японская война и последовавшая за ней революция дали сильный толчок моему умственному развитию, а последовавшие в моей семье изменения, нарушившие старый семейный уклад, способствовали тому, что я уже к 10 годам мыслил совсем не по-детски, почему и не имел друзей-однолеток, предпочитал чтение книг и одиночество общению с ними, что также имело свои результаты, сделав меня очень рано совершенно самостоятельным, выработав во мне известные принципы и взгляды, которые и сделались для меня основой на всю мою жизнь. Начало революции 1905 года мне пришлось пережить в Одессе, где в то время служил мой отец. Мы жили в одном доме с командиром 16-го Стрелкового Его Величества, в то время Императора Александра III полка, полковником Иваном Антоновичем Думбадзе, будущей всероссийской знаменитости, о котором ходило и ходит столько легенд и совершенно неправдоподобных историй и на личности которого мне придется еще остановиться.

В это время произошло знакомство наших семей, сыгравшее впоследствии значительную роль в моей жизни. Во время русско-японской войны вся 4-я Стрелковая, т. н. "железная" бригада, в состав которой входил и 16-й Стрелковый полк, была отправлена на фронт. В Одессу для ее проводов приезжал Государь, которого я видел тогда впервые. Понятно, что мне трудно теперь вспомнить и описать эти свои первые впечатления о Государе. Помню я только, какое необычайное оживление царило у нас в квартире, и как мой отец показывал мне кусочек шелкового носового платка Государя, который Он разорвал и дал на память офицерам. Кусочек этот, полученный им от И. А. Думбадзе, отец бережно, как реликвию, спрятал и хранил у себя. Я помню, что и я был проникнут отцовской радостью и всегда с глубоким благоговением осматривал этот обрывок шелка. Ведь это был кусок платка Государя!.. А это так много говорило моему сердцу!

В понятиях истинного, не ханжеского Православия, искренней любви к своей Родине и обожании своего Царя воспитывался я. Меня никто не насиловал ходить в церковь в положенные дни, и поэтому я сознательно любил всю красоту и величие нашей церковной службы и с глубоким вниманием прислушивался к прелести церковных напевов.

С большим нетерпением я ждал своей первой исповеди и, когда дожил до этого дня и отходил от аналоя в маленькой домашней церкви Митавского замка, таинственно полуосвещенной колеблющимся светом немногих свечей, я почувствовал, что ныне я вступаю в новую жизнь и за каждый свой поступок и шаг отныне ответствен перед Богом! Теперь эта церковь, как и все в России, подверглась кощунственному осквернению со стороны большевиков, которые, заняв Митаву после германской оккупации Курляндии, вынули из склепа покоившийся там прах герцога Бирона, его жены и других курляндских герцогов, надругавшись над их останками. Тело набальзамированного герцога Бирона, прекрасно сохранившееся, они привязали за ноги к автомобилю и в таком виде волочили его по улицам Митавы, пока оно не рассыпалось в прах...

Россию как таковую, ее быт и историю научился я любить и понимать по множеству книг, которыми меня задаривали мои близкие. Чтить и любить своего Царя и Его Семью учился я по всему укладу жизни моей семьи, в которой об Их Имени упоминалось всегда с благоговением. Учился также и по многочисленным портретам

своих предков, жизнью которых я всегда интересовался и из которых многие отдали свою жизнь за священный завет: За Веру, Царя и Отечество! И часто-часто, когда я спрашивал свою бабушку о том или другом портрете или старинной гравюре, я слышал ответ:

- Ему голову оторвало ядром при взятии Карса, когда он шел во главе своей штурмовой колонны!

- Убит в Отечественную войну!

- Другие - до конца своих дней верно служили своим Государям.

- Вот этот был гофмаршалом Императора Павла и сопровождал Его, когда тот был еще Наследником, за границу. У нас сохранилось до 15 писем, написанных им из Италии и имеющих исторический интерес.

- А этот служил матушке Екатерине!

Слушал я, внимая каждому слову моей хорошей старой бабушки...

И был я глубоко счастлив узнать, когда немного вырос и ближе ознакомился с подробностями царствования Императора Павла I, что мои предки не участвовали в кошмарном убийстве Его...

ГЛАВА II

После ухода И. А. Думбадзе со своим полком на войну вся его семья осталась на попечении моих родителей, так как жена его была тяжко больна. И. А. Думбадзе до брака с моей матерью был женат два раза, первым браком на светлейшей княжне Гуриели, прямом потомке владетельных князей Гурии. От этого брака у него было два сына и две дочери. Одна из дочерей, Ольга, вышла впоследствии замуж за грузинского помещика, князя Магалова, с которым вскоре развелась, и вторично вышла замуж за внука А. С. Суворина, издателя газеты "Новое Время", Б. А. Коломнина. Вторая, Нина, во время мировой войны вышла замуж за поручика лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка Константина Николаевича Кологривова, одного, к сожалению, из немногих офицеров русской армии, не бросившего в первые дни революции 1917 года Семьи Своего Государя в Царском Селе и исполнившего свой долг до конца.

Старший сын, Александр, служил в моем полку и трагически погиб в январе 1918 года в Севастополе в неравном бою против бунтовавших матросов Черноморского флота, коими он был взят в плен и живым брошен в топку крейсера "Алмаз", где и сгорел в страшных мучениях. Младший сын, Антон, еще до войны бросил службу в артиллерии и сделался военным летчиком.

Рано овдовев, И. А. Думбадзе вторично женился на дочери героя покорения Кавказа генерала Петрова, Софии Викторовне. Эта милая, скромная женщина, любящая жена и мать, подарив своему мужу трех сыновей, скончалась на руках моих родителей вскоре после отъезда мужа на войну. Мой отец принял живейшее участие

в перевозе осиротелой семьи к брату И. А. Думбадзе, Николаю Антоновичу, командовавшему в Севастополе Брестским полком.

В это время в Одессе уже происходили безпорядки, кончившиеся еврейскими погромами, когда некоторые евреи ради своего спасения выставляли в окнах своих домов и квартир православные иконы, дабы таким путем избежать кровавой расправы. Закончилось все обстрелом Одессы с взбунтовавшегося броненосца "Князь Потемкин-Таврический".

Мой отец, где только можно и как только мог, самым решительным образом подчеркивал свое возмущение и свое непримиримое отношение к начавшимся революционным выступлениям и поэтому получал к ужасу моей матери массу угрожающих писем, в которых анонимные авторы обещали "его уничтожить вместе со всем его отродьем".

Отчетливо врезался мне в память следующий случай. Как-то раз после обеда мои родители взяли меня гулять, и мы спокойно шли по Дерибасовской улице. В это время со стороны Екатерининской улицы показалась довольно большая манифестация с красными флагами. Я с удивлением смотрел на эту картину, так как в своей короткой жизни и видел только одну манифестацию при начале русско-японской войны, но та несла национальные флаги и портреты Государя и Государыни.

Здесь было что-то иное...

Вскоре толпа поравнялась с нами. Прохожие почему-то снимали шапки и шляпы. В этот момент к нам почти вплотную подбежал какой-то студент и крикнул моему отцу:

- Товарищ, шляпу долой!

Тут я помню только, что мой отец в ответ взмахнул палкой, чтобы ударить студента, но тот бросился в сторону, а я был подхвачен матерью. Через минуту мы с ней оказались на боковой улице, где нас догнал отец, которого боялись тронуть; все для него обошлось благополучно, но моя мать от испуга едва не потеряла сознание. Тогда, впервые, я услышал это слово "товарищ", врезавшееся в моем детском мозгу каленым железом, и увидел красные тряпки над толпой.

Я не мог без омерзения вспомнить об этой встрече и прекрасно понял чувства моего отца, когда он замахнулся палкой на субъекта, приглашавшего его обнажить голову перед эмблемой революции!

Через 12 лет мне пришлось вновь увидеть подобную картину на Невском в Петербурге, но, к сожалению, она была не концом, а началом "великой безкровной революции".

После обстрела Одессы мой отец был вызван в Министерство, и мы переехали в Петербург. Вскоре после нашего приезда умерла моя бабушка, и ее смерть была для меня первым сознательным горем. Переживания в Одессе невольно заставили меня прислушиваться к разговорам взрослых, и мало-помалу невольно я стал отдавать себе отчет в происходящих событиях.

В Петербурге мой отец получил назначение в Митаву, куда мы и переехали, и тут нашу семью постигло новое несчастье - моя мать заболела туберкулезом. Моему отцу пришлось перевезти ее на юг, в Ялту, которая, таким образом, снова вошла в мой жизненный путь. Ввиду отъезда матери, мой отец пригласил для меня воспитательницей некую Евгению Карловну Х., дочь чиновника, обруселого немца, и представительницы старой дворянской семьи, немолодую незамужнюю особу, прекрасно образованную. Она привязалась и полюбила меня, как только может мать любить своего сына, и, действительно, после выхода моей матери замуж за И. А. Думбадзе она мне ее вполне заменила. Таким образом, я имел счастье иметь сразу двух матерей, потому что после развода и замужества моей матери, в смысле моей близости к ней, почти ничто не изменилось. Ей же я обязан той святой любовью к Царской Семье, которую она мне привила, будучи сама верной и осмысленной подданной своего Государя. Учился я у нее долгое время дома, лишь сдавая ежегодно экзамены экстерном. Много лет прожила Евгения Карловна в нашем доме, и память о ней никогда не изгладится из моего сердца. Уже в эмиграции, после многих лет скитаний, я случайно узнал, что ей удалось своевременно бежать от большевиков и поселиться в Финляндии.

Прибалтийский край, когда мы туда приехали, был далеко не усмирен. Он весь клокотал и волновался. То и дело слышал я о разгромах имений, о кровавых расправах населения с попадавшими в их руки чинами полиции и солдатами. Из окон занимаемого нами дома я видел революционеров, которых вели на расстрел, и, должен признаться, что, зная все ужасы, которые они творили, как жгли живьем попадавших в их руки, как выкалывали глаза, отрывали языки и, вообще, всячески издевались над своими жертвами, ни малейшей жалости я к ним не чувствовал.

Особенно вспоминается мне разговор моего отца с одним своим либеральным знакомым, происходивший в его кабинете. Я, видимо, вошел к концу разговора и услышал следующее:

- Вы говорите, Владимир Сергеевич, вы отстали от жизни. Вот увидите, что ваш сын, когда вырастет, будет думать совсем иначе!

- Вы полагаете? А я уверен, что нет, а если это, паче чаяния, и случится, так в тот день, когда я об этом узнаю, несмотря на всю мою любовь к сыну, я повешу его собственными руками. Понял ли ты, Сережа? - Обращаясь ко мне, он тут же мне разъяснил вкратце, что вопрос идет о преданности Царю.

Я прекрасно понял, что сказал мне отец. Я часто вспоминаю этот разговор и вспоминаю суровость обычно столь безконечно доброго выражения лица своего отца и его голос. Моему отцу не пришлось и никогда не придется бояться за меня.

Летом в 1906 году я поехал с отцом и воспитательницей в Ялту навестить свою мать, которая, к счастью, окрепла и поправилась. По приезде в Ялту она поселилась в гостинице, но там прожила недолго, так как в Ялту приехал с семьей И. А. Думбадзе с 1-м батальоном 16-го стрелкового полка, только что вернувшийся из Манчжурии и получивший назначение в Ялту главноначальствующим ее и ее уезда для подавления в Ялте беспорядков.

Узнав, что моя мать в Ялте, Думбадзе, со свойственным всем кавказцам гостеприимством, переселил мою мать к себе на квартиру в Ливадию и окружил ее всяческим вниманием, уходом и своими заботами о ней, желая отблагодарить ее за все, что она сделала для его семьи.

В это время маленький курортный городок Ялта сделался центром революционной пропаганды для юга России. Она была переполнена (больные не могли найти себе места) революционной молодежью и всяким подозрительным сбродом, свившим себе прочное гнездо в этом чудном уголке, любимейшей летней резиденцией Государя. Действительно, вкус у этой публики был недурным, и она занималась приятными прогулками в горы, где предавалась откровеннейшему разврату, а, возвращаясь в город, занималась изготовлением бомб для проектируемых покушений и безконечным митингованием на улицах города. Местное население было совершенно терроризовано, а немногие больные вместо предполагаемого отдыха нашли в Ялте огнедышащий вулкан.

Порядок в городе пытался поддержать корнет Крымского Конного дивизиона М., который совершенно безкровно нагайками разгонял демонстрантов, а когда последние изобрели способ митинговать в море на рыбачьих лодках, где они думали быть вне досягаемости решительного корнета, он придумал другой способ доставления им неприятностей.

В то время, когда г.г. революционеры садились на лодки, он подъезжал к толпе и командовал взводу: - Винтовки!

Затем приказывал трубачам играть аппель, являющийся одним из самых высоких кавалерийских сигналов. Революционные герои при этом сигнале бросались в воду, ища в ней спасение, оттуда их за кудри вытягивали их товарищи, сидевшие в лодках.

На одной из манифестаций дело не обошлось без курьеза. В Ялту приехала какая-то знаменитость, еврейка из Одессы, и после митинга в городском саду ее почитатели посадили ее на стул и в упоении стали таскать по городу, горланя революционные песни. После нескольких часов гуляния "предмет не выдержал" и с ним случилось весьма понятное несчастье...

В таком положении застал Ялту И. А. Думбадзе. Его мероприятиям Ялта обязана тому, что через три месяца без пролития единой капли крови жизнь в ней наладилась, появились приезжие, и покой более не нарушался. Достиг таких успехов И. А. Думбадзе весьма просто. Посмотрев в корень вещей, он сразу убедился, что зло кроется в революционной еврейской молодежи, потянувшей за собой космополитическую русскую интеллигенцию. В течение месяца применением простых административных мер все пришлое еврейское население Ялты было выселено за пределы Главноначальствования без права на обратный приезд. Кроме того, Ялта была объявлена за чертой оседлости. Русские единомышленники евреев были подвергнуты той же участи. Я думаю, что, взглянув на то, что теперь делается в России и кем она под видом управления разоряется, соотечественники высланных своевременно ялтинских товарищей простят моему покойному отчиму его прегрешения перед ними и отдадут ему должное за его прозорливость.

Кроме высылки, для успокоения города И. А. применял совсем невинную меру. Каждый день по улицам города, твердо отбивая ногу и заливаясь песнями, в снежно-белых рубахах, молодцевато проходила рота стрелков с пулеметной командой, и, кому нужно было, тот мог убедиться, что есть еще бравые и верные солдаты у Русского Царя. Вот и весь несложный способ умиротворения Ялты. А сколько в свое время грязи, клеветы и глупости вылила на этого человека наша левая пресса, подголосок еврействующей русской интеллигенции! Где эти моря крови и океаны слез? Кто жил в то время в Ялте, может полностью подтвердить мною написанное и удостоверить, что "кровожадный зверь" Думбадзе, если что и сделал, то только дал десяткам тысяч больных возможность лечиться. Если же среди десятков тысяч больных не было евреев, то пускай они за это поблагодарят не в меру ретивых сородичей.

По приезде нашем в Ялту мы все поселились на старой даче, находившейся недалеко от дворца Эмира Бухарского. В январе 1907 года моя мать ездила навестить отца в Митаву, куда тот вернулся, оставив меня и мою воспитательницу в Ялте. В это время старший сын И. А. от второго брака, Гриша, бывший годом старше меня, занимался вместе со мной у моей воспитательницы. Он каждый день приезжал к нам в экипаже из Ливадии. Иногда отец его заезжал за ним, возвращаясь из своего Управления. В один январский солнечный теплый день И. А. со своим адъютантом штабс-капитаном Сапсай заехал за сыном и очень удивился, узнав, что тот уже уехал не дождавшись отца.

Посидев немного у нас, И. А. попрощался и уехал. Не прошло и двух минут, как мы услышали страшный взрыв. Я в первый момент не сообразил, в чем дело, но услышал голос моей воспитательницы:

- В И. А. бросили бомбу!

Она с этими словами выбежала из дачи. Я бросился за ней. Со всех дач бежали люди к месту взрыва. Добежав до угла нашей улицы и Николаевского шоссе, я увидел картину, которая никогда не изгладится из моей памяти: И. А. стоял бледный, как полотно, в разорванном пальто и фуражке и отдавал какие-то распоряжения двум солдатам ординарцам, которые в числе 7-ми человек всегда сопровождали верхом его экипаж, по оказанию помощи несчастному кучеру, лежавшему в луже крови среди осколков стекла, разбитых фонарей и обломков экипажа. Стоны раненого разносились далеко кругом. По лицу И. А. струйками текла кровь, и оно было сильно обожжено.

В момент, когда мы подбежали к углу, на даче раздался выстрел, и я увидел в раскрытую парадную дверь ее, как один из ординарцев за ноги тащил бившегося головой по лестнице какого-то штатского субъекта. Как сейчас помню грозный окрик И. А.:

- Что ты делаешь, такой-сякой, на руки взять его!

Это был бомбометатель, которого убил из револьвера ординарец, когда тот пытался убежать из дачи.

Моя воспитательница бросилась к И. А., чтобы помочь ему, но он просил оставить его и только увести меня на нашу дачу. Дальнейшего я не видел, но вот что произошло: рота, стоявшая в Ливадии, узнав о покушении на обожаемого ими, как родного отца, командира, не ожидая приказания разобрала винтовки, а солдаты, находившиеся случайно вне казармы, захватили кто что (кто лопаты, вилы, топоры, ломы и пр.), бегом без офицеров помчались к месту происшествия. Офицеры с трудом догнали их.

Когда совершенно озверелая солдатская масса добежала до своего командира и увидела его стоящим окровавленным посреди улицы, она хотела в исступлении разгромить весь район.

И. А. ничего другого не оставалось делать, так как удержать солдат он не видел возможности, как распорядиться очистить дачу от жителей и разрешить солдатам сжечь дом, что и было исполнено. Вот объяснение этого приказа Думбадзе, который истолковывался вкривь и вкось как проявление варварства.

Полуразбитый экипаж с оставшимся сидеть в нем тогда тяжело раненым капитаном Сапсай лошади понесли, и он был задержан лишь в воротах Ливадии.

Результатом этого покушения была почти полная глухота И. А. на оба уха, тяжелая контузия всего тела и многочисленные ранения. Глухота со временем почти исчезла, а контузия вызвала тяжелую сердечную болезнь, от которой И. А. и скончался 1 октября 1916 года. Штабс-капитан Сапсай почти совсем оправился, а кучер отделался потерей правого глаза. Ординарцы были легко ранены.

Мой сводный брат Гриша чудом спасся от верной смерти, так как бомба попала прямо в банкетку экипажа, его обычное место.

Этот случай дал мне ясное представление о том, какими способами пользуются те, которые позволяют себе называться борцами за свободу. В этот день мои политические взгляды вполне установились.

Весною 1908 г. мать моя вышла замуж за Думбадзе. Я в это время жил у отца в Одессе, куда последний был снова переведен. Как я уже писал, новый брак моей матери совсем не отразился на мне. У отца я жил зимой, а лето проводил в Ливадии у матери, и, вопреки условностям, мой отец, моя мать и Думбадзе, несмотря на развод, остались в прекрасных отношениях. Мой отец часто гостил в доме Думбадзе, а мать с мужем во время приездов в Одессу постоянно бывали у отца.

Не безынтересен один эпизод, происшедший с моим отчимом летом 1907 года, когда он по совету врачей поехал для лечения в Киссинген. Отправился он туда со своим вестовым под фамилией полковника Иванова, дабы быть в безопасности от посягательств со стороны русских революционеров, проживавших за границей, а также, чтобы не быть предметом "смотрин" для русской колонии Киссингена. Поселился он там в одном из хороших отелей. Киссинген издавна славился обилием приезжавших туда богатых русских евреев.

"Полковник Иванов" оказался очень симпатичным человеком, большим весельчаком и приятным собеседником, и еврейское население Киссингена принимало его с

распростертыми объятиями. Чего только полковник Иванов не наслушался о зверствах Думбадзе и о кровавом Думбадзе и т. д. ...

Полковник Иванов в ответ говорил им, что он знает Ялту немного и даже знаком с этим "ужасным негодяем" Думбадзе, и, по правде, о его зверствах не слыхал ничего. Что Думбадзе евреев высылал, это верно, но за дело. Но знакомые полковника Иванова уверяли его, что он не прав и что, если бы он был на месте "кошмарного Думбадзе", то они уверены, ничего подобного в Ялте не творилось бы. Так прожил полковник Иванов в Киссингене месяца два, приобретя много добрых приятелей евреев. Когда он уезжал, то милого, хорошего полковника на вокзале собрались провожать почти все его знакомые, даже с цветами и конфетами на дорогу. Произошло трогательное прощание.

Поезд медленно тронулся. Толпа знакомых шла рядом с вагоном и обменивалась последними приветствиями с новым другом, стоявшим у открытого окна. В этот момент случилось нечто совсем неожиданное. Полковник что-то бросил в толпу. Белые бумажки рассыпались по перрону. Они оказались визитными карточками, и на них значилось:

Иван Антонович Думбадзе. Генерал-майор. Главноначальствующий города Ялты и ее уезда.

Когда И. А. рассказывал нам об этом забавном случае, он говорил, что впечатление, полученное от этой его шутки, напоминало конец "Ревизора".

Это была немая сцена, но не на сцене, а в жизни...

Знакомые полковника Иванова по Киссингену впоследствии писали генералу Думбадзе прошения, хлопоча о въезде в Ялту для кого-либо из своих родственников или знакомых, и бумаги подписывали так: известный Вам по Киссингену и т. д.

ГЛАВА III

Когда я с воспитательницей в апреле 1909 года приехал на лето к матери в Ялту, я нашел Думбадзе в радостном, приподнятом настроении.

Было получено известие, что этим летом Их Величества с Семьей после семилетнего отсутствия намерены поселиться на лето в Ливадии, где шла большая подготовка к приему Высоких гостей.

Яркое летнее солнце купало лучи свои в синем, казалось, уснувшем море. Только изредка легкий бриз шевелил зеркальную гладь бирюзовых волн. Быстрые волны, набегая одна на другую, с тихим шумом разбивались о набережную.

Тихо покачиваясь, стояли на рейде изящные светло-зеленые миноносцы, расцвеченные флагами. Белые фигурки матросов бегали по палубе, лихорадочно натирая до умопомрачительного блеска последние медные части.

Набережная и весь прибрежный район были запружены безконечной толпой народа. Белые туалеты дам смешивались со скромными нарядами местных обывательниц,

элегантные штатские терялись в толпе татар в их золотом расшитых национальных костюмах. Всеобщее внимание привлекали татарки, закрытые вуалями, в маленьких шапочках; красные фески турок яркими пятнами алели на фоне пестрой толпы, которая шумела и волновалась.

По набережной то и дело проносились автомобили и вереницами ехали безчисленные ландо, фаэтоны и экипажи. На молу зеленой полоской виднелись войска. Золотые орлы на Царской беседке ярко блестели под лучами южного солнца.

- Идет! Идет! - пронеслось в толпе.

И глаза всех устремились в безбрежную голубую даль. На высоте Ай-Тодорского маяка появился дым, и в море можно было различить Императорскую яхту "Штандарт" и за ней в кильватерной колонне два крейсера.

Толпа замерла. Сотни биноклей были направлены навстречу тихо идущей эскадре.

Я со своей воспитательницей стоял возле самой беседки на молу. Мое сердце учащенно билось от радости и волнения.

- Сейчас, сейчас я увижу Государя, Государыню и всех,всех!

Это было для меня несказанной радостью. В беседке произошло движение. Все становились по местам. Нарядная группа дам слева, а представители власти, города, губернии и различных учреждений справа.

На лицах всех заметно было волнение. Я смотрел на свою мать. Она стояла с букетом дивных чайных роз среди собравшихся дам. Легкий румянец залил ее щеки. Она была совершенно спокойна, но в ее чудных глазах проскальзывало внутреннее невольное волнение. И. А. Думбадзе в походной парадной форме отдавал последние распоряжения.

Напряженно смотрю на этого коренастого старика с пронзительными карими глазами, орлиным взглядом оглядывавшего роту почетного караула, с иголки одетой, в струнку подтянутой и по нитке выровненной.

Красавец "Штандарт" медленно подходит к молу. Все затихло в напряженном ожидании. С молниеносной быстротой был спущен покрытый красной дорожкой трап.

Начальствующие лица поднялись наверх с рапортами.

Но вот, вот ...

Государь в белом морском кителе, за ним Государыня в белом платье, Наследник в матросском костюме и Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия медленно сходят с трапа. За Ними следуют лица свиты.

- Смир-р-р-но!

- Слушай, на караул!

Слышится команда, щелкнули винтовки. Музыка заиграла: Боже, Царя храни!

Громовое "ура" раздалось по молу и волнами стало передаваться по всей набережной.

Чарующая улыбка играла на лице Государя. Его глаза были полны величественной красотой и безконечной добротой.

Я впился глазами в Государя. Я видел, как моя мать, низко склонившись в глубоком поклоне перед Государыней, передала Ей букет.

- Здорово, Виленцы!!

Слышится тихий, спокойный голос Государя.

- Здравия желаем, Ваше Императорское Величество! - несется в ответ.

Раскаты громоподобного "ура" заглушают все. Под звуки церемониального марша рота молодцевато проходит перед Государем. Их Величества садятся в экипаж, который медленно трогается в город. За ними следуют экипажи Великих Княжен и экипажи свиты.

Кортеж открывают, очищая дорогу, несколько конных татар в расшитых золотом куртках на великолепных конях, за ними в фаэтоне, стоя во весь рост, едет Иван Антонович. В глазах его блестят слезы неизъяснимого счастья.

Толпа вплотную идет с царскими экипажами. Нигде на пути всего следования не видно ни одного городового, ни одного полицейского чина. Здесь этого не нужно. Государь у себя дома.

Путь следования кортежа засыпается цветами. Величественное пение родного гимна тысячной толпой сливается в один гул с перезвоном колоколов церквей. На всех лицах написано невыразимое счастье. А кортеж все удаляется.

И вскоре на высоком флагштоке в Ливадии взвился огромный Императорский желтый Штандарт с черным орлом посредине. Их Величества въехали в свое имение...

Так в 1909 году Ялта встречала своего Державного Повелителя и своего любимого Царя!

Я помню, как мой покойный отчим весь сиял от счастья, рассказывая нам в кругу семьи о том, как были довольны Их Величества устроенной Им встречею. Для него лично пребывание Царской Семьи в Крыму было тяжелым нравственным мучением. Он страшно нервничал, безпрестанно безпокоясь о безопасности Их Величеств, терял аппетит и скверно спал по ночам. В его кабинете, кроме городского, появились еще два телефона: один, связывающий его с дворцовым комендантом генерал-майором Свиты Его Величества Дедюлиным, моим дальним родственником,

приходившимся моему деду племянником, благороднейшим и прекраснейшим человеком, искренно преданным Их Величествам, а другой - с исправником М. И. Гвоздевичем, талантливейшим человеком, сделавшим блестящую карьеру из простых урядников и бывшим правой рукой И. А., являясь, в сущности, главным центром охраны Их Величеств.

В этом году Царская Семья жила в последний раз в так называемом старом дворце, небольшой двухэтажной деревянной постройке, совершенно устаревшей и безстильной, выкрашенной в коричнево-красный цвет.

Дворец имел плоскую крышу, обнесенную балюстрадой, а верхний этаж большие балконы, поддерживаемые колоннами, делавшими комнаты нижнего этажа абсолютно недоступными для солнечного света и бывшими, благодаря этому, очень сырыми. Обстановка дворца была более, чем скромная, а белая столовая напоминала скорее оранжерею.

Но все же дворец был по-своему красив, особенно благодаря многолетней глицинии, густо разросшейся по стенам и окутавшей его нежнозеленой листвой. Во время ее цветения дворец был очарователен. Еще издали привлекал он внимание разнообразием оттенков и цветов от нежнолилового до темновасилькового.

Свита жила в нескольких, также мало удобных, старых домах. Освещение в Ливадии в это время было керосиновое, дворец же освещался старинными масляными лампами.

Но отсутствие элементарных удобств нисколько не повлияло на Их Величеств, и Они были счастливы представившейся Им, как Им казалось, почти неограниченной свободой. Целые дни Они проводили на воздухе, гуляя по обширному вековому Ливадийскому парку, а иногда и вне его, делая прогулки по окрестным горам. Государь много ездил верхом. Как часто приходилось мне видеть Его совершенно одного, прогуливающегося с палочкой в руках в виноградниках неподалеку от нашего дома!

Когда мы, дети, играя около дома, видели издалека белое пятнышко на фоне сине-зеленой листвы высокого виноградника, распланированного в идеальном шахматном порядке, мы с криками: Государь! - как бешенные бежали к Нему, желая хоть на минутку увидеть своего любимого Царя.

Государыню часто можно было видеть в городе с Великими Княжнами и с А. А. Вырубовой, ее бывшей фрейлиной, с которой Императрица была очень дружна, разъезжавших в простом скромном экипаже за различными покупками по магазинам. Присматриваясь к жизни Царской Семьи во время их первого, а в особенности во время последующих приездов, я все больше привязывался к Ней, поражаясь исключительной скромности Их семейного быта.

Образ жизни Императорской Семьи мог бы служить идеальным примером не только нашей аристократии, но и семьям среднего достатка, зачастую жившим не по средствам. В Ливадии жизнь Их Величеств напоминала жизнь простых русских помещиков, влюбленных в природу, в ширь безконечных полей и прохладную тень вековых лесов.

В Царском Селе Их образ жизни, несмотря на величественность окружавшей обстановки, был скромнее жизни многих командиров гвардейских полков. Обладая огромными средствами, Царская Семья проживала такие средства, которые даже для князей Юсуповых, которые жили гораздо шире и более открыто, чем Семья Русского Императора, были небольшими. Эта скромность и замкнутость жизни Их Величеств имела и свои невыгодные последствия. Русский народ не оценил ее. Государь, имевший все данные быть популярнейшим монархом в России, таковым никогда не был, так как народ Его мало видел, а когда и видел, то большей частью бывал поражен скромной внешностью Государя, иногда даже терявшегося на раззолоченном фоне яркой красочной свиты, окружавшей Его. Даже настоящая внешность Государя была мало известна народу, так как все те доступные ему Царские портреты-олеографии были первых дней Его царствования и с годами совершенно не изменялись, а исполнение таковых было настолько плохо и аляповато, что благороднейшие и привлекающие к себе черты Государя искажались на них до неузнаваемости. Портреты Государыни были и того хуже, портретов Великих Княжен почти не существовало, а когда родился Наследник, то я отлично помню, что, несмотря на то, что прошли года, в народе был распространен портрет Государыни, державшей на руках годовалого Наследника, хотя в это время последний был уже большим и резвым мальчиком. Не удивителен ли поэтому доподлинно мне известный факт, когда двое крестьян, приехавшие из деревни и увидевшие впервые Государя, заспорили между собой, кто Государь, тот ли скромный офицер с орденом на груди или рядом с ним стоявший свитский генерал в парадной форме, при ленте и с грудью, увешанной орденами.

Надо сознаться, что мы не умели, а, быть может, не хотели популяризировать в народной массе своего Царя, в то время, как в соседней Германии чуть ли не каждую неделю в десятках тысяч экземпляров, прекрасно исполненных по последнему слову техники и стоящих пфенниги, выпускались портреты Императора Вильгельма во все моменты его жизни, начиная с дворца и кончая охотой и посещением фабрик и заводов.

ГЛАВА IV

Среди самой Царской Фамилии замкнутость жизни Их Величеств производила отрицательное впечатление, так как они были обижены, что установившийся при прежних Императорах сбор членов Императорской Фамилии по известным дням за семейными обедами у Государя в начале царствования мало соблюдался, а потом и совсем прекратился. Свита, по крови и плоти принадлежавшая в своем большинстве к высшему русскому обществу, тоже была удручена такой семейной идиллией Монархов, а общество прямо-таки негодовало на это, как мешавшее ему общению с Царской Семьей, при наличии которого оно могло рассчитывать на те или иные милости стола.

Виной этого был Государь как глава Семьи.

Он безумно любил Императрицу, по натуре очень застенчивую и скромную женщину, любящую жену и мать, как сначала, так и в продолжение всего царствования безпредельно любившую своего мужа и свою семью. Она отдавала все свои силы на воспитание детей и была счастлива тихой жизнью в тесном семейном кругу, а Государь не хотел нарушать Ее счастье. В Государе она встретила полную

гармонию со своими мыслями, чувствами и желаниями. Но злые люди, гнусная людская молва, паутина сплетен избрали эту кристально чистую женщину предметом своих безпочвенных нападок.

Я не выражусь сильно и буду прав, если определю Государыню Александру Федоровну, как самую несчастную и самую непонятую не только у нас в России, но и за границей женщину. То, что Ей пришлось перенести и перестрадать, является величайшей трагедией, которая когда-либо падала не только на женщину, но и вообще на человека за время его земного существования.

С чего началась жизнь Государыни при приезде Ее невестой будущего Русского Царя в Россию? Задавали ли многие себе этот вопрос? К сожалению, многие лица, я не говорю даже о нашей развинченной, морально испорченной и физически ослабленной интеллигенции, в своем облике потерявшей все русское и увлекающейся западными социалистическими бреднями, но даже наше общество, считавшее себя "солью земли", якобы обиженные Государем, в ослеплении своем бросали грязнейшие обвинения по адресу Государыни.

Двадцатидвухлетней очаровательной Принцессе Алисе Гессенской по приезде своем в Россию пришлось пережить совместно со своим будущим Царственным Супругом Его большое горе, незаменимую утрату любимого отца, одного из Великих Русских Императоров. Потом последовала Ходынка с ее тысячей невинных жертв, и на крови их прошел величайший день в жизни каждого Монарха, знаменующий начало царствования, день священного Коронования и миропомазания... Затем последовало долгое десятилетнее ожидание рождения Наследника, омраченное войнами, китайским восстанием и несчастной русско-японской войной.

Будучи лютеранкой по рождению, Государыня, несмотря на то, что приняла Православие уже в зрелые годы, прияла его заветы со всем пылом молодой религиозной души, без малейшего ханжества, нигде публично не подчеркивая своей искренней любви к обрядности и сущности нового для Нее понимания учения Христа. Она вся отдалась ему, увлекшись скрытым духовным содержанием нашей религии. Она сделалась действительно православной и по духу, и по мысли не в пример нам многим, видящим истинное православие в часто механической установке свечей перед Святыми Угодниками и хождению в церковь в положенные дни. Государь, тоже глубоко религиозный человек, вполне разделял влечение Своей молодой Супруги. С годами, полными горя и неудач, мистицизм Государыни развился еще сильнее. Мистицизм Государыни был чисто религиозного характера, ничего общего не имеющего со спиритизмом, которым во всех видах увлекалось петербургское общество. К числу поклонников такого мистицизма принадлежали некоторые члены Императорской Фамилии, в среде которых появился некий доктор Филипп, бывший не то хорошим медиумом, не то обладавшим даром гипноза, а бывший, по-моему, просто ловким шарлатаном. Скажу только, что, появившись в среде старших Великих Князей, в серьезности и в жизненной опытности которых молодым Их Величествам не приходилось сомневаться, Филипп проник и в Императорский Дворец, где как будто производил своими предсказаниями и оригинальностью толкования некоторых вопросов известное впечатление и на Их Величеств.

Увлекались одно время Их Величества и знаменитым отцом Иоанном Кронштадтским, что было совершенно не удивительным, так как отец Иоанн пользовался огромной известностью и популярностью не только в Петербурге, но и во всей России. Он был незаурядный человек, искренний молитвенник перед Господом, обладавший исключительной силой воли, умением подчинить массы своему влиянию, и молитвы которого действительно во многих случаях были целебны для больных, к нему обращавшихся. Это было установлено с совершенным безпристрастием официально. Рождение Наследника Государыней не принесло желанного покоя и счастья. На пятом году жизни у Него обнаружились признаки гемофилии (кровь не свертывается, и потому малейшее ранение грозит кровоизлиянием), или так называемой Гессенской болезни, получившей таковое наименование, потому что ею наследственно страдает мужское потомство Великого Герцогского Гессенского Дома, причем болезнь эта передается от матери, независимо от отца и только мужскому потомству, никогда не распространяясь на женское, и таким образом, только мать является косвенно как бы виновницей болезни своего сына.

Этой же болезнью, например, болен старший сын сестры Государыни, Принцессы Ирены Прусской, которая замужем за братом Императора Вильгельма, принцем Генрихом Прусским, Принц Вольдемар Прусский, у которого из-за этой болезни одна нога короче другой.

Я думаю, что не только всякая мать, но и вообще всякий здравомыслящий человек поймет, что пережила Государыня, когда заболел этой болезнью Ее единственный сын. Поймут Ее муки и терзания. И не удивительно, что в этот период тоски и отчаяния Государыни и всей Царской Семьи вблизи Ее появился новый человек, за которого несчастная Государыня ухватилась, как утопающий за соломинку.

Этот новый человек был Распутин. Мне придется остановиться на этой личности, по вине нас самих сделавшейся всемирной известностью, и, как ни хотят нас уверить, что он был роковым для России, но, по моему глубокому убеждению, не было бы Распутина, то "таковой" был бы все равно создан из другой личности, а того, что стряслось над нашей несчастной Родиной, все равно нельзя было бы предотвратить, как нельзя объять необъятного...

Я должен оговориться и подчеркнуть, что все, что я пишу о Распутине, мною не вычитано из газет и журналов, а является лишь частью того, что я лично видел и слышал от лиц, безусловно заслуживающих доверия, или близко знавших Распутина, или имевших к нему какое-либо касательство.

Будучи воспитан в семье, определенно враждебно настроенной к нему, я полагаю, что все, что я пишу о Распутине, настолько безпристрастно, насколько человеку вообще может быть доступно безпристрастие. Как раньше Филипп, Распутин появился в Петербурге в гостиных Великих Князей, увлекавшихся сперва французским "провидцем", а потом Распутиным и сразу сделавших его чрезвычайно популярным. Первыми обратили внимание на простого, но незаурядного сибирского мужика, совершившего паломничество в Иерусалим, епископы Феофан и Гермоген, которые были поражены обширным кругозором и необыкновенной остротой ума этого типичного русского странника, которых так много ходит на Руси. Особенно их поразило паломничество Григория Распутина пешком в веригах из Сибири. Я не

отрицаю, возможно, что Распутин, благодаря своей проницательности, увидев, что им заинтересованы столь популярные личности и высокообразованные иерархи Русской Церкви, совершил это подвижничество и самоистязание для поднятия еще большего интереса к своей личности, но все же этот странник выделялся из ряда других и славился на всю свою округу как врачеватель от болезней и ясновидящий.

Действительно, несмотря на совершенно неблагодарную внешность простого сибирского мужика, в выражении его глубоко сидящих синих глаз виднелось что-то необъяснимое, властное и одухотворенное. В этом я сам убедился лично, когда случайно и только на несколько коротких минут встретился с Распутиным на улице.

Я должен удостоверить, что общесложившееся убеждение, что фамилия Распутин является прозвищем его со стороны его односельчан за его якобы распутную жизнь, не имеет под собою никакой почвы, так как я сам на месте его родины мог убедиться, что и предки Распутина, сибирские переселенцы чуть не со времен Екатерины, носили эту фамилию, так как обосновались на перекрестке, то есть на распутье двух больших трактов. В равной мере и приписываемое Распутину конокрадство является вымыслом. Семья Распутиных была всегда и давно зажиточной.

Рекомендованный епископами Феофаном и Гермогеном, Распутин появился на Великокняжеском горизонте. Повторяю, что в России имелись лица, которые стремились оклеветать Их Величеств еще до появления Распутина, которым только воспользовались в своих целях, и давно распускали гнусные слухи о каких-то "особых" взаимоотношениях Государыни то с генералом Орловым, умершим от чахотки в Каире, то с флигель-адъютантом Н. П. Саблиным или, наконец, о каких-то "таинственных влияниях" некоего психо-графолога Моргенстиерна, о котором речь будет ниже.

С момента появления Распутина травля Государыни и всей Царской Семьи была поднята особенно сильно. Особенно было на руку клеветникам, что посещения Распутиным Дворца обставлялись таинственностью, и они ткали на этой канве чудовищные и нелепые слухи и сплетни. Мне первое время также было понятно это обстоятельство, но впоследствии все стало ясным. Их Величества, сознавая, что могут пойти те или другие слухи о Распутине, и поэтому, не желая, чтобы кто-либо вмешивался в Их личную жизнь, не хотели афишировать посещения Распутиным Дворца, но это вызвало как раз обратное действие.

Вопреки установившемуся убеждению, что Распутин считал и выдавал себя в глазах Царской Семьи за святого, должен засвидетельствовать, что Распутин всегда негодовал, когда кто-нибудь называл его святым, говоря, что такой человек, как он, святым быть не может, и что Государь даровал ему право лишь молить его прощения грехов и помощи таким же грешным людям, каким является и он сам.

От предложенного ему священнического сана он категорически отказался, заявив, что он священником быть не может, и что он просто-напросто "Божий человек", который призван для того, чтобы напомнить о присутствии Бога и необходимости молиться Ему. Прими Распутин священство и появляйся легально во Дворец, мне кажется, большая половина сплетен о нем в связи с Царской Семьей отпала бы сама собой. Я не хочу настаивать на том, помогали ли несчастному Наследнику при

его страданиях молитвы Распутина. Улучшения в его болезнях можно объяснить гипнотической помощью Распутина, или же, наконец, эти улучшения в его здоровье происходили нормально, случайно совпадая с появлениями Распутина. Как бы там ни было, но сами факты улучшения здоровья или выздоровления остаются несомненными. Никто иной, как Распутин, за несколько лет до революции сказал, что с его, Распутина, смертью на Руси случатся великие волнения, все будет залито кровью и Наследник заболеет. Кто же, как не он, в свое время предсказал неудачный исход войны, будучи против нее?

По поводу первых двух моих замечаний, помогали ли Наследнику молитвы или гипноз Распутина, скажу следующее: совершенно несомненно, что Распутин обладал громадной гипнотической силой, и когда мне приходилось спорить об этом с известными мне поклонниками и поклонницами Распутина, чего я из чувства корректности старался избегать, мне неизменно отвечали:

- То, что вы называете гипнозом, это не гипноз, это особенная, Богом данная сила, могущая быть только у искреннего молитвенника и поборника Православия... Григорий Ефимович врачует глубиной и проникновенностью своей молитвы!

На этом мой спор, естественно, прерывался. Одно было только для меня ясно, что будь Распутин не тем, чем он был, а, предположим, профессором медицины какого-либо университета, то он так легко к Царской Семье не попал бы и такого впечатления не произвел бы. Это может показаться странным, но это так. и вот почему: сколько настоящих русских семейств верило и верует в силу молитвы различных юродивых и по миру ходящих странников, относясь критически к врачебным способностям известных врачей, лечивших силой внушения и зачастую очень успешно. Чем же Семья Русского Царя не была русской семьей? Или Ей не дано право быть таковой?

Совершенно естественно, что если бы подобное встречалось в семье какого-либо даже очень высокопоставленного лица, принимавшего у себя странников, оно было бы не на виду, и этим никто бы не интересовался. Положение Царской Семьи было совершенно иное, жизнь Ее протекала у всех на глазах, и Ее хотели опорочить и опорочили.

Распутину также приписывали участие в делах управления Россией, влияние его в этом направлении на Государя. Словом, силились изобразить его человеком государственного ума, которого у него на самом деле никогда не было. Распутин был лишь безсознательной пешкой в руках тех, кто сразу учел всю выгоду использования для себя положения Распутина. Из Распутина сделали ходатая по делам у Их Величеств и более умные и пронырливые царедворцы и сильные Мира сего, умело играя его же именем "на понижение" тех, перед которыми они раболепствовали. Результаты этой двойной игры скоро сказались, и несчастная Россия дождалась "великой безкровной".

Можно с положительностью установить, что не министры были марионетками Распутина, а, напротив, он сам был таковой в их руках. Безграмотные записки Распутина: милой, дорогой сделай - или: дорогой устрой - стали общеизвестными, ими возмущались, но ими пользовались... Напрасно думают, что виною гибели России было моральное разложение святой и чистой Царской Семьи, принимавшей

у себя простого мужика Распутина и видевшей в нем спасение и избавление от мучений Их горячо любимого маленького Страдальца. Нет! Тысячу раз нет... Государь или Его Семья в гибели нашей несчастной Родины не повинны! Виноваты в этом мы все, принадлежавшие к русскому обществу и воображавшие, что мы "соль земли Русской", и ничего для русского народа не сделавшие. Виновата наша интеллигенция, оторванная от народа и растлившая его, а больше всего виноваты опять-таки мы, так как мы в нашу среду принимали этого сибирского мужика, не веря в его святость, не ища в нем спасения от болезней, а пользуясь им лишь в корыстных целях, выклянчивая у него его безграмотные записки... Поздно опомнился князь Юсупов, в свое время дневавший и ночевавший у Распутина! Не к чему было играть на трескучем патриотизме монархисту Пуришкевичу и пачкать свои руки в гнусном деле предательского убийства. Выстрелом князя Юсупова Россия была ввергнута в пропасть, и лужа крови в особняке на Мойке обратилась в океан, затопивший нашу Родину. Мне не хочется марать страниц своих воспоминаний подробностями этого убийства. Желающие могут ознакомиться с ними из первоисточников, прочтя возмутительные, циничные излияния Пуришкевича и воспоминания князя Юсупова.

Если же и оправдывать такой способ удаления Распутина, то разве можно было его убивать в момент войны, в момент величайшего напряжения народных сил? А если решиться его убить, то разве таким низким способом, каким убили его эти господа, предательски, в спину? Такими методами пользуются лишь уголовные, профессиональные убийцы. Шарлота Кордэ так не убивала. Об этом следовало бы подумать сиятельным убийцам, так как даже убийство подчас может быть красивым!

Еще менее достоин поступок князя Юсупова, письменно клявшегося в письме к Государыне "именем князей Юсуповых", что не только он не убивал, но что и вообще у него в доме в памятную ночь на 17 декабря 1916 года никакого убийства не было...

Нет ничего удивительного, что Россия, дожившая до таких князей и до таких понятий о княжеском слове, дожила и до Троцкого с Лениным с циничным отрицанием старых договоров и обязательств. Бедный Государь! Несчастная Россия!

Мы не были достойны такого благородного, мягкого и доброго Монарха. Не надо забывать, что если Россия когда и была велика и могуча, то это в царствование Императора Александра III, мощной рукой державшего всю страну в трепете и повиновении, и во время Великого Петра, расправлявшегося своей дубинкой со своими придворными и сотрудниками.

К сожалению, у Государя не было мощной руки своего Родителя, и он не унаследовал дубинки своего великого предка и, будучи безконечно добрым человеком, еще по наблюдению моего деда, говорившего об этом отцу, Государь зачастую принимал разнородные решения, не желая огорчать своих докладчиков своим отказом по поводу тех или других их соображений.

Волею судеб этому искреннему стороннику мира пришлось пережить три войны. И если можно в чем-либо винить Государя, и если вообще возможно такое обвинение, то только в твердом соблюдении раз данного слова даже в такой момент, когда это соблюдение было, быть может, не к выгоде управляемой Им страны.

Кроме этого, Государь был слишком большим семьянином, бережно охранявшим свой семейный покой, забывая, что бремя Монарха зачастую не вяжется в семейным счастьем и даже подчас идет против него, совершенно забывая, что у Монарха не может быть той семейной жизни, о которой привык мечтать Государь. Но разве за это имеет кто-либо право винить Его?

ГЛАВА V

В 1909 году моя мама впервые удостоилась быть представленной Государыне... и первое впечатление о Ней у нее сложилось отрицательное. Я прекрасно помню, как моя мать, расстроенная, вернулась из Дворца, рассказывая, что Императрица приняла очень холодно, сказавши ей всего лишь несколько слов. По первому впечатлению моей матери, Государыня была горда и неприступна.

Но вскоре это первое впечатление рассеялось. После следующих приемов во дворце мать моя совершенно и раз и навсегда изменила свое мнение о Государыне, которую она стала прямо-таки боготворить. Оказалось, что Государыня очень застенчива по натуре, в особенности с неизвестными Ей лицами, чему тоже способствовала Ее боязнь за свое неполное знание русского языка. Государыне всегда казалось, что она недостаточно хорошо говорит по-русски, что Ее страшно нервировало и смущало. Это была с Ее стороны ошибка.

Я должен засвидетельствовать, как человек, много раз говоривший с Государыней и даже по долгу, что Государыня для иностранки прекрасно говорила по-русски, очень бегло, не задумываясь над словами, только иногда неправильно составляла фразы и с небольшим акцентом, и не немецким, а английским. При втором или третьем приеме моя мать поняла причину казавшейся холодности Государыни, взяла инициативу разговора на себя, к большому облегчению Государыни, которая и беседовала впоследствии с моей матерью вполне непринужденно.

В своем обращении с окружающими Государыня так же, как и Государь, была необычайно проста. Эта чарующая простота и чисто русское радушие на приемах располагали к Ним всех тех, кто удостаивался приглашений. Государыня безконечно ценила всех лиц, которые шли к Ней с открытой душой, понимали Ее переживания и сочувствовали Ее горестям.

Но таких людей было мало. В припадке какого-то умственного маразма большинство считало своим долгом клеветать на эту святую женщину, не давая себе труда понять Ее и обвиняя Ее в ледяной холодности и заносчивой гордыне. Ошибочно думать, что Их Величества относились враждебно или отрицательно ко всем тем, кто позволял себе неодобрительно отзываться о Распутине.

Примером такого непримиримого противника Распутина являлся мой отчим, генерал Думбадзе, приказавший в 24 часа выслать из Ялты приехавшего туда Распутина. Несмотря на вмешательство дворцового коменданта, Распутин был посажен в автомобиль и ровно через 24 часа покинул пределы не только Ялты, но и ее уезда. Если Распутин и бывал впоследствии редко в Ялте по несколько дней, то только благодаря своему поклоннику, исправнику Гвоздевичу, обставлявшему его приезд строжайшей тайной от моего отчима. Их Величества об этом знали, и Государь даже осведомился об этом у него самого, на что получил ответ, что он не считает

возможным допустить Распутина в Ялту по своим личным соображениям охраны, а также и просто потому, что он его не любит. Несмотря на это. Их Величества продолжали любить моего отчима, и он с Их стороны, к зависти свиты и негодованию некоторых придворных поклонников Распутина, пользовался всегда Их неизменным расположением. Не терпели только Их Величества тех людей, которые занимались грязными доносами на Распутина, зачастую весьма слабо мотивированными, чувствуя, что травля его касается и Их самих, и веря, что чистый человек грязью запачкан быть не может.

Вначале мой отчим не допускал в Ялту и Моргенстиерна, петербургского графолога, имевшего доступ во Дворец, из-за его еврейского происхождения. Но за него по телефону энергично вступился Министр Двора, и мой отчим должен был сменить гнев на милость и разрешить ему месячное пребывание в Ялте и даже принял его у себя.

Моргенстиерн оказался очень интересным человеком, великолепно определявшим характер по почеркам. Я был лично знаком с ним и помню следующий случай. Как-то приехал он к нам во время пятичасового чая, застав у нас гостившего брата И. А., Николая Антоновича Думбадзе. Он собирался куда-то ехать, но с приходом Моргенстиерна задержался еще на балконе, где мы все сидели. Завязался оживленный разговор на тему о графологии, гипнозе и отгадывании чужих мыслей. Моргенстиерн предложил собравшимся сделать опыт, а именно в его отсутствии что-нибудь сделать. Я помню, что вышел с ним из дома на плац, и когда нас позвали и мы вернулись, не успел он войти на балкон, как сказал:

- Дорогие братья переменились фуражками.

Все ахнули. Как мог Моргенстиерн угадать, мне это и по сей час не понятно, так как фуражки были у братьев совершенно одинаковыми и размер головы один и тот же.

Никакой роли при дворе Моргенстиерн не играл. Их Величества интересовались им только потому, что им были собраны тысячи автографов всех известных коронованных и некоронованных лиц того времени, причем он о своих исследованиях издал прекрасную книгу, научно обоснованную и снабженную факсимиле, которую и подарил на память моему отчиму.

Одной из драм в жизни Государя было Ему навязанное традицией, освященное веками, унаследованное Им Самодержавие, охранять основы которого он клятвенно обещался в день священного Коронования. Совершенно не будучи по натуре Самодержавным Монархом, в силу данной клятвы Государь всю свою жизнь пытался охранять врученные Ему Господом права, не считал возможным дать России полную конституцию, видя в этом акте нарушение торжественно данного на кресте и Евангелии слова.

17 января 1895 года, то есть через несколько месяцев после вступления на Престол, Государь в краткой речи к собравшимся в Зимнем Дворце представителям дворянства, земств и городов изложил основы Своего будущего правления. Он сказал:

- Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время раздавались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся безсмысленными мечтаниями об участии земства в делах внутреннего управления Государством. Пусть все знают, что Я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала Самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный Родитель!

Не думал тогда молодой Государь, искренно делясь своими мыслями с, казалось, верными и лучшими своими подданными, что те с пеной у рта разнесут по всей России молву, что Государь обещал в корне задушить всякое проявление прогрессивного характера, вступив на путь черной реакции...

Либеральное общество заволновалось, интеллигенция, мнившая себя почему-то государственно-образованной, вознегодовала, и травля против молодого Царя как поборника "лютого Самодержавия" началась и уже больше никогда не прекращалась.

Безсмысленные мечтатели не простили Государю Его слов и через двадцать два года воплотили свои мечтания в жизнь. Теперь же результаты этих осуществившихся мечтаний ясно показывают, чья политика была лучше: осмысленного ли "лютого" Самодержца или "безсмысленных" псевдопатриотов в лице представителей земства, городов и части дворянства.

Прав был французский социалист Альберт Тома, приехавший в Россию после революции 1917 года, чтобы воочию убедиться "в красоте и величии", а главное, "в пользе для русского народа случившегося переворота", когда, осмотревшись и уезжая, сказал:

- Великим человеком был ваш бывший Царь! И когда его спросили: Почему? - он ответил:

- Удивительно, как он такой сволочью (канай) мог управлять двадцать два года!

Намекая на ту безмозглую массу, которая в лице совета солдатских и рабочих депутатов пыталась, вопреки здравому смыслу, забрать управление величайшим государством в мире в свои руки...

Удивительно лестная для нас рекомендация! Наши "товарищи" могут торжествовать.

Кем по отношению к России считал себя Государь, ярко показывает, быть может, на первый взгляд, и мало значащий факт. Во время всеобщей переписи в январе 1897 года Государь потребовал опросный лист и лично заполнил его.

На вопрос: "чем занимаетесь?" - Государь ответил:

"Хозяин земли Русской", а на вопрос: "какого сословия?" - "Первый дворянин".

Из-за того, что Государь пытался охранять основы Самодержавия, совершенно не следует, что Он не считался с необходимостью для России конституционных

реформ. Государь не считал для себя возможным дать России конституцию, как я уже писал, как в силу присяги на верность Самодержавию, так и под влиянием революционного насилия, и подчинился таковому в памятные дни марта 1917 года лишь потому, что Россия изнемогала в борьбе с внешним врагом. Он всеми силами старался предотвратить междоусобную борьбу, в которой Он справедливо видел крушение не только Империи, но и всей России. Ю. А. Ден, жена офицера Гвардейского Экипажа, командира крейсера "Варяг", капитана 1-го ранга К. Е. Ден, одна из наиболее близких друзей Государыни, передавала мне, что лично слышала из уст Государя еще до революции, как Он в кругу своей Семьи развивал свои предположения на будущее время. Он говорил, что двадцатилетнее царствование и глубокие переживания за время войны настолько утомили Его, что единственным Его желанием является довести Россию до победоносного окончания войны и почетного славного мира, после чего Он предполагал удовлетворить насущные народные нужды путем земельного вознаграждения всех участников войны, начиная с инвалидов и георгиевских кавалеров, провести в жизнь земельную реформу Столыпина (переход от общинного землевладения на отрубные хозяйства), создать особую комиссию по разработке широкой конституции, принимая во внимание все особенности русского уклада и быта и в день совершеннолетия Наследника отречься от Престола в Его пользу с тем, чтобы начало Его царствования ознаменовалось дарованием этой реформы, дабы Он в день своего Коронования был первым Русским Царем, присягнувшим на верность конституции.

Государь считал, что народные массы, оздоровленные победоносной войной, проникнутые упоением победы и искренним патриотизмом, лучше, чем когда-либо, воспримут дарованные им права, и конституционная Россия сделается еще более могучей, чем под скипетром Самодержавных Монархов.

Государь был уверен, что война окончится в 1917 году полной победой России и союзников, в год, когда Наследнику исполнится двенадцать лет, а к Его 18-ти годам, то есть к 1922 году, Он предполагал, что все эти подготовительные работы по реформам будут закончены, и Он сможет передать бремя власти Своему сыну.

Иногда Государь высказывал желание отречься от Престола сразу же после войны, передав власть Наследнику при регентстве Своего брата.

Несомненно, что Государь в своей безграничной любви к России готов был для ее счастья, пользы и величия принести любые жертвы, и во всех своих мыслях и действиях руководствовался исключительно желанием помочь и быть полезным своей стране и управляемому Им народу.

Само собой, что Государь, как и всякий здравомыслящий человек, считал невозможным проводить во время войны какие-либо реформы, считая это гибельным для России.

Когда же грянула революция, Государь доказал, что Он, в сущности, Самодержцем не был, поддался оказанному на Него давлению и отрекся от Престола, вместо того, чтобы приказать повесить на первой перекладине всех этих Гучковых, Шульгиных, Рузских и направиться во главе верных войск в Петербург, где действительно железной, самодержавной рукой восстановить порядок и на деле доказать, что Он действительно Самодержавный Монарх, что Трон Его непоколебим, и что наиболее

высокое место, на которое могут претендовать все эти Родзянки, Милюковы, Керенские и компания, тоже находится на другой не очень высокой перекладине.

Для меня ясно, что, будь Государь в Царском Селе эти дни вблизи Семьи и Государыни, Он, вероятно, поступил бы иначе, так как одним из главных мотивов, вынудивших Его отречение, была, безусловно, боязнь за безопасность Семьи, находившейся в Царском, и которая, несомненно, подверглась бы опасности в случае агрессивных действий с Его стороны.

И Государь был прав в своих опасениях. Никто из офицеров, находившихся в большом количестве на излечении в Царскосельских лазаретах, и пальцем не пошевелил для защиты Семьи своего Императора в трагические дни конца февраля и начала марта 1917 года и, казалось, вернейшие части войск первыми изменили Ей.

В августе 1917 года во французской газете "Антант", издававшейся в Петербурге, был помещен фельетон, в котором автор поражался возмутительному равнодушию к судьбе своего Монарха и Его Семьи, находившейся в заточении, со стороны русского офицерства, придворных кругов и дворянства, без обиняков называя их, то есть нас всех, изменниками, приводя весьма поучительный пример из французской революции, когда за Королем Франции и Его женой шли на эшафот с последним предсмертным возгласом: Да здравствует Король! - его министры, свита и даже прислуга.

А во время переворота в 1792 году при защите Тюэльрийского дворца от мятежников наемная Швейцарская гвардия во славу Короля Франции и Его Семьи до последнего сложила свои головы...

ГЛАВА VI

Во время приезда Царской Семьи в 1909 году я впервые увидел в гостиной своей матери А. А. Вырубову, личного друга Государыни. Насколько я помню, она по первому же взгляду произвела на меня очень хорошее впечатление своей подкупающей ласковостью и добротой. Она очень мило отнеслась к нам, детям, и мы всегда были рады ее приезду.

Внешне она была очень красивой женщиной, невысокого роста золотистой блондинкой с великолепным цветом лица и поразительно красивыми васильковыми синими глазами, сразу располагавшими к себе. Кроме того, я познакомился тогда же с покойным Столыпиным и его семьей, министром юстиции Щегловитовым, народного просвещения Шварцем, со всеми членами Свиты и Двора и другими лицами, бывавшими по воскресеньям на приемных днях у моей матери у нас в доме.

Само собой, вспоминая об этих людях, тогдашней моей молодости, я не мог сохранить о них каких-либо воспоминаний политического характера, но знакомство с этими людьми и невольное прислушивание к их разговорам дали сильный толчок моему миросозерцанию, и к 12-13-ти годам моей жизни во время последующих приездов Государя в Ливадию я уже почти ясно учитывал те или иные политические события, положения и комбинации.

Во время первого приезда в Ливадию Государь, желая лично на себе попробовать тяжесть солдатского снаряжения, два раза по несколько часов ходил в солдатской форме при полном ранце и винтовке как и по Ливадии, так и вне ее, по окрестным горам. Один раз в форме стрелка 16-го Стрелкового Императора Александра III полка, а другой - в форме солдата 52-го Виленского Его Императорского Величества Великого Князя Кирилла Владимировича полка.

Оба раза Он никем узнан не был, а встретивший Его по дороге офицер небрежно отдал честь солдату, отбивавшему шаг с поворотом головы при встрече с ним, о чем Государь, смеясь, рассказывал моему отчиму.

Результатом пробы Государем снаряжения было его видоизменение. Лопатка, висевшая на левом боку и мешавшая при перебежке (в чем Государь Сам убедился) была пригнана иначе, и неудобный вещевой мешок был. начиная с гвардии, заменен более практичным ранцем.

В связи с этими прогулками Государя в Ялте, а потом и по всей России получил распространение следующий анекдот. Встречаются два еврея, и один говорит другому:

- Абрамович, вы слышали, какой у нас Государь храбрый?

- А что? Нет, не слышал.

- Государь два часа один, совсем один, понимаете, в солдатской форме ходил!

- Ну!.. Это и все? Какая же тут храбрость? Попробовал бы Он одеть наш еврейский лапсердак и пройти мимо дома генерала Думбадзе! Вот тогда я сказал бы, что Он-таки да, храбрый!

Генерал Дедюлин рассказал Государю этот анекдот, Его Величество, расхохотавшись до слез, ответил:

- Ну, на это я, пожалуй, не решился бы! Передайте об этом Ивану Антоновичу...

О моем отчиме существует и другой анекдот.

В Ялте протекает небольшая горная речонка Учан-Су, во время жары совершенно высыхающая, но очень полноводная и бурная во время весеннего таяния снегов на горах.

Вот в эту речку попал случайно еврей и стал тонуть. Течением его несло к морю. Через Учан-Су в город перекинуто три моста. На одном из них стоял городовой, на другом - исправник Гвоздевич и, наконец, на третьем, у самого моря, сам Думбадзе. Городовой не обратил никакого внимания на крики о помощи несчастного еврея. Гвоздевич, увидя его, буркнул:

- Туда тебе и дорога!

Наконец утопавшего еврея стало подносить к месту, где стоял Думбадзе.

- Ваше Превосходительство, спасите! Ваше Превосходительство, помогите! - кричал еврей.

Но Думбадзе оставался глухим. Вдруг послышался из воды дикий вопль:

- Долой самодержавие! - вопил терявший силы еврей.

- Что? Да как ты смеешь негодяй! - крикнул Думбадзе и приказал городовому вытащить еврея из воды. Уловка последнего удалась, и он был спасен.

Этот анекдот одно время был в большом ходу в Ялте и имел большой успех.

Безмятежное, тихое пребывание Их Величеств в Ялте омрачилось осложнениями в болезни Наследника, так как Он осенью сильно занемог и только очень медленно стал поправляться.

ГЛАВА VII

Вторично Их Величества приехали в Ливадию в 1911 году и поселились уже с полными удобствами в только что отстроенном новом Дворце.

Архитектор Краснов, известный строитель принадлежащего Великому Князю Петру Николаевичу дворца в имении Дюльбер около Алупки, могущего считаться образцом изящества линий и форм, а также поразительно точной передачей мавританского стиля, побил, кажется, все русские рекорды в области строительства, построив новый дворец в Ливадии, гофмаршальский дом и огромное свитское здание с целым городком служб и электрической станцией, оборудованной по последнему слову техники, и все это в короткий срок полутора лет!

Дворец построен из крымского белого камня известняка, добываемого где-то около Судака, в идеально выдержанном стиле позднего итальянского ренессанса, на месте старого Дворца, и своим коротким фасадом с двумя башнями выходил к морю, а уличным с прелестными галереями нижнего этажа выходил на площадку с цветочными клумбами. Дворец был расположен на обрыве, и под ним расстилался плантаж из 2000 кустов и штамбовых роз. Старая глициния местами была пощажена, и очень скоро она стала покрывать стены нового Дворца вместе с ползучими розами. В период цветения роз Дворец был красив до волшебства. Внутреннее расположение комнат было строго выдержано по плану, лично составленному Их Величествами. Дворец, как и вся Ливадия, был залит морем электрического света.

Их Величества на этот раз приехали с большим штатом как свиты, так и прислуги и с большим количеством автомобилей, для которых был построен особый гараж.

Государь, как и вся Царская Семья, очень любил прогулки на автомобиле, и часто Они разъезжали по окрестностям Ялты, причем Государь, в особенности, когда бывал один, несмотря на горные дороги, требовал от своего шофера, француза Кегресса, действительно идеально правившего машиной, самой быстрой езды, которую Он обожал. Эта быстрая езда очень волновала моего отчима, и он отдал в газете строгий приказ, карающий суровыми наказаниями и штрафами лиц и

шоферов, ездивших с непозволительной быстротой. При докладе у Государя он напомнил Его Величеству об этом приказе и полушутя, полусерьезно сказал, что он будет вынужден оштрафовать как шофера Кегресса, так и владельца машины, ездившего вдобавок без номера, за нарушение обязательного постановления.

Государь рассмеялся и просил отчима не безпокоиться за Него, сказав, что постарается исполнить приказание строгого Главноначальствующего. Но страсть к быстрой езде взяла верх, и Государь продолжал бешеным ходом ездить на своем любимом открытом Делонэ-Бельвиль.

Одновременно с постройкой Дворца был перестроен и дом, где жила моя мать, находившийся при въезде в Ливадию в расположении казармы 1-й роты 52-го Виленского полка, постоянно квартировавшей в Ялте, и выходивший на ротный плац. Дом был полутораэтажный, был построен у обрыва, лицом к морю. Этой перестройкой дом предназначался для ротного командира и был очень тесен для такой большой семьи, как моего отчима, но последний не терпел никакой пышности, не требовал красоты обстановки, довольствовался спартанской простотой одной комнаты в казарме, где и жил до свадьбы с моей матерью, и только ради нее согласился переехать в новое помещение. Под ее же влиянием он согласился и на надстройку одного этажа. В обоих этажах были огромные открытые террасы, обвитые глициниями. Вид с них открывался на всю Ялту и был поразительно красив, в особенности вечером, когда Ялта блистала тысячами мерцавших огоньков, отражая их в глубине зеркально тихого залива, по которому ярко скользил красной полоской то тухнувший, то снова загоравшийся свет маяка на конечности мола. Но все же от перестройки дом моей матери не сделался ни дворцом, ни даже хорошей виллой, а был, как снаружи, так и внутри, более чем скромным и вполне гармонировал с укладом жизни семьи моего отчима.

ГЛАВА VIII

Во время пребывания моего у матери и приездов Царской Семьи я впервые близко столкнулся с Крымским Ее Величества полком, как с офицерами, приходившими с эскадронами на охрану Ливадии, так и с солдатами, так как после ухода батальона 16-го стрелкового полка в Одессу на место постоянной стоянки конный конвой моего отчима был заменен всадниками Крымского полка.

Я почти все время ездил верхом в сопровождении одного из ординарцев, татар и вообще к гневу матери, что называется, пропадал в расположении ординарческих казарм, а главным образом, конюшен. Благодаря близости нашего дома от казарм, я невольно ознакомился во всех мелочах как с бытом, так и с жизнью русского солдата, с ним самим, с его мыслями, стремлениями и желаниями. Эти знания очень пригодились мне впоследствии, во время моей последующей службы в этом полку.

В 1912 году в моей жизни произошло большое событие. Я поступил в 4-й класс Одесского кадетского корпуса, а до того держал ежегодно экстерном экзамены сначала при митавской, а потом ялтинской гимназиях. Поступая в корпус, я не имел намерения в будущем служить в кавалерии, несмотря на то, что хорошо ездил верхом и любил лошадей. Моим страстным, но не сбывшимся желанием была служба во флоте. Я намеревался по переходе в пятый класс перевестись в морской корпус. Но моя мать категорически воспротивилась этому, и я, перейдя в следующий

класс, перевелся в Николаевский Кадетский Корпус в Петербурге, куда должен был быть переведен мой отчим. Теперь я с удовольствием вспоминаю об этих двух годах корпусной жизни, но тогда, несмотря на всю привлекательность для меня ношения военной формы, благодаря своему свободному домашнему воспитанию, чувствовал гнет корпусного режима, и первые дни моего пребывания в нем были для меня очень тяжелыми.

Проводя летние каникулы у матери, я видел Наследника, резвящегося в Ливадии со своими Сестрами в парке и во время прогулок со своим гувернером Жильяром. Наследник был не по годам развитым мальчиком, очень серьезным и вдумчивым, и болезнь с ее неимоверными страданиями наложила на Него свой отпечаток. Будучи очень живым и экспансивным по натуре, Он никак не мог примириться с необходимостью беречь себя, и во время игр часто падал и ушибался, и каждый раз эти ничтожные для других детей удары и синяки вызывали у Него сильнейшие приступы болезни.

Занимался Он охотно, и науки давались Ему легко, но языков Он не любил, хотя и учил, и знал французский, а потом и английский языки. Немецкий Ему не преподавали. Заметив манеру Свиты и вообще Двора говорить между собою по-французски, а в последнее время по-английски, ставшим модным языком, Наследник как-то сказал:

- Когда я буду Царем, то при моем Дворе будут говорить только по-русски.

Вообще Наследник еще в отроческие годы уже сознавал свое положение, и я помню, как мой отчим, вернувшись после завтрака во Дворце, рассказывал, что, когда все вышли из-за стола на внутренний министерский дворик Дворца, где Государь обыкновенно курил и разговаривал с приглашенными, Наследник задержался в столовой и, сидя за столом, что-то усиленно измерял на нем спичкой. В этот момент к нему подошел генерал Сухомлинов и поздоровался с ним. В ответ на его: Здравия желаю, Ваше Императорское Высочество, - он услышал озабоченное: Здравствуйте, - и Наследник, не обращая на него внимания, продолжал заниматься своим делом. Тогда генерал полушутя, полуобижено заметил:

- Нехорошо, Ваше Императорское Высочество, меня, старика, так обижать!

Тогда Наследник встал, протянул руку генералу и после вторичного:

- Здравствуйте, - нахмуренно прибавил:

- Но в следующий раз, когда я занят, прошу мне не мешать!

Обладая отзывчивой душой и поразительно добрым сердцем, Наследник был чрезвычайно чуток к чужому горю. Как-то, бегая около Дворца, Он заметил дневального, который украдкой плакал на посту и не заметил, как к нему подошел Наследник. Вытянувшись, как каменное изваяние, бедняга совершенно растерялся, когда Наследник стал расспрашивать его о причинах его горя. Солдат сначала мялся, но потом услышал:

- Я тебе приказываю сказать, почему ты плакал!

Он объяснил Наследнику, что получил из дому письмо, в котором сообщалось, что у его родителей пала последняя корова. Тогда Наследник приказал ему вызвать дежурного.

На свист дневального последний прибежал как одурелый, думая, что случилось несчастье, и окончательно растерялся, когда увидел Наследника.

По приказанию последнего он заменил пост, и Наследник буквально за рукав привел ошалевшего от неожиданности солдата во Дворец, прямо к Государыне, тоже в первый момент не понявшей, в чем дело. Наследник еще издалека, увидя Государыню, закричал Ей:

- Мама, мама, я привел тебе бедного солдатика! У него дома последняя коровка умерла, и ему надо помочь!

Когда все выяснилось, солдату, не помнившему себя от счастья, было выдано по приказанию Государя, насколько мне помнится, 300 рублей для пересылки родителям.

На новый 1913 год мой отчим был осчастливлен Государем зачислением в Его Свиту, и в качестве дежурного генерал-майора он принимал участие в юбилейных торжествах в память трехсотлетия царствования Дома Романовых. Моя мама сопровождала его в поездке в Петербург и Москву, где он дежурил при Государе.

ГЛАВА IX

Весною 1914 года Их Величества в последний раз на короткое время приезжали в Ливадию, где пробыли Пасхальные праздники и снова уехали в Царское Село. Отчетливо помню тот дивный тихий июньский вечер, когда, сидя на балконе дома моей матери со своим сводным братом Гришей в ожидании к ужину моего отчима и матери, бывших в городе, обсуждал с ним проект верховой поездки на следующий день. Я, как всегда, вскрывал только что принесенный вестовым пакет со свежими агентскими телеграммами, получаемыми прямо с телеграфа в подлинных лентах, наклеенных на бланки. Одна из телеграмм гласила:

Сараево 15. 28. 6. 14.

Сегодня около полудня тремя выстрелами из револьвера убиты Наследник Эрцгерцог Франц-Фердинанд и Его Супруга Герцогиня Гогенберг, проезжавшие по улице в экипаже. Убийца, серб, арестован на месте преступления...

Приехавший домой Иван Антонович был очень взволнован этой телеграммой. Он возмущался этим преступлением и, как сейчас помню, прибавил:

- Это убийство повлечет за собой большие политические осложнения для России.

Приблизительно в то же время в Тюмени было произведено покушение на Распутина на местном вокзале в то время, как он собирался сесть в вагон, поклонницей Илиодора, некоей Гусевой, подосланной последним из-за личных счетов, бывших между ними. Гусева нанесла Распутину тяжелое ранение, распоров

ему ножом живот, что, как мне впоследствии передавали, было, безусловно, смертельным, но он каким-то чудом пережил и совершенно поправился.

Таким образом, Распутин в дни объявления войны был вдали от Царской Семьи, но, предчувствуя возможность таковой, был противником ее, предсказывая окружающим, что, в случае, если война произойдет, это будет величайшим несчастьем для России. Россия будет залита морем крови, и вообще война грозит очень печальными последствиями не только России, но и Династии.

Тремя телеграммами и письмами он пытался воздействовать на Государя в сторону недопущения Последним войны. В бытность мою в Тюмени в 1918 году зять Распутина, Б. Н. Соловьев, показывал мне это письмо к Государю в подлиннике, так как Государыня передала до этого Соловьеву на хранение ряд писем Распутина и другие документы.

Вот текст этого, безусловно, исторического письма. Привожу его с соблюдением орфографии:

Милой друг есче раз скажу грозна туча нат Рассеей беда горя много темно и просвету нету. Слес то море и меры нет а крови? Что скажу Слов нету неописуемый ужас. Знаю все от Тебя войны хотят и верныя не зная что ради гибели. Тяжко Божье наказание когда ум отымет тут начало конца. Ты Царь отец народа не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ вот германию победят а Рассея? Подумать так воистину не было горше страдалицы вся тонет в крови велика погибель бес конца печаль.

Григорий.

Еще за неделю до объявления войны я видел по настроению отчима, получившего какие-то важные известия, что война неизбежна и, в случае объявления таковой, твердо решил идти добровольцем.

Чем я руководствовался, решаясь на этот шаг, какие были у меня мысли, какие желания? Отвечу коротко. В апреле 1914 года мне исполнилось 16 лет и, несмотря на такой юный возраст, я чувствовал себя достаточно крепким физически, чтобы вынести все тяготы походной солдатской жизни, а поэтому считал своим долгом принять активное участие в борьбе с врагом, полагая, что если Господу Богу будет угодно сохранить мою жизнь, то для окончания наук времени еще хватит. Сколько же сможет продлиться война? По тогдашнему общему мнению военные действия продолжатся не дольше полугода, и жизнь снова потечет нормальным порядком.

Война! Какое жуткое, страшное, а для нас, военных, красивое слово! С ним мы вступали в новую жизнь, имея неограниченные возможности не на словах, а на деле доказать свою преданность любимому Государю и родной земле, пожертвовать ради них тем, что является самым дорогим для каждого человека - своей жизнью!

В июле пришла телеграмма о досрочном производстве в офицеры Государем в Царском Селе выпуска юнкеров Петербургских Военных Училищ. Политический горизонт был окутан тучами, в воздухе пахло грозой и, наконец, грянул гром! 19 июля вечером было получено известие о том, что Германия объявила нам войну.

Величайшая мировая трагедия началась. За день до объявления нами всеобщей мобилизации я выехал на пароходе из Ялты в Одессу и в день ее объявления был уже у отца.

Одесса волновалась, шумела, как встревоженный муравейник. Улицы были полны народа, оживленно комментировавшего на все лады официальное сообщение. Многотысячная людская масса сплошной стеной запрудила Дерибасовскую и прилегающие к ней улицы.

Могучие раскаты "ура" и громовое пение гимна сплошным стоном стояли над взбаламученным городом.

- Германия объявила нам войну! - слышались возгласы отовсюду.

- Долой немцев! Все на фронт! За Царя-Батюшку, за Русь Православную!

Вот на углу Дерибасовской и Екатерининской публика подхватила молодого, только что произведенного офицера и стала его качать.

- У-р-р-а-а-а! Не выдадим вас! Все пойдем, как один, на войну за вами! - хрипло кричит возле меня какой-то штатский, рабочий по виду.

- Кадет, а кадет, вы читали? - обращается ко мне неизвестная дама и сует в руки лист экстренной телеграммы, и я читаю:

"Со спокойствием и достоинством встретила наша Великая Матушка Русь известие об объявлении войны. Убежден, что с таким же чувством спокойствия мы доведем войну, какова она бы ни была, до конца. Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей".

С этими словами Государь обратился к народу, собравшемуся на площади против Зимнего Дворца.

Толпа расступается, все обнажают головы. Могучие звуки гимна полились из тысяч уст...

По Дерибасовской улице идет огромная манифестация и несет впереди портрет Государя, Государыни и Наследника.

Над толпой реют национальные флаги.

- Все на фронт! Умрем за Россию! - несется отовсюду.

Так Одесса встретила объявление войны.

ГЛАВА X

Взрыв небывалого национального подъема, искреннее желание всех без различия кругов общества принять посильное участие в войне широкой волной прокатился по

всей необъятной стране, от края до края, от моря до моря... Мобилизация шла в необычайном порядке, призывные являлись массами, зачастую до срока, случаев уклонения почти не было.

Высочайшим указом продажа казенного вина, водочных изделий и пива была запрещена на все время войны. Одним росчерком пера Государь "отрезвил" Россию, так же, как 18 лет перед этим самодержавной волей и властью Государь ввел в России казенную продажу питей, разработанную и проведенную в жизнь гр. Витте в тесном сотрудничестве с моим дедом.

По определению одного француза экономиста, посланного президентом Феликсом Фором к гр. Витте для ознакомления с проведенной реформой, последняя с государственной точки зрения превосходна и должна дать самые благие результаты. Но для того, чтобы ввести такую реформу во Франции, необходимо предварительно одно важное условие, а именно, чтобы та страна, в которой она вводится, имела неограниченного Монарха, а во Франции, увы, играют громадную роль при выборах кабатчики, борьба с которыми была непосильна.

К сожалению, запрещение продажи питей имело и серьезные отрицательные последствия. Не говоря уже о том, что запрещение продажи водки нанесло почти непоправимую брешь в государственном бюджете, оно повлекло за собой развитие тайной торговли вином, которая приняла огромные размеры, и при которой всякая шушера набивала себе карманы, обирая обывателя. Крестьянство же решило пополнить пробел водки гонкой спирта из пшеницы, ржи, кукурузы и прочих предметов насущной необходимости и, благодаря примитивности курения спирта, уничтожало громадные запасы нужного для войны продовольствия, что, конечно, пагубно отразилось как на фронте, так и в тылу.

В первый же день приезда в Одессу я сказал отцу о своем желании во что бы то ни стало идти на войну. Мой отец совершенно спокойно выслушал меня и ответил:

- Я понимаю твои мысли и чувства. Как честный человек и патриот, искренно любящий своего Царя и Родину, несмотря на всю тяжесть расставания с тобой, я должен приветствовать это твое желание. Но, так как это вопрос чрезвычайно серьезный и, быть может, решающий в твоей жизни, я тебе даю 24 часа на размышление. Ты взвесь все за и против твоего желания, проникнись сознанием важности предпринимаемого шага и тогда сообщи мне свой ответ!

Вполне понятно, я от своего желания не отступил, и мой отец послал телеграмму директору Николаевского Корпуса с просьбой разрешить мне идти на войну.

Я с трепетом ждал ответа, но он долго не приходил. Телеграф был перегружен военными телеграммами, и когда он, наконец, пришел, я был в отчаянии. Ответная телеграмма лаконически гласила: Не разрешаю, генерал-майор Квадри.

Не знаю, чем руководился директор Корпуса.

Тогда мой отец послал телеграмму Военному Министру генералу Сухомлинову, и около половины августа пришел ответ: Разрешаю вашему сыну отправиться на войну при условии взятия его из корпуса на свое попечение. Генерал Сухомлинов.

Я ликовал. День получения этой телеграммы был одним из самых счастливых дней моей жизни. Немедленно мой отец послал телеграмму генералу Квадри с просьбой уволить меня из корпуса по выдаче аттестата об окончании 5-ти классов такового и телеграмму командиру Крымского Конного Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка, полковнику Дробязгину с просьбой принять меня охотником для совместной службы со сводным братом штабс-ротмистром Думбадзе. Вскоре был получен от него благоприятный ответ.

Сборы мои были недолги, и после молебна в родном мне Одесском Корпусе, на котором, кроме директора генерал-майора Радкевича, инспектора генерал-майора Кошлича, ротного командира полковника Цытовича, присутствовало также мое бывшее отделение с моим воспитателем капитаном Жуковым во главе. Отец Петровский в прочувствованном слове благословил меня от имени корпуса иконкой Иоанна Воина, которая давалась обыкновенно кадетам, кончившим корпус. Я с нею никогда не расставался, она охраняла меня во все последующие тяжелые и трагические для меня дни и в настоящее время находится при мне.

С легким, радостным сердцем я шел на войну, и радость моя омрачалась только сознанием тех переживаний, которые должен был испытывать мой отец при отправлении своего единственного сына в поход.

От матери я скрыл свой уход на войну. Она узнала о нем только тогда, когда я уже был на фронте, и прислала мне свое письменное благословение. Ее иконка Козельщанской Божией Матери, которой она, как будто предчувствуя, благословила меня при моем отъезде из Ялты в Одессу, тоже каким-то чудом сохранилась у меня до сего дня. Один раз я считал ее пропавшей, но она все же вернулась ко мне.

Я прибыл в полк 29 августа в г. Бельцы Бессарабской губернии, где он временно находился на охране румынской границы, и был зачислен в 5-й эскадрон в тот взвод, которым командовал мой сводный брат. В сентябре полк прибыл в Гродно и вступил в состав 1-й отдельной гвардейской бригады, которой командовал Свиты Его Величества генерал-майор Скоропадский, далекий, как и мы все, от мысли, что он будет "гетманом всея Украины". В состав бригады входили Кавалергардский и лейб-гвардейский Конный полк, наш полк, пулеметная команда Кирасир Его Величества и батарея лейб-гвардии Конной артиллерии. В составе бригады полку пришлось принять участие в боях в знаменитых Августовских лесах и при вторичном наступлении нашем на Восточную Пруссию.

В одном из первых больших боев около Сувалок 17 сентября я был ранен в руку осколком бризантного снаряда, но, не перевязываясь, остался в строю до конца боя, продолжавшегося около пяти часов. В этом бою с арьергардом отступавшего германского корпуса, ошибочно принятого нами за уходивший обоз, бригада попала под сильнейший сосредоточенный огонь немецкой тяжелой артиллерии и после неравного спешенного боя отошла в лес. В лесу я отправился с одним всадником искать дорогу для одной из отошедших партий, оставшейся в одиночестве с тяжело раненым поручиком моего полка В., заблудился и после двух суток странствования по дремучему Августовскому лесу, в полном неведении, где свои, где противник, без карты я нашел, в конце концов, свой полк в Августове.

Рана моя стала гноиться, и меня эвакуировали в Ригу, где я сначала лежал в чудесном лазарете при городской больнице, потом месяц провел, долечиваясь, в имении Зегевольд, моих друзей детства князей Кропоткиных, после чего вернулся на фронт. Из Зегевольда я ездил на три дня в Петербург навестить своих родственников.

ГЛАВА XI

В Петербурге за время войны я был впервые. Странное скверное впечатление произвел он на меня.

Пройдя вечером на Невский, залитый морем света, я увидел его еще более оживленным, чем в мирное время. Шикарные туалеты дам, последние модели из Парижа, соболя, котиковые манто, крупнейшие бриллианты, переливавшиеся всеми цветами радуги из-под шляп прелестных обладательниц, смешивались с серо-зеленой военной толпой, запрудившей Невский на всем его протяжении. Штатских почти не было видно. Казалось, что весь Петербург, или, по новому наименованию, Петроград мобилизован до последнего жителя и готов ежесекундно выйти на фронт, чтобы сложить головы на поле брани. Но пристальнее всматриваясь в сновавшую мимо меня военную толпу, я был поражен сравнительно малому количеству в ней офицерства. Все остальное "защитное", проносившееся мимо меня, звеня шпорами, сверкая золотыми и серебряными погонами, напоминало не военных, а ряженных масленичной недели.

Наличность солдатских шинелей, погон, шашек, шпор с малиновым звоном отнюдь не придавали ей военного вида. Это были штатские в военной форме. Форма всей этой молодежи с их неведомыми для меня отличиями в виде красных крестов, топоров, лопат, якорей и еще, Бог его ведает чего, на погонах были совершенно новы и непонятны!

- Это что еще за герои? - спросил я моего спутника по прогулке по Невскому.

- Что? Да разве вы не знаете? Это - земгусары и гидроуланы...

Я ахнул: "Как, - говорю, - да вы бредите, повторите еще раз", - и мой спутник мне объяснил, что все это уполномоченные, особо уполномоченные, начальники и служащие в общественных организациях, работающих на оборону, как-то: Земского союза или "Земсоюза" или "Союза Городов", что вместе и называется "Земгор", формирующий санитарные отряды, поезда, бани, отряды гидротехников по выкачиванию воды из окопов и т. п., и которых досужие петербуржцы прозвали "гидроуланами" и "земгусарами" за их любовь подделываться под "кавалеристов". Словом, это были все те, которые, нарядившись в балаганную военную форму, на законном основании уклонялись в тылу от службы на фронте, а впоследствии сделались главными агитаторами и растлителями нашей могучей армии, изнемогавшей в тяжелой борьбе. К ним присоединились махровым цветком распустившиеся "земсоюзы", "земгоры" и другие организации, сокращениями испакостившие русский язык и уготовившие путь будущим "совдепам", "совнаркомам", "комбедам", "профсоюзам" и прочей дряни...

Было противно и больно наблюдать все это. Около здания городской Думы стояла толпа народа, и слышались какие-то крики. Я захотел посмотреть, в чем дело, но мой спутник заупрямился.

- Не стоит, надоело! Это один из очередных сборов.

Но я все же потащил его к толпе. Глазам моим представилась удивительная картина. На тротуаре было устроено подобие павильона с громадной надписью: "Артист - солдату" и из него слышался дикий вопль. Кто-то дрожащим, как будто предсмертным голосом, кричал:

- Х-х-хоо-ло-дно в о-о-копах! Ух, как холодно, жертвуйте, граждане, жертвуйте! Хо-о-олодно в о-к-опах!

Оказывается, производился сбор артистами в пользу нашего брата.

Впечатление получилось отвратительное. Гнусавый голос какого-то шута производил впечатление полного нашего провала на фронте; впечатление сбора на нищую, босую и оборванную армию, потерпевшую непоправимое поражение, и создавал унылое настроение толпы, вносившей пятаки и гривенники.

Говорят, что эти же артисты устраивали какие-то летучие концерты, но я их не слышал. Много проще и разумнее было бы поднять настроение толпы хорошим боевым маршем оркестра и сказать:

- Православные! Вы только что слышали лихой марш, но помните, что там, на фронте, защищая нашу родину, в холод и стужу идут в атаку наши отцы, мужья, сыновья и братья! Так неужели мы не поможем им?

А вместо этого по Невскому кто-то дико вопил: "Хо-о-о-лодно в о-о-копах! Ух, как х-о-о-олодно!"

Таково было положение и настроение толпы на Невском. А театры, как я убедился, делали битковые сборы, рестораны процветали, и вино в них, несмотря на запрещение, лилось рекой.

И всюду, везде и во всем все напоминало пир во время чумы! Настроение того общества, в котором я вращался, да и вообще всего петербургского общества снизу доверху, за редким исключением, было далеко не боевое.

То, что я наслушался в Петербурге в нескольких гостиных, где я бывал, все было по-старому. Отсутствие некоторых завсегдатаев, уехавших на фронт, мало замечалось, французская речь по-прежнему перемешивалась с английской, но по некоторым русским фразам все же можно было иногда вспомнить, что находишься в России. Различные "тант Зизи" и "кузина Мини" с весьма серьезными лицами обсуждали внешнюю и внутреннюю политику России, критиковали положение на фронте. Все это было настолько отвратительно и глупо, что я более трех дней в Петербурге не выдержал и, окончательно сбитый с толку, больной душевно и нравственно, уехал в Зегевольд, а оттуда не фронт.

Распутин! Это имя было самым модным и самым боевым на светском и политическом горизонтах Петербурга. Чего только я не наслушался о Распутине за эти дни, начиная с категорических уверений, что Государыня сделала Распутина "придворным лампадником", создав эту новую "должность", дабы дать ему возможность переселиться во дворец.

Положим, как по секрету сообщали некоторые, это совершенно излишне, так как Распутин и без того днюет и ночует во дворце!

- А Вырубова? Бедная Анна Александровна, она окончательно тронулась, сойдясь с этим мужиком! - можно было слышать в салонах, где я помню, кто-то заметил:

- Государыня - игрушка в руках Вырубовой, а Государь - нуль по сравнению с Распутиным. Можно Россию поздравить с Императором Григорием I и Императрицей Анной!

И гнусные сплетни венчались слухами "о регулярном спаивании Государыней Государя при участии Распутина"...

Я не собираюсь на страницах моих воспоминаний разбивать по пунктам все эти обвинения и клевету на несчастных Венценосцев, мерзость всех этих сплетен и их абсолютная вздорность и так ясна читателю из ранее мною написанного. Я вспомнил об этой гнусной лжи и провокациях, свивших прочное гнездо в русском обществе задолго до революции, только для того, чтобы показать, до какого морального и нравственного упадка дошло в те годы наше общество.

ГЛАВА XII

В январе 1915 года отец обратился к Государыне с просьбой устроить мне поступление в одно из военных училищ, несмотря на не окончание мной Корпуса, каковая и была Ею уважена. Высочайшим приказом, в изъятие из закона, мне разрешалось поступить в любое из военных училищ по собственному выбору.

Я избрал Елисаветградское Кавалерийское Училище, ближайшее к Одессе, в которое и поступил 1 июня 1915 года, а 1 февраля 1916 года окончил его и был произведен в прапорщики по армейской кавалерии с зачислением на службу в 5-й гусарский Александрийский Ее Величества полк, так как свободных вакансий в Крымском Конном полку не было.

В январе 1915 года я был глубоко осчастливлен получением первой боевой награды, Георгиевского креста 4-й степени за бой 17 сентября 1914 года. В это время заболел мой отчим. С ним случился сильнейший сердечный припадок, миокардит сердца, явившийся следствием контузий, полученных при взрыве бомбы, брошенной в него в 1907 году. Он, в сущности, никогда окончательно не поправлялся и сгорал, как свеча, на руках моей матери, обезумевшей от горя и совершенно поседевшей за год мучения ее любимого мужа.

Несчастный И. А. Думбадзе скончался в сильных страданиях 1 октября 1916 года. Моя мать была совершенно убита этой потерей.

Их Величества также сожалели о смерти этого истиннейшего и благороднейшего, беззаветно Им преданного человека, и моя мать получила от Государыни следующую телеграмму:

С глубоким прискорбием узнала о постигшем Вас горе. Пойми Вам Господь сил и крепости нести Ваш тяжелый крест.

Александра.

1 февраля 1916 года после производства я удостоился представления своей Державной покровительнице и своему любимому Шефу. Я был принят Государыней в Александровском Дворце, куда с вокзала доставлен в придворной карете, в Ее прелестном будуаре, находившемся в нижнем этаже первого подъезда дворца.

Я, как сейчас, вижу перед собой стройную царственную фигуру Государыни в нежно-лиловом, отделанном кружевами с едва заметной серебристой вышивкой платье с коротким треном, милостиво с чарующей улыбкой протягивающей мне руку в ответ на мой рапорт и принесенную благодарность за Ее милости ко мне.

Аудиенция длилась более 15 минут. Государыня подробно расспрашивала о моей службе в полку, о пребывании в Училище, о здоровье моего отчима, в теплых словах выражала соболезнования моей матери по поводу ее страданий за любимого мужа.

Прощаясь со мной, Государыня благословила меня иконкой Св. Георгия Победоносца, я стал на одно колено, и Государыня, перекрестив меня, собственноручно надела мне ее на шею.

Вторично мне пришлось представляться Государыне в июне того же года по случаю перевода меня в родной мне Крымский Конный Ее Величества полк, последовавшего также по приказанию Ее Величества. Государыня меня приняла в том же будуаре, но уже в платье сестры милосердия, поразительно шедшем Ей. Белая косынка мягко очерчивала Ее красивое одухотворенное лицо. На этот раз Государыня почти все время аудиенции расспрашивала меня о ходе болезни моего отчима, и в Ее чудных глазах я прочел искреннюю скорбь и сожаление, когда я сказал Ей, что считаю положение моего отчима почти безнадежным. Когда Государыня отпускала меня, Она сказала:

- Я буду молиться за Ивана Антоновича, быть может, мои молитвы облегчат его страдания. Пожалуйста, передайте вашей матушке мой сердечный привет и скажите ей, что я часто вспоминаю и искренно ее жалею.

Я был глубоко растроган такой отзывчивостью и добротой Государыни.

Снова в Царском Селе мне пришлось быть в конце августа того же года, когда я приехал для лечения полученной контузии головы и был помещен, за отсутствием свободных мест в собственных Ее Величества лазаретах, в лазарет Е. Ф. Лианозовой, устроенный ею на своей чудной даче, на Павловском шоссе, не только по последнему слову гигиены, но прямо-таки роскошно. Старшей сестрой лазарета была М. Г. Ливен, сестра мужа Е. Ф., очень милая немолодая уже женщина, а младшей - Клавдия Михайловна Битнер.

Лазарет был рассчитан на 16 человек. Компания офицеров собралась симпатичная, кроме некоего прапорщика Комарова, хама по виду и по манерам, по профессии сельского учителя, поразившего меня странностью взглядов, легкостью своих суждений о Царской Семье. Мне, по неопытности, было сразу невдомек, в чем тут дело, и только после революции я узнал, что он был эсер чистейшей воды.

Среди офицеров был также капитан лейб-гвардии Волынского полка Е. С. Кобылинский, впоследствии сделавшийся революционным комендантом Александровского дворца, и сопровождавший Их Величества в Тобольск.

Он был очень милым человеком, тихим, спокойным и очень уравновешенным, определенно питавшим нежные чувства к К. М. Битнер, отвечавшей ему взаимностью, в чем пришлось случайно убедиться.

Через несколько дней после моего приезда с моим верным и любимым денщиком Халилем наш лазарет посетила его хозяйка Е. Ф. Лианозова. Какой редкой доброты и сердечности была эта полная женщина, золотистая блондинка, с громадными глазами цвета морской волны, имевшими какую-то особенную притягательную силу, и подкупавшая всех своей ласковостью.

На содержание лазарета она тратила по тем временам бешеные деньги. Мы спали чуть ли не на голландском полотне и покрывались дорогими одеялами верблюжьей шерсти, щеголяя по лазарету в сафьяновых туфлях и мягких теплых халатах от Друса (английский магазин). Кухня лазарета по своей изысканности могла конкурировать с рестораном Кюба...

Кроме того, Е. Ф. содержала на свои средства половину одного из отрядов Кауфманской общины и посылала в различные части подарки на десятки тысяч рублей. Е. Ф. принимала нас, офицеров, когда мы ездили в Петербург, на своей роскошной квартире на Сергиевской, где нас закармливали свежей икрой, сигами и великолепными тонкими ужинами.

Многие офицеры, не привыкшие к такой обстановке и еде, в лазарете просто терялись и не знали, что им делать, но зато были и такие, которые доходили в своих претензиях до такого безобразия и распущенности, что даже по ночам требовали себе шоколаду, а один из них при мне потребовал каких-то особенных конфет, которые, я уже и сам не знаю как, были доставлены служителем, бегавшим в город...

Вообще, господа офицеры во всех лазаретах Царского Села были обставлены более, чем прекрасно. Так, например, для поездок к врачам-специалистам конюшенное ведомство отпускало им придворные экипажи, и в них часто можно было видеть фигуры, мало внушающие доверие, вроде Комарова, развалившиеся в небрежных позах в ландо с кучером и выездным в придворных ливреях. Словом, офицеры, как и солдаты, лежавшие в Царском Селе, были обставлены так, что, кажется, им только птичьего молока не хватало.

Государыня и Великие Княжны посещали все лазареты, без исключения, тяжело раненые удостаивались особого внимания. Некоторым в лазарете посылались цветы, и Государыня лично справлялась по телефону о здоровье по несколько раз в день.

Лично же Государыня и Великие Княжны Ольга и Татьяна работали в качестве простых сестер в лазарете Большого Дворца, а также и в Собственном Их Величества лазарете № 4, присутствуя и помогая при самых тяжелых операциях.

Я пробыл в лазарете до 20 ноября, после чего уехал в Ялту для подкрепления расшатанного здоровья с назначением в Здравницу Ее Величества в Массандре.

Сентябрь месяц я пролежал в кровати, а в октябре съездил в Петербург, где мог убедиться, что настроение столицы, которую я два года не видел, еще более ухудшилось. Петербург напоминал нервным, бешеным темпом жизни желтый дом, а мятущиеся по улицам толпы народа походили то на тихо-, то на буйнопомешанных. Общество окончательно развинтилось, языки распустились, и травля Государыни достигла своего апогея.

В лучшем случае, Она была явной "германофилкой, склонявшей Государя к заключению сепаратного мира", в худшем - германской "шпионкой".

Пока эти разговоры велись по гостиным и салонам, это было возмутительно, но все же это было еще полбеды, но 1 ноября те же обвинения против Государыни были брошены уже открыто, с Думской трибуны, во всеуслышание!

В этот день я был в Думе впервые. Когда я шел туда, думал, что увижу собрание избранников русского народа, в момент безмерного напряжения своих народных сил страны слившихся в едином патриотическом порыве, забывших партийность и бывшие раздоры и воодушевленных только мыслью поддержать свою страну и Царя в тяжкую годину величайших испытаний, ниспосланных нашей Родине!

Но я только разочаровался. Сердце восторженно билось, когда после прочтения Указа Государя об открытии сессии Родзянко провозгласил "ура" обожаемому Монарху! Зал дрожал от восторженных криков. Первую половину заседания вел Родзянко.

После перерыва товарищ председателя Варун-Секрет объявил, что Родзянко внезапно занемог, и он занял его место.

Заседание возобновилось. На трибуне появился лысый старичок с внешностью профессора провинциального университета, в очках и потертом пиджачке. На хорах левой половины зала прошел сдержанный одобрительный шепот. Возле меня кто-то спросил:

- Кто это?

- Да это Милюков! - ответили ему.

Милюков не спеша, спокойно и уверенно вынул из объемистого кармана пачку бумаг и громким, внятным голосом начал свою речь. С каждым его словом во мне поднималась буря негодования.

Я не знал, что мне делать... Хотелось плакать, кричать, но приходилось сдерживаться и только безпомощно сжимать кулаки...

Варун-Секрет невозмутимо сидел на своем месте, почти не прерывая оратора, дал ему возможность свободно закончить свою возмутительную речь.

Милюков сходил с трибуны под гром рукоплесканий левой части зала и хоров.

Было очевидно, что и болезнь почтенного Родзянко, и безмолвие Варун-Секрет, все это было заранее предусмотрено и планомерно приводилось в исполнение.

На следующий день газеты вышли с огромными белыми дорожками: цензура речи Милюкова не пропустила. Но цель была достигнута, дело было сделано... Яблоко раздора было брошено в широкие массы русского народа...

С тяжелым сердцем, в ужасном настроении я покинул Думу, решив, что в этом проклятом учреждении ноги моей больше не будет.

Вернувшись в Ялту в конце ноября, я было снова поместился в Здравнице Ее Величества, но мне скоро пришлось ее покинуть, так как я заболел натуральной оспой и переехал к матери, продолжавшей жить в Ливадии.

Весь декабрь и начало января болезнь приковала меня к постели.

По газетам, в большом количестве получаемых моей матерью, я узнал о все ухудшавшемся политическом положении.

18 декабря, вечером, из свежих агентских телеграмм я узнал о роковом выстреле в Юсуповском особняке...

В конце января, немного оправившись, я вернулся в Царское Село, где мне предстояло докончить лечение контуженого уха и глаз.

В этот приезд я был помещен в лазарет № 12 г-на Вольтерс на Новой улице в Царском. Вольтерс оказался очень милым человеком, бельгийским подданным, женатым на русской и имевшим коммерческие дела в Петербурге. В одной из комнат своей дачи он устроил палату для четырех выздоравливающих офицеров. Проще говоря, четыре офицера всегда имели возможность гостить у милой семьи Вольтере как хорошие, добрые его знакомые.

Политическое положение ухудшалось с каждым днем. Хотя я дал себе слово больше в Думу не ходить, но все же не выдержал и, поддавшись уговарам моего хорошего знакомого, члена Думы князя Ш., советовавшего мне пойти послушать Пуришкевича, сделавшегося из популярного монархического деятеля знаменитым убийцей, пошел туда.

15 февраля, в день открытия Думы, рано утром с тяжелым предчувствием вышел я из лазарета и пошел на вокзал.

Около Царскосельского вокзала я увидел большой наряд конной полиции. Около Думы встретилось еще несколько конных патрулей. Князь Ш. говорил мне, что рабочие хотят пройти к Думе и предъявить ей какие-то требования, но что, конечно, все меры приняты для недопущения каких бы то ни было демонстраций. И, на самом

деле, кроме этих нарядов полиции, ничто не изменилось в обычной будничной жизни Петербурга.

Когда я поднялся на хоры, они были уже переполнены. Настроение у всех было напряженное, приподнятое, но не думаю, что от радостного чувства, а скорее обратное, ведь сегодня должна была продолжаться травля правительства, начатая еще с исторического заседания 1 ноября!

После полуторачасовой речи Министра Земледелия Ритиха, кстати, выступавшего впервые, но, несмотря на то, замечательно тонко и метко полемизирующего со своими противниками слева, на трибуне появился Керенский, горе родины,[1] с минуту метался по трибуне, размахивал руками и что-то истерически выкрикивал. Благодаря отсутствию многих зубов, он ежеминутно оплевывал стенографисток, сидевших под трибуной. Те, видимо, в демократическом умилении принимали это за весенний дождь. После нескольких резких и нахальных фраз по адресу правительства, он был лишен слова и под невероятный шум и стук по пюпитрам справа и жидкие аплодисменты слева покинул трибуну.

г----------

[1] Как удачно окрестил его, к сожалению, неизвестный мне вольноопределяющийся, крикнувший ему эти слова на Московском совещании 6 августа 1917 года.

L_____

Ныне мне вспоминается один случай из жизни этого господина. Как-то раз, во время его речи, когда он в патетическом исступлении изрыгал фонтан своей бешеной слюны, кто-то из зала ему крикнул:

- Керенский! Я жертвую пять рублей на покупку зонтика стенографисткам, а то вы их заплюете!

Эта реплика произвела на него впечатление разорвавшейся бомбы. Характерный факт приводит Н. Карабчевский, товарищ Керенского по адвокатуре.[1]

г----------

[1] Н. Карабчевский. Что мои глаза видели. Ч. II. С. 161-162.

L_____

Однажды во время масленицы Керенский явился на квартиру одного из членов Думы, где собрались гости, в облачении древнего римлянина времен Республики с мечом в руках. Все нашли, что в шлеме, из-под которого торчали его характерно растопыренные уши, и с мечом в руках, на своих тонких ногах он весьма удачно выразил "стойкую храбрость русского революционера".

Эти слова прекрасно характеризуют этого болтуна и все то стихийное и безсмысленное движение, которое он возглавлял.

После речи Керенского место на трибуне занял Пуришкевич.

Что говорил Пуришкевич?

Теперь мне трудно вспомнить и передать его речь. Одно могу сказать, что ею, на мой взгляд, он еще больше принес вреда своей Родине, чем Милюков 1 ноября. Из уст этого глашатая русского монархизма срывались слова об участии в управлении страной "темных сил", об измене правительства русскому делу, перемешанные с намеками на вредную роль Государыни в деле управления страной! Я был совершенно потрясен и уничтожен...

Давно ли этот депутат появлялся в Думе с красной гвоздикой, продетой в пуговичную петлю панталон, давно ли из уст его неслась весьма непарламентская брань по адресу Милюкова и его присных?..

В моей голове никак не укладывалась эта перемена мыслей, взглядов и действий.

Так верноподданный Пуришкевич и кадет Милюков духовно протянули друг другу руку и оказались в оппозиции к Его Величеству!..

Бедная, несчастная Россия!!!

ЧАСТЬ II

Император Николай II

"Как женщина, ему вы изменили,

И как рабы, вы предали его..."

В те дни, когда мы низко так упали,

Везде мне грезился священный образ Твой,

С очами, полными загадочной печали,

С лицом, исполненным небесной добротой.

Тебя жалеть я не могу, не смею -

Ты для меня по-прежнему велик!

Я пред Тобой, моим Царем, благоговею,

И стыдно мне смотреть на Твой любимый лик.

Слепой народ, обманутый лжецами,

За доброту души Твоей святой

Тебя клеймил позорными словами

И казни требовал - над кем же... над Тобой!

Не так ли пал и Царь коварной Иудеи,

Мессия истины, народная мечта...

И Бога своего презренные евреи

Распяли на доске позорного креста!..

И Царь был осужден на пытки рабской казни,

Над Божеством глумился весь народ,

И люди-изверги убили без боязни

Того, Кто создал мир, моря и небосвод.

Но, победив в аду немые силы гроба,

Восстал Христос и всем явился вновь.

Побеждена безпомощная злоба,

И козни зла рассеяла любовь...

Я верю в час священного возмездья:

Клятвопреступники, вас кара неба ждет!

Вас уличат в предательстве созвездья,

Над вами солнце правды не взойдет!

И камни возопят от вашего злодейства,

Вас грозно обличит правдивая судьба:

За низость ваших чувств, за подлость фарисейства,

За клеветы восставшего раба...

Еще недавно так пред Ним склоняли выи,

Клялися вы Его до гроба защищать,

И за Царя, Вождя, Хозяина России

Вы обещали жизнь безропотно отдать.

И где же, где слова, где праздные обеты,

Где клятвы верности, присущие войскам?

Где ваших праотцев священные заветы?

Обманутый, Он твердо верил вам...

Он, ваш исконный Царь, прямой и благородный,

В своей душе Он мог ли помышлять,

Что вы готовитесь изменой всенародной

России честь навеки запятнать!

Предатели, рожденные рабами!

Свобода лживая не даст покоя вам:

Зальете вы страну кровавыми ручьями,

И зарево огня пройдет по деревням.

Пройдут века, но подлости народной

С страниц Истории не вычеркнут года.

Отказ Царя, прямой и благородный,

Пощечиной вам будет навсегда!..

С. Бехтеев.

Из книги Ф. Винберга "Крестный путь"

ГЛАВА I

Через несколько дней после знаменитого думского заседания я навестил в Царском свою сводную сестру, Нину Кологривову. Недалеко от казарм 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка, где она жила, я встретил ее мужа, прикомандированного к Собственному Его Величества Сводному полку, несшему охрану Александровского дворца.

Костя, муж Нины, возвращался с дежурства во Дворце. Он был весь под впечатлением встречи с Государем во время обхода постов в парке.

- Я совершенно неожиданно столкнулся с Государем, когда Он с Великой Княжной Татьяной Николаевной выходил из одной боковой аллеи, - сказал он мне, и глаза его сияли счастьем.

- Государь и Великая Княжна улыбнулись, видя мою растерянность, и Государь спросил меня:

- Вы проверяли посты? Если да, то я пойду домой, вы тоже?

- Мы вместе дошли до Дворца, причем всю дорогу Государь расспрашивал меня про полк, рассказал мне последние полковые новости с фронта... Ты не можешь себе представить, Сережа, насколько прост Государь в обращении с нами!!!

Дома после обеда около камина, в котором весело потрескивали дрова, я рассказал Нине и Косте свои переживания последних дней. Кологривов сидел в кресле, подперев голову руками.

- Только чудо может спасти нас от революции! - прервал он мой рассказ о думском заседании, чествующем Пуришкевича.

Чья-то невидимая рука гонит нас на край пропасти! Ты только послушай, что делается у нас в гарнизоне! Вопреки всем приказам, наши запасные части укомплектованы не крестьянами, а фабричным людом и подонками больших городов... Офицерский состав - прикомандированные к полку г.г. из народных учителей, почтовых чиновников и других "сознательных" интеллигентов, которые командуют ротами, а то и батальонами. Посмотри на солдат - разве это Гвардия? Гвардии больше нет! Она легла костьми на полях Восточной Пруссии, Польши и Галиции... Теперешний гвардейский солдат - это ряженый, с манерами фабричного рабочего с Выборгской стороны! Не так давно Арцыбушев,[1] обходя караулы, зашел в караульное помещение тракторных батарей[2] и нашел караул спящим. Сам понимаешь, что произошло... Он растолкал спящих, а когда выходил из помещения, то в него швырнули камнем.

г----------

[1] Штабс-капитан 4-го Стрелкового полка.

[2] Тракторные 12-дюймовые батареи были расположены в Царском Селе, где они формировались.

L_____

Я ушам своим не верил, до того все это было кошмарно, дико и ново для меня.

- Ты удивлен, потрясен, дорогой мой! Да, все это ужасно, но это пустяки. Месяцев шесть тому назад прихожу я в нашу полковую канцелярию. Не успел я войти в комнату, как в нее влетел сверхсрочный унтер-офицер, которого я давно знал. Трясущийся, бледный, как полотно, он спросил, где командир полка? Полковника Колотинского[1] не было. Я попытался узнать о причине его волнения, но он отказался мне что-либо сказать и только причитал:

- Уж прямо-таки и сказать не могу, Ваше Высокоблагородие... Десять годов служу, а такого со мной еще не бывало... Ужасти! одно слово!!

г----------

[1] Гв. полк. Колотинский командовал Запасным полком 1-го Стрелкового Имп. Фамилии полка в Царском Селе.

L_____

Вскоре пришел Колотинский. Через несколько минут он вызвал меня и передал сущность доклада унтер-офицера. Оказалось, что последний, проходя мимо столовой в офицерском собрании, был позван туда несколькими прикомандированными к полку прапорщиками, спросившими его:

- Бьют ли офицеры в полку солдат?

Получив от изумленного таким вопросом унтер-офицера категорический ответ: никак нет, Ваше Благородие, у нас в полку этого не бывает! - один из прапорщиков заметил:

- Ну, а если кто и попробует, то гони ему, братец, штык в пузо!

От такого совета старый служака обомлел окончательно и стремглав бросился доложить об этом командиру. Понятно, что прапорщик этот был немедленно вызван в канцелярию. Он был нещадно изруган Колотинским и с места отправлен в Петербург, на главную Гауптвахту.

Естественно, что ему грозил военный суд со всеми последствиями ввиду военного времени!

Костя, тяжело вздохнув, прибавил:

- Вот тебе два примера из жизни запасных частей Гвардии, расположенных здесь, в Царском... Мы же держимся бодро, дисциплина у нас отличная... Солдаты - молодец к молодцу, но теперь к нам чувствуется какое-то недоверие... Больно говорить об этом!

У меня невольно сорвалось:

- Как недоверие... Этого быть не может! Неужели Их Величества вам не доверяют?..

- К сожалению, это так... После смерти Распутина Императрица сделалась очень замкнутой и молчаливой, и как будто какой-то холодок прошел между Ней и нами, офицерами Сводного полка. Теперь все идут разговоры о приходе в Царское Село нам на помощь батальона Гвардейского Экипажа... До сего дня мы ни в чьей помощи не нуждались. Все шло и идет отлично. Службу мы несем образцово. Известие о приходе Гвардейского Экипажа, если хочешь, оскорбило нас, а недавно приехавший из ставки генерал Гроттен, вновь назначенный помощником Воейкова,[1] успокоения в дворцовую жизнь не внес ни своим "фронтовым" видом, в папахе и полушубке,

поминутно проверяя посты, ни пытаясь экзаменовать нас, офицеров, в знании наших обязанностей во время дежурства во Дворце! Его "защитный" вид совсем не гармонирует с дворцовой обстановкой... Ведь мы дежурили в кителях при одной шашке и даже револьвер берем просто в карман... А тут ходит какая-то фигура, чуть ли не в боевой амуниции... Недавно мы просили командира объяснить причину такой перемены отношения к нам. Ресин[2] собрал нас в собрании и в краткой речи, со слезами на глазах, сказал нам:

г----------

[1] Свиты Его Вел. ген.-майор Воейков был Дворцовым комендантом и находился в Ставке с Государем.

[2] Ген.-майор Свиты Его Величества Ресин был командиром Сводного полка.

L_____

- Да, господа, нам не верят... Гвардейский Экипаж придет в Царское помогать нам нести караульную службу.

На наш вопрос: что же нам делать, - Ресин ответил:

- Нам на деле остается доказать преданность Их Величествам.

Мы просили командира передать Его Величеству наши самые верноподданнические чувства и с тяжелым сердцем разошлись из собрания.

Мы еще долго просидели с Кологривовым у камина, обсуждая назревавшие события, всеми ощущаемую нервность, а главным образом, начавшиеся безпорядки на заводах, работающих на оборону.

Морально угнетенный и разбитый физически, я вернулся к себе в лазарет, где узнал, что меня неоднократно вызывал по телефону мой однополчанин, корнет Ш., просивший немедленно приехать к нему по срочному делу в Петербург. Я с первым же отходящим поездом выехал из Царского.

То, что сообщил мне однополчанин, было настолько чудовищно, настолько невероятно и подло, что я несколько минут совершенно ошеломленный просидел в кресле, не будучи в состоянии произнести ни звука...

Ш. утром узнал от одного своего приятеля, служившего в Министерстве Иностранных Дел, лица, заслуживающего полного доверия, что на Государыню Императрицу Александру Феодоровну в конце февраля или начале марта готовится покушение. Лицу, согласившемуся исполнить этот адский замысел, обещалась крупная награда.

Бедный Ш. был страшно взволнован и нервно ходил по кабинету. Что делать? Как быть? Эти вопросы огненными буквами стояли перед нами. После долгих переговоров мы решили просить аудиенции у Ее Величества, так как оба собирались

ехать на фронт, и доложить Императрице все, что нам было известно. Это решение немного успокоило нас.

Когда я вернулся к себе в лазарет, меня схватила лихорадка. Несколько часов я пластом пролежал в кровати. Провел я почти безсонную ночь и только утром, после горячей молитвы, забылся в полусне, полном кошмаров.

События в Петербурге назревали и предупредили наше решение. Начиная со 2 февраля, я почти каждый день бывал в Петербурге. Тревожное настроение чувствовалось в, казалось, праздной толпе, наполнявшей Невский. Всякие слухи о том, что город останется без хлеба, таинственные россказни о каких-то необыкновенных приготовлениях полиции, о движении на Петербург войск, снятых с фронта, росли и ширились, будоража жизнь петербургского общества.

25 февраля я, не найдя на вокзале ни одного извозчика, отправился пешком по Загородному на Невский. Повсюду встречались наряды полиции и войск.

Около Владимирского собора довольно большая толпа народа что-то жарко обсуждала. На Владимирской улице я увидел необычно большое скопление публики, она все прибывала со стороны Невского, и вскоре вся улица была запружена толпой. Я с трудом протискался дальше. Дойдя до угла Владимирской и Невского, я увидел поразительную для меня, конечно, в те дни картину:

Невский, в сторону Адмиралтейства, был почти очищен от публики. По улице галопом, развернутым строем, проносились казаки 1-го Донского Его Величества полка и взводы конной полиции. Немногие прохожие, задержавшиеся в этой части Невского, пугливо жались к стенам домов. Со стороны же Николаевского вокзала медленно двигалась сплошной стеной толпа, на мой взгляд, достигавшая до тысячи человек. Вдруг над ней заколыхались красные тряпки, надетые на палки. В задних рядах послышалось нестройное пение Марсельезы. Вот она совсем близко от меня... В невольном бешенстве я сделал к ней несколько шагов. В этот момент из ее передних рядов выскочил какой-то мальчишка лет семнадцати, определенно семитского типа, в форме коммерческого училища с криком: Товарищ! Долой войну!

Меня взорвало. Я выхватил из кармана своего полушубка маузер и, направив на него, не своим голосом крикнул:

- Я тебе... такую "долой войну" покажу, что ты своих не узнаешь! Жидовская морда!

Я совершенно озверел в этот момент. Револьвер мой зловеще щелкнул, но выстрела не последовало. Сгоряча я забыл его передернуть, а в стволе не было девятого патрона.

С пронзительным воплем коммерсантик схватился за голову руками и в ужасе шарахнулся на Владимирскую. В наседавшей толпе послышались угрожающие крики:

- Офицер! Стрелять хочет. Бей его!

- Ну, кончено! - подумал я и судорожно сжал в руке револьвер.

Меня спас взвод казаков, налетевших в это мгновение на толпу, она дрогнула и бросилась врассыпную.

Быстрыми шагами пошел я по Невскому к Гостиному Двору и почти по безлюдным улицам добрался до знакомых.

27 февраля я опять приехал в Петербург. Положение значительно ухудшилось и стало крайне обостренным. В нескольких местах воинские части и полиция применяли оружие против демонстрантов. Фабрики и заводы бастовали. Началось брожение в частях гарнизона, а некоторые части, например Волынцы, хотя и не целиком, перешли на сторону восставших.

ГЛАВА II

По городу ходили толпы разнообразного люда. Слышались возгласы: Хлеба! Давайте нам хлеба.

Но в этих словах чувствовалось, что это умело подстроенная комедия, так как уменьшение выдачи хлеба на 1/4 фунта не знаменовало собой голода.

Я приехал в Петербург вместе со штабс-ротмистром лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка Карангозовым, и мы вместе стали пешком пробираться к центру города. Со вчерашнего дня картина на Невском не переменилась, и вдоль Невского по-прежнему ходили усиленные наряды полиции. Около Гостиного Двора мальчишка-газетчик продавал какие-то газеты.

Они нарасхват разбирались публикой. Когда мы проходили мимо, то услышали голос неунывающего петербуржца:

- Эй, мальчонка! Дай-ка газетку! Страсть, как хочется узнать, что. делается на Выборгском фронте!

Со стороны Литейного моста слышалась довольно частая ружейная перестрелка и изредка четкое токание пулемета.

Около публичной библиотеки мы поравнялись с ротой запасного батальона лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка с пулеметами под командой нашего общего знакомого поручика Р. На наши вопросы, куда он ведет ее, он взволнованно ответил, что к Литейному мосту, где за баррикадами засели восставшие.

На многих домах и столбах было расклеено объявление, в котором рабочие предупреждались, что, если они до 28 февраля не прекратят забастовки, то они все будут призваны в войска, а главари будут преданы суду. Но было слишком поздно. Приказ этот никем не был исполнен. Мятежники чувствовали себя много сильнее, чем растерявшиеся власти.

В "Астории", куда мы, в конце концов, добрались, все было по-старому. "Файф-о-клок" был в полном разгаре, и холл был переполнен обычной публикой. Только повсюду слышались оживленные разговоры о текущих событиях.

За одним из столиков мы увидели мою сводную сестру Ольгу Ивановну Коломнину, моего однополчанина штабс-ротмистра Губарева, штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного полка князя Накашидзе и еще несколько офицеров. Мы сели вместе пить чай. В это время со стороны Вознесенского проспекта послышалась военная музыка, и вскоре мимо наших окон в стройном порядке прошла рота Гвардейского Экипажа со знаменами во главе. Это была последняя воинская часть старой славной русской Императорской армии, которую я видел в таком привычном для меня, да и для всех нас, порядке...

Наше настроение как-то невольно приподнялось, и мы всей компанией вышли на Морскую и пошли вслед за уходившей ротой. Как нам сказали по дороге, она шла к Зимнему Дворцу на присоединение к оставшимся верным присяге войскам, которые собрались во Дворце из различных частей петербургского гарнизона. И, действительно, около главного подъезда Дворца стояла развернутая во фронт рота Преображенского полка с хором музыки, которая при приближении частей брала "на караул", и хор музыки играл соответствующие полковые марши. Слышались крики "ура".

Моя сестра осталась с несколькими офицерами около арки главного Штаба, а я со штабс-ротмистрами Губаревым, Карангозовым и князем Накашидзе прошли дальше.

Рота Гвардейского Экипажа, приветствуемая громким "ура", скрылась во дворе Дворца. Около Эрмитажа собралась небольшая группа зевак, смотревшая на происходившее. Одна из бывших в этой группе женщин, типичная курсистка, стала задавать полковнику Аргутинскому-Долгорукову, распоряжавшемуся приходившими войсками, наглые вопросы:

- Правда ли, что вся власть перешла в руки Государственной Думы, и что Царь отрекся от Престола? А вы тут, господин офицер, солдат собираете, чтобы рабочий народ расстреливать?

При этом ее маленькие глазки, глубоко посаженные под узким лбом типичной кретинки, дышали злобным огнем, а на белесо-синих узких губах играла торжествующая усмешка.

Полковник Аргутинский-Долгоруков спокойно объяснил этой особе, что все это ложь, и что сюда собираются те войска, которые верны своему Императору, и не потому, что они собираются кого-либо расстреливать, а потому, что их самих собираются расстреливать.

В это время с крыши главного Штаба и из-под арки раздались отдельные выстрелы, направленные на нас, а потом стрельба пачками, а также, как мне помнится, стрельба пулеметная по войскам, стоявшим у подъезда Дворца.

Толпа бросилась врассыпную, а мы поспешили за Преображенцами, которым было приказано войти во двор. Площадь мгновенно опустела. Несмотря на сильный огонь, открытый по нам, к великому счастью, никто ранен или убит не был, хотя пули щелкали по мостовой, как рассыпанный горох.

Двор Зимнего Дворца был переполнен солдатами Преображенского, Павловского и других полков. Огромные ворота закрылись за нами. Вышедший из здания генерал Занкевич обратился к солдатам с речью. Он поздоровался с солдатами.

Дружное: Здравия желаем, Ваше Превосходительство, - далеким эхом откликнулось повсюду. Прерывающимся голосом он со слезами на глазах начал свою речь... Привожу его слова, понятно, по памяти.

- Павловцы! Я обращаюсь к вам, как старый ваш командир, с которым вы не раз бывали в боях и сражениях! Братцы, что вы делаете? Вы Царя-Батюшку и нашу Матушку Россию врагам на растерзание отдаете! Помните, что все эти безпорядки выгодны только врагам нашим, немцам, которые с радостью теперь видят, что в России брат восстал на брата... Братцы, опомнитесь, послушайте своего старого боевого товарища!

Он еще говорил в том же духе с рыданиями в голосе, и слезы лились по его загорелому лицу. Видно было, что человек переживает глубокую сердечную драму, но солдаты слабо реагировали на его слова, и, когда он кончил, то только несколько десятков голосов нестройно ответили:

- Постараемся, Ваше-Ство!

Мы, стоя недалеко от генерала, с глубокой грустью и скорбью наблюдали эту тяжелую картину, картину развала некогда могучей армии, картину разрыва солдат со своими боевыми офицерами... Видя такое плачевное состояние духа собравшихся войск, мы поняли, что полезны им быть не можем, и вышли со двора, направившись вдоль решетки Зимнего Дворца. Какие-то штатские, стоявшие возле здания Главного Штаба и заметившие нас, открыли по нам огонь из револьверов. Пули довольно густо защелкали по ограде. Пришлось устроить импровизированную перебежку, и мы дошли, вернее, перебежали, к Исаакиевскому собору. Князь Н. отправился домой, а я с остальными - обратно в "Асторию", куда и дошли без особых приключений. Всюду слышалась ружейная и пулеметная стрельба. Небо было освещено заревом пожара. Горело здание Судебных Установлений около Литейного моста и ряд полицейских участков, подожженных восставшими. Со стороны Мариинского театра вырывались столбы дыма и языки пламени. Горел Литовский замок...

ГЛАВА III

В нас, молодых офицерах, было сильно понятие о воинском чинопочитании и дисциплине, привитое нам с детства. В эти трагические для России дни мы искали старшего руководителя, мы ждали приказаний начальства, т. е. мы ждали того, к чему привыкли и чему были обучены.

К величайшему горю и сожалению, старшие воинские чины, бывшие в Петербурге в то время, как то Военный Министр, Начальник Петербургского военного округа и др., до того потеряли голову, что буквально почти без всякого с их стороны сопротивления власть была вырвана из их рук, и все перевернулось вверх дном.

Развитие петербургских безпорядков и, вообще, возможность переворота в те дни я исключительно приписываю слабости и безволию старших военачальников, так как, если отбросить весь Петербургский гарнизон, молниеносно разложившийся, и на который нельзя было рассчитывать, в Петербурге был ряд военных училищ, начиная с Пажеского Его Величества Корпуса, Николаевского Кавалерийского Училища и др. пехотных и артиллерийских училищ, а также специальных офицерских школ, которые при умелой, энергичной организации представили бы такую мощную силу, что никакому гарнизону, а тем более Петербургскому, состоящему из полуобученных солдат запасных гвардейских полков, не удалось бы справиться с этой действительно боеспособной силой.

На верность присяге и на стойкость офицеров и юнкеров того времени можно было положиться с закрытыми глазами, а единичные случаи измены тех и других могли бы быть пресечены в корне и в счет идти не могли. Солдатская же масса гарнизона не только не была подготовлена к организованному бою, но военно-моральный и качественный ее состав был ниже всякой критики. Это были не чудо-богатыри гвардейцы, герои тяжелых боев 1914 г., сложившие свои головы на полях Галиции и под Варшавой и взятые от сохи из здоровых крестьянских недр русского народа, а фабрично-городская масса, в которой, если и было что военное, то только форма, и та отвратительно, по-штатски, носимая.

Эти мои слова подтверждаются тем, что это серое стадо тотчас же после падения Императорской власти, каковое было для нас так же неожиданно, как и для всех, объявило себя славным Петербургским революционным гарнизоном, прокричало на всю Россию о своем революционном геройстве, но... на фронт идти отказалось...

С тех пор я стал различать два вида геройства. Одно - настоящее, по 1 марта 1917 г., другое - какое-то особенное, революционное, после 1 марта 1917 г. Положим, в России после переворота все сделалось "до" и "после". Один мой знакомый в разговоре со мной заметил на мое утверждение, что такой-то очень порядочный человек:

- Вы уклоняетесь от истины: был очень порядочным человеком до 1 марта 1917 г.

То же можно сказать и о наших петербургских старших военачальниках. Они были храбры и ретивы в речах и работе до 28 февраля 1917 г., но когда гром грянул, они, вероятно, перекрестились и сдали Петербург восставшим. На военно-учебные заведения и не подумали опереться. Часть их была разогнана мятежниками, как, например, Пажеский Корпус, где маленькие пажи подверглись избиению и принуждены были совместно со старшими пажами рассыпаться по городу. Николаевское Кавалерийское Училище пыталось сопротивляться, причем был зверски убит командир эскадрона. После неудачного сопротивления юнкерам пришлось также скрыться у родных и по частным квартирам. Между прочим, произошел следующий случай, ярко характеризующий, насколько планомерно было подготовлено восстание в Петербурге.

На Лермонтовском проспекте, где находится Училище, в другом конце улицы была расположена, насколько мне помнится, какая-то артиллерийская часть. Кто-то все время сообщал по телефону в Училище, которое находилось в полной боевой готовности и, разумеется, в нетерпении доказать на деле свою преданность Царю и

Родине, что в случае его выступления оно встретит сопротивление со стороны соседей артиллеристов, якобы перешедших уже на сторону восставших. Артиллерийская же часть, также прекрасно настроенная, все время получала предупреждения, что в случае выступления в пользу верных войск ей придется столкнуться с Училищем...

Так положено было начало провокации, принявшей потом всероссийский масштаб! Павловское Училище держалось вплоть до опубликования Министром акта об отречении Государя, чтение которого было встречено рыданиями юнкеров.

Михайловское Артиллерийское Училище 28 февраля присоединилось к временному правительству, и, как это видно из моих дальнейших записок, мне пришлось встретиться с его представителями в "Астории".

Итак, в Петербурге в те дни господствовало полное бездействие власти, и, когда после революции Керенским была создана знаменитая комиссия Муравьева для выяснения деятельности властей старого режима, мне передавали, что большинство ее членов, ознакомившись с документами и др. материалами, отобранными у Военного Министра Беляева, Министра Внутренних дел Протопопова и других, никакой вины за ними найти не могли, тогда как, не случись переворота, их следовало бы на основании действовавших в то время законов отдать под суд за халатность при исполнении служебных обязанностей и за их пресловутое бездействие.

ГЛАВА IV

В "Астории" настроение публики заметно ухудшилось, вестибюль был переполнен взволнованными обитателями гостиницы. В отдельных группах горячо обсуждали нараставшие события. В ресторане я застал еще одного своего однополчанина, корнета барона Ганна. Часов около 8 вечера мы узнали, что Дума, несмотря на Высочайший Указ о роспуске, постановила не расходиться...

Итак, свершилось... Предательская забастовка рабочих на заводах, работавших на оборону, изменнический солдатский бунт получили возглавление мудрых народных избранников в лице Камергера Двора Родзянко, профессора Милюкова, присяжного поверенного Керенского, Гучкова и их присных...

Верноподданный Его Величества, Председатель Государственной Думы Родзянко протянул свою барскую руку шайке взбунтовавшейся черни!

Немного спустя по гостинице разнесся панический слух, что толпа, громившая соседний полицейский участок, намеревается и нас не оставить без своего внимания...

Это известие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Волнение женской половины населения "Астории" достигло своего апогея. Кое-где слышался истерический плач, какие-то дамы бегали из ресторана в холл и обратно, кого-то ища и безпричинно волнуясь, лифт находился в безпрестанном движении, на главной лестнице от стремившихся вверх и вниз и сбитых с толку обитателей

образовались людские заторы, а в вестибюле происходила невероятная толчея и давка.

Крики и шум сделались еще более нестерпимыми к полуночи. Администрация гостиницы распорядилась потушить большую половину освещения, но это успокоения не внесло, а напротив, таинственный полумрак подействовал еще более возбуждающе...

И среди этого хаоса вдруг раздался призыв одного из старших военных чинов, бывших в "Астории". Молниеносно разнесся среди нас, офицеров, приказ генерал-лейтенанта Володченко собраться в банкетном зале для обсуждения положения, и через несколько минут там собрались все находившиеся в отеле офицеры. Генерал Володченко обратился к нам с красивой зажигательной речью на тему о том, что солдаты и рабочие обезоруживают на улицах офицеров, но что русскому офицеру не пристало без боя отдавать свое оружие всякой сволочи, а потому он предлагает организовать оборону "Астории" и вызывает добровольцев, которые пожелают остаться в вестибюле и попробуют вступить в переговоры с толпой, если таковая подойдет к "Астории".

- Итак, господа офицеры, кто же остается внизу? - закончил генерал свое обращение к нам.

- Располагайте мною, ваше превосходительство, - немедленно ответил я.

Генерал горячо потряс мою руку, хотя я в тот момент в этом моем порыве принести пользу в создавшемся положении ровно ничего особенного не видел и считал свой шаг само собой понятным.

Но каково было мое удивление, когда я увидел, что ко мне присоединилось всего пять офицеров, а именно: мои однополчане штабс-ротмистр Губарев, корнет барон Ганн, капитан 1-го ранга Китицын, генерального штаба полковник Тилли и еще один корнет, фамилию которого, к большому сожалению, забыл... Остальные господа офицеры, числом более 150, мрачно молчали... Нашелся и такой тип в форме полковника генерального штаба, который стал доказывать, что нам наше оружие надо безоговорочно сдать!

- Помилуйте, господа, разве мы в средние века живем? Оружие надо сдать! Мы не можем идти против народной воли! Это - преступление проливать народную кровь.

Так пытался при общем смущении убеждать нас этот субъект... Я едва не набросился на него с кулаками, но во время был кем-то удержан. Он оказался не один, его поддержали еще 1-2 офицера, но, получив от всех нас более чем резкий отпор, эта компания поспешила скрыться из зала.[1]

г----------

[1] В ноябре 1918 г., когда я был личным ординарцем генерала от кавалерии графа Келлера в Киеве, я еще раз встретился с тем полковником. Он был у нас в штабе, но уже в украинской форме. К сожалению, я не сразу опознал его. Он, видимо, узнав меня, поспешил скрыться, а я потом нигде не мог разыскать его, о чем очень жалел.

L_____

Полковник Тилли и капитан Китицын очень энергично принялись за дело, и при нашей помощи вскоре вестибюль был очищен от публики.

Положение иностранных офицеров, в большом количестве проживающих в "Астории", было воистину трагикомическое.

Англичане группами по 3-4 человека, с трубками в зубах, с физиономиями, выражавшими полнейшее равнодушие и безразличие ко всему происходившему, невозмутимо разгуливали по своим этажам.

Французы и бельгийцы, напротив, суетливо бегали друг к другу в комнаты, что-то уносили и приносили и поминутно обращались к нам с вопросами:

Что же им делать?

Французская речь слышалась во всех закоулках отеля. Великолепно держали себя несколько человек японских офицеров; они с большим любопытством в продолжение получаса наблюдали за дикой беготней по холлу, ресторану и коридорам гостиницы как публики, так и их союзных товарищей и, наконец, обменявшись на своем гортанном языке несколькими фразами, любезно поклонились нам, и один из них, в форме майора, видимо, старший в чине, старательно выговаривая слова, по-русски сказал нам:

- С-по-к-о-й-ной н-о-ч-и!

После этого они еще раз поклонились и как ни в чем не бывало отправились в свои комнаты.

Исполнивши первую часть своей задачи, мы решили детально обсудить весь план обороны. Полковник Тилли послал меня за генералом Володченко. Я обошел весь нижний этаж, поднимался на лифте во все этажи, но... генерал был неуловим. Наконец, один из мальчишек посыльных сообщил мне, что генерал уже более получаса покинул отель через черный ход!

Это было до того неожиданно, что, когда я передал об этом моим компаньонам, они буквально остолбенели от такой генеральской доблести и не могли и слова произнести.

Однако, раздумывать было некогда, в командование вступили полковник Тилли и капитан Китицын. Во время обсуждения создавшегося положения и наших дальнейших мероприятий к нам пришло еще несколько офицеров из числа тех, которые, хотя и поддержали идею обороны "Астории", но представляли свои доводы о том, что оборонять гостиницу невозможно, не подвергнув огромному риску женщин и детей, а также и совершенно ни к чему не причастных иностранных офицеров. Понятно, если толпа с нашими доводами не согласиться и не оставит нас в покое, а мы окажем ей сопротивление, защищая нашу офицерскую честь, мы все падем в неравной борьбе, и разъяренная чернь выместит свою злобу на ни в чем не повинных людях.

С этими вескими доводами нам пришлось, скрепя сердце, согласиться. Решено было, что мы, охрана, останемся внизу и, в случае подхода толпы, попытаемся вступить с ней в переговоры, а при намерении ее начать против нас агрессивные действия используем весь дар нашего красноречия, дабы усовестить ее, а там будь что будет!..

Таким образом, мы остались на весь нижний этаж одни. Я сел в кресло против большого зеркального окна, выходившего на Мариинскую площадь. Передо мной на стройном пьедестале вырисовывалась филигранная фигура бронзового всадника, облитая лучами взошедшей луны. Вокруг памятника мерно ходил, как ни в чем не бывало, запорошенный снегом гренадер.

Площадь была совершенно пустынна. Только изредка быстрыми шагами проносился через нее запоздалый обыватель. Слышалась отдаленная ружейная и пулеметная перестрелка, которая эхом проносилась по улицам. Небосклон был залит кровавым пламенем все еще горевшего Литовского замка.

Несколько минут я просидел без мыслей, потом мой мозг стал лихорадочно работать. Резкой, ноющей болью почувствовал я свою отдаленность от Царского Села.

Что с Ее Величеством? Каково Ее положение?

Эта мысль совершенно захватила меня. Назад! Я должен вернуться в Царское! Это желание отчетливо окрепло во мне.

Мои размышления были прерваны каким-то диким ревом, смешанным с нестройным пением, доносившимся снаружи. Вскоре выяснилось, в чем дело. По Вознесенскому проспекту шла разношерстная полупьяная толпа, горланившая какие-то песни. Она медленно продвигалась к площади. Я вышел из подъезда. Вот она уже совсем близко от Мариинского Дворца... Послышался звон разбиваемого стекла, затрещала выломанная огромная входная дверь, и передние ряды ворвались в вестибюль дворца. Я вошел в гостиницу. Полковник Тилли и капитан Китицын решили пойти к толпе, чтобы переговорить с ее вожаками о том, что они намерены делать: разгромить ли только дворец или перенести свое благосклонное внимание также и на наше местопребывание.

Они сняли свое георгиевское оружие и вышли на площадь. Я пошел с ними для связи, остановился около памятника и стал наблюдать. Они спокойно шли ко дворцу.

Вдруг из толпы отделилось человек 10-15 матросов, которые, развернувшись фронтом к идущим, легли на землю и приготовились...

Зловеще щелкнули затворы винтовок... Но ожидаемого залпа почему-то не последовало, и Тилли с Китицыным благополучно дошли до подъезда дворца и скрылись в нем.

Прошло томительно долго четверть часа... Наконец они снова появились на площади, и мы вернулись в гостиницу.

Тилли и Китицын рассказали нам, что, войдя в вестибюль дворца, они увидели толпу матросов и солдат, рывшихся в грудах служебных бумаг и документов, вываленных из взломанных столов и шкапов. К ним подошел какой-то штатский, который без объяснения причин приставил к ним двух матросов с винтовками и отправил их в соседнюю комнату, где они пробыли минут пять. За это время матросы рассказали им, что они с товарищами ищут здесь Министра Внутренних Дел Протопопова, который будто бы скрывается.

Китицын заметил им, что странно, что они ищут министра в ящиках письменных столов и среди служебных бумаг, на что ему вихрастый новобранец матрос безапелляционно заметил:

- Теперича леворюция, и завсегда так бывает!

В это время появился тот же штатский, по-видимому главарь этой шайки, который, узнав, по какому поводу пришли наши делегаты, с пафосом ударил себя кулаком в грудь и заявил, что он старый идейный революционер и не допустит никакого насилия над женщинами и детьми. Получив заверение со стороны Тилли и Китицына, что в "Астории" ни на крыше, ни под крышей никаких пулеметов не имеется и городовых мы не скрываем, сей революционный герой предупредительно любезно снял картуз и патетически, как артист на сцене, объявил Тилли и Китицына свободными, прибавив на прощание:

- Свободные граждане погромами не занимаются, и обитатели гостиницы могут спать спокойно!!

Мы стали наблюдать за толпой. Она еще с полчаса постояла около дворца, потом медленно повернулась и скрылась на Вознесенском проспекте. По-видимому, поиски Протопопова оказались тщетными.

Около двух часов ночи я снова вышел на площадь. У памятника гренадера уже не было. Старик, видимо, решил, что покой бронзового всадника нарушен не будет, и удалился восвояси.

Между памятником и дворцом из наваленной бумаги, вытащенной из последнего, несколько штатских и солдат сделали костер и, как ни в чем не бывало, грелись у огня...

На прилегающих улицах слышались одиночные выстрелы, чьи-то душераздирающие крики и стоны. Это, по-видимому, озверелые мятежники расправлялись с городовыми и вообще с полицией, попадавшей в их руки...

Вернувшись обратно, я застал в вестибюле барона Ганна, который пришел заменить меня. Усталый и разбитый пошел я отдохнуть в номер к своему новому знакомому, корабельному инженеру поручику К., любезно пригласившему меня на эту ночь к себе.

Так начался, по выражению Пушкина, русский бунт, безсмысленный и безлошадный, неизвестно почему впоследствии названный великой безкровной революцией!..

ГЛАВА V

Проснулся я довольно неожиданно: меня изо всех сил расталкивал мой полуодетый сожитель.

- Вставайте! Вставайте! Матросы заняли гостиницу!

Я быстро вскочил. Поручику долго не пришлось объяснять мне, в чем дело.

- Это начало и конец! - пронеслось у меня в голове.

В коридоре слышались дикие крики и какой-то грохот. Я подошел к двери, и в этот момент кто-то застучал к нам в дверь чем-то тяжелым.

- Кто там ломится? Подождите! Не пожар! - нарочно преувеличенно спокойно ответил я на продолжавшийся бешеный стук.

Пришлось открыть дверь. В комнату ворвался молодой матрос с карабином в руках и заорал:

- Ваше благородие! Давайте оружие!

Он как-то сразу умолк и смутился. По-видимому, это занятие было ему еще очень мало знакомо, и ему было как-то не по себе.

- Ты, братец мой, не волнуйся, толком расскажи, в чем дело и что тебе от нас надо? - обратился к нему поручик К.

- Так что, значит, приказано от офицеров оружие отбирать!

- Кто приказал? - спросил я.

- А у нас старшой есть... Студент, так он и приказал!! Мы до того были ошеломлены этим ответом, что несколько мгновений молчали.

- Дожили, дорогой мой!.. - и К. посмотрел на меня и грустно усмехнулся.

Едва сдерживая рыдания, передал он матросу свой кортик и маленький браунинг. У меня же мелькнула блестящая мысль. Я вошел в ванную комнату и перекосил девятый патрон в магазине своего маузера, так что казалось, что испорчена подача патрона вообще, и в таком виде вынес его матросу, предупредив, что револьвер испорчен.

Моя хитрость удалась на славу, матрос, повертев револьвер в руках, отдал мне его обратно, заявив:

- Поломанного оружия нам не надо, все равно от него никакого толка нет!

Таким же образом удалось мне отстоять и шашку, у которой, на мое счастье, был надломан эфес.

После наших расспросов выяснилось, что наш посетитель был матросом 2-го Балтийского Экипажа. Экипаж присоединился к восставшим после трехчасового боя с взбунтовавшимися солдатами лейб-гвардии Кексгольмского полка, обстреливавшего здание Экипажа из пулеметов. Во время перестрелки был убит командир экипажа, капитан 1-го ранга Гирс, но его никто заменить не сумел, а смерть командира так повлияла на матросов, что они перешли без офицеров, которым пришлось скрыться, на сторону кексгольмцев. В "Асторию" они пришли по приказанию вновь образованного Комитета Государственной Думы, который, по выражению матроса, "имеет теперь полную власть и правит заместо Царя для охраны гостиницы от вольной толпы, которая шибко громит гостиницу". Рассказав нам все это, он куда-то исчез.

Но не успели мы опомниться от первого вторжения, как в нашу комнату пожаловал новый гость. На этот раз уже без всякого стука вломился полупьяный, разухабистого вида солдат, обвешанный пулеметными лентами. Узнав, что у нас оружие уже отобрали, он из комнаты не ушел, а, видимо, желая хвастнуть своим новым положением, стал пьяным голосом рассказывать.

- Теперь наша взяла! Государя долой и увсех до-о-олой!.. Таперича мы заведем новые порядки!!! Старый режим продавал нас немцам, мы по свободе, значит, в-о-о как немцам морду набьем!!

Он для пущей убедительности громко икнул, потряс своей винтовкой и, потеряв равновесие, с размаху ударился о косяк двери.

Непечатно выругавшись, он на прощание представился нам, заявив, что он не кто-нибудь, а эскадронный фельдшер лейб-гвардии Конного полка, и прибавил:

- Теперь мы все здорово вооружены и никого не боимся... Я только разрывными пулями стреляю! - и нетвердыми шагами вышел из комнаты, оставив нас одних.

Для того, чтобы выяснить создавшееся положение, я решил пойти на разведку. Выйдя из номера, я пошел по направлению к главной лестнице. Почти все номера были открыты, и в них царил полнейший разгром. Из вестибюля доносились дикие крики, звон разбиваемого стекла, треск ломаемого дерева и частая стрельба.

Какие-то негодяи забавлялись стрельбой в пролеты лестницы и в лифтовые люки. Я попытался спуститься по лестнице, но это едва не стоило мне жизни... Несколько пуль врезалось в шаге от меня в перила лестницы. Пришлось повернуть и уйти в коридор. Навстречу мне бежала молодая еще женщина с ребенком в руках. Она истерично рыдала и вскрикивала:

- Они его увели! Куда?!! Зачем? Что он им сделал?!!

Я попытался ее успокоить и по ее безсвязанному рассказу понял, что толпа, ворвавшись в гостиницу без всякого предупреждения, около 8 часов утра, вытащила силой из номеров почти всех офицеров, одетых и полуодетых, и повела всех якобы в Думу. Зачем и почему, никто не знал... Проведя немного успокоившуюся даму до ее номера, я стремглав побежал искать капитана Китицына, жившего в нашем этаже, но, к большому моему горю, в номере его не застал, а комнату нашел в ужасном

виде: все чемоданы были раскрыты, вещи из них в безпорядке разбросаны по комнате, а из ванной комнаты доносился крепчайший запах французских духов.

Когда я вошел туда, моим глазам представилась удивительная картина: стоял какой-то солдат с оборванными погонами, без пояса и усиленно поливал себя различными духами и туалетной водой. На мое появление он не обратил ни малейшего внимания и как раз в этот момент выливал на себя бутылку зубного эликсира... Мне сделалось до тошноты противно при виде подобного безобразия, и я вышел поспешно из номера.

Я чувствовал себя совершено безсильным что-либо сделать! Поручик К., когда я вернулся, накинулся на меня с расспросами. Неопределенность нашего положения сильно тяготила нас. Нам было ясно, что только чудом нам удалось избежать прогулки в Думу... Нас попросту забыли, так как наш номер находился далеко от главной лестницы, в поперечном коридоре. В то же время нам не была ясна причина такого стремления всех и вся доставлять в Думу.

Только впоследствии я узнал действительное положение Думы в эти дни. Она сделалась не только руководящим центром мятежного Петербурга, но и каким-то новоявленным Олимпом, к которому все стремились в порыве массового психоза, начиная с таких высоких особ, как Великий Князь Кирилл Владимирович, который привел туда с красными флагами Гвардейский Экипаж и который обратился к Родзянко, вышедшему встречать эту единственную в своем роде воинскую часть, пришедшую в Думу с таким сиятельным командиром и его деятельным помощником капитаном 1-го ранга Лялиным, со следующей речью:

- Ваше Высокопревосходительство! Я и Гвардейский Экипаж присоединяемся к Государственной Думе!

Это была воистину трогательная картина: присоединение Великого Князя к войскам, бунтовавшим против его Державного Повелителя и Двоюродного Брата!..

По случаю столь высоко знаменательного события и капитан Лялин счел своим долгом подтвердить верность Гвардейского Экипажа начавшемуся военному бунту:

Товарищи! Мы сегодня переживаем великий и радостный день! Россия стала свободной! Матросы! Я хочу вам напомнить, что 85 лет тому назад ваши офицеры первыми пытались свергнуть ненавистное иго Самодержавия! Они выступили на Сенатской площади против тирании... Они первыми начали дело освобождения России! Теперь вы, товарищи, подали нам, офицерам, свою руку, и мы пошли за вами, свято веря в нашу правоту в деле освобождения России от векового ига![1]

г----------

[1] Речь Лялина была напечатана в газете "Русское Слово" от 3-го или 4-го марта 1917 г. Я воспроизвожу ее на память, но за смысл ручаюсь.

L_____

Не правда ли, недурной образчик красноречия старого гвардейского офицера?..

Кроме того, здание Думы и прилегающий район были запружены безчисленными толпами рабочих, штатских, зевак, домашней прислугой, представителями петербургского дна, "ждавшими присоединиться к Думе".

Сливки русской интеллигенции в лице студентов и курсисток изображали собой стражу революционного порядка, безпомощно стараясь разобраться в царившем бедламе... Дума сделалась складочным местом припрятанной муки и других предметов продовольствия, а также и целого ассортимента публичных женщин, которых кто-то удосужился с собой притащить... Очевидцы передавали мне, что картину, творившуюся в Думе в те дни, ни описать, ни передать словами было невозможно. Это было не законодательное учреждение, а просто крытый толкучий рынок в соединении с публичным домом последнего разряда!

ГЛАВА VI

К нам в комнату больше вторжений не было. Мы с К. решили переждать в вестибюле стрельбу, которая стала постепенно стихать. Нас очень безпокоила судьба Китицына, Тилли и других наших друзей и знакомых, о местопребывании которых мы не имели никакого представления.

Часов около 11 утра мы спустились во второй этаж. К большому моему счастью, я нашел Ольгу К., мою сводную сестру, у себя в номере. У нее собрались, кажется, все, кто чудом, как и мы, остались в "Астории", в том числе и лейб-гвардии 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка полковник барон Притвиц, генерал, фамилии которого не помню, несколько дам и человек 6-7 офицеров. Через некоторое время пришел корнет П. с большим шрамом и синяком на правой щеке. Оказалось, что его ударил прикладом какой-то солдат за то, что он пытался помочь знакомому генералу инвалиду, на которого с оскорблениями набросилась толпа, когда последний выходил на улицу.

Настроение у всех было подавленное и угнетенное. Мне было жалко смотреть на Притвица, до того он осунулся за это трагическое утро. Георгиевское оружие у него было отобрано. Он мрачно сидел в углу на кресле и украдкой вытирал набегавшие слезы.

О хлебе насущном позаботился гражданин-матрос, получивший синенькую на чай и приволокший из разгромленного погреба фунта три-четыре зернистой икры, наваленной прямо на чайные подносы, и несколько банок консервов. Матрос этот, слонявшийся без дела по коридору, оказался недурным малым и очень быстро освоился со своей неожиданной ролью посыльного при господах.

После столь оригинального завтрака все немного повеселели, и дамы наши хоть немного пришли в себя от пережитого волнения.

Я решил спуститься вниз, чтобы посмотреть, что там делается. В первом этаже меня поймал французский офицер и, волнуясь, заявил, что я должен оградить его от солдат, грабящих его номер. Я бросился с ним в его комнату. В ней два солдата преспокойно вынимали из шкапа, что им под руку попадало, третий финским ножом взрезывал большой кожаный чемодан. В негодовании я крикнул:

- Братцы, что вы делаете? Ведь здесь французский офицер живет?

- Ну и шта? Раз офицер, так его и туда!

Эта непечатная ругань была мне ответом. Самообладание покинуло меня и, развернувшись что было мочи, я не ударил, нет, а именно двинул ближе стоящего солдата по уху... Все это могло окончиться как для меня, так и для француза печально. Но участь сражения была решена неожиданным появлением здоровенного боцмана и вестового лейтенанта. Солдаты, увидев подоспевшую подмогу, как ошпаренные, выскочили из комнаты, напутствуемые здоровенными тумаками молодчины боцмана.

Провожаемый безконечными благодарностями лейтенанта, я спустился в вестибюль.

Глазам моим представилась чарующая картина, плод творчества освобожденного от 300-летнего произвола народа...

Все окна и витрины были разбиты вдребезги, в щепы была разнесена огромная входная дверь-вертушка, бюро швейцара разбито, не осталось ни одного целого стола, стула, кресла и вообще какой-нибудь мебели, в изобилии наполнявшей ранее элегантный вестибюль и холл. Даже трубы парового отопления были вырваны из своих гнезд, часть мраморной облицовки стен была сорвана и разбита на куски... Все внутренние двери были сорваны с петель и представляли собой обломки. Даже большинство люстр было уничтожено стрельбой в потолок, и стеклянная пыль от них буквально покрывала заваленный обломками пол, покрытый и без того на целую четверть грудами зеркального стекла, щепками, обрывками материи, кожей клубных кресел, от которых виднелись только одни голые остовы. Куски мрамора со стен и из пола, который тоже во многих местах был разбит ломами, валялись вокруг.

Соседние залы были также обращены в груды развалин. Пьяная толпа полуоборванных штатских, каких-то баб и солдат всех полков слонялась по нижнему этажу и доламывала последнее, что случайно осталось еще в целости... Слышалась площадная брань, смешанная с криками вроде:

- Довольно, сучьи дети, на своих ж... посидели, теперь и наша пора гулять пришла! - и т. д. в том же духе.

Матросы стояли около дверей и окон и пытались не впускать никого с улицы, но из этого ничего не выходило.

Я прошел в ресторан. Там картина была еще плачевнее. Громадный буфет был повален на пол и разбит топорами! От столов и стульев и помину не было, только мелкие щепки покрывали пол вперемешку с кусками красного ковра, покрывавшего зал ресторана. Инструменты балалаечного оркестра не избегли общей участи: от них осталось одно воспоминание в виде грифов, да и то сломанных на две-три части. Посуда была вся переколочена.

При моем появлении толпа доканчивала металлический сервиз... Каждая ложка, каждая вилка, соусник и прочее ломалось и коверкалось поштучно! Я не верил глазам своим, до того все виденное мною было кошмарно, дико и нелепо!

Двери в кухню и в погреб были выломаны. Оттуда поминутно вылезал мертвецки пьяный разнообразный сброд. Несколько человек уже валялось на полу в безчувственном состоянии.

Любопытство одолело меня, и я с трудом пробрался в погреб. Он был по щиколотку залит вином, водкой, шампанским и различными соусами. Это была какая-то клейкая коричнево-бурая жижа.

У винного отделения толпилась кучка людей. В самом же отделении несколько солдат с видом знатоков-дегустаторов отбивали об стол горлышки бутылок. Белое и красное столовое вино, как неприемлемое, пренебрежительно бросалось на землю, коньяк и водки отдавались толпе и тут же выпивались. Более расчетливые лазали по продуктному отделу и набивали себе карманы омарами, ананасами, сырами, пате де фуа гра и другими деликатесами. Громадная жестянка с зернистой икрой была вывалена прямо на стол, и несколько солдат суповыми разливными ложками уписывали ее за обе щеки.

В одном из безчисленных переходов я наткнулся на полутрупы, опившиеся и валявшиеся в этой грязной бурде.

Вдоволь насладившись этой единственной в своем роде картиной, я снова выбрался в ресторан.

В зале я застал поручика К. с несколькими боцманами (в том числе и с тем, который вызволил меня у француза) и унтер-офицерами, весьма энергично занимавшегося наведением хоть какого-нибудь порядка в вестибюле. Я присоединился к нему и приказал немедленно завалить вход в подвал остатками буфетной стойки, оставив в преисподней виденных мною гурманов...

Потом мы попытались выгнать всю лишнюю публику на улицу, но это удавалось плохо, матросы уже вышли из повиновения и халатно относились к делу.

В это время раздался звон шпор, и в вестибюль вошла справа по два в большем порядке батарея Михайловского Артиллерийского Училища. На всех офицерах и юнкерах красовались огромные красные банты!..

Оказалось, что Училище успело уже сходить на поклон к товарищу Родзянко и там исполнилось красной благодати! Батарея тоже пришла на водворение порядка в "Астории".

Батарейный командир, видя наши тщетные попытки сдержать натиск толпы на гостиницу, при помощи своих юнкеров в пять минут очистили весь нижний этаж от толкавшегося в нем сброда. Он попросил К. и меня, как знающих план отеля, взять на себя обыск и очистку второго и третьего этажей, так что я, получив под команду 15 юнкеров, сделался чем-то вроде коменданта 3-го этажа.

Вскоре мне удалось навести относительный порядок: солдат и несколько штатских, продолжавших слоняться по номерам и коридорам, я приказал без всяких разговоров выбросить на лестницу, откуда их передали в работу второму этажу и т. д. до самого низа...

Часов около семи вечера по гостинице с быстротой молнии разнесся слух, что кто-то откуда-то собирается обстреливать "Асторию" из артиллерийских орудий.

Слух этот был явно паническим и не проверенным. Говорили, что взбунтовался какой-то крейсер на Неве.

Училищное начальство немедленно собрало юнкеров, и вскоре батарея покинула гостиницу, оставив нас на произвол судьбы... Мы же, оставшиеся, решили, что и нам нечего делать в этом уютном уголке.

ГЛАВА VII

Все решили куда-либо пробиваться: кто к родственникам, кто к знакомым, моя же дорога была ясна:

- В Царское! К моей Государыне!

После всего пережитого, Ее положение представлялось мне в самых мрачных красках, но я гнал прочь эти мысли. Мне чудились офицерские отряды, ставшие на защиту Дворца с его Царственными Обитателями, полные жертвенного подвига, и моим долгом было как можно скорее присоединиться к ним...

С этими мыслями я покинул "Асторию". Я был не один, а имел двух попутчиков, решивших, как и я, пробиваться в Царское. Это были одна дама, хорошая знакомая Ольги, и штабс-капитан Е. Этого своего похода на Царскосельский вокзал я никогда не забуду! До Гороховой мы дошли благополучно. Мимо нас проносились безчисленные грузовики, а также и роскошные частные автомобили, наполненные солдатами и рабочим людом до отказа. Эти ватаги были сплошь вооружены и обвешаны пулеметными лентами, что, видимо, являлось новой, революционной формой. Над автомобилями реяли огромные красные флаги, сами они были заклеены плакатами, широко вещавшими новые чаяния псевдорусского народа, вроде:

- Долой самодержавие! Да здравствует временное правительство! - и проще:

- Да здравствует свобода!

Один из них привлек наше особое внимание, на нем значилось:

- Да здравствует Совет рабочих и солдатских депутатов!

Это было коротко, но для нас, во всяком случае, не ясно... Не думали мы в тот момент, что этому гнусному учреждению судьбой было предназначено сыграть такую роль в истории нашей Родины.

На Гороховой шла отчаянная стрельба, и по ней со зловещим ревом то и дело проносились санитарные автомобили. Пули барабанной дробью щелкали по фасадам домов. Пришлось устроить формальную перебежку из подворотни в подворотню... Пулеметными очередями полосами сбивало штукатурку с домов, и нас обдавало едкой известковой пылью.

Я никогда еще не чувствовал себя столь безпомощно и глупо, как в эти часы, хотя на войне бывал и не под таким огнем! Наша спутница показала редкое мужество, и мы медленно, но все же не меняя направления, продвигались вперед. На углу Гороховой и Загородного проспекта догорало здание полицейского участка. Почерневшие стены грустно смотрели на нас и как будто спрашивали: - Чем же мы виноваты?

На вокзале публики почти совсем не было, огромный мраморный бюст Императора Николая I был завешан красной тряпкой! Вокзал тоже присоединился к революции...

К нашему великому счастью, мы попали как раз к отходу последнего поезда! Это было нам наградой за этот тяжелый, трагический день. Мне даже не поверилось, когда паровоз, тяжело вздохнув, стал удалять нас от петербургского кошмара...

В лазарете меня встретили как без вести попавшего. Я еле успевал отвечать на град сыпавшихся на меня вопросов. В коротких словах я описал свои переживания. Сильный звонок и стук в дверь прервал мой рассказ.

Мы все бросились в переднюю. Когда открылась дверь, в переднюю не вошел, а ворвался капитан лейбгвардии Петроградского полка Сергей Гаврилович Лучанинов в сопровождении поручика его же полка, георгиевского кавалера, и шести прапорщиков.

Изможденное, исхудалое лицо Лучанинова было белее снега, глаза его горели странным огнем. И все же это измученное, усталое лицо выражало непреклонную волю и решимость.

Отрывистыми нервными фразами он рассказал нам о своем походе по колена в снегу на станцию Средняя после трехдневных боев в Петербурге с мятежниками, куда он привел до 400 нижних чинов, оставшихся верными присяге, и пришедших вместе офицеров. Солдаты с одним офицером остались на станции, а он со своими спутниками через поля, утопая в снегу, еле добрался до Царского Села, чтобы выяснить положение. Он желал присоединить свой отряд к частям, охранявшим Александровский дворец, для защиты Ее Величества и Ее Августейшей Семьи.

Появление его в Царском Селе было замечено, и за ним была устроена слежка. Тогда он решил зайти к нам в лазарет, где он лежал раньше, рассчитывая у нас временно разместить своих офицеров под видом раненых.

К сожалению, у нас не было ни одного свободного места, и Лучанинов так же стремительно, как появился, исчез со своими спутниками. Он собирался проникнуть во Дворец и вступить в связь со Сводным полком, стоявшим на охране Дворца.

Как впоследствии я узнал, Сводный полк Лучанинова не принял... Так закончилась единственная попытка оказать со стороны вооруженную помощь Семье своего Императора, находившейся в критическом положении...

ГЛАВА VIII

Несмотря на то, что окружающие всячески успокаивали меня, заверяя, что во Дворце все благополучно, сердце мое от тревоги разрывалось на части, и я решил во что бы то ни стало устроить себе пропуск во Дворец, чтобы по мере сил и возможности быть полезным Ее Величеству в эти трагические часы.

Я стал звонить по телефону на квартиру к полковнику Вильчковскому, намереваясь просить его о пропуске, но мне ответил чей-то перепуганный голос:

- П-о-о-лковника нет д-о-о-ма!

Я думал, это была отговорка... Но делать было нечего! С огромным трудом мне удалось дозвониться до его помощника, полковника Цырга. Каково же было мое горе и отчаяние, когда я в ответ на мою просьбу и мольбы устроить мне пропуск, так как по понятным причинам не считаю долее возможным оставаться в лазарете, получил в трубку сухой ответ:

- Очень сожалею, корнет, но при создавшемся положении ничем помочь не могу!

Невыразимое бешенство охватило меня! Тут не могло быть вопроса о доверии или недоверии ко мне, так как оба эти штаб-офицера отлично знали, кто я и что я, и мне и по сей час непонятно, чем руководствовались эти люди, препятствуя офицеру исполнить его священный долг!..

Приходилось ждать до утра. Ночь показалась мне безконечно длинной. Без сна, наедине со своими тяжелыми думами, провел я ее. Рано утром я вышел из лазарета и быстрыми шагами направился к Екатерининскому дворцу. Свежий морозный воздух несколько успокоил меня. На одной из улиц толпа, при деятельном участии солдат, громила угловой винный погреб Шитта. Из толпы неслась циничная брань, покрываемая торжествующими криками:

- У-р-р-р-ааа! Наша взяла! Попили нашей кровушки! Дойдя до здания, где раньше помещался Лицей, я свернул направо и пошел вдоль ограды парка Александровского дворца. За оградой стояли двойные посты часовых, кое-где виднелись пулеметы, было видно, что все готово к обороне. Около главных ворот я увидел в полной боевой амуниции полковника Герарди. Он узнал меня.

Отвечая на град моих вопросов, он рассказал мне о трех последних днях жизни в Александровском дворце. Это были дни, полные тревоги и волнений.

Лично он четвертую ночь не спал. Наследник Цесаревич, Великие Княжны Ольга и Татьяна Николаевны больны корью и находятся сейчас в очень серьезном положении. Государыня безотлучно находится при больных. О Государе известно лишь то, что Он выехал из Ставки и находится по дороге в Царское Село. Отношение взбунтовавшихся и совершенно разложившихся запасных батальонов и

тракторных батарей ко Дворцу отвратительно, и можно с минуты на минуту ожидать всяческих эксцессов. Сводный полк настроен отлично, чего нельзя сказать о пришедшем на днях на усиление охраны Гвардейском Экипаже...

- Что нас ожидает, Одному лишь Господу известно! Закончил Герарди, тяжело вздохнув. Его вызвали во

Дворец, и он, не прощаясь со мной, быстро пошел к первому подъезду. Я в тяжелом раздумье остался его ожидать.

Между первым и вторым подъездами я заметил противоаэропланное орудие на автомобильной установке, направленное на город. Около него копошились солдаты.

Герарди я не дождался и вернулся в лазарет. Но недолго я просидел дома. Меня снова потянуло к Дворцу. Я решил добиться свидания с Костей Кологривовым, бывшим на охране Дворца, и был уверен, что он устроит мне пропуск.

Вот и Главные ворота. Я на минуту остановился. В это время со стороны казарм Конвоя Его Величества появился какой-то всадник на взмыленной лошади, который что-то дико кричал и размахивал обнаженной шашкой. Вскоре я услышал его пьяный голос более отчетливо:

- Кто из ахвицеров до восьми часов вечера завтрашнего дня не явится в Государственную Думу, тот будет лишен ахвицерского звания! - орал во всю глотку этот своеобразный революционный герольд.

Я остановил его. Это был молодой казак лейб-гвардии Сводно-казачьего полка. Заставив его повторить все сначала, я спросил, для чего он обнажил шашку, на что он мне ответил:

- А мне в Думе студент так приказал!

- А ты, дурак, лучше спрячь ее! - спокойным тоном посоветовал я ему, что он, к моему удивлению, немедленно и исполнил.

Я отпустил его, и долго еще его пьяный голос разносился по пустынным улицам.

Это необычное приказание взорвало меня, и я, не помня себя, прошел прямо через ворота Дворца никем не остановленный и подошел к офицеру, стоявшему около них.

Я принял его за полковника, но, присмотревшись, сообразил, что это был офицер Гвардейского Экипажа в сухопутной походной форме. Представившись ему, я попросил его разъяснить мне сей странный, даже более чем наглый приказ, прибавив, что служу Государю Императору, и только Он один может лишить меня офицерского звания, от Него же полученного, но не какой-нибудь Родзянко, до которого мне нет никакого дела!

Капитан с чувством потряс мне руку, вполне согласившись со мной. Лично ему ничего не было известно о таком приказе.

В этот момент раскрылась парадная дверь. Из нее вышел камер-лакей, который обратился ко мне с вопросом:

- Ее Величество приказала узнать вашу фамилию... Я назвал себя.

- Вы, Ваше Высокоблагородие, Крымского Конного полка?

Я ответил утвердительно.

Он исчез. Я до того смутился, что не мог и слова сказать. Капитан был поражен не менее меня. Наконец я сообразил, что меня, должно быть, заметили из окна.

Вышедший снова из Дворца камер-лакей обратился ко мне:

- Ее Величество желает вас видеть...

Глубокое, радостное волнение охватило меня. Камер-лакей провел меня в знакомый коридор первого подъезда, подвел к узкой винтовой лестнице, ведшей наверх, и прибавил:

- Вы поднимитесь наверх, войдете в дверь налево, и в этой комнате вас ждет Ее Величество.

Я стал подниматься по лестнице. Вот и полураскрытая дверь. Я открыл ее и вошел в комнату.

В этот момент Ее Величество входила в нее с другой стороны.

Государыня была в белом больничном халате. Лицо Ее было мертвенно-бледным, словно выточенным из мрамора. Глубоко впавшие глаза улыбались хорошей, доброй улыбкой.

Я сделал два шага вперед и отрапортовал:

- Ваше Императорское Величество! Крымского Конного Вашего Величества полка корнет Марков является по Вашему приказанию!

Императрица милостиво протянула мне Свою руку, подвела к стулу и сказала мне Своим мягким, проникающим в глубину души голосом:

- Садитесь.

Я постараюсь привести на память главные детали этого моего разговора с Государыней.

- Вы давно вернулись в Царское?

- Скоро месяц, Ваше Величество!

- Неправда ли, вы были в Ялте и лежали у меня в здравнице?

- Так точно, Ваше Величество! Сначала я лежал в здравнице, но после того, как я заболел оспой, меня перевезли на квартиру моей матери в Ливадию.

- Как? Вы были больны оспой? Наверное, ветряной?

- Никак нет, натуральной!

- Боже, как это ужасно! Вы, наверное, бедный, очень страдали! Ну, а теперь, как вы себя чувствуете? Совершенно ли оправились от этой тяжелой и неприятной болезни?

- Покорно благодарю, Ваше Величество, теперь здоровье мое почти окончательно восстановилось.

- Как мы все жалеем вашу матушку!.. Она, бедненькая, верно, ужасно грустит и тоскует!.. Смерть Ивана Антоновича и для нас была неожиданным и большим ударом. Он был такой хороший, милый и преданный нам человек... Мы все его очень ценили и любили!..

После паузы Государыня еще раз прибавила:

- Бедная, бедная ваша матушка!

Я был до слез растроган добротой и сердечностью Ее Величества, но ничего не нашел ответить и смог только в волнении пробормотать несколько благодарственных слов.

Несколько мгновений царило молчание.

- Ваше Величество, я только вчера вечером вернулся из Петрограда, где пробыл два дня. Вашему Величеству не угодно ли будет узнать о происходящих там событиях?

- Да! Да! Конечно, очень все это интересно. Я начал было свой рассказ, но Государыня быстро прервала меня и, встав, сказала:

- Это нам всем будет интересно узнать!.. Вы знакомы с м-ам Ден? - Фамилия эта была мне очень знакома, но сразу я ее вспомнить не мог.

Ее Величество добавила:

- Она племянница генерала Янова.[1] Вы должны ее знать по Ливадии.

г----------

[1] Генерал Петр Николаевич Янов был управляющим Собственным Его Величества имением "Ливадия" около Ялты.

L_____

С этими словами Она пошла в соседнюю комнату. Я последовал за Ней. Одновременно с нами туда вошли Великие Княжны Мария и Анастасия Николаевны в сопровождении высокой стройной дамы, брюнетки, все трое в белых халатах.

Ее Величество обратилась к вошедшим:

- Вы не знакомы? Это маленький Марков моего полка. И, обернувшись ко мне, прибавила:

- Мария!.. Анастасия!... М-ам Ден...

Сев на диван, Она указала мне на кресло по левую руку от Себя, рядом с Ней села Великая Княжна Мария, напротив меня на кресло Великая Княжна Анастасия, по правую руку от Нее г-жа Ден.

- Марков только вчера как вернулся из Петрограда и расскажет нам последние новости!.. Представьте себе, он, бедный, в Ялте болел натуральной оспой! Неправда ли, как это ужасно! Хорошо, что следов не осталось!..

Я был совершенно смущен таким вниманием.

Я начал свой рассказ. Ее Величество и Их Высочества часто прерывали меня замечаниями. Они ужасались, до какой низости, подлости и хамства мог дойти Их Ими так любимый русский народ. Я чувствовал, что мой рассказ - нож острый для этих чутких, добрых и благородных Царственных Душ... По всему видно было, что Ее Величество была лучшего мнения о народе, который таил в себе такие низменные инстинкты. Был момент, когда мне стоило нечеловеческих усилий, чтобы удержать рыдания. Я спросил Ее Величество, где находится Государь.

Государыня мне ответила, что в данный момент Ей совершенно не известно Его местопребывание. Великая Княжна Мария дрогнувшим голосом прибавила:

- Да... Мы... Мы не знаем, где папа!..

В Ее чудесных глазах блестели слезы. Этот момент был настолько трагичен, что я едва сдержался от слез. Но поразительное хладнокровие Государыни придало мне сил. Лицо Императрицы выражало тихую глубокую скорбь, но ни один мускул не дрогнул на Ее лице, когда Она произнесла такую тяжелую для Нее как любящей жены и матери фразу:

- Мы не знаем, что с Его Величеством и где Он...

Никто не может себе представить этого неземного величия, той истинно царственной мощи и невыразимой красоты, коими в эти минуты была обвеяна эта Женщина-Страдалица!..

В ответ на мои сожаления, что моего полка в эти дни в Царском не было, Государыня ответила мне:

- Да, я очень сожалею об этом! Мой[1] Командир[2] был прав, когда, будучи у меня, просил вызвать полк, но теперь уже слишком поздно!

г----------

[1] Государыня при упоминании в разговоре со мной о полке всегда говорила: "мой полк", "мой командир" или "наш полк".

[2] Мой командир полка, полковник Александр Петрович Ревишин, был женат на родственнице генерала Алексеева и потому был больше, чем другие, в "курсе штабных тайн". Под новый 1917 год он, поздравляя офицеров, в сильной зажигательной речи указал на опасность, грозившую Царской Семье от могущих возникнуть безпорядков. Руководящей нитью его речи была мысль, что полку место не на фронте, а около любимого Шефа. Эта мысль была восторженно принята присутствовавшими. В начале февраля полковник Ревишин представлялся Государыне. Императрица высокомилостиво приняла его. Во время аудиенции он изложил Ее Величеству свои опасения и передал Ей горячее желание полка прибыть в Царское Село. На это Государыня ответила: - Я сама знаю, полковник, когда для этого наступит время!

Как мне впоследствии объяснили, такое отношение Ее Величества и к этому, и к другим предупреждениям о возникающей опасности безпорядков объясняется тем, что генерал-адъютант Гурко поддерживал в Ней уверенность, что никаких безпорядков быть не может, и что все это вздорные слухи... Своим известным письмом к Государю, написанным уже после отречения, генерал Гурко, видимо, хотел загладить свои вольные и невольные ошибки перед своим Державным Вождем.

L_____

При этом Она едва заметно покачала головой и посмотрела на меня Своими грустными, полными муки глазами. Заканчивая свой рассказ, я добавил по поводу красного цвета, ставшего столь модным в столице, что и я дожил до одной красной нашивки, но та была утверждена Государем Императором![1]

г----------

[1] На левом рукаве обозначались ранения. Ранения, полученные в солдатском звании, обозначались красной тесьмой длиной в один вершок, офицерском звании - золотой и серебряной тесьмой (по цвету прибора) той же ширины.

L_____

После более получасовой аудиенции Ее Величество встала и, поблагодарив, протянула мне руку. Попрощавшись с присутствующими, я вышел из комнаты. Ее Величество прошла вперед и довела меня до двери, через которую я пришел. На прощание Она еще раз протянула мне Свою руку и, видя мое замешательство, прибавила:

- Еще раз сердечно благодарю вас за интересный рассказ! Я уверена, что с приездом Его Величества все изменится! И все это во время войны... Не падайте духом! До свидания!

Только тогда, когда я очнулся на улице, я получил возможность сообразить о том, что произошло со мной за эти часы...

Царственное спокойствие Государыни передалось и мне! В эти минуты я был готов упрекать себя в малодушии и даже в трусости. Я чувствовал себя пигмеем, полнейшим ничтожеством, и мне было даже стыдно, что я хотел попытаться быть полезным там, во Дворце, откуда до меня все еще доносился спокойный, твердый и царственный голос:

- Не падайте духом!.. Господь не без милости...

И когда я вернулся в лазарет, все мои сожители и милейший Вольтерс показались мне маленькими, а страхи их перед случившимся и перед нараставшими событиями мелкими и шкурными страхами...

К сожалению, я ошибался! События разворачивались с кинематографической быстротой и были столь неожиданны и грандиозны, что было трудно разобраться в создавшемся хаосе... Немногие часы сна, вернее, забытья, не освежили меня. С каждой минутой я все больше и больше убеждался, что положение Царской Семьи ухудшается и что надежды Государыни на приезд Государя не оправдываются... О Его местопребывании ходили самые невероятные слухи, но точно никто ничего не знал и сказать не мог; все питались слухами, друг друга опровергавшими, нелепыми и паническими.

Разнесшееся с быстротой молнии известие о назначении генерал-адъютанта Иванова диктатором для усмирения безпорядков и о его движении с Георгиевским батальоном из Ставки в Царское Село немного приподняло настроение, но полученное утром сведение, что его части задержаны по дороге, подлило только масла в огонь... Мятежный Петербург поднял голову... Это неудачное начинание показало полное безсилие и растерянность властей, сдавших без боя все свои позиции.

ГЛАВА IX

Утром 2 марта к нам в лазарет позвонили по телефону и вызвали меня на освидетельствование в соседний лазарет.

Я был крайне удивлен такому приглашению. Когда я оделся и вышел на взбаламученные улицы Царского с ватагами пьяных солдат, с вереницами грузовиков, наполненных тем же сбродом, с толпами серых шинелей, громящими последние винные погреба, я невольно подумал:

- Вот так молодцы доктора, в такие дни продолжают нести свою ответственную службу!

Когда же я вошел в комнату, где заседала врачебная комиссия, то сердце мое упало: я увидел не героев долга, не верноподданных Его Величества, до последнего часа несших свои служебные обязанности, а жалких людей, с молниеносной быстротой отрясших прах от своих ног и бросивших камень во все, чему они в продолжение многих лет поклонялись и служили!..

Лейб-медик Его Величества Герасимович и его почтенный коллега, молодой еще врач, сидели за столом, первый без вензелей Государя, а второй без вензелей Государыни. Они уже успели их спороть с погон... Это было в 12 часов утра 2 марта, когда об отречении Его Величества никто не помышлял...

Более чем сухо поздоровался я с этими господами. Третьим членом комиссии был старик генерал Бушен, полнейший рамоли, который, не глядя, за штабс-офицера для поручений подписывал истории болезни и акты освидетельствования, бывшие для него китайской грамотой.

После соблюдения формальностей, записи моей фамилии, чина и т. д., Герасимович обратился ко мне:

- Итак, корнет, из вашего рапорта я усматриваю, что вы выразили желание ехать на фронт?

- И представиться Ее Величеству! - добавил я.

- Это к делу не относится и меня не касается.

- Вас, быть может, нет, но меня очень!

- Мы идем навстречу вашему желанию, и завтра же вы получите предписание! - подчеркнуто резко возразил Герасимович.

- Но на фронт я все же не поеду...

- Ка-а-ак?.. Это почему?

- Здоровье мне не позволяет, а потом... я просто не желаю!

- Разве ваше здоровье ухудшилось?

- Нет, оно сейчас так же скверно, как тогда, когда я подал рапорт!

- Но ведь вы всего две недели тому назад выражали желание ехать на фронт!

Раздраженный Герасимович не унимался. Молодой врач с любопытством слушал нашу дискуссию. Бушен, приложив руку к уху, смотрел на меня изумленными глазами. Я не выдержал:

- Две недели тому назад я желал ехать на фронт, а теперь не желаю! Откровенно заявляю, что в такой армии я не могу служить и поэтому прошу еще раз освидетельствовать меня на предмет увольнения в отставку...

Бушен как-то сразу нахохлился и зашамкал:

- Вы, вы слишком молоды, корнет, чтобы так рассуждать... Мы еще покажем!

- Показать-то мы покажем, ваше превосходительство, но что мы покажем, это не известно...

Генерал что-то хотел сказать, но осекся и только нервно задергал плечами...

Мое ухо было в таком состоянии, что только по собственному желанию я мог ехать на фронт.

Взбешенный Герасимович осмотрел меня, конечно, с большим неудовольствием, должен был признать меня негодным к строевой службе и причислить к 3-й категории 1-го разряда раненых.[1]

г----------

[1] Эта категория дает право на строевую службу в обстановке мирного времени, т. е. на службу в запасном полку. 23 июня, т. е. на 4 месяца позже, врачебная комиссия в Одессе вторично освидетельствовала меня и признала к военной службе совершенно негодным. Упоминаю об этом, как иллюстрацию отношения Герасимовича.

L_____

Более чем холодно попрощавшись с присутствовавшими, я вернулся к себе в лазарет. Чувствовал я себя отвратительно, возобновились ноющие ушные боли, и минутами я впадал в какое-то необъяснимое деревянно-тупое оцепенение... Я буквально скверно соображал о том, что творится вокруг.

Приехавший из Петербурга милейший наш сожитель прапорщик Л. привез с собой последние известия о положении в столице. Вакханалия продолжалась и даже усилилась... Вся власть, по крайней мере, номинально находилась в руках Временного Комитета Государственной Думы, в безчисленном количестве издававшего воззвания и громоподобные приказы, в большинстве случаев не исполнявшихся. Л. привез с собою новую газету "Известия", выходившую как осведомительный листок новой власти. В ней напечатаны речи, которые произносились различными ораторами приходившим войскам и рабочим, с уверениями о конечной победе (над чем?) во славу новой свободной России... Параллельно с Комитетом Думы образовался Совет рабочих и солдатских депутатов, о существовании которого я знал уже по пресловутому плакату, виденному мною 28-го вечером на Гороховой. Функции этого замечательного учреждения были мало понятны, но уже чувствовалось сквозь строки, что оно себя считает чем-то вроде стража "революционных завоеваний".

Л. тоже передавал, что по Петербургу в огромном количестве расклеивается приказ № 1 по войскам петербургского гарнизона, подписанный какими-то Соколовым и Стекловым от имени военной секции Совета рабочих и солдатских депутатов, в котором намечаются новые права солдата: отменяется титулование офицеров,

отдание чести, становиться во фронт генералам, словом, одним росчерком пера разрушаются коренные устои Устава гарнизонной службы, являвшегося до сего времени фундаментом того величественного здания, каким была Российская Императорская Армия... Приказ этот пользуется огромным успехом, существование Петербургского гарнизона как дисциплинированной воинской организации можно считать с этого момента законченной и эта, за несколько дней до того стройная воинская масса обратилась в безмозглое разъяренное стадо, вожаком которого сделался никто иной, как тот же "просвещенный государственный деятель" Александр Иванович Гучков... Словом, все шло, как по-писанному, вековые устои Российской Империи, символ ее державной мощи и единства разбирались по камешкам шайкой, распоряжавшейся судьбами России из заплеванных и обмызганных покоев Таврического Дворца...

Так шли часы... Наступил вечер, затем пришла томительно мучительная ночь...

День 3 марта я никогда не забуду! По Царскому носились безконечные слухи, панические и тяжелые... Все спряталось по домам. Магазины были закрыты. По пустынным улицам слонялись все те же оборванные, пьяные и безчинствующие солдаты.

С быстротой молнии разнеслась весть о том, что тяжелые тракторные батареи, расквартированные в Царском, собираются обстреливать беззащитный Дворец! Я не мог себе представить, что этому кошмару и этой гнусности, может быть, суждено сбыться!..

Под вечер того же дня позвонила ко мне по телефону моя сводная сестра Нина и с рыданием в голосе сообщила, что она только что получила известие, что Государь отрекся от Престола в пользу Великого Князя Михаила Александровича...

Чаша моего терпения переполнилась, нервы отказались служить, и горячие слезы, полные горечи и обиды, душили меня в продолжении долгой и мучительной ночи... Последняя надежда, что все изменится, пропала!

Мне было ясно, что Родина наша, подхваченная неудержимой лавиной, катится в пропасть.

Я пройду во Дворец и останусь при Ее Величестве... Будь что будет! На все воля Божия!

Так решил я в эту памятную для меня ночь.

Около 10 часов утра 4 марта я вышел из лазарета. Недалеко от него, на свое счастье, я встретил извозчика.

- К конвойным казармам! Да поживее! - крикнул я ему, на ходу вскакивая в сани.

Он стегнул свою маленькую коренастую шведку, и сани, легко скользя, понеслись по улице. Навстречу попадались партии вооруженных солдат, распоясанных, грязных, зачастую полупьяных, едва державшихся на ногах. Солдаты весьма недружелюбно поглядывали как на меня, так и на моего бравого возницу. Так как неоднократно уже

бывали случаи срывания Шефских вензелей с офицеров, появлявшихся на улице, то приходилось быть бдительным. Невольно рука сжимала в кармане маузер при приближении этих солдатских шаек. Уличная картина не изменилась. Повсюду слышалась оживленная стрельба. Это товарищи палили в воздух, выражая этим свою безпредельную радость по поводу совершившегося "освобождения".

Совсем недалеко от казармы мой возница замедлил ход. Это едва не стоило мне жизни. С нами поравнялась группа солдат, из которой по моему адресу раздавались угрожающие крики:

- А-а-а-а! С Царскими вензелями, такой-сякой! Мы тебе покажем вензеля! Товарищ, стой!

Мой возница не растерялся, и его лошадка в миг отнесла нас на несколько десятков саженей от солдат, бросившихся на нас.

Я выхватил револьвер, намереваясь дорого продать свою жизнь. Мой извозчик, видя, что и ему самому несдобровать, на полном ходу свернул в боковую улицу в тот момент, когда несколько солдат пустили нам пять или шесть пуль вдогонку...

Я не выдержал и два раза выстрелил из револьвера... И без того ошалевшая лошадка, испугавшись щелканья моего маузера, понеслась в карьер, и не успел я опомниться, как на последнем повороте к казармам был выброшен сильным толчком из саней...

Оказалось, что мы с разгона налетели на тротуарную обочину. Я счастливо отделался несколькими ссадинами на лице и правой руке и, отряхнувшись от снега, помог моему вознице, насмерть перепуганному, поставить санки на место и через две-три минуты мы подъехали к конвойным казармам. Солдаты нас не преследовали, видимо, боясь близости дворцовой охраны. Щедро рассчитавшись с молодцом извозчиком, я прошел к главным воротам дворца.

Дежурный около телефона, находившегося в будке, бравый на вид унтер-офицер в ответ на мое желание видеть по личному делу г-жу Ден, находящуюся во Дворце, весьма почтительно ответил, что для этого мне надлежит обратиться на пропускной пункт, помещающийся в кухонном подъезде, шагах в трехстах от Главного подъезда. Пройдя мимо парных часовых, лихо отдавших мне честь, я очутился в пропускном пункте. При моем появлении сидевший за столом дежурный подпрапорщик вскочил с места, и в ответ на свое приветствие я услышал старое знакомое:

- Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

Передав ему свою визитную карточку, я попросил передать ее г-же Ден, с просьбой принять меня.

Минут через десять посыльный вернулся и пригласил меня следовать за ним. Мы спустились в огромный подвал и пошли по безконечным коридорам. Как подвал, так и коридоры были полны солдат Сводного полка, которые частью сидели, частью спали на соломе, обильно покрывавшей пол. Это был гарнизон Дворца.

Наконец мы поднялись наверх, и я очутился в передней четвертого подъезда. Камер-лакей помог мне раздеться и проводил меня в одну из гостиных.

Я остался наедине со своими мыслями. Господь помог мне исполнить мое заветное желание... Почти радостное чувство, несмотря на весь трагизм положения, охватило меня. Я нервно прохаживался по комнате. Несколько минут моего одиночества промелькнули для меня, как миг. Дверь раскрылась, и в гостиную вошла г-жа Ден.

- Сударыня, простите меня, что безпокою вас в такой тяжелый момент, но я больше не считаю для себя возможным оставаться в лазарете. В эти минуты мое место здесь, подле Ее Величества! С нас солдаты срывают вензеля!.. Они мне дороже жизни, и я сниму их только по приказанию Ее Величества! Я готов остаться здесь последним слугой!.. Дайте мне возможность исполнить свой долг... Моя последняя надежда на вас... умоляю, доложите о моем приходе Ее Величеству!..

Г-жа Ден сделала несколько шагов ко мне, протянула обе руки и зарыдала...

Мы сели на маленький кожаный диванчик около дверей, и слезы долго душили нас. Отрывистыми фразами г-жа Ден благодарила меня за мой приход и обещала доложить о моем желании Ее Величеству. Немного успокоившись, она вышла из гостиной, и я остался опять один.

Сильное впечатление произвела на меня эта женщина... Усталые грустные глаза горели решимостью отдать все для счастья беззаветно ею любимой Государыни и Царской Семьи... Мертвенная бледность лица резко оттенялась иссиня черными волосами. Белый халат дополнял эту стройную высокую фигуру, подчеркивая безысходную скорбь и тоску, которой веяло от нее. Г-жа Ден добровольно осталась во Дворце и помогала Ее Величеству в уходе за больными Детьми. Великие Княжны Мария и Анастасия тоже заболели корью. Дворец обратился в лазарет. А вокруг ходили пьяные ватаги солдат, готовых на всякую подлость...

Около часу дня в гостиную вошел небольшого роста старик, в котором я узнал Александра Сергеевича Танеева,[1] отца Анны Александровны Вырубовой. Он до трогательности сердечно отнесся ко мне, провел в соседнюю комнату и представил меня своей жене. Мы вместе позавтракали и много говорили о создавшемся положении.

г----------

[1] А. С. Танеев, управляющий Собственной Его Величества Канцелярией.

L_____

Во время завтрака я узнал, что в двух комнатах от нас лежит тяжко больная корью Анна Александровна. На страницах своих воспоминаний я впоследствии еще коснусь этой женщины, верного друга Государыни, безгранично Ее любившей и не оставлявшей в трагические дни изгнания своего Царственного Друга в Сибири без посильной помощи как Ее, так и Ее Августейшую Семью.

После завтрака к нам пришел генерал-адъютант граф Бенкендорф. Я ему представился. Осведомившись, из каких я Марковых, он заметил:

- Ваш дед поступил бы, как и вы!.. Я лично хорошо знал его. Он был прекраснейшим человеком, способнейшим администратором и верным слугой своего Государя... От его внука ничего иного и ожидать нельзя!

Немного подумав, он прибавил:

- Кто бы мог подумать, что таких, как вы, найдутся всего единицы!

Около трех часов заходила на минутку г-жа Ден. Она передала мне искреннюю и сердечную благодарность Ее Величества за мой приход и сказала, что Государыня пожелала, чтобы я остался в Зимнем дворце при Сводном полку. Об этом со мной должен лично переговорить командир полка генерал-майор Ресин.

Время шло, но генерала все не было. Юлия Александровна заходила еще несколько раз и была этому крайне удивлена. В шесть часов вечера был подан обед.

Александр Сергеевич с женой покинули дворец, и я обедал с двумя сестрами милосердия, ухаживавшими за Анной Александровной.

Неопределенность положения стала меня волновать. В восьмом часу я попросил камер-лакея сходить к Юлии Александровне и передать ей, что я прошу ее, если возможно, придти ко мне на несколько минут.

Вскоре лакей вернулся:

- Ее Величество желает вас видеть. Пожалуйте за мной.

Мы прошли через безчисленное количество зал и гостиных. Повсюду благоухали живые цветы. На постах стояли еще солдаты Сводного полка. Дойдя до первого подъезда, мы поднялись наверх и очутились в длинном белоснежном коридоре. Это была так называемая "детская" половина Дворца. Камер-лакей провел меня в небольшую комнату в конце коридора, налево. Комната, куда я вошел, была, по-видимому, одной из тех, где занимался и играл Наследник. Она была разделена белыми деревянными перегородками на три части. В маленькой передней стояли игрушки, по левую руку была дверь, которая вела в небольшое помещение, где стояла большая кукольная мебель, нечто вроде гостиной в миниатюре. На двери висела бумажка, на которой было написано:

- Вход без разрешения Ольги и Татьяны воспрещается.

В большей половине комнаты стол, на котором лежали французские и английские журналы, акварельные краски, ножницы. По-видимому, Наследник раскрашивал и вырезал из них картинки. На стене висело аккуратно написанное расписание уроков. В первой строчке перечислялись все имена: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей, а ниже для каждого имени было составлено расписание. Большой белый стол, шкаф и стулья завершали скромную обстановку этой комнаты.

Мой беглый осмотр прервал приход Государыни. Ее Величество милостиво протянула мне руку и поздоровалась со мной с чисто материнской нежностью. Слова приготовленного мною рапорта застыли у меня на губах.

- Здравствуйте, милый маленький Марков! - послышались мне первые слова Государыни.

Я машинально опустился на колено и благоговейно поцеловал протянутую руку. Движением руки Императрица подняла меня. Она была все в том же белом халате. Ее чудные глаза еще более впали от безсонных ночей и тревог и выражали невыносимые муки исстрадавшегося сердца. Какой неземной красотой и величием веяло от этой высокой царственной фигуры!..

- Сердечно тронута и благодарна вам за ваш смелый и благородный поступок. Очень благодарна вам за то, что вы пришли ко мне и не оставили меня в этот тяжелый, ужасный день! Этого вашего шага я никогда не забуду... Господь нам поможет, быть может, наступят лучшие времена... сегодняшнего дня я никогда не забуду, вы можете всегда ко мне обращаться, и я сделаю для вас все возможное!.. Я очень хотела, чтобы вы остались при мне, но это, к большому сожалению, невозможно. Солдаты избрали себе нового командира вместо генерала Ресина, полковника Лазарева, и неизвестно, как они к вам отнесутся. Мне это очень тяжело вам говорить... Я знаю и понимаю, как это для вас тяжко, но... но теперь многое не от нас зависит... Теперь время настало такое тяжелое...

Грустная и едва заметная усмешка скользнула по Ее губам.

- Вензеля же Мои я вас прошу снять, потому что мне больно будет, если их сорвет у вас какой-нибудь пьяный солдат на улице! Я верю, что вы будете продолжать носить их в своем сердце! Передайте полку и всем офицерам это мое желание, а также мою искреннюю благодарность за верную службу!.. Скажите им, что их старый шеф шлет им свой сердечный привет!.. А вы не волнуйтесь и не безпокойтесь... Господь не без милости! Бог даст, все еще будет хорошо! Помните, что мы не можем отвечать за завтрашний день, и что не все еще потеряно!..

Я еле стоял на ногах, во мне все клокотало, и глаза застилались, как туманом. Мне казалось, что вот-вот я потеряю сознание... Ее Величество положила мне на левое плечо Свою руку и несколько раз Своим мягким, западающим в душу голосом произнесла:

- Не волнуйтесь... Не надо волноваться... Господь не без милости!..

- А где же Его Величество, и что с Ним? - хрипло вырвалось у меня сквозь душившие меня рыдания.

- Его Величество приедет скоро сюда... Они Его не пропускают... Боятся, что вместе мы будем сильнее!.. Мне так тяжело за Него. Нам так нужно было бы быть теперь вместе... Еще раз спасибо вам сердечное за все! Всего хорошего, и не забывайте своего старого Шефа!..

Я снова встал на колено и порывисто поцеловал протянутую мне руку. Когда я встал, Государыня осенила меня широким русским крестом. Она собралась выйти, но остановилась.

- У вас есть бумаги от новых властей? - задала Она мне вопрос.

- Никак нет, Ваше Величество!

- Завтра же, я прошу вас, их достать! Я вас предполагаю послать с письмом к Его Величеству, если Он не приедет! Передам его вам через полковника Вильчковского... или... или... нет... вы знакомы с Маргаритой Сергеевной Хитрово?[1]

г----------

[1] М. С. Хитрово была фрейлиной Ее Величества.

L_____

Я ответил утвердительно.

- Так через нее мы будем поддерживать связь! Государыня еще раз протянула мне свою руку и прибавила:

- Так будьте же готовы к отъезду... Они не пропускают Его Величество, и я не знаю, что будет дальше... Я надеюсь на вас, храни вас Бог... Всего хорошего!..

Государыня вышла из комнаты. Несколько мгновений я оставался стоять, точно вкопанный, словно электрический ток приковал меня к полу. Как сквозь сон припоминаю, что лакей провел меня обратно.

В передней я оделся и по подземным переходам прошел на улицу.

В странном нервном полусне я дошел до лазарета и только там пришел немного в себя. Одному Господу известно, что я пережил в этот вечер!.. И снова слезы незаслуженной обиды нахлынули на меня, когда я снимал вензеля с погон своего полушубка... С ними ушло все старое, все, что создало могучую, цветущую Россию!.. Теперь начиналась под красным заревом пожаров и на крови безвестных мучеников, от руки крамольников за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших, новая жизнь!..

ГЛАВА X

Утром 5 марта я отправился исполнять приказание Ее Величества. Новая комендатура помещалась в здании Царскосельской Ратуши. Бедная Ратуша, в былые времена принимавшая у себя Высоких Гостей, чего она натерпелась в эти дни...

У входа в нее стоял вихрастый солдат в расстегнутой шинели. Он курил цигарку и злобно сплевывал на мраморный пол, сплошь заваленный окурками. Винтовка стояла в углу, шагах в трех от него.

Это был часовой! Когда я вошел в вестибюль, с площадки раздался голос:

- Эй, Петро, ты посторонних-то не пущай!

Петро и глазом не моргнул, безнадежно махнул рукой и буркнул:

- Ишь, как прут... Сволочи!

В зале заседаний, в котором громадный портрет Государя был перевернут лицом к стене, а корона на золотой раме завернута красной тряпкой, за столом президиума сидело "милое" общество: "Сам" комендант, полковник Болдескул, два полупочтенных прапорщика и три солдата. На всех были красные банты. Комендант что-то говорил своим коллегам, а один из солдат, стуча кулаком по столу, захлебываясь от восторга, кричал:

- Правильно, товарищи!

Это заседал "гарнизонный комитет".

Комната, где выдавали удостоверения, была полна офицерами. Процедура получения этих достопримечательных бумаг была крайне проста: на литографированном бланке писарем на машинке пропечатывалась фамилия коменданта, который на подписание таких "пустяковых" удостоверений вследствие срочной и неотложной работы не имел времени. Какой-то прапорщик не подписывал, а "подмахивал", не читая, эту бумажку за адъютанта, а счастливый обладатель нового документа шел в соседнюю комнату, где лично ставил печать, валявшуюся на груде бумаг, вываленных из взломанного шкапа. За неимением новой, революционной, ставилась печать Царскосельского бургомистра! Вот текст этого исторического документа. Привожу его, как в своем роде уник, потомству в назидание и пример.

Удостоверение № 62.

Предъявитель сего, Крымского Конного полка корнет М., присоединился к Временному Правительству и находится в распоряжении Начальника Царскосельского гарнизона, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется.

Дома я своей рукой прибавил: и имеет право на проезд в Петроград и обратно.

Печать

Начальник Царскосельского гарнизона

полковник (пропечатано на машинке)

Болдескул.

За адъютанта прапорщик!?!

Как мне жаль старую, почтенную печать Царскосельской Ратуши. Думала ли она, что ей придется увековечиваться на этих гнусных бумажках?..

Получив удостоверение, я почти бегом выскочил из этого здания. "Демократическая атмосфера" окончательно убивала меня. На лестнице я встретил нескольких мальчишек гимназистов, юнцов в форме бойскаутов, таскавших кипами "Известия". Это были добровольцы, распространявшие эту рвань по городу.

Итак, приказание Ее Величества было исполнено: "корнет М. присоединился к Временному Правительству". Какая ирония...

Тогда, в те минуты, когда я получал это удостоверение, мне было как-то не по себе, но впоследствии я понял и оценил важность и необходимость этих "документов", ни к чему ровно не обязывающих. Из комендатуры старик извозчик повез меня рысцой в Собственный Их Величества Лазарет № II, где я хотел повидаться с Маргаритой Сергеевной Хитрово.

Улицы были почти пустынны. Вдалеке слышались одиночные выстрелы. Группы солдат безцельно слонялись по улицам. Было видно много пьяных. Несколько погребов Шитта было разгромлено вдребезги, и около них стояли очереди солдат и каких-то штатских оборванцев, выкрадывавших последние бутылки вина. То и дело проносились автомобили с красными флагами, набитые товарищами, дико горланившими пьяные песни. Вот и лазарет.

Я расплатился с извозчиком и пошел через сад к давно знакомому мне зданию. В гостиной я остановился, пораженный представившейся моим глазам картиной: комната была полна офицерами, частью одетыми в форму, частью в халатах. Стоял невообразимый шум и крики. Слышались возмущенные голоса:

- Зачем убирать портреты! Никому нет дела, что висит в наших комнатах... Это ч... знает, что такое! Мы не позволим снимать портреты и группы, незачем трогать!

Я протискался ближе к середине и увидел странную фигуру с коротко остриженными волосами, в юбке почти до колен и в замшевом френче с открытым воротником. Фигура размахивала руками и громким голосом говорила:

- Нет, их необходимо снять! Ведь я от Совета получила категорическое приказание. Я не желаю за вас отвечать и не могу разрешить оставить группы.

Я понял, в чем дело. Вопрос шел о снятии Царских портретов. Офицеры были против, а фигура все же настаивала на своем. Противно было смотреть на эту мужеподобную женщину. Один из офицеров взволновано обратился ко мне:

- Нет, вы подумайте... Ведь это же безобразие... С каких это пор она так полевела?

Я осведомился, не депутатка ли это из гарнизонного комитета, и почему-то мне вспомнилась картина "заседания" в Ратуше. В ушах еще стоял пронзительный крик:

- Пр-а-а-авильно, товарищ.

Эта женщина так и напрашивалась в эту компанию. Офицер с изумлением посмотрел на меня:

- Что вы? Это наш хирург, княжна Гедройц!

Я до того опешил, что не нашелся, что ответить на это, и, совершенно уничтоженный, вышел из комнаты.

В коридоре я встретился с Маргаритой Сергеевной Хитрово.

- Маргарита Сергеевна! Разве это возможно допустить? - вырвалось у меня, и я показал рукой в гостиную.

- Это позор! Это ужас!

На глазах Маргариты Сергеевны стояли слезы. Бедная, до чего она осунулась и похудела за эти немногие дни.

- Идемте отсюда скорее, я еду в Петроград. Тут так тяжело и больно!

Я понял М. С. и не стал ее задерживать. Она пошла одеваться, а я вышел в переднюю. Вскоре она вышла, и мы поехали на вокзал. М. С. уже догадалась о цели моего прихода. Она вечером была во Дворце, и Государыня ей рассказала о моем посещении и передала ей свое желание.

Маленький вокзал был полон солдат, которые запрудили платформу, болтаясь по ней без дела, щелкая семечки и загаживая перрон окурками. Мы с трудом сели в поезд. Тяжелые думы охватили нас обоих, и мы почти молча доехали до Петербурга. Я помог М. С. найти извозчика, и она поехала по своим делам. Мы условились, что, в случае надобности, мы встретимся на квартире моей сводной сестры, Нины Ивановны Кологривовой.

Я поехал на Сергиевскую, где жил мой приятель, барон Георгий Николаевич фон дер Ховен. С ним мне хотелось повидаться и поговорить о текущих событиях и о том, что можно или, вернее, что нужно предпринять для организации лиц, оставшихся верными Их Величествам в эти трагические дни.

Улицы, по которым я ехал, были завешаны красными тряпками. Угрюмо и печально вырисовывались здания участка против вокзала. Это был черный обгоревший остов громадного дома, погибшего во славу революции... По тротуарам валом валили солдаты, грязные, расстегнутые, громко крича и ругаясь. Публика боязливо жалась к стенам домов. Владимирская площадь напоминала площадь уездного города в базарные дни. Она была запружена разношерстным людом. На тумбе стоял какой-то подозрительный субъект и хриплым голосом держал речь собравшейся вокруг него толпе.

Возгласы: правильно! - оглашали воздух.

Солдат, стоявший неподалеку от тумбы, здоровенный веснушчатый детина с оборванными погонами, безсмысленно орал:

- Мы должны! Да, мы должны!

В чем дело, и что были "должны" эти люди, я так и не разобрал.

На углах улиц стояли гимназисты и реалисты с белыми повязками на левых рукавах с красными буквами "Г. М.", это значило "городская милиция". Они важно расхаживали по улицам, видимо, с трудом таская на ремне берданки, зачастую бывшие длиннее их обладателей.

Наконец извозчик остановился и по случаю "дней упоения свободой" содрал с меня синенькую вместо полутора рублей, которые я платил еще неделю тому назад.

Барон был дома. Он сидел у себя в кабинете и мрачно дымил папиросой. Я ему подробно рассказал про все свои перипетии последних дней. Барон, женатый на дочери члена Думы князя Ш., благодаря близости к политическим кругам, был в курсе общественной и политической жизни и, несмотря на свои сравнительно молодые годы, был человеком весьма положительным, серьезным и всесторонне образованным.

Он внимательно выслушал меня.

Я просил его информировать меня о создавшемся положении последних дней.

Барон мрачно смотрел на вещи: новая власть, несмотря на столь легко одержанный успех, потеряла темп, образовался Совет солдатских и рабочих депутатов, с места заявивший, что он является органом контроля над действиями правительства. Получалось, что власть, якобы облеченная народным доверием, таковым уже не пользуется. Поэтому настроение в новых верхних сферах было совершенно растерянным.

Власть Временного Комитета Государственной Думы вообще, и военной комиссии во главе с Гучковым и полковником Энгельгардтом, в частности, была фикцией. Они совершенно выпустили из рук управление Петербургским гарнизоном, и оно как-то незаметно перешло в ведение "военной секции Совета солдатских и рабочих депутатов", обильно расклеивавшей по городу приказы, отменявшие все, что на военной службе вообще можно было отменить, устанавливающие новые права солдата-гражданина и сводящие к нулю положение офицеров.

Приказ этот по существу был сумасшедшим бредом, а в обстановке военного времени он являлся предательством и изменой. Благодаря его демагогичности, он, как молния, разошелся по казармам и сразу обратил огромный гарнизон в стадо животных.

Из Кронштадта вчера вечером были получены кошмарные известия о массовом убийстве офицеров на эскадре и в Кронштадтском порту. По слухам, были убиты начальник порта адмирал Вирен, адмирал Небольсин и более ста пятидесяти офицеров были замучены и сброшены в прорубь. Утром было получено известие об убийстве Командующего флотом адмирала Непенина. Сообщение с Кронштадтом было почти прервано.

Несколько человек, вырвавшихся оттуда, передавали уму непостижимые подробности совершившихся злодеяний. Особенно жестокие убийства были на второй бригаде линейных кораблей, где на судах происходила форменная бойня офицеров.

Офицерство Петрограда было терроризировано и пряталось по домам. Главное, оно было не организовано. В первые дни не нашлось человека, который объединил бы вокруг себя офицеров, поэтому был упущен целый ряд благоприятных моментов, когда можно было легко и в корне подавить начавшийся мятеж. Например, броневой дивизион был отдан в руки взбунтовавшихся, в то время когда его можно было удержать в офицерских руках. Понятно, что можно было совершить, имея такое оружие в своем распоряжении...

Взвесив создавшееся положение, мы с бароном пришли к убеждению, что в данный момент можно думать только о том, как составить круг лиц, безусловно преданных Их Величествам, и выжидать дальнейшего развития событий. Хотя и было всенародно объявлено, что с падением старого режима все люди равны и свободны и никому нет дела до того, кто к какой партии принадлежит и кто как думает, жизнь показала иное, и поэтому было необходимо быть сугубо осторожным при создании нашей организации, каковая должна была быть тайной и основанной на чисто масонских принципах с применением иезуитских методов работы и борьбы...

Но мы решили ничего не предпринимать без согласия на это Ее Величества, и поэтому я немедленно же написал письмо Ю. А. Ден с просьбой передать его на благоусмотрение Ее Величества. В этот вечер я не вернулся в Царское, а остался ночевать у барона, тем более, что наша беседа затянулась почти до самого утра.

"Ее Величество и Их Высочества находятся в опасности, - писал я на другой день у себя в лазарете Юлии Александровне. - То, что мне пришлось пережить за эти последние дни, и то, что мне пришлось видеть своими глазами, слишком красноречиво говорит, к чему мы идем и чего мы можем ожидать. Я только что вернулся из Петрограда. Настроение там отвратительное. В городе царит полнейший произвол. Все находится в состоянии полной сумятицы и неразберихи. Глубокоуважаемая Юлия Александровна, вникните в мое письмо, поймите чувства, кои обуревают мною в эту минуту. Есть еще люди, преданные Их Величествам. Мы хотим собраться, сорганизоваться и стать посильно на страже Их Величеств. Мы отдаем наши жизни Им на служение. В этом наш долг, в этом наша жизнь. По всему видно, что Их Величествам нельзя будет оставаться в России. Им грозит слишком большая опасность. Если эти негодяи не выпустят Их, мы найдем способ освободить Их Величеств из этого подлого плена. Мы готовы на все.

Умоляю Вас довести до сведения Ее Величества это письмо. Мы сделаем так, как Ее Величеству угодно будет. Лично моя жизнь кончена. Я готов бросить своих родителей, свой дом и единственным счастьем для меня на этом свете будет непосредственная служба Их Величествам.

Прошу Вас, умоляю Вас, передайте Государыне, что, если Она покинет Россию, я готов последовать за Ней в качестве последнего слуги! Это единственное, к чему я могу сейчас стремиться!

Я надеюсь, Вы поймете меня и простите за смелость обращения! У меня сердце разрывается на части при мысли о том, что я не с Вами, что мне пришлось третьего дня покинуть Дворец...

На все воля Божья!

Я еле владею собой, чувствую себя совершенно разбитым морально и физически. Я никогда не забуду Вашего отношения и участия, которое Вы проявили ко мне. Передайте Ее Величеству мои чувства безграничной любви и преданности до конца дней своих.

Пошли Господь сил и крепости в эти безмерно тяжелые и кошмарные дни. Да сохранит Вас Господь Всемогущий милостивой десницей Своей".

Я подписал письмо, потушил лампу на письменном столе и сел в глубокое кресло перед окном.

Город тонул в прозрачных лучах лунного света. Жизнь замерла. Только немногие испуганные обитатели быстро спешили по пустынным улицам домой. Изредка, оглашая воздух пронзительным ревом, проносились автомобили, нарушая дремоту спящего в тяжелом сне города... Я стал забываться в полусне.

- Артемин! Держи ее, шкуру проклятую! Ишь, буржуйка стоеросая! С нашим братом якшаться не хотит! - услышал я пьяный голос с улицы.

Я очнулся и взглянул в окно. Напротив нашего дома на тротуаре сидел мертвецки пьяный солдат. Его сотоварищ в подобном же состоянии безпомощно обнимал фонарный столб. Вдали по улице виднелась бегущая женская фигура, которую, видимо, преследовали эти герои... Солдат, державшийся за столб, вместо ответа прохрипел могучим басом:

- Поглядь, Никола, як вона зашпаривает!.. Не желит, значит, понимать, что теперича свобода!

Очарование ночи прошло... Это была жуткая, мрачная действительность. Я отошел от окна.

ГЛАВА XI

Совершенно не чувствуя усталости после безсонной ночи, я вышел на улицу.

Первое дыхание наступающей весны чувствовалось в воздухе. Мелодично журчала вода, темными струями катясь по канавкам, и с тихим шелестом, шурша по крышам, падал на землю талый снег. Он рыхлел и топорщился под солнечными лучами, которые лились с бледного северного неба.

Природа просыпалась. Неугомонные воробьи бойко чирикали, перелетая стайками, и ожесточенно барахтались в кучах талого снега. В этот тихий, ясный день не хотелось верить, что в этом мире, столь лучезарно освещенном лучами полуденного

солнца, властно и неумолимо ломавшего оковы зимы, творилось столько мерзости, низости и безобразия...

Творилось неслыханное насилие над волей стапятидесятимиллионного народа, и величайшая в мире страна отдавалась на потоп и разрушение...

Надо было быть слепым и глухим, чтобы не видеть и не слышать того, что делалось вокруг нас. Надо было быть преступным оптимистом, чтобы самому мыслить и внушать эту мысль окружающим, что совершившийся переворот в разгаре мировой войны, в момент безпримерного напряжения моральных, физических и экономических сил страны может дать России счастье и какую-то мифическую свободу, которая выведет ее через обломки трона к победной войне, на путь широкой культурной и национальной самостоятельности!

Надо было быть или накрахмаленным англоманом и кабинетным ученым или просто продажным субъектом, дабы допустить возможность, что самый маленький дворцовый переворот не отзовется безумными судорогами по всему государственному организму, находящемуся в лихорадочном жару и болевшему тяжкой болезнью - войной!

Скажу даже, войной не популярной, потому что действительно сильный взрыв национального подъема три года тому назад был, несомненно, искусственно вызван умелыми нашими политиками, псевдопатриотами, при помощи иностранного капитала и услужливой ему прессы. Взрыв трескучего патриотизма весьма скоро потух, пошли серые будни, а сделавшееся синонимом положение на Западном фронте: "На реке N. без перемен" - отнюдь не способствовало поднятию настроения у нас в армии.

Понятно, что на знаменитых в Петербурге панславянских обедах, вдали от фронта, можно было легко, а главное, безопасно "водружать крест на св. Софию" и проливать не кровь, а, в лучшем случае, красное вино на скатерти за наших братьев сербов. Только наш неудачный министр иностранных дел Милюков в тиши своего кабинета, видя, как рухнули вековые устои Российского Государства, как Российский победоносный орел обратился в общипанную ворону о двух головах, а Армия обратилась в дикое безмозглое стадо, мог лепетать о полной победе, о войне в единении с доблестными союзниками до победного конца...

В свое время величайший русский патриот П. А. Столыпин, обратившись в сторону Милюкова и его присных, ныне доскакавших до министерских кресел, сказал:

- Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!

Это были пророческие слова!

А другой некий русский человек приблизительно в то же время патетически с думской трибуны бросил:

- Власть исполнительная да подчинится власти законодательной!

Либеральной прессой Столыпин был за свои смелые слова заклеймен прозвищами черного реакционера и всероссийского погромщика. Набокова же в хвалебных одах вознесли на демократические небеса, сделали кумиром свихнувшейся русской интеллигенции, дружно поддержанной их лопоухими товарищами...

Прошло десять лет...

Чаяния Милюкова претворились в жизнь: Россия дожила до великих потрясений... Императорская Россия пала... Мы имеем ответственное правительство... Мы самая свободная страна! Мы ведем всех на путь небывалого прогресса!.. Мы жаждем мира, но... будем вести войну до победного конца! Мы против аннексий, но... Босфор должен быть наш! Мы не хотим требовать контрибуции, но... немцы все равно должны заплатить за военные убытки! Мы пережили самый безкровный переворот, но... мы вырезали, утопили и искромсали в куски сотни морских офицеров в Кронштадте и сотни городовых в Петербурге... Наконец, мы имеем счастье иметь "Совет рабочих и солдатских депутатов", который в срочном порядке и с легким сердцем (что по-русски проще называется: дать по шеям!) привел власть исполнительную в лице "блестящего" кабинета министров во главе с князем Львовым к нулю и объявил себя, не больше не меньше, как властью законодательной!..

Нынешние вершители судеб, якобы представители русского народа, люди науки и творческой мысли уютно уселись под грязным сапогом разгулявшегося фабричного оборванца и солдата дезертира.

Моим мыслям неожиданно был положен конец.

- А правильно Федюхин говорил... Денщиков от офицеров отобрать надоть... Пущай сами сапоги чистят... Не сахарные, не расклеятся!

Мимо меня прошли два солдата в стрелковой форме, видимо, хотевшие задеть меня этим замечанием. Придержавшись мудрой пословицы: собака лает, ветер носит, - я сделал вид, что это меня не касается, и прошел дальше.

Передо мной встал, как живой, мой верный Халил, мой хороший старый денщик, всадник Сеит Халил Сеит Асан. Добрый, честный, с открытой душой солдат татарин был очень привязан ко мне. Назвал его "старым", хотя Халилю было всего 36 лет, но он был в два раза старше меня! Это был образец старослужащего солдата, исправного и до методичности аккуратного. Он был типичный представитель Келлеровской школы славных времен, когда мой полк был еще скромным Крымским Конным Дивизионом, твердо и стойко подавившим Севастопольский мятеж 1905 года.

- Неужели и Халил сделался таким же, как и эти два хулигана в солдатской форме? - промелькнуло в моей голове.

- Нет, тысячу раз нет! Этого быть не может!

И с этой твердой уверенностью я зашел на телеграф и отправил ему домой следующую телеграмму:

- Халил оставайся Алуште жди моих приказаний корнет Марков.

Он в эти злосчастные дни был дома, куда я его отправил, уезжая из Ялты в Царское Село, и я не ошибся в нем. Через два дня получил от него телеграфный ответ: Слушаюсь остаюсь Алуште Халил.

Я был до глубины души растроган такою верностью, таким безукоризненным сознанием воинского долга и дисциплины, и с этого момента он для меня перестал быть денщиком и сделался моим искренним и преданным другом...

Из телеграфа я отправился к Нине.[1] Вот и казармы 4-го полка. Я быстро поднялся по лестнице и через минуту сидел у нее в гостиной. У нее я застал Маргариту Сергеевну Хитрово. Она тихим прерывающемся голосом рассказывала нам о событиях последних дней во Дворце. Нина поминутно плакала навзрыд. Я тоже с трудом сдерживал слезы. Кости[2] не было дома, он был дежурным во Дворце.

От Маргариты Сергеевны мы узнали, что с сегодняшнего дня доступ во Дворец закрыт; приезд Государя ожидался к вечеру, и замена Сводного полка новой революционной охраной произойдет до Его приезда.

г----------

[1] Кологривовой.

[2] Кологривова.

L_____

Как громом поразило меня это известие! Мы были отрезаны от Их Величеств!

В глубоком горе сидел я около ярко пылающего камина. Крестный путь несчастной Царской Семьи начался! Будущее представлялось мне совершенно безысходным. В этот момент только одна уверенность, что есть еще преданные Их Величествам люди, что не все окажутся мерзавцами и клятвопреступниками, что эти люди сплотятся и обезпечат тем или иным способом неприкосновенность Царской Семьи, немного успокаивала меня.

Передать мое письмо Ю. А. Ден Маргарита Сергеевна больше не могла. Я вынул из бумажника мелко исписанные листки бумаги, и через секунду синеватое пламя вспыхнуло в камине... Так сгорели мои мечты минувшей ночи, но зато окрепло желание отдать свою жизнь дорогим, горячо любимым Их Величествам!..

ГЛАВА XII

Через несколько дней после того, как я сжег свое письмо к Императрице, я по телефону узнал, что Костя К. вернулся из Дворца домой.

Я уже знал, что Государь 9 марта перед обедом вернулся в Царское Село и со станции Александровка прямо проехал во Дворец, в котором была охрана уже от 1-

го Запасного Стрелкового полка, сменившего по приказанию генерала Корнилова Сводный полк.

Костю я нашел в ужасном настроении. Постаревший за это время на добрые десять лет, похудевший, изможденный сидел он перед тем же камином, перед которым мы каких-нибудь три недели тому назад обсуждали нараставшие события, полные надежд на лучшее будущее... Теперь же события завершились! Первый акт трагедии Императорской Семьи кончился... Государь со Своей Семьей сделался узником в своем любимом Дворце! Я засыпал К. вопросами.

- Ты просишь меня рассказать, как все это произошло? Трудно мне после всего пережитого собраться с мыслями, и ты уж не осуди, если рассказ мой будет не особенно складным! Уже 24 или 25 февраля командир просил нас не покидать Царского, а оставаться дома или находиться в расположении полка. Из Петербурга известия приходили все более и более тревожные... 28-го мы как ни в чем не бывало ужинали в полковом собрании, как нас по тревоге вызвали ко Дворцу. Тревога прошла блестяще, и батальон бегом, в половину меньше назначенного срока, был уже во Дворце. Семь рот мирного состава,[1] в среднем по 110-120 человек, согласно инструкции, заняли свои места вокруг Дворца, имея около двух сотен конвоя в резерве. Ворота закрыли, и моя рота стала непосредственно за Главными Воротами. Так при двадцатиградусном морозе мы простояли до утра! Никто не жаловался. Все знали свой долг. Было неизмеримо тяжело и грустно. Этой ночи я никогда не забуду! Все угрюмо молчали и ждали... а чего ждали, никто не знал; одно было ясно, что вокруг нас происходило что-то небывалое, безпримерное...

г----------

[1] 8-я рота батальона была в Петербурге на охране Зимнего Дворца.

L_____

Рано утром 1 марта Государыня вышла к нам в сопровождении Великой Княжны Марии Николаевны.

- Здравия желаем, Ваше Императорское Величество! - было нашим ответом на Ее приветствие.

Государыня спокойно обошла все роты, разговаривала с солдатами и здоровалась с офицерами. Она поразила всех нас Своим хладнокровием и, действительно, царственным величием. Бледная, как полотно, с впавшими от безсонных ночей глазами, Она тихим, спокойным голосом говорила с нами, совершенно не обращая внимания на безпорядочную стрельбу, доносившуюся из города и смешивавшуюся с дикими криками и пьяными воплями солдатских толп, бродивших по соседним улицам.

Государыня, поздоровавшись со мной, сказала:

- Вы знаете, Кологривов, что я получила печальное известие о смерти барона Розеншильд-Паулин...[1] Он, бедный, погиб в одном из последних боев... Мне очень жаль его... Он был такой милый!

г----------

[1] Барон Розеншильд-Паулин был офицером лейб-гвардии Преображенского полка.

L_____

Я был опечален этим известием. Розеншильд был моим другом. Он пошел снова на фронт, несмотря на то, что был признан инвалидом, потеряв руку в начале войны. Я и стоявшие около меня были поражены такой выдержке, такому невероятному спокойствию Государыни!

В такие минуты Она еще помнила о посторонних вещах, об офицерах на фронте, вспоминала о бедном Розеншильде...

По личному приказанию Государыни шесть рот были сняты с караула и оставлена только дежурная часть. Остальные же солдаты были уведены в обширные подвалы Дворца. Императрица пожалела солдат, стоявших всю ночь на морозе! Добрая, хорошая Государыня! Она и сейчас не подозревает, что этим Своим желанием, желанием разместить солдат у Себя в доме Она выдала их преступной агитации со стороны Ее же придворной челяди!

Кологривов, видя мое изумление, заметил:

- Что, невероятно?.. Не правда ли?!.. Но это так! Какие-то посудники, конюхи и другой низший персонал Дворца к вечеру того же дня были замечены офицерами в расположении солдат, причем были услышаны разговоры вроде:

- Ну, и чего вы тут, как собаки, на соломе валяетесь?!.. Тоже охота ночами на морозе стоять! - и т. д.

Было приказано подобных типов арестовывать, но дело было уже сделано, и ядовитое семя пропаганды брошено в солдатскую массу, сбитую с толка всем происходившим!

Единственным светлым лучом был приход к нам гвардии капитана Лучанинова с несколькими офицерами. Мы с радостью их приняли во Дворец. Солдат же, которых они привели с собой, командир наш побоялся ввести во Дворец, сомневаясь в твердости их настроения. Они были размещены в казармах 4-го Стрелкового полка и вскоре не избегли общей участи: они были очень быстро деморализованы окружавшими их товарищами.

Днем 1 марта приезжал во Дворец Великий Князь Павел Александрович. Взволнованный, он быстро поднялся по ступенькам Собственного подъезда, где стояло несколько офицеров Сводного полка и Конвоя и в ответ на наши вопросы, каково положение, что делается в Петрограде, он ответил:

- Господа! Одна последняя надежда на вас!.. Тогда только мы поняли весь трагизм положения!.. Последняя надежда на нас!

- Понимаешь ли ты, что это значило?!..

Я отлично понял Костю. Это значило умереть у ног Императрицы...

С той же мыслью я сам пробивался во Дворец в памятное для меня утро 4 марта. Я посмотрел на Кологривова. Глаза его были полны слез...

- Мы должны были умереть, защищая Дворец от толпы!.. - продолжал он дрогнувшим голосом. - Да! Это мы бы и сделали, все - как офицеры, так и солдаты! В этом я глубоко убежден! Сделали бы так, как сделала Швейцарская гвардия... Но нам Императрица не позволила сложить наши головы у Своих ног... Я тебе еще расскажу об этом... А пока что еще сказать тебе?.. Об измене Гвардейского Экипажа?.. Это известие едва не убило несчастную Императрицу, и без того больную сердцем, измученную переживаниями последних дней!..

Батальон Гвардейского Экипажа под командой капитана первого ранга Мясоедова-Иванова за несколько дней до революции, действительно, пришел в Царское и был расквартирован в Екатерининском дворце. Охраны он не нес.

Утром 2 марта к нам в дежурную комнату, где находились почти все свободные от наряда офицеры Сводного полка, как бешенный ворвался один из офицеров Гвардейского Экипажа и бледный, как полотно, крикнул:

- Все кончено!.. Матросы бросили Дворец!..

Мы буквально остолбенели от неожиданности... Придя немного в себя, он рассказал нам, что едва спасся из Екатерининского дворца от собственных матросов, которые хотели взять его с собой. Он бегом, с разгону, перепрыгнул саженую ограду и укрылся от них в расположении Александровского дворца... Выяснилось, что рано утром матросы решили бросить Царское и во что бы то ни стало проехать в Петербург, в Думу, на соединение со своими товарищами, бывшими уже там.

Офицеров же они хотели силой взять с собой. Видимо, у них была связь в Петербурге с батальоном, совершившим поход в Думу под начальством Великого Князя Кирилла Владимировича.

Бросив на произвол судьбы знамя, а по дороге на вокзал и свои пулеметы, матросы дикой ватагой устремились в Петербург. Измена Гвардейского Экипажа произвела на нас впечатление разорвавшейся бомбы! Капитан Мясоедов-Иванов был вне себя. Печальную миссию доложить о случившемся Ее Величеству взял на себя нашего полка полковник Лазарев, так как Мясоедов-Иванов был настолько убит изменой вверенной ему части, что едва мог говорить.

Полковник Лазарев с рыданиями в голосе рассказывал нам о своей аудиенции у Ее Величества:

- Государыня приняла меня в красной гостиной, милостиво поздоровалась и спросила о целях моего прихода.

- Ваше Величество, я пришел к Вам, к великому сожалению и горю, с очень печальным известием!

Мне было трудно говорить, и я на секунду запнулся. Государыня посмотрела на меня Своими добрыми глазами и спросила:

- В чем же дело?!

- Ваше Величество! Гвардейский Экипаж без офицеров только что бросил Екатерининский дворец и ушел в Петроград!!!..

Императрица вздрогнула, судорожно схватилась за близ стоявший стул, и мертвенная бледность покрыла Ее лицо. Глаза Ее расширились, и дрогнувшим, хриплым голосом Она спросила меня:

- Что же теперь будет?!.. Кто же остался?!!!..

- Всегда верный своему долгу, Престолу и Родине Сводный Ваш полк! - ответил я.

- Ах!.. Если бы Я это знала раньше!.. - ответила Государыня и отпустила меня.

- Ведь подумай, Сережа, какой это ужас!.. Какой позор!.. - Костя от волнения не мог говорить, и мы несколько минут молчали.

- Государыня за этот день заметно поседела, - прервал молчание Кологривов, - а за изменой Гвардейского Экипажа несчастную Царицу ожидал другой удар!.. В этот же день, после обеда, генерал Гроттен взял меня с собой к новому, революционному коменданту Царского, к которому он решил поехать для выяснения создавшегося положения.

Новое комендантское управление помещалось в Ратуше. Мы поехали в автомобиле, и я провел генерала до комнаты, где помещался комендант. Во что обратилась Ратуша в эти дни, ты и сам видел... Гроттен оставался у коменданта несколько минут и вышел из кабинета в сопровождении двух растерзанного вида солдат. Я бросился к нему со словами:

- Ваше Превосходительство, куда вы?!.. Гроттен смог только ответить:

- Не надо!.. Оставьте!.. Все равно!.. - и безнадежно махнул рукой.

Я инстинктивно без стука ворвался прямо в кабинет к коменданту и увидел..., - голос у Кости задрожал, и он на минуту запнулся... - Увидел за столом, заваленном бумагами, моего однополчанина Императорского стрелка полковника фон Вейса!.. Он был первым революционным комендантом Царского. От волнения я едва мог произнести:

- Господин полковник! Что с генералом?.. Что прикажете доложить Ее Величеству!..

Вейс совершенно спокойно посмотрел на меня, и я услышал безразличный, спокойный ответ:

- Передайте Государыне, что я арестовал генерала Гроттена!

- И больше ничего?!..

- И больше ничего! - послышался мне тот же спокойный ответ.

Я машинально повернулся на каблуках и как в полусне вышел из проклятой комнаты...

Мне самому теперь непонятно, как я смог уйти из Ратуши, не разделив участи Гроттена.

На Ее Величество арест Гроттена произвел ужасное впечатление!.. Это был первый сигнал к началу того, что случилось неделей позже, когда нас сменили, а Царская Семья оказалась арестованной!

Вспоминается мне, что мы, несколько офицеров, стояли в вестибюле Собственного подъезда и шепотом разговаривали... Одеты мы были не так, как привыкли видеть нас эти стены. В полной боевой амуниции, в солдатских шинелях, револьверы в кобурах... Открывается дверь на собственную половину... Входит Великая Княжна Мария Николаевна, глаза заплаканы... милое... дорогое личико... Я подхожу к Ней и стараюсь успокоить Ее.

Мария Николаевна оживляется, расспрашивает о том, что делается в Петербурге и, видимо, успокоенная, убегает... Бедные, несчастные Дети... Великие Княжны Мария и Анастасия до последней возможности оставались около Матери, и только сильнейший жар заставил Их лечь в кровать!

Государыня осталась одна со Своими несчастными Страдальцами... Болезнь Их Высочеств действовала на нас угнетающе и, безусловно, вносила в наши ряды замешательство... Дворец обратился в лазарет!..

Об отречении Государя, как это ни странно, мы впервые узнали от одного скорохода и старослужащего лакея после обеда 3 марта. Он шепотом сообщал нам эту ужасную новость... Не хотелось верить, что это так, но вечером Государыня вызвала генерала Ресина и официально сообщила ему об отречении Государя Императора в пользу Великого Князя Михаила Александровича...

Командир собрал нас и, едва сдерживая рыдания, приказал нам передать об этом солдатам... Я спустился в подвал и, как мог, сообщил им об этом акте Государя Императора... Солдаты угрюмо молчали... Некоторые из них плакали навзрыд... Я, как сейчас это помню, не успел еще докончить фразу о том, что Государь Император отрекся от Всероссийского Престола, как из фронта выскочил один из молодых солдат и остановился передо мной:

- Выше Вскблагородие! А что же теперь будет?!.. - пролепетали его побелевшие губы...

Я ответил, что Государь отрекся в пользу Брата Своего, Великого Князя Михаила Александровича, и что Он теперь будет царствовать.

- Ну! Слава Богу! - вырвалось облегченно у солдата, и он перекрестился... За ним последовали и остальные.

На следующий день мы узнали, что и Михаил Александрович отрекся, и что нами правит Дума, а несколько дней спустя мне пришлось увидеть воочию и представителей этой новой власти... Около полуночи, войдя в вестибюль Собственного подъезда, я в нем столкнулся с неизвестным мне генералом с красным бантом на груди в сопровождении каких-то штатских, тоже пышно разукрашенных красными тряпками.

Я услышал, как генерал громким голосом выразил желание видеть "бывшую Царицу"... Он почему-то обратился ко мне... Этого своего разговора я никогда не забуду... Я ответил генералу:

- Ее Величество почивает, и Их Высочества тяжело больны!

На это генерал резко мне ответил:

- Передайте Ей, что теперь не время спать!

Я с огромным трудом сдержался, чтобы не осадить зарвавшегося генерала, но, пересилив себя, также резко ответил:

- Ваше Превосходительство! А вы кто?!..

Генерал с явным недоумением посмотрел на меня и раздраженно бросил:

- Я генерал Корнилов!

- Мне лично о вашем приезде ничего не известно! Обратитесь к дежурному офицеру!

Он так и сделал. Как мне сказали, один из штатских, державшийся наиболее развязно, был Гучков, наш теперешний, с позволения сказать, военный министр.

Через скорохода Государыня приказала сказать приехавшим, что примет их в так называемой "липовой (кленовой - *С. Ф.*) гостиной".

Я пошел вслед за ними. В момент, когда Корнилов с Гучковым вошли в гостиную, из противоположной двери вошла в нее Государыня. Она была в пеньюаре. В эти безумно тяжелые минуты Она не потеряла Своего Царственного достоинства, Она осталась тем, чем была всю жизнь! Настоящей *Русской Царицей*! Твердыми шагами Она подошла в Корнилову и, не подавая руки, спросила:

- Что вам от меня нужно, генерал?

Мне было больно и противно смотреть на этих жалких себялюбцев и изменников...

Корнилов инстинктивно, под пристальным взглядом Императрицы, вытянулся в струнку, и до меня донеслись слова, произнесенные хриплым, прерывающимся голосом:

- Мне очень тяжело и неприятно Вам докладывать... Вам не известно, что происходит в Петрограде... Для Вашей же безопасности я должен Вас... - тут он запнулся, будто ему не хватило воздуха.

Государыня прервала его, и Ее спокойный, твердый голос металлически резко разнесся по гостиной:

- Мне все очень хорошо известно! Вы приехали Меня арестовать?!

Корнилов еще более растерялся и мог только произнести:

- Так точно!

- Больше ничего?! - спросила Царица.

- Ничего! - пробормотал Корнилов.

Государыня еще раз пристально посмотрела на него и, не подавая руки, медленно повернулась и той же твердой, величественной, царственной походкой удалилась на Свою половину...

Кологривов смолк.

Бедная, бедная Государыня! Образ Ее, как живой, стоял перед моими глазами... Высокая стройная фигура, вся в белом, казалось, протягивала мне Свои руки...

- Вы не волнуйтесь, не безпокойтесь... Помните, что мы не можем отвечать за завтрашний день!.. - слышались мне последние слова Императрицы...

- Ну, а теперь осталось немного рассказывать! - продолжал Костя. - После посещения нас Корниловым пошли разговоры о том, что нас снимут с охраны и заменят новыми "верными революции" войсками...

Целый день перед Первым подъездом толкались какие-то делегаты то из Петербурга, то из Царского и вели переговоры с полковником Лазаревым, который принял полк после генерала Ресина.

Мы их вовнутрь Дворца не пускали. Числа 7 марта я сидел в дежурной комнате, как в это время вошел в нее прикомандированный к 4-му Стрелковому полку прапорщик Гольм, которого я знал раньше по полку. Вместо приветствия я услышал развязно дружеское:

- А-а-а! Кологривов, и вы тут? Что вы здесь делаете? Нервы отказались служить, и меня прорвало: я вскочил, точно ужаленный, и дико крикнул:

- Как вы смеете!.. Я знаю, что здесь делаю!.. А тебе здесь не место!.. Вон отсюда, такой-сякой!

Он, как ошпаренный, выскочил из дежурной, а меня присутствовавшие остановили от дальнейшего преследования этого субъекта.

Оказалось, что Гольм приехал по приказанию прапорщика Аксюты, нового командира 1-го полка, для ознакомления с расположением охраны, т. к. 1-й полк должен был сменить нас.

Настроение у всех нас было подавленное, но мы все же надеялись, что нам разрешат остаться во Дворце до приезда Государя, ожидавшегося с часу на час, и мы хотели встретить Его, как встарь, с почетным караулом, с подобающими почестями... Мы надеялись, что, быть может, эта торжественная встреча отрезвит солдат и можно будет что-либо на "ура" сделать... Но товарищи пронюхали, видимо, про этот наш план, и за 4 часа до приезда Государя нас сменили части 1-го полка.

Когда пришли эти революционные стражники, чтобы заменить нас, "почетную охрану Дворца", батальон как один человек отказался впустить их за решетку Дворца и вместо ответа выкатил пулеметы... Еще минута, и было бы жарко. Но Царица попросила к Себе полковника Лазарева. Она не приказывала, Она просила, как мать, подумать о больных Детях... Просила преклониться перед судьбой...

- Не повторяйте кошмара французской революции, защищая мраморную лестницу Дворца!..

Это были Ее подлинные слова... Государыня не хотела, чтобы из-за Нее проливалась кровь Ее верных людей!.. Пришлось преклониться перед последним приказом-желанием несчастной Императрицы!..

Как сквозь туман вспоминаю я о последней своей аудиенции у Государыни! Она благословила меня маленьким образком, который был у Нее, сказав, что никогда не забудет моей верной службы... Конечно, я плакал, и по лицу Государыни струились слезы...

В полном порядке батальон был выведен из Дворца, было вынесено из кабинета Государя наше полковое знамя. Большинство из нас плакало в эти минуты прощания с родным нам Дворцом и Его Царственными Обитателями!..

Когда мы уходили, в парке раздались выстрелы. Батальон был страшно этим возбужден. Оказалось, что солдаты 1-го полка, пришедшие нам на смену, начали расстреливать черных лебедей, плававших в пруду в парке, а также и мирно пасшихся газелей и коз...

Это была первая кровь, пролитая в расположении Дворца... Кровь любимых животных... Когда доложили об этом Императрице, у Нее вырвалось:

- Начинается!

Вот тебе, Сережа, безсвязный рассказ о том, что мне пришлось пережить за последнее время.

Императрица права: Началось! - Но что?!.. И где же конец?

Кологривов, тяжело вздохнув, вопросительно посмотрел на меня, но что мог я ему ответить?!..

ГЛАВА XIII

Дни шли за днями. Петербург жил той же лихорадочной жизнью. Безконечно ходили по улицам процессии с красными флагами и плакатами, которые выражали то или иное настроение толпы. Надписи, зачастую безграмотные, были до скуки стереотипны, пережевывание тех же, набивших оскомину слов: свобода, долой самодержавие, все на фронт, на защиту революции от всех и от вся. Слово "поддержка" употреблялось в зависимости от поддерживаемого объекта, каким являлось то Временное Правительство, то Советы солдатских и рабочих депутатов. На площадях шли безконечные митинги, безголосые и охрипшие солдаты, или, как их называли, "оратели", воодушевляли толпу и на ратные подвиги во славу революции, и на требование повышения выдачи хлеба, и о 8-часовом рабочем дне; но что хуже всего было, на окраинах шла медленная, но верная пропаганда для разложения армии, направленная против приказа воевать, с отказом идти на фронт и т. п. Казармы обратились в ночлежки последнего разряда, да и то без хорошего надсмотра. Ворота казарм были открыты для всех без исключения и зачастую они обращались в притоны разгульного пьянства и самого низкого и грубого разврата. Всякое понятие о дисциплине было солдатами утрачено, особенно пехотными запасными гвардии полками, которые, гордо отменив наименование "лейб", стали называться просто гвардии такой-то полк.

Немного лучше держалась кавалерия.

Технические части, автороты и пр. обратились в форменную орду. "Товарищи шоферы" имели какой-то дико фантастический вид в их ими самими изобретенной форме: кожаная куртка нараспашку и невероятные фуражки-нашлепки с огромными козырьками, вроде утиного носа.

Кронштадтские матросы, "краса и гордость русской революции", ходили в самых откровенных декольте, обнажавших далеко не всегда опрятные груди, в шапках с непомерно длинными лентами и в брюках "клеш" умопомрачительной ширины!

Одним словом, Петроградский гарнизон являл собой картину какого-то маскарада. На Невском валом валили товарищи, полупьяные, распоясанные, грязные и лохматые; отвратительно и мерзко ругаясь, они заполняли кафе, рестораны, кинематографы и театры. Немилосердно гоняли несчастных извозчиков, спасавшихся от них в паническом ужасе, насколько позволяли силы их заморенных лошаденок. Трамваи были битком набиты этой серой массой шинелей, испускавшей весьма и весьма неаппетитный аромат...

Все, конечно, делалось на дармовщину: в кафе не платили, в ресторанах тоже, извозчиков выматывали даром, а о трамваях и говорить не приходится... Все это делалось под модным лозунгом:

"Попили нашей кровушки, довольно буржуев катать, теперь и нашего брата повези", и "Мы на фронте страдали, а они" и т. д. до безконечности.

Словом, это было упоение свободой. Обыватель боязливо жался к стенам домов и торопливо скрывался в подворотне, дабы не столкнуться с ватагами этого военного

сброда. Офицеры ходили сумрачно и озабочено и старались не видеть того, что делается вокруг. Они были безсильны. Многие из них надели штатское платье.

Улицы, никем не убираемые, представляли собой очаги заразы. Дома до первого этажа заклеены аршинными плакатами всех сортов и цветов разнообразнейшего содержания: тут и пламенные революционные призывы по различным поводам, приказы и объявления новых вершителей судеб и... заманчивые объявления о вновь открытых ночных кабаках и широковещательных средств специального лечения по усовершенствованной гигиене. Петербург был обуреваем какой-то плакатно-афишной болезнью!

Чтобы дополнить внешний вид революционной столицы, надо упомянуть о безчисленном количестве красных флагов, болтавшихся почти везде на всех домах. Флаги эти после нескольких дождливо-снежных дней обратились в отвратительные красно-бурого цвета тряпки, которые прекрасно гармонировали с общей мерзостью, творившейся на улицах, и были очень к лицу нарождающейся свободе, которую воспевали на всякие лады безчисленные, словно грибы на навозе выросшие, газеты демократического направления.

В новых демократических сферах царил полный сумбур и полная неразбериха.

Главным Начальником Петербургского округа был назначен небезызвестный генерал Корнилов. Лично для меня это назначение не представлялось чем-либо неожиданным и было вполне понятно. Еще задолго до революции, после того, как имя Корнилова стало известным по его побегу из австрийского плена, мой покойный отчим и другие, говоря о Корнилове, отзывались о нем, как о безупречно честном человеке, который всюду, где только мог, подчеркивал свое крестьянское происхождение, а в своих политических суждениях был не только либерален, но даже красным и якобы своих республиканских убеждений и не скрывал. После побега из плена и возвращения в Россию он был назначен командиром 25-го армейского корпуса (до пленения он был начальником дивизии), на какой должности его и застала революция. Сведущие люди мне говорили, что этим своим назначением Корнилов был обижен, так как ему лично корпусного командира было мало. Об этом обстоятельстве осторожно прошлась наша пресса:

- Вот-де, народного героя обидели!

Словом, Корнилов счел себя обиженным и в первую голову, конечно, на Государя... Теперь его честолюбие было удовлетворено!

Одним из первых шагов Корнилова было награждение унтер-офицера Волынского полка Кирпичникова Георгиевским крестом во время парада, на котором кое-как маршировали насилу собранные войска Петербургского гарнизона с последовавшим за ним митингом с красными тряпками и прочими революционными аксессуарами... Как сам Корнилов, так и его свита были украшены огромными красными бантами.

За что же был награжден Кирпичников?

У меня с трудом подымается рука, чтобы написать эти слова:

За убийство своего командира!

Этот мерзавец взбунтовал батальон, убил собственного батальонного командира и через его труп вывел окончательно деморализованное этим поступком солдатское стадо на улицу и присоединился к бастовавшим и безчинствующим рабочим! И за этот "подвиг", за это преступление генерал Корнилов украсил грудь этого жалкого ублюдка Георгиевским крестом, то есть орденом чести и храбрости, орденом, который украшал в свое время Суворова, Кутузова, Скобелева и других подлинных российских героев и полководцев!

Так начал свою деятельность новый командующий войсками, а Гучков, на посту военного министра, стал заниматься реформами по демократизации армии. Была создана особая комиссия под председательством генерала Поливанова. Комиссия эта должна была выработать новые права нижних чинов и установить новые взаимоотношения межу подчиненными и начальниками.

А пока за истекшие две недели управления военным министерством Гучковым, а Петроградским округом Корниловым Петербургский гарнизон разложился до того, что не могло быть и речи и возможности отправить на фронт маршевые пополнения, и дело кончилось тем, что военному начальству пришлось официальным приказом по округу объявлять, что части Петербургского гарнизона на фронт выведены не будут, а останутся в Петербурге для защиты завоеваний революции!!!

В обстановке военного времени этот приказ Корнилова безподобен! Фронт потерял свое первенствующее значение... На первом плане стояли "завоевания революции".

Дума в эти дни представляла собой не то сумасшедший дом, не то хаотический лагерь Мамаевых орд. В ее здании наши либералы, достигшие власти в лице Временного Комитета Государственной Думы, судорожно цеплялись за нее, а она, эта долгожданная власть, которую крепко держали в руках поколения Русских Царей и Императоров в продолжение тысячелетия славной истории Земли Русской, как призрачная фея, выпорхнула из их нечистоплотных рук и неожиданно оказалась в грязных, вонючих лапах Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов, денно и нощно заседавших и выносивших громоподобные резолюции в защиту завоеваний свободы и изрыгавших проклятия только что свергнутой "тирании".

Новоявленный Министр Иностранных дел Милюков, аттракционный номер Российского либерализма с крепким запахом английских духов, восседал довольный на министерском кресле и через безчисленных корреспондентов и интервьюеров вещал всему миру, что Россия будет воевать в полном единении с доблестными союзниками до победного конца, что о сепаратном мире не может быть и речи и что Россия должна водрузить крест на св. Софии и получить Дарданеллы.

Не знаю, как сопоставляли эти речи маститого профессора в блестящем кабинете с фактами грабежа иностранных офицеров в "Астории" солдатами русской армии, которая якобы будет воевать до победного конца и водрузит крест на св. Софию, господа иностранные корреспонденты, вероятно, думавшие, что Россия - страна сказочных чудес и противоречий.

Что же могли думать эти, сбитые с толку последними событиями в Петербурге, иностранцы, читая истерические речи другого субъекта, Министра Юстиции или Генерал-прокурора, как он сам себя величал, "товарища Керенского" в многочисленных собраниях Совета солдатских и рабочих депутатов, где он председательствовал, принимая резолюцию о мире без аннексий и контрибуций?..

На одном пароходе, шедшем из Норвегии в Англию, где среди пассажиров находилось также несколько русских, было на следующий день после отречения Государя получено радио, возвещающее о том, что Россия освободилась от трехсотлетнего ярма самодержавия. Присутствовавшие англичане, французы и другие иностранцы решили приветствовать русских пассажиров со столь знаменательным в жизни их Родины событием: за обедом в кают-компании был поднят тост за процветание новой, свободной России, покрытый дружными возгласами "хип, хип, ура!" под величественные звуки гимна "Боже, Царя храни", который играл один из англичан на рояле...

Так поняли иностранцы акт русского бунта, переданного им по радио. Не лучше ориентировались они и на месте.

Проезжая как-то на извозчике мимо Марсова поля, я увидел толпу рабочих, усиленно копавших что-то посредине площади. На мой вопрос, что они там делают, извозчик мне с грустной усмешкой ответил:

- Господь их знает, Ваше Благородие... В народе сказывают, что могилы копают...

Я изумился.

- Так что, значит, жертвов революции погребать в красных гробах будут, а так как, откуда же их взять, то заместо их, чтобы гробы полны были, из Обуховки самоубивец положат и городовых, тех, что на постах побили тоже... Худо это, барин... И без священников, значит, сказывают, хоронить будут...

Из газет я узнал, что извозчик мой был прав, и на 23 марта назначены были торжественные гражданские похороны жертв революции на Марсовом поле.

Я отправился к своему однополчанину, штабс-ротмистру Губареву, уезжавшему в полк, и рассказал ему о переживаниях своих 4 марта и о приказании Ее Величества. В рапорте на имя командира полка я передал полку привет Державного Шефа, благодарность за верную службу и приказание добровольно снять Шефские, драгоценные и святые для нас вензеля...

Целый вечер я провел у Губарева в беседе и воспоминаниях о минувших днях. На следующий день я встретил его в Царском, где пожелал ему счастливого пути и передал письма своим товарищам, переживавшим эти трагические дни на позициях.

В Царском все было внешне спокойно.

Доступ во Дворец был абсолютно закрыт, и можно было переписываться с Их Величествами исключительно через коменданта, на каковую должность был назначен Гучковым бывший лейб-улан П. Коцебу. Не знаю, чем руководствовались

при этом назначении, но выбор был, по-видимому, удачен. Мне говорили, что Коцебу держал себя в высшей степени тактично, ни на секунду не сбиваясь на хамско-освободительный тон, и делал все возможное, чтобы хоть чем-нибудь скрасить жизнь Царственных "Узников.

20 марта я получил от Начальника Эвакуационного пункта предписание с приказанием явиться в управление за документами, что немедленно и сделал. В управлении я получил предписание отправиться к месту нового служения, а именно в 8-й Запасной Кавалерийский полк, квартировавший в г. Новогеоргиевске Херсонской губернии. Сборы мои были недолги, и я выехал 23 марта.

ГЛАВА XIV

Поезд тронулся. На платформе изящного Царскосельского вокзала раздавались дикие крики и вопли.

- Товарищи! Пустите! Пустите! Христа ради!

Я с трудом высунулся в окно, и глазам моим открылась незабываемая картина:

Два солдата с винтовками за плечами в расстегнутых шинелях и фуражках на затылке держали какую-то женщину, которая стремилась прыгнуть в один из вагонов медленно отходившего поезда.

- Куда прешь, стерва! - грубо крикнул ей один из солдат и резко отбросил несчастную в сторону. Треск и звон разбитого стекла заглушил мольбы несчастной женщины. В разбитую раму высунулась смеющаяся матросская рожа в шапке набекрень.

- Ничаво, товарищ, таперича свобода! - крикнул кто-то.

- Петька, ты Степке безприменно расскажи, как мы свободу завоевали и леворюцию устроили!

Слышались пожелания.

- Гражданин, а гражданин, вас не затруднит мое письмо на станции Дно бросить?

Какой-то юркий студентик из наших совал письмо солдату, многозначительно ковырявшему указательным пальцем в носу.

- Пшел к...!

Раздалась непечатная ругань, а ручка свободного гражданина заменила ему платок.

- Что значит, пошел! Фи, какая некультурность!

- Лишнее не разговаривай, жидюга паршивая... а то выскокну и ребра поломаю!

Поезд прибавил ходу и мерно застучал. Вот и Царское Село. Золотые кресты на синих маковках Феодоровского собора под лучами бледного заходившего северного солнца переливались всеми цветами радуги.

Сердце мое болезненно сжалось, тяжелый вздох вырвался из груди, и, сняв фуражку, я перекрестился.

- Боже Великий, Милосердный, сохрани и спаси моих дорогих Их Величеств! - с трудом сдержав навернувшиеся на глаза слезы, прошептал я. Чей-то хриплый голос бросил:

-И-и-и-шь, ты!

В углу раздался злобный смешок.

Коридор вагона был заполнен котомками, узлами, сундуками и вещевыми мешками. На них сидели и лежали вплотную друг к другу солдаты всех полков Петербургского гарнизона. Несколько человек спали, растянувшись прямо на полу, частная публика безропотно жалась по стенкам и ютилась в углах купе, имея плацкарты, и которым безбилетные товарищи милостиво предоставляли это право! Слышался грубый смех, грязные остроты и циничная брань.

Две молоденькие женщины скромно, но со вкусом одетые, стояли в коридоре и, видимо, с ужасом наблюдали эту демократическую картинку. Одна другой вполголоса что-то говорила по-французски. До меня долетали отдельные фразы:

- Ты не можешь себе представить, милочка, какой это был ужас. Подходит ко мне такой грязный, в папахе, схватил за руку и говорит: идем.

Я невольно спросила: Куда?

- А в трахтир! - и прибавил: - Полно дурака валять, чего ломаешься, дура.

- Ты, ты понимаешь, он мне сказал - дура. Мужик, хам, и он смел! - Молодая женщина всхлипнула. Подруга ее хрипло прошептала:

- Боже, какой ужас!

Я не выдержал и протискался к себе в купе. В маленьком купе 1-го класса, что называется, яблоку упасть было негде, воздух был такой, что хоть топор вешай. На нижнем диване сидели пять фельдшерских учеников Балтийского экипажа. В углу, прикорнув к столику, дремал какой-то бородатый субъект в папахе, благоухавший смазными сапогами и еще какой-то острой вонью.

На верхней полке лежал мой компаньон по несчастью, грузный военный врач, который тяжело дышал и поминутно вынимал носовой платок и обмахивал им вокруг себя. Рядом с ним лежал мой походный чемодан-вьюк, указывая, что второе место занято. Я с трудом взгромоздился наверх, нечаянно наступив на плечо одному из фельдшерских учеников. Он с галантной любезностью ответил мне: пардон.

Хотя воздух был действительно невыносимым, но все же я лежал, вытянувшись во весь рост, что по нынешним временам считалось уже роскошью. Приятно ощущать плацкарту в боковом кармане и чувствовать, что за свои деньги едешь со всеми удобствами и всевозможным комфортом.

Товарищ с бородой проснулся, громко выругался по неизвестному поводу, высморкался примитивным способом, снял сапоги, размотал портянки и повесил их на два крючка, где висели наши пальто.

Доктор не выдержал:

- Послушайте, вы, разве вам не видно, что эти крючки заняты. Там висят наши пальто.

- Ничаво! Нехай себе висят! - возразила фигура. Это и меня взорвало.

- Послушайте, любезный, говорят же вам, что эти крючки заняты, значит, заняты... Или вы русского языка не понимаете!

- Чаво там... Конечное дело, понимаю... Опять же...

- Гражданин, а гражданин! - раздался голос одного из фельдшеров-учеников. - Будьте интеллигентным и уступите господину доктору, повесьте ваши онучи на другое место.

Бородач что-то буркнул себе под нос, снял портянки с крючка и разложил их на столе, с которого матросы только что сняли еду.

Мне сделалось тошно, я повернулся лицом к стене и попробовал задремать. Сквозь полусон, под мерный гул поезда слышал я безконечный разговор внизу на тему о том, как Ванька, унтер-офицер, удачно "шпилил" за адмиральской нянькой Фенькой.

ГЛАВА XV

Станция Жлобин. Повсюду красные флаги. Огромный плакат рябит в глазах своею надписью: Долой самодержавие! Да здравствует Совет солдатских и рабочих депутатов!

Станция, пути, перрон - все битком набито солдатами, грязными, оборванными и нахальными.

Приходящие поезда штурмом берутся товарищами, которым каждая минута дорога...

Звон и треск выбиваемых стекол, безконечная брань и разухабистые, похабные песни сплошным гулом стоят в весеннем воздухе.

Жандармов нет, но вместо них по перрону бегают какие-то фигуры с винтовками за плечами и белыми повязками на левых рукавах. Это новые блюстители порядка - железнодорожные милиционеры. Один из них, в солдатской шинели, но в фуражке коммерческого училища, с типичным носом и отвислыми ушами, лет 17-ти,

уговаривает граждан солдат разойтись, так как они мешают свободному проходу в станционное помещение.

- Товарищи, товарищи, не нарушайте правильного течения интеллигентной жизни!

Товарищи громко смеются, а один из них, сплюнув, изрыгает:

- А ты сам кто такой, сучий сын? "Сучий сын" в ужасе бросается в сторону.

Около будки для продажи съестных припасов для воинских чинов образовался митинг. На ящиках стоит группа солдат с красными повязками. Один из них, молодой парень, без фуражки, плотный, красный, с расстегнутым воротником, хриплым голосом кричит:

- Товар-р-р-ищи! Ефто провокация! Не нам нужно ехать... Не нашему эталону, а ихнему. Я правильно говорю, това-а-р-р-ищи?!

Крики "правильно", с одной стороны, и "долой", с другой, вырываются из сотен глоток.

- Митька! Гони его в шею, чего он разоряется! Оратор за полы шинели стягивается с ящиков, и новый товарищ начинает:

- Свободные граждане, Совет постановил вам ехать первыми!

- Да-а-а-лой!

- Что, долой? Ведь это не он, а Совет!

- А ты не разговаривай!

- Пра-а-а-вильно!

- Знаем мы его, он - провокатор, в денщиках служил.

- Да-а-а-лой!

- Товарищи, Совет солдатских...

- Гони его в шею! Вот Хаменко скажет.

Делегат в изнеможении машет рукой и спрыгивает с ящиков, а Хаменко вещает:

- Долой Совет, он продался ахвицерам. Перевыборы надо. Надо голосование, и чтобы усе равное было! Тайного нам не надо... Попили нашей кровушки! Правильно, товарищи?..

- Пр-а-а-вильно... Усех долой!

Я смотрел совершенно ошеломленный на эту картину.

- Что это здесь делается? - спросил я проходившего мимо старика железнодорожника.

- Это маршевые роты спорят, кому на фронт раньше ехать надо.

Он безнадежно махнул рукой и медленно побрел.

Вскоре наш поезд черепашьим шагом, буквально пробиваясь сквозь человеческую толпу, двинулся дальше.

Почти на всех станциях однообразная картина. Всюду митинги и митинги. Промелькнул Бахмач, и вот через пять минут я в Кременчуге, первом этапе моего путешествия.

На полуразбитом фаэтоне жид-извозчик дотряс меня до небольшого дома, на котором гордо красовалась вывеска: "Гостиница Россия". Я был почти счастлив, когда перешагнул двери этой прокопченной, грязной еврейской гостиницы. Я безумно устал от переживаний последних суток. Промучившись всю ночь в кровати с невероятным матрасом и подвергшись ожесточенным атакам "тяжелой и легкой кавалерии", я утром с головной болью, с трудом одевшись, отправился на пароход.

ГЛАВА XVI

Тихо шумя колесами, пароход медленно отходил от пристани. Это был Ноев ковчег или, вернее, старая калоша, по недоразумению плававшая по волнам и безбрежной глади днепровских вод, освободившихся ото льда.

Несколько вольноопределяющихся Ахтырцев и Вознесенцев лихо щелкнули шпорами и прекрасно отдали честь при моем появлении. Это была первая светлая картина за эти хамские три недели. Но каково же было мое удивление и радость, когда я вошел в помещение, носившее громкое название каюта 1-го класса и увидел трех солдат, Лубенцев, вскочивших и по-старому приветствовавших меня. Безконечно приятно было видеть в эти дни рядовых представителей родного мне оружия, свято хранивших традиции и заветы своих полков.

Публика в кают-компании не отличалась разнообразием. Несколько еврейчиков, два-три почтово-телеграфных чиновника, какая-то непомерно толстая женщина, к тому же в положении, поминутно жаловавшаяся на духоту в каюте; эту компанию довершал военный чиновник в фуражке с офицерской кокардой, что было, конечно, вне всяких правил.

Я примостился на диване и стал просматривать газеты. Заголовки газет громко вещали: Война до победного конца! Все на фронт на защиту завоеванной свободы!

Но были и попроще: Да здравствует Временное Правительство! Да здравствует Совет Солдатских и Рабочих депутатов! - Содержание их было безконечно унылым и нудным. Без конца и края стереотипные речи Керенского, смешиваясь с потугами Гучкова уговорить граждан-солдат идти на фронт, с заверениями о благе совершившегося переворота для русской армии, омрачались какими-то неподобающими резолюциями, выносимыми разными фронтовыми, армейскими и

пр. (имя им легион) Советами. Не поддающаяся никакой передаче ругань по адресу старого режима и его деятелей, к которым причислялся чуть ли не Иоанн Кронштадтский. Безсовестная, мерзейшая клевета на Государя и на Государыню наполняла целые столбцы даже в некоторых более или менее серьезных газетах. Словом, ложь всюду, везде и на каждом шагу.

Просмотрев газеты, я вышел на палубу освежиться.

Начинался разлив. Быстрые волны красавца Днепра окрасились в коричнево-бурый цвет и, с тихим шумом накатываясь одна на другую, затопляли островки и низины. Кое-где зеленела молодая травка, в прогалинах серебрился пухлый весенний снег. Вот большое село. Белые мазанки с соломенными крышами в безпорядке ютились на крутом берегу. Выглянувшее солнышко теплыми лучами играло на куполах сельской церкви.

Кто-то на палубе сказал: Вот Табурище! - Так вот оно, знаменитое Табурище, о котором я в полку так много слышал от своих приятелей. В этом селе стояли наши два маршевых эскадрона.

Около маленькой пристани пароход остановился. На берегу я увидел несколько своих "куйдышей",[1] оживленно разговаривающих с деревенскими девчатами в свитках и платочках. Я почувствовал к этим смуглым, загорелым солдатам, несмотря на всю мою неприязнь после революции к серой шинели, почти нежное чувство. Все же это были мои родные Крымцы...

г----------

[1] "Куйдыш" по-татарски - земляк, товарищ.

L_____

Я подозвал одного из них и поздоровался. Лицо солдата расплылось в радостной улыбке при виде своего офицера, и он на всю пристань гаркнул:

- Здравиам желаиам, Ваши Благородие!

Он мне сообщил, что в Табурище стояли пятый и шестой маршевые эскадроны, и что у них, слава Аллаху, все благополучно.

Пароход снова заработал колесами, и снова вокруг нас запенилась вода разбуженного, казалось, от тихой дремоты Днепра.

Вдали показались ряды маленьких домиков и несколько фабричных труб. Это был Новогеоргиевск Херсонский - цель моего путешествия. На левом берегу виднелась насыпь, видимо, недоконченной железной дороги. Мне сказали, что это ветка от станции Бурты, около Кременчуга, в этот заштатный городок. Война помешала открыть движение, так как положенные уже рельсы были сняты для военных надобностей. Вот и здание вокзала из красного кирпича с заколоченными досками окнами.

Скоро пароход, пройдя по ряду каналов, вернее, рукавов, вероятно, высыхающих летом, остановился около пристани-баржи.

С трудом найдя себе экипаж, по сравнению с которым кременчугский фаэтон казался щегольским, запряженный парой кляч и с кривым к тому же на один глаз возницей, я затрясся по проселочной дороге. Через полчаса мы остановились около двухэтажного дома с вывеской: "Номера для приезжающих". Поднявшись по крутой лестнице наверх, я был встречен простоволосой еврейкой с кучей ребят. Один номер был свободен и, к моему удивлению, сравнительно чист и вообще сносен для житья.

Умывшись, я надел "полную боевую" и отправился в полковую канцелярию явиться командиру полка по случаю приезда. Пока я добрался до канцелярии, я убедился, что, прожив в этом городе более двух месяцев, нельзя не сделаться либо картежником, либо алкоголиком... Все городские развлечения зиждились, по-видимому, на одном кинематографе, и то очень сомнительного свойства.

По немощеным улицам носились столбы пыли, гуляли домашние животные: как-то свиньи, куры, коровы, гуси и пр. Маленькие домишки-мазанки были почти сплошь крыты соломой. На улицах встречалось множество солдат, к удивлению моему, отдававших преисправно честь. Канцелярия помещалась в длинном одноэтажном доме с террасой, на которой сидело и стояло несколько офицеров. Вестовые с лошадьми мирно сидели на завалинке и лущили семечки.

Поздоровавшись с офицерами, я хотел пройти в канцелярию, но меня обступили со всех сторон и засыпали вопросами:

- Вы из Петрограда?.. Ну, что там?.. Как прошла революция?.. Правда, что в Кронштадте 3000 офицеров убили?.. Мы ничего не знаем! Командира еще нет! Успеете явиться!

Я не знал, кому отвечать. В кратких словах я обрисовал положение в Петербурге. В это время пришел командующий полком полковник П. Я сдал бумаги и явился своему новому начальству, которое меня долго не задерживало, т. к. у двери его кабинета ждала аудиенции группа каких-то солдат.

В сопровождении нескольких офицеров я отправился в Собрание.

ГЛАВА XVII

Дом Собрания, насколько я успел осмотреться, был, по-видимому, одним из лучших в городе. Это был одноэтажный барский дом, выкрашенный в желтую краску. Когда мы пришли, было уже около семи часов вечера, и офицеров собралось в ожидании ужина довольно много.

Сейчас же нашлись знакомые и старые приятели. Меня обступили со всех сторон, и вскоре в читальне Собрания, что называется, негде было яблоку упасть. Волей-неволей мне пришлось превратиться в импровизированного оратора и прочесть целый реферат обо всем, пережитом в Петербурге.

Говорил я, видимо, складно, чувствуя себя в родной среде, в выражениях не стеснялся, коротко и ясно и, возможно, безпристрастно излагая события. Когда я кончил, то удостоился крепких рукопожатий и шумных выражений благодарности.

За ужином меня посвятили в переживания полка за это время. Известие о перевороте прошло довольно спокойно, благодаря отдаленности от центра, отсутствию местной печати и тому, что все сведения доходили с большим запозданием; жили больше слухами, но все же при полку существовал свой Совет солдатских депутатов, во главе которого стоял татарин Бекиров, чем я должен был бы несказанно гордиться, т. к. он был мой однополчанин. Выбор Бекирова на сей "высокий" пост был тем более замечателен, что на весь 12.000-й состав полка приходилось лишь 1.000 татар, и, тем не менее, место председателя досталось едва грамотному татарину...

Как мне передавали, Бекиров по профессии был ялтинским проводником, никогда на фронте не был, а служил вестовым при полковой канцелярии, считался никчемным солдатишкой, но, попав сразу в вершители судеб многих тысяч себе подобных, оделся с иголочки в собственное обмундирование, на указательный палец напялил золотой перстень с бриллиантом, карата в четыре, и... завел себе содержанку из местных львиц.

Совет сначала довольно робко, но в последние дни все решительнее стал вмешиваться в распоряжения командира полка, видимо, чувствуя, что почва у них под ногами крепнет, благодаря тому, что старшее полковое начальство, в особенности кадровое, стало себя держать, начиная с командира полка, по отношению к Совету с излишней предупредительностью и даже просто с заискиванием.

Что же касается настроения офицерства, как мне сообщил мой собеседник, ротмистр Бухарин, то оно в массе было подавленное и явно недоброжелательно относилось ко всему происходящему, но, к глубокому сожалению, даже и в этой среде и среди молодежи нашлись такие субъекты, которые пошли в новую Каноссу и поспешили поклониться новому хозяину в лице Совета солдатских депутатов.

Вечером, побывав в общественном собрании, единственном клубе этого города, где в большом сравнительно зале, прокопченном от дыма, я увидел, как за несколькими столиками играло в карты несколько штаб-офицеров и городская "аристократия" в лице начальника почтовой конторы, мирового судьи, земского врача и нескольких более или менее именитых горожан.

В соседней комнате стоял стол, на котором лежали клочья некогда зеленого сукна. На этом жалком подобии бильярда катали шары два молодых корнета и две сильно подкрашенные особы. Одна из них была в красной юбке и красных ночных туфлях, довольно миловидная еврейка с большим чувственным ртом и черными с поволокой глазами. Корнеты весьма недвусмысленно шутили, к вящему удовольствию своих партнерш. Ротмистр Бухарин, толкнув меня в бок, многозначительно шепнул:

- Обратите внимание: это наши дамы... на безрыбье и рак рыба.

Оставив корнетов продолжать прерванный флирт, мы пошли в буфет, где за бутылкой скверного вина провели вечер.

ГЛАВА XVIII

Утром я прочел в приказе: В 5 часов дня в помещении офицерского собрания штабс-ротмистр Алексеевский прочтет доклад на тему: "Что такое демократическая республика?".

На лекцию собралось порядочное количество офицеров. Содержание доклада было возмутительно. Из уст лектора, небольшого роста человека с рачьими усами, плешивой головой и черными, безпокойно бегающими глазками, с ужимками митингового оратора, неслись проклятия "сгинувшему царизму" и восторженные хвалы "исполину-народу, сбросившему трехсотлетнее ярмо самодержавия".

Один из моих соседей сообщил мне биографию сего замечательного господина.

В 1905/1906 поступил в Н-ское Кавалерийское училище караим Коган. Учившись прекрасно 2 года, накануне производства он оказался евреем из Бердичева. Случился невероятный скандал! В это время через Н-ск проезжал Государь Император, и юнкер Коган подал на Высочайшее Имя прошение, и Государю благоугодно было, принимая во внимание отличные успехи юнкера Когана, согласиться на переход его в Православие и на перемену фамилии Когана на Алексеевский, в честь Наследника Цесаревича.

Прошло 10 лет, и вот штабс-ротмистр Алексеевский, обласканный в свое время Императором и всем Ему обязанный, сделался первым членом Совета солдатских депутатов, предавая проклятиям "кровавую тиранию" и выливая ушат грязи на своего Благодетеля-Монарха. И этот господин в сегодняшней лекции решил напитать офицеров республиканской белибердой, восхваляя неисчислимые блага республиканского режима.

Но вышло напротив. Аудитория весьма недружелюбно встретила лекторские вопли и делала громкие, резкие и определенные замечания, ничего хорошего не предвещающие оратору. К середине лекции не оказалось и половины ранее присутствовавших. Все понемногу стали расходиться. Я тоже собрался уходить:

- Ваше Вскоблагородие! Вас председатель Совета солдатских депутатов желает видеть! - раздался за мной голос бравого вестового.

Я вышел в переднюю. Передо мной стоял опрятно одетый татарин с типичным лицом ялтинского проводника, с бриллиантовым перстнем на указательном пальце правой руки.

- Здравствуйте, что вам угодно?

- Здравия желаю, господин корнет! - господин председатель попытался протянуть мне руку.

Я пристально посмотрел на него и спокойно положил свою руку в карман. Рука его повисла в воздухе и, как-то стыдливо, исчезла. Он смутился.

- Видите ли, собственно говоря, извиняюсь, что вас безпокою, но нам очень интересно было бы узнать, что делается в Петербурге.

- Понимаю... Но кому это, нам?

- Мне и моим товарищам делегатам!

- Прекрасно, приходите через час ко мне в гостиницу, и я вам подробно расскажу, что мне пришлось пережить в эти незабываемые дни! А пока честь имею кланяться.

Бекиров рассыпался в благодарностях, но я прервал его:

- Итак, через час, - повернулся и пошел обратно в собрание.

Через час я был дома и ожидал "почетных" гостей. Вскоре они появились. Кроме Бекирова, пришли еще два солдата и, к моему удивлению и изумлению, особа женского пола в яркокрасной кофте, в которой я опознал еврейку, игравшую ночью на бильярде в общественном собрании и так блестяще аттестованную ротмистром Бухариным. Я любезно осведомился у мадемуазели Канель (такова была фамилия у этой особы) о целях ее прихода.

- Я представительница Совета рабочих депутатов, - с достоинством ответила мне она.

Пригласив жестом своих посетителей сесть, я совершенно честно и правдиво описал все мои переживания за последние три недели. Конечно, опустив все, что касалось Царского Села, я, как мне повелела совесть, в ярких словах дал понять делегатам, что все случившееся есть величайшее несчастье для нашей Родины и что при создавшемся положении мы войну безусловно проиграем, так как дисциплина в армии в корне подорвана и восстановить ее только может диктатура, учрежденная на все время войны. Не преминул я вскользь пройтись по части евреев, принявших столь деятельное участие в перевороте. Товарищ Канель кусала губы, когда я говорил о ее соотечественниках, и, наконец, вскочив со стула, заявила:

- Тут вы затрагиваете специальные вопросы, меня не интересующие, - и, удостоив меня небрежным кивком головы, вышла из комнаты.

У меня стало легче на душе, и я продолжал рассказывать дальше. Часа два продолжалось наше собеседование, пока я совсем не охрип и, извинившись перед моими слушателями, надел фуражку и вышел с ними на улицу.

Бекиров, как и в первый раз, рассыпался в благодарностях, и его спутники не отставали от него.

- Единственной властью пока является Временное Правительство, и его следует поддерживать, так как иначе к той анархии, каковая грозит нам, мы придем с молниеносной быстротой. Благодарить меня не за что. Я был очень рад дать вам

интересующие вас сведения. Да потом и время теперь такое: сначала благодарят, а потом арестовывают... Ведь вы же не можете гарантировать мне того, что меня не арестуют? - Товарищи были окончательно убиты моим заключительным словом.

- Нет... что... вы... помилуйте..! - бормотали они.

- Итак, помните все то, что я сказал вам, и да не даст Господь, чтобы все мои предположения оправдались! Спокойной ночи.

На этом я расстался с делегатами и вернулся в собрание, чтобы убить как-нибудь остаток вечера. Не успел я войти в карточную комнату, как ко мне подошел маленький коренастый полковник Б. 12-го Стародубовского полка и проговорил:

- Корнет! Немедленно отправляйтесь домой! Командир полка приказал Вас арестовать!

- Вернее, Совет солдатских депутатов, господин полковник, - ответил я ему.

Полковник только безнадежно махнул рукой.

По темным улицам я быстро дошел до своей гостиницы. Заперев дверь на ключ, я зажег свечу и при свете мерцающего огарка убедился, что мои четыре автоматических пистолета находятся в полной боевой готовности под моей подушкой на кровати, а пятый, как всегда, в кармане.

Под окнами раздался глухой шум толпы. В темноте, при свете тускло мерцавшего фонаря, у входа в гостиницу я различил толпу солдат. Среди серых шинелей терлись какие-то штатские. Слышались крики:

- Чего там копаются! Давайте его, контрреволюционера! Провокатель! Все они такие, попили нашей кровушки!

Деревянная лестница застонала и затрещала под напором хлынувшей на нее толпы.

- Назад! Я здесь начальник.

В ответ раздались угрожающие возгласы. В дверь кто-то громко постучал.

Преувеличенно спокойно я сказал:

- Чего там ломитесь, сейчас, - и я открыл дверь.

В комнату вошел в шинели, при полой боевой амуниции дежурный по полку корнет Р. Он взял под козырек:

- По приказанию временно командующего полком вы арестованы!

- Пре-к-р-асно, - ответил я и тихо добавил, - я уже знаю за что.

Корнет Р. повернулся и вышел в коридор. Я встал в дверях и твердо решил никого больше в комнату не впускать.

- Так вы знаете, за что вы арестованы? - раздался голос в полумраке коридора, и я узнал в говорившем одного из солдат, бывших у меня перед ужином.

- Нет, не знаю, - громко и резко ответил я.

- Как не знаете? Вы только что сказали...

- А я вам повторяю, что не знаю. Быть может, за то, что я призывал вас поддерживать Временное Правительство?

Это мое спокойное и ироническое замечание заставило его растеряться. Около моей двери появился какой-то солдат с винтовкой, несколько других просунулись в коридор.

- Спокойной ночи, господа! - я хлопнул дверью и дважды щелкнул ключом.

На лестнице слышались возгласы:

- Одного часового мало! Нужно около окон поставить. Нас при старом режиме в карцерах давили, а тут домашний арест!

- Я сам знаю, что мне нужно делать! Вон отсюда! - распоряжался корнет Р.

Постепенно толпа стала расходиться, и все стихло, только по коридору раздавались мерные шаги часового.

Проснулся я около 10 часов утра. Умывшись и одевшись, я вышел в коридор. К моему удивлению и удовольствию, часовой оказался моим однополчанином. По его смущенному лицу я понял, что он и не подозревал, что окарауливает своего офицера. А когда я объяснил ему, что причиной моего ареста является Бекиров, он совсем растерялся; я же был очень доволен, что смог немного поагитировать среди своих татар. Товарищи, по-видимому, поняли свою ошибку, и смена караула пришла уже русская, и мне было непонятно, каким образом они смогли изменить наряд. Но и новый часовой оказался недурным и услужливым солдатом. Он, по моему приказанию, притащил мне от хозяйки самовар и, ничтоже не сумняшеся, оставил на время свою винтовку в углу моей комнаты.

Около 11 раздался стук в дверь, и в щель просунулась голова Бекирова, с приятной улыбочкой сообщившего мне, что скоро меня поведут на допрос.

Я поблагодарил его за любезное сообщение и напомнил, что все мои предположения оправдались, так как я уже арестован. Он ничего не ответил и исчез. Около часу дня ко мне пришел новый дежурный офицер, корнет В-ский, сообщивший, что мой допрос будет происходить в помещении Волостной Управы.

С ним я вышел на улицу, и мы направились к маленькому, находившемуся шагах в трехстах от моей гостиницы, дому с красным флагом на воротах. Пройдя через маленькие сени, я очутился в комнате, где должен был произойти мой допрос.

В комнате компания собралась пестрая. В левом углу рядом со столом, за которым сидел военный доктор, которого я видел играющим в карты в Общественном Собрании, сидели, развалившись и раскуривая цигарки, три солдата из Совета, из коих двое были у меня накануне с Бекировым. За столом военного доктора, который, видимо, был председателем столь своеобразного судилища, сидела какая-то мужеподобная женщина с университетским значком, приколотым к защитной кофте военного покроя.

По левую руку доктора сидел седобородый старик в судейской тужурке, как потом я узнал, местный мировой судья. В правом углу комнаты сидели 12-го Др. Стародубовского полка полковник Б. и 12-го Ул. Белгородского полка полковник К. Около стен жались какие-то штатские и несколько солдат, по-видимому, просто любопытные.

Почтительно поздоровавшись с обоими полковниками и мировым судьей, я на ходу сунул руку доктору и его даме, а в сторону делегатов бросил небрежное:

- Здрасте!

Спросив у полковника Б. разрешения сесть, я сел на стул против доктора, но сейчас же встал и, в упор посмотрев на делегатов, пускавших дым кольцами по направлению к сидевшим полковникам, демонстративно аффектировано спросил у полковника Б. разрешения курить и снова сел на свое место.

- Что вам угодно от меня? - громко и отчетливо обратился я к доктору.

Он немного замялся.

- Видите ли... собственно говоря... нам интересно узнать о том, что вы рассказывали о событиях в Петрограде в собрании.

Я хотел было ответить ему, что его, собственно говоря, мои разговоры в собрании не касаются, так как офицерское собрание - это "святая святых" офицерства, но, не желая с места вступать в пререкания, ответил:

- Сделайте ваше одолжение, я из моих рассказов секрета не делаю.

- Сначала нужно записать фамилию, место и год рождения и, вообще, все прочее? - обратился доктор к мировому судье.

Последнему, видно, было как-то не ловко и не по себе, и он только молча кивнул головой.

Я с первого взгляда убедился, что господа судьи кустарного производства и поэтому, чтобы избежать излишних вопросов, решил взять инициативу в свои руки и начал свой рассказ.

Г-жа Павловская (такова была фамилия дамы, сидевшей по левую руку от меня), бывшая по профессии, как я впоследствии узнал, народной учительницей, во время моего рассказа все о чем-то справлялась в своей записной книжке, лежавшей на столе. Она поминутно перебивала меня и задавала самые разнообразные вопросы.

Я разговаривал с нею пренебрежительным тоном, через плечо, заставляя ее повторять свои вопросы по несколько раз, что ее крайне нервировало. В выражениях я не стеснялся и безпощадно ругал товарищей-солдат и товарищей-матросов, одних за разгром и ограбление "Астории" и за варварскую расправу с полицией, Других за Кронштадтские зверства. Доктор молчал, делегаты злобно исподлобья смотрели на меня. Наконец Павловская не выдержала:

- Вы сгущаете краски, я не могу себе представить, чтобы свободный народ дошел до такого безобразия...

Меня прорвало:

- Сударыня, я весьма жалею, что вас не было со мной в "Астории" и что вам не пришлось в полуголом виде проехаться в Думу с проститутками. Кроме того, я поражен, как вам, сорокалетней женщине, окончившей пять университетов, не стыдно задавать такие нелепые вопросы, какие вы все время задает мне, восемнадцатилетнему корнету, окончившему всего лишь военное училище. Я бы постыдился на вашем месте.

Павловская покраснела, ей было не больше 26-28-ми лет, а мое замечание о ее сорокалетнем возрасте сразило ее.

Полковник и мировой судья едва сдерживались, чтобы не расхохотаться.

Вскоре П. встала и, извинившись, покинула зал заседания.

Я думал, что мне станет легче, но не тут то было. Делегаты, разозленные на меня, подвергли мою персону совместно с доктором перекрестному допросу, все время силясь доказать, что я оскорбил священных революционных героев.

Но это им не удалось. Пытались доказать, что я агитировал против законной власти в лице Временного Правительства, но из этого ничего не вышло. Допрос продолжался добрых четыре часа. Наконец, один из делегатов, справившийся в своей записной книжке, изрек:

- Вы сказали, господин корнет, что достаточно одной или двух кавалерийских дивизий, чтобы успокоить всю эту сволочь!

Я не потерялся:

- Да, но я сказал: для того, чтобы успокоить всю ту сволочь, которая громила "Асторию", грабила иностранных офицеров, издевалась над женщинами, делала самочинные обыски и искала пулеметы в ночных столиках, вот для этой сволочи достаточно было кавалерийской дивизии.

Эффект заданного вопроса сразу пропал, делегаты притихли, доктор что-то злобно буркнул себе под нос.

Наконец, полковник Б., видя, что я начинаю сдавать и буквально еле сижу от усталости, прервал мои объяснения и предложил доктору кончить допрос, с чем последний согласился, и меня вскоре отпустили домой, но в сопровождении дежурного офицера.

Так громко началась моя служба, вернее, мое пребывание в запасном полку. Подчеркиваю - "пребывание", так как результатом моего допроса и суда, на котором обсуждался вопрос, каким образом обезвредить меня, было компромиссное предложение полковников Б. и С. временно никуда меня не назначать против предложения товарищей делегатов, желавших отправить меня или в военную тюрьму в Киев, или на гауптвахту в Харьков, или же, наконец, были и такие голоса, которые требовали моего отправления в Петроград в Государственную Думу.

Заседание суда продолжалось почти всю ночь, и нашим штаб-офицерам удалось отстоять меня. Было принято постановление, по которому предлагалось командиру полка сделать мне внушение за грубость выражений, допущенную мною по адресу совершившейся великой революции и ее героев, а временно никуда не назначать, так как я могу оказать растлевающее влияние на своих подчиненных. Вследствие этих долгих дебатов мне пришлось просидеть под арестом лишних 20 часов, после чего я был выпущен, и мое освобождение было радостно встречено почти всем офицерством полка.

Я говорю почти, так как оказалось, что штабс-ротмистр Алексеевский-Коган в полку имеет единомышленника в лице поручика 12-го Стародубовского полка Иванова. Этот субъект с момента революции втерся в Совет солдатских депутатов, играя на дешевой популярности, и, что хуже всего, был доносчиком и осведомителем Совета о том, что творится в офицерском собрании, о настроении офицерства и о разговорах, происходивших между нами.

К стыду нас, русских офицеров, бывших в 8-м запасном полку, и наших штаб-офицеров, которым надлежало так или иначе прекратить возмутительную деятельность этого негодяя, раскрыл его подлую роль прикомандированный к полку прапорщик Кедржинский, поляк по происхождению, уже пожилой человек, с университетским образованием и в свое время имевший много общего с военной службой.

На одном из офицерских собраний он в краткой, но весьма выразительной речи без всяких стеснений, не считаясь с присутствием Иванова, во всеуслышание заявил, что таким офицерам, как поручик Иванов, не пристало носить офицерский мундир и что мы, офицеры, должны ему сказать:

- Вон из офицерского собрания!

Кедржинский был бурно приветствован собравшимися офицерами, Иванов пытался что-то сказать, но ему не дали говорить, и он покинул собрание.

В конце заседания к зданию полка подошла довольно большая толпа солдат. Оказалось, что Иванов успел наябедничать в Совет, и солдаты пришли требовать объяснения у Кедржинского. В открытые окна к нам доносился глухой ропот толпы и отдельные крики:

- Давайте сюда прапорщика Кедржинского и провокателя корнета Маркова второго!

Это звучное прибавление к моей фамилии появилось в полку после того, как в одном приказе, где упоминалось обо мне, писарь напечатал "корнет Марков второй", хотя я был в полку единственным, носившим эту фамилию. По-видимому, кто-то из писарей желал меня спровоцировать в глазах безмозглой солдатской массы и этой прибавкой к моей фамилии установить мое родство с членом Думы Н. Е. Марковым 2-м. Попытка, на первый взгляд, идиотская, но имевшая кое-какие результаты. По этому поводу мною был подан соответствующий рапорт командиру полка, и в приказе появилось следующее:

Корнета Маркова, ошибочно упомянутого в приказе от.., как корнета Маркова 2-го, впредь называть Марковым. Основание рапорта и т. д.

Кедржинский и я, сопровождаемые офицерами, вышли на широкое крыльцо собрания. Толпа шумела и волновалась, слышались даже угрожающие возгласы.

Кедржинский попросил слово и, когда толпа немного успокоилась, с огромным подъемом сказал блестящую, понятную для солдат речь, сравнив типов, подобных Иванову, и их действия с накипью, которая образуется при варке борща и которую хороший кашевар ложкой снимает и выбрасывает в помойное ведро. Он просил собравшихся солдат ответить, что сделали бы они со своим сотоварищем, который доносил бы на них нам, офицерам? Ответа не было. Его дал Кедржинский.

- Если бы вы, братцы, имели право, вы бы такого солдата выкинули из своей среды.

Громовые крики: Правильно! - вырвались из сотни грудей, и демонстрация против нас кончилась овациями по адресу не растерявшегося Кедржинского.

Иванов пытался вызвать Кедржинского на дуэль, об этом писались протоколы, но все кончилось тем, что он получил от Совета солдатских депутатов командировку в Петроград для ориентировки Совета о положении дел и для выражения приветствия от 8-го Зап. Кав. полка Гос. Думе по поводу совершившейся великой революции, и уехал, избавив нас, таким образом, от своего гнусного присутствия. Впоследствии, как мне передавали, он в полк обратно не вернулся, а устроился не то адъютантом, не то ординарцем к подобному, как он сам, негодяю, растлителю армии, военному министру и главковерху Керенскому.

Огромное большинство офицерства было враждебно настроено ко всему совершившемуся и явно монархическое. Печальным явлением в нашей среде было то, что несколько штаб-офицеров кадра запасного полка и дватри человека из действующих полков, которые в душе сочувствовали нам, но внешне вели себя возмутительно. Они заискивали у солдат и афишировали красными бантами свою вящую революционность, даже эфесы шашек с вензелями Государя обматывали красными тряпками.

На меня лично эти господа смотрели, как на зачумленного. Я же ко всему тому, что творилось вокруг меня, относился безучастно и безразлично, твердо решив при первом удобном случае уехать из полка и покинуть военную службу, так как продолжение таковой при создавшихся условиях считал для себя совершенно неприемлемым и безсмысленным, ибо ясно сознавал с самого начала "великой безкровной", что войну мы проиграли. Продолжать же игру в солдатики в угоду и на пользу новоявленным вершителям судеб просто не желал.

Не получая никакого назначения, я имел массу свободного времени и наблюдал жизнь полка. Гостиницу я покинул и нанял себе маленькую комнату около базарной площади, недалеко от собрания.

Приехал из Крыма мой любимый денщик Халил. Моя встреча с ним была очень сердечна. Как часто теперь, на чужбине, я вспоминаю этого образцового солдата, оставшегося верным заветам, вложенным его доблестным начальником, ныне покойным генералом от кавалерии графом Келлером.

Привязанный ко мне, как родной, в дни моего одиночества в Новогеоргиевске, когда я сидел в своей комнате, погруженный в невеселые и тяжелые думы, он прекрасно понимал мои душевные переживания и был моим единственным утешителем. Халил плакал, как ребенок, когда я рассказывал ему о Царском Селе. Огромных трудов мне стоило удержать его от расправы с Бекировым. виновником моего ареста. Но он обещал мне, что рано или поздно он с ним разделается и отомстит за меня. Впоследствии он сдержал свое обещание.

Как-то раз утром Халил, принеся мне обычное кофе, остановился перед моей кроватью. Он был мрачен и чем-то возбужден. Я спросил его, что случилось.

- Я, Ваше Высокоблагородие, думал... много думал.

- О чем же ты думал? - спросил я.

- Я думал, как бы было хорошо, если бы Валидэ[1] была бы теперь нашей Царицей; Царя теперь не хотят, так пускай Валидэ будет Царицей. Ведь это можно сделать, Ваше Высокоблагородие, и татары в этом помогут.

г----------

[1] Валидэ (Мать народа) - так называли всадники Крымского Конного Ее Величества полка своего Шефа, Государыню Императрицу Александру Феодоровну.

L_____

Я был до глубины души тронут таким мировоззрением моего любимца и постарался растолковать ему как все случившееся, так и создавшееся положение, подчеркнув, что теперь не время об этом думать, а надо все силы свои напрячь к тому, чтобы как Валидэ, так и всю Ее Семью вырвать из заключения и дать Ей тихую и спокойную жизнь.

Халил очень внимательно выслушал мои объяснения и, когда я окончил, заявил:

- Я все понял... Я буду думать!

Через несколько дней он конфиденциально сообщил мне, что он говорил со своим двоюродным братом, приезжавшим из Табурища, где стояли наши маршевые эскадроны, и с тремя своими приятелями еще по службе в дивизии, и они все согласны пойти за мной на помощь Валидэ.

Я горячо поблагодарил его за его верность нашему любимому Шефу и просил передать его друзьям, что, когда нужно будет, я непременно воспользуюсь их услугами в святом для нас всех деле.

В начале апреля я получил из полка известие, доставившее мне много радости и глубокое нравственное удовлетворение. Мне сообщали, что штабс-ротмистр Губарев, которому я передал в Петербурге рапорт командиру полка об аудиенции у Ее Величества четвертого марта, в двадцатых числах марта прибыл в полк и передал его по назначению. Результатом моего рапорта был приказ по полку, в котором сообщалось, что корнет Марков имел счастье 4 марта представляться нашему горячо любимому Державному Шефу и т. д., передал благодарность Ее Величества полку за верную службу, Ее прощальный привет и приказ снять Шефские вензеля. На основании этого командир полка, доводя об этой последней священной воле Ее Величества, приказал снять вензеля, которые полк до этого дня продолжал носить.

Насколько я знаю, наш Крымский полк был единственным во всей Императорской армии, снявший вензеля по личному приказанию Шефа, и я был счастлив, что помог родному полку облегчить этот тяжелый для него шаг расставания с отличиями, которыми мы все так гордились и так высоко чтили.

ГЛАВА XIX

Бывшее в начале апреля наводнение, благодаря небывалому разливу Днепра, по грандиозности напоминало, как передавали, наводнение, бывшее 65 лет тому назад; залита была вся низкая часть города, причинены были большие убытки, но случайно все обошлось без человеческих жертв.

Был затоплен и мой дом, что заставило меня переехать на новую квартиру. Квартира была прекрасная, она состояла из двух комнат, гостиной и спальни и находилась на Романовской улице, главной улице города, получившей, как полагается, новое наименование: улицы "Свободы".

Поселился я совместно с корнетом Г., отличным малым, большим весельчаком и балагуром, весьма решительным в своих действиях и, что особенно было важно для меня, полным моим единомышленником. Квартира наша вскоре в шутку стала называться "клубом темных сил".

Действительно, у нас собирались все офицеров, ярко и безстрашно выражавшие свое негодование по поводу совершившегося переворота. Во второй половине апреля я узнал от полкового адъютанта, что предполагается отправка 350 лошадей в Севастополь для артиллерии 2-й морской пехотной дивизии с проводниками татарами из наших маршевых эскадронов. Я просил его устроить мне эту

командировку. Командир полка согласился, и я, приняв лошадей, походным порядком в одно прекрасное утро вывел команду из Новогеоргиевска на станцию Павлыш, где должна была произойти посадка.

Еще в Новогеоргиевске я назначил исполняющим обязанности вахмистра одного старого татарина, старшего унтер-офицера, привлекшего мое внимание своей георгиевской медалью. Мой выбор оказался более чем удачным и не только потому, что он оказался очень расторопным и удачным помощником, но потому, что медаль была им получена не за боевые подвиги во время войны, а еще в 1905 году, когда он в Ялте с двумя товарищами арестовал 12 или 13 террористов на конспиративной квартире в момент, когда те изготовляли бомбы. Из этого можно заключить, каких взглядов был этот старик татарин.

Еще по дороге в Павлыш я на одном из привалов построил команду и сказал ей краткую прочувствованную речь на тему о том, что я очень счастлив командовать родными мне крымцами, но я вижу у некоторых солдат некоторые недопустимые отступления от формы, вроде неимоверно широких лампас казачьего образца вместо тесьмы в палец ширины, положенной нам по форме, затем с прискорбием вижу на некоторых полковые знаки с обломанными коронами, обратившими могучего русского орла в дрянную общипанную ворону, а потому приказываю лампасы немедленно спороть, а знаки снять.

Приказание свое я нарочно обусловил согласием команды на это мое требование и поэтому скомандовал:

- Несогласных со мной прошу выйти вперед!

Несогласных не оказалось. По строю я видел, что заколебалось только несколько человек, и это все были молодые татары, новобранцы. После этого лампасы были немедленно спороты, а знаки сняты, и мы тронулись дальше. Должен сознаться, что я играл на психологии, так как если бы скомандовал обратное, т. е. "согласные со мной выйди вперед", то, пожалуй, проиграл бы, но надо иногда прибегать и к таким уловкам.

Дорога от Павлыша до Севастополя, вернее, до станции "Мекензиевы горы", прошла совершенно гладко. На станциях по утрам, когда я выходил здороваться с выстроенной командой, последняя неизменно отвечала мне:

- Здравия желаем, Ваше Благородие!

Жалкие ответы немногих молодых татар, отвечавших "господин корнет", тонули в общем ответе. Вечером, во время зари и переклички, толпившиеся солдаты, ехавшие с фронта, как они говорили, на побывку, а в большинстве случаев просто дезертиры, смотрели на меня и на мою команду, как на диких зверей.

Сдав лошадей приемщикам Артиллерийского Дивизиона Морской Дивизии, я по настроению моих людей увидел, что если не дам им отпуска для свидания с родными, то все равно я свою команду растеряю. Поэтому я и отпустил их всех на три дня.

Офицеры артиллеристы, наблюдавшие, как я выдавал удостоверения и увольнял солдат, смеялись надо мною и говорили что я легковерен и что мои солдаты, добравшись до родных мест, не вернутся обратно. Но я был уверен, что не ошибаюсь в своих всадниках, и, действительно, мои ожидания были даже превзойдены.

Севастополь произвел на меня тяжелое, удручающее впечатление.

Жизнь в городе текла повышенно нервно и неуверенно. Морские офицеры ходили, как в воду опущенные, без погон, которые им пришлось снять по приказу командующего флотом адмирала Колчака, старавшегося избегать эксцессов. В первые дни, когда моряки сняли погоны, и всему гарнизону пришлось их снять, так как это потребовали морские команды. Когда же вышел приказ об изменении только морской формы, то приказом коменданта крепости сухопутным чинам было приказано снова надеть погоны, что и было исполнено. Но мне пришлось еще встретить, правда немного, малодушных сухопутных офицеров, щеголявших своим безпогоньем.

В дни, когда я был в Севастополе, пришло известие об отставке военного министра Гучкова и о занятии этого поста присяжным поверенным Керенским. Хотя и почтенный Александр Иванович весьма мало подходил к роли военного министра, но он все же охотился на львов где-то в Трансвале и, как говорили, принимал участие в англо-бурской войне, но что мог сделать на этом посту человек совершенно штатский, этот безталанный и крикливый социалистический недоносок. Понятно, единственное, что он мог сделать и сделал, это развалить окончательно армию.

В день своего отъезда из Севастополя я мог насладиться картиной похорон жертв "царской тирании". Я говорю о похоронах тех субъектов, которых тащили теперь в красных гробах и которые в 1905 году были расстреляны по приговору военно-полевого суда за мятеж, учиненный ими в черноморском флоте. Их несли для погребения на прелестном Приморском бульваре. Толпа дико орала марсельезу. Над нею сотнями реяли красные тряпки, и колыхались огромные плакаты со сногсшибательными надписями. Мне было противно и тошно смотреть на этот пошлый фарс, громко именовавшийся "похороны революционных героев", и с чувством глубокого облегчения я вздохнул, когда в назначенный день и час, к удивлению артиллерийских офицеров, на дворе артиллерийских казарм производил перекличку вернувшимся из отпуска солдатам моей команды. Из 120 человек вернулось около 80 человек. Я торжествовал. По дороге нагнало меня еще 10 человек, так что, в общем, я привел с собою обратно в полк около ста человек. Полковник Попов был поражен этим обстоятельством еще более, чем артиллерийские офицеры в Севастополе. Я был доволен своей поездкой, так как смог убедиться, что есть еще солдаты, с которыми можно жить и на которых можно положиться. К сожалению, будущее показало, что таковыми оказались в огромном большинстве инородцы.

По приезде в полк я еще некоторое время оставался без дела, но в начале мая все же получил назначение младшим офицером в девятый маршевой эскадрон 12-го Ахтырского Ее Императорского Величества Великой Княжны Ольги Александровны полка, командиром которого был штабс-ротмистр Селецкий, очень симпатичный

человек, прекрасный строевик и боевой офицер. Он вскоре уехал в отпуск, и я был назначен временно командующим эскадроном.

Я попробовал производить занятия, и, убедившись, что из этого все равно толку не выйдет, т. к. на занятия являлось не более 20 процентов наличного состава эскадрона, я, дабы не позорить себя в глазах солдат и не подчеркивать своего безсилия, предоставил командование эскадроном своему старослуживому вахмистру, так как младшего офицера у меня не было, и просил его, по возможности, поддерживать порядок, а меня без крайней нужды не безпокоить.

В день, когда была получена телеграмма, в которой сообщалось, что пресловутая "декларация прав солдата", состряпанная в Петербурге, приказом Керенского вводится в действие во всей армии, со мной произошел скандал, о котором и поныне, вероятно, вспоминают офицеры, бывшие в то время в 8 зап. кавалерийском полку.

По этой декларации отменялось обязательное отдание чести, и солдаты в ответ на приветствие офицеров должны были отвечать не "здравия желаем и т. д.", а просто "здравствуйте", короче говоря, убивалось последнее, чем могла еще держаться армия, и отменялось все, что служит в любой армии основой ее существования.

Это известие произвело у нас в собрании впечатление разорвавшейся бомбы. Этот акт единодушно рассматривался всеми нами как окончательный подрыв нашего авторитета в глазах солдат и считался гибельным для существования самой армии.

Моим личным мнением было, что такому насилию, пагубному для родины, мы, офицеры, не должны подчиняться, а также не должны признанием этого пагубного приказа санкционировать его перед лицом всей Европы. Мы должны все, как один человек, на фронте и в тылу, подать в отставку и предоставить "товарищам-солдатам" самим расхлебывать заваренную ими кашу.

Мое заявление вызвало бурные прения. Не дождавшись их окончания, я с несколькими приятелями, взволнованный и расстроенный, ушел в себе домой. Дома наши споры продолжались. Один из присутствующих отстаивал свою точку зрения, что мы, офицеры, все же должны постараться удержать солдат в своих руках, не должны падать духом и т. д.

Я не выдержал и, как сейчас помню, крикнул:

- Что ты за чепуху говоришь! Какие мы теперь офицеры, раз мы допустили, чтобы с нас содрали Императорские вензеля и, примирясь с этим, сами дали солдатам право плевать на нас... Я презираю теперь эти ободранные погоны!

С этими словами я и сорвал с себя погоны и выбросил их на улицу в открытое окно. Моим друзьям с трудом удалось меня успокоить.

Хотя о моем поступке и дошло до сведения командира полка, но начальство оставило меня в покое, зная, что меня никакими мерами не обуздать и что я всегда останусь при своем мнении.

ГЛАВА XX

В конце мая, сидя в собрании за обедом, я был огорошен следующей фразой, обращенной ко мне молодым прапорщиком:

- Господин корнет, я забыл вам передать привет от Юлии Александровны!

Я сразу не понял, о ком идет речь, и переспросил его.

- Ну да, от Ю. А. Ден.

- Как! Где она? Вы ее видели?

Оказалось, что мой собеседник был в Кременчуге и заезжал в гости к матери Ю. А., у которой было имение под городом, о чем я и не подозревал. Он рассказывал ей о нашей жизни в Новогеоргиевске и о существовании некоего корнета М., по приезде сразу попавшего под арест и суд, срывавшего с себя погоны и т. д. Услышав мою фамилию, она попросила его передать мне, что только что вернулась из Петербурга, где видела дочь, от которой много слышала обо мне, и просила меня при возможности заехать к ней в имение.

На следующий день я верхом с Халилем отправился в Белецковку, находившуюся в верстах 25-ти от Новогеоргиевска. От прапорщика я узнал, что мать г-жи Ден, Екатерина Леонидовна, урожденная Хорват, после развода с отцом Ю. А., генералом Смульским, вышла замуж за офицера зап. кавалерийского полка ротмистра Велецкого, убитого в 15-м году на фронте. Поэтому она всегда принимала у себя офицеров зап. полка и живо интересовалась полковой жизнью.

Когда я приехал в Белецковку, то бы встречен там как старый знакомый и родной человек как Е. Л., так и ее матерью, старушкой Марией Карловной Хорват, урожденной баронессой Пиллар фон Пильхау. От Е. А. я узнал подробности ее пребывания в Петербурге и ее свидания с Ю. А., ее дочерью.

Оказывается, Ю. А. пробыла во Дворце арестованной с Императорской Семьей до 20 марта, когда ее совместно с А. А. Вырубовой, только что оправившейся от болезни, вывезли из Царского Села и перевезли в Петербург в здание министерства юстиции, где их обеих продержали в сырой нетопленой комнате три дня, после чего Ю. А. выпустили на свободу, а несчастную А. А. перевезли в Петропавловскую крепость. Ю. А. рассказывала своей матери о моем приходе во Дворец 1 и 4 марта, о том, что

Государыня часто вспоминала "маленького М.", как Она меня всегда называла, и о том, как Она была растрогана моим приходом. Е. Л. сообщила мне, что Их Величества продолжают находиться под строжайшей охраной в Александровском Дворце, и что после замены первого коменданта Коцебу, весьма лояльно относившегося к Царственным Узникам, полковником Коровиченко, личным другом Керенского, человеком грубым и невоспитанным, положение Императорской Семьи значительно ухудшилось.

Я передал Е. Л., что положение Императорской Семьи меня очень безпокоит и что я считаю положение Их в Царском Селе далеко не безопасным; и, если Временное Правительство добровольно не выпустит Их за границу, то необходимо вырвать Их вооруженной силой!

Я посвятил Е. Л. в мои планы, рассказав ей, что мне удалось сорганизовать под видом безшабашной компании, проводящей весело время за бутылкой вина, человек 12 офицеров, готовых, когда угодно, отдать свою жизнь ради пользы и счастья Их Величеств. "Клуб темных сил" не даром носил свое название...

После поездки в Белецковку, обсудив создавшееся положение, я пришел к заключению, что мне дальше в зап. полку оставаться ни к чему и что надо как можно скорее, проехать в Петербург для свидания с Ю. А. и для выяснения действительного положения Их Величеств. Я решил взять отпуск и поехать в Одессу, чтобы попытаться окончательно развязаться с военной службой и быть свободным в своих действиях. Полковник Попов с радостью дал мне трехнедельный отпуск, видимо, обрадовавшись случаю как-нибудь избавиться от офицера, причинявшего ему излишние хлопоты.

1 июня я распростился со своими товарищами и выехал в Белецковку, где намеревался провести один день. Перед отъездом мы со своими единомышленниками детально обсудили предложенный нами план спасения Их Величеств, сговорившись об условном шифре и о других необходимых подробностях. Воспоминание об этой группе молодежи, беззаветно преданной своему Государю и Его Семье, является для меня и поныне единственно светлым пятном на сером фоне моего пребывания в Новогеоргиевске.

Приехав в Одессу, я не застал отца дома. Он находился в офицерском лазарете на Хаджибеевском лимане, где лечился после ранения и контузии, полученных им на фронте. После революции ему не посчастливилось и пришлось буквально бежать с фронта в середине мая 1917 г. в Минск, а оттуда в Одессу. С большим интересом выслушал он мои рассказы о пережитых днях в Петрограде, Царском Селе и Новогеоргиевске и вполне одобрил мое желание бросить военную службу.

Одесса сделалась столицей революционного юга. Повсюду болтались красные тряпки. Дом градоначальника был занят местным Совдепом и какой-то особой могуще ственной организацией под названием Румчерод, состоявшей из делегатов с Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского Совдепа. Словом, Румчерод был всесилен, а главный начальник одесского военного округа оставался лишь фикцией, так как все действия его штаба контролировались двумя матросами, прикомандированными от Румчерода, в чем я лично убедился, когда посетил по делам штаб округа.

Вместо бравых городовых на улицах преважно расхаживали горбоносые юнцы - ученики средних учебных заведений с берданками за плечами. Жизнь в городе била ключом. Толпы народа "митинговали" повсюду и по всякому поводу. Слова "товарищ" и "гражданин" сделались модными и боевыми. Везде только и слышалось:

- Извиняюсь, гражданин. Здравствуйте, товарищ!

Дерибасовская улица и бульвары были запружены солдатами и матросами, под ручку гулявшими со своими лущившими семечки дамами. Циничные остроты и грубая брань висели в воздухе.

Революция коснулась и служащих в известнейших кафе Одессы Робина и Фанкони. Лакеи огрызались, если их звали по-старому "человек". На моих глазах у Фанкони произошел следующий анекдотический случай. Пришедшему выпить стакан кофе старенькому отставному генералу лакей также грубо ответил, что он ему больше не "человек", а гражданин. Генерал не сказал ни слова и стал молча пить принесенный кофе.

- Гражданин, а я бы хотел получить еще одно пирожное, - обратился генерал к лакею, сделавшему ему ранее замечание.

Пирожное было принесено, за ним последовало второе, третье, стакан воды, еще кофе, еще стакан воды и, наконец, коробка спичек. Словом, гражданину пришлось обслуживать генерала, по крайней мере, раз десять. Наконец, генерал стал расплачиваться и, расплатившись, встал и протянул руку оторопевшему лакею.

- Так как вы теперь гражданин, то полагаю, что на чай вам неудобно брать, и я не решаюсь предложить вам его, а поэтому сердечно благодарю вас за ваши услуги!

Присутствовавшие едва не умерли со смеху при виде этой сценки.

Впоследствии вопрос о чаевых был разрешен в том смысле, что взамен их было сделано процентное начисление к счету в пользу прислуги, которой, как гласили развешанные плакаты, категорически запрещалось брать на чай. Но плакаты оставались плакатами, и все пошло по-старому, с той лишь разницей, что, кроме процентов, прислуга брала преисправно и унижающие ее, якобы, чаевые.

Через несколько дней после своего приезда в Одессу я подал коменданту рапорт о болезни, с просьбой освидетельствовать состояние моего здоровья на предмет увольнения в отставку. Просьба моя была уважена, и я получил предписание лечь в военный госпиталь на испытание, что я, благодаря знакомству, и сделал лишь фиктивно, т. е. был принят в госпиталь, но продолжал жить дома, являясь лишь к различным докторам по их специальностям, дававшим обо мне свои заключения. Медицинский осмотр комиссией был назначен на 23 июня, и я ждал этого дня с трепетом, так как от ее постановления зависели всецело мои дальнейшие планы.

Во время моего пребывания в Одессе последняя удостоилась высокого посещения! В город приехал на гастроли сам Керенский. Экспансивные одесситки и одесситы восторженно приветствовали своего нового кумира. В английском френче и шоферских крагах он был засыпан красными розами, а сам едва не растерзан на части ошалелыми поклонницами в припадке революционного восторга! Его чуть не закачали до смерти и таскали по улицам на руках. Многотысячная толпа запрудила прилегающие к гостинице "Пассаж" улицы и требовала выхода Керенского на балкон. Он вышел с огромным букетом красных роз в руках и в поднесенной ему его почитательницами красной ленте через плечо, на которой крупными буквами значилось: Военный Министр. Картина, как мне передавали очевидцы, была поистине потрясающая, но потрясающая своей пошлостью и непроходимой

глупостью; все это было бы смешно, если бы не было так больно и обидно. Боже! До какого умственного затмения мы дошли уже в то время, и нет границ удивлению, что находились еще люди, которые верили, что революционная армия, уговариваемая этим, с позволения сказать, министром и упоенная завоеванной свободой, пойдет в бой на защиту чести и величия России. Сознаюсь, что сердце мое сжалось от боли, когда я 19 июня прочел в газетах огромные столбцы, напечатанные жирным шрифтом, о начавшемся под Станиславом наступлении, в первый момент очень удачно для нас развернувшемся. В ярких красках с явным преувеличиванием и захлебываясь от восторга описывалось революционное геройство наступавших с развернутыми красными знаменами войск.

Я не верил этому. Не может красная тряпка воодушевить войска на ратные подвиги, и я оказался прав. Успехи первых двух дней заменились отвратительным погромом над мирным населением, устроенным нашими революционными солдатами в их паническом отступлении при первой же серьезной немецкой контратаке.

Наступление, которое должно было поднять боеспособность фронта, имело как раз обратное действие. Оно еще более деморализовало солдатскую массу. Развитие германского контрнаступления с трудом удалось ликвидировать брошенной в прорыв кавалерией, которая в то время являлась наиболее дисциплинированной частью армии, в том числе и моему полку, понесшему в этом деле большие потери.

Было ясно, что спасти фронт можно только диктаторскими мерами, иначе он грозил рухнуть, и в очень непродолжительное время. Это было видно и по действиям противника, даже не пытавшегося жертвовать своими солдатами для каких-либо военных операций. Ему было ясно, что рано или поздно с минимальными потерям он достигнет желательных ему результатов, и, оставив против нас весьма слабый заслон, он стал перебрасывать отдохнувшие и окрепшие части на свой западный фронт, о чем с большим унынием сообщалось во французских газетах.

Посеявший ветер пожнет бурю, гласит старая мудрая поговорка. Наступило 23 июня. Комиссия единогласно признала меня к военной службе негодным. Постановление это не нуждалось, как ранее, в утверждении Главного Военно-Санитарного Инспектора, и до получения акта об отставке комендант разрешил мне трехнедельный отпуск. Получить нужные документы мне удалось только в конце июня, и первого июля я курьерским поездом выехал из Одессы в Петербург, куда и приехал третьего июля и в тот же день отправился к Ю. А. Ден.

К сожалению, не застал ее дома и узнал от прислуги, что она находится на даче в Келломяках, около Терриок, куда она переехала с сыном на лето. По словам прислуги, Ю. А. должна была приехать по делам в Петербург 4 июля, и я решил подождать ее.

Первый день своего пребывания в Петербурге я провел дома, слушая рассказы моих знакомых, у которых я остановился, о петербургской жизни за последнее время. Особенно заинтересовали меня рассказы о все усиливающемся большевицком настроении в рабочей среде Петербурга и Кронштадта, который, как и почти весь состав флота, явно симпатизирует новым кумирам в лице Ленина-Ульянова, Троцкого-Бронштейна и других субъектов, старых политических эмигрантов, въезд которым Временное Правительство разрешило, не учтя того, что

германское правительство предоставило им возможность проехать из Швейцарии через Германию!..

Газеты сообщали, что путь свой по Германии они совершили в запломбированном вагоне. Как бы то ни было, но этот своеобразный и доселе нигде не виданный транзит подданных враждебного государства через страну своих врагов немедленно принес свои плоды. Эта группа мерзавцев, как и следовало ожидать, начала вести изменническую пропаганду, направленную к окончательному развалу армии, и требовала немедленного прекращения войны, справедливо вызывая со всех сторон возмущение и взрыв негодования.

О приезде этих гостей и о начатой ими пропаганде я вкратце читал еще в южных газетах, но все услышанное мною в Петербурге превзошло все ожидания. Официально называя себя Исполнительным комитетом РСДРП большевиков, эта группа, при поддержке петербургских единомышленников, прочно заняла дом, ранее принадлежащий известной балерине Кшесинской, который стал их цитаделью и центром пропаганды. Вокруг денно и нощно происходят митинги, и с балкона Ленин и Троцкий поучают собравшихся и открыто призывают к углублению завоеваний революции путем насильственного свержения буржуазного Временного Правительства, продавшегося Антанте и напрасно проливающего крестьянскую и рабочую кровь во славу мирового капитализма.

Лозунги бросаются собравшейся толпе краткие, ясные и определенные: Долой войну! Мир без аннексий и контрибуций, мир хижинам и война дворцам, земля трудовому народу и, наконец, совсем простые: грабь награбленное. Эти типы действовали просто, без обиняков и не мудрствуя лукаво. Учение, объявляющее узаконенным глаголы: грабь, возьми, бери - и отменявшее молниеносно право на какую-либо собственность, было весьма близко простому анархическому русскому уму, и солдатские и рабочие массы тысячами тянулись к дому Кшесинской и, разинув рты, внимали новым, никогда не слыханным откровениям.

Кронштадтским матросам, героям избиения сотен офицеров, за эту доблесть было пожаловано Лениным почетное звание "красы и гордости русской революции", и эта "краса" сделалась его первейшим и вернейшим защитником от всевозможных посягательств со стороны Временного Правительства.

Печатный орган этой шайки под заголовком "Правда" в десятках тысячах экземпляров распространялся совершенно безпрепятственно в рабочих районах и по воинским казармам. Петербургский Совдеп и его печатный орган "Известия" левели не по дням, а по часам. Словом, атмосфера сгущалась, и в воздухе пахло грозой...

ГЛАВА XXI

4 июля я снова был на квартире у Ю. А. Ден. Она была дома и ждала меня, приехав утром того же дня из Финляндии. День 4 марта во всех его деталях останется навсегда мне памятным. Встреча с Ю. А. вновь разбередила мои, казалось, утихшие сердечные раны. Скорбный лик Государыни снова ожил перед моими глазами, и Ее тихий, мелодичный, мягкий, грудной голос далеким эхом раздался в ушах:

- А вы не волнуйтесь и не безпокойтесь... Господь не без милости, Бог даст, все еще будет хорошо. Помните, что мы не можем отвечать за завтрашний день, и что не все еще потеряно!

Ю. А. была для меня частицей Тех, Кто был для меня дороже всего на свете и ради Которых я бросил на произвол судьбы свою мать, которую с января месяца 1917 года до сего дня не видел, то есть уже 10 лет, и только одному Всемогущему Господу известно, увижу ли я ее когда-нибудь вновь.

С памятного дня 4 марта моим жизненным девизом стало "за Тех, Кто дорог", и я в праве теперь сказать, что от этого девиза я с того дня не отступал и сделал для Их Величеств все, что было только в моих силах. От Ю. А. я многое узнал, что творилось во Дворце после моего отъезда. Капитаном Лучаниновым, пытавшимся, как я уже писал, встать на защиту Императорской Семьи, увы, и заканчивается список тех, кто хотел по мере сил и возможности помочь Семье своего Императора, находившейся в опасности.

Как больно и скверно делается на душе при воспоминании, что все лазареты, находившиеся в Царском Селе, а их было до 60, были переполнены офицерами, представителями лучших полков Российской Императорской Армии, в большинстве на положении выздоравливающих! Кто, как не эти офицеры, переполнявшие за несколько дней до революции поезда из Царского Села в Петербург и обратно, должен был встать, как один человек, на защиту своего Государя. Между тем, мне известно, что во многих лазаретах эти здоровые или почти здоровые люди в момент революции улеглись в кровати и изображали собой чуть ли не смертельно больных, а некоторые даже забинтовались... Все это было сделано отчасти из-за боязни эксцессов со стороны ошалевших солдат, отчасти из-за того, чтобы уклониться от долга, в случае чего, помочь Ее Величеству и Ее несчастной Семье. Мое утверждение, что среди господ офицеров были совершенно здоровые элементы, прохлаждавшиеся в тиши лазаретов, не голословно, а основано на собственном опыте. За три недели до начала революции после приезда моего в Царское Село из Крыма я, заканчивая свое лечение, был назначен полковником Вильчковским, Начальником Царскосельского особого эвакуационного пункта, исполнять обязанности штаб-офицера для поручений при первой Врачебной Комиссии и в качестве такового раз восемь принимал участие в ее работе, как в лазарете Большого Дворца, так и в других офицерских лазаретах, что и дает мне право так писать об этом. Противно и тошно теперь вспоминать об этом.

А Государыня до самого ареста, несмотря на весь трагизм положения, в котором Она находилась, по многу раз в день звонила по телефону в лазареты, справляясь о здоровье тех или других офицеров, и продолжала посылать им цветы из Дворца.

Поведение Великого Князя Кирилла Владимировича до того огорчило и потрясло Государя, что Он после революции уже больше никогда не надевал столь Им любимую морскую форму. Поведение лиц Свиты было тоже не менее возмутительно. Революция застала ближайшего и любимого флигель-адъютанта Их Величеств Н. П. Саблина в Петербурге, а он, всем обязанный и, как никто, обласканный Их Величествами, даже не потрудился появиться в Царском Селе в эти дни.

Ушли из Дворца и не остались при Их Величествах: граф Апраксин, генерал Нарышкин, командир конвоя генерал граф Граббе, флигель-адъютант Мордвинов и флигель-адъютант герцог Николай Николаевич Лейхтенбергский. И только флигель-адъютант граф А. Замойский до последнего дня и возможности оставался при Ее Величестве, но ему, несмотря на все его мольбы и просьбы, не разрешили остаться далее.

Из прислуги, годами прослужившей при Их Величествах, только прислуга Ее Величества осталась при Ней, Государя же почти все покинули, и остался при Нем только Его верный старик-камердинер Чемодуров...

Роковой, тяжелый удар судьбы и всю эту творившуюся вокруг Них измену Их Величества переносили безропотно, с истинно христианским смирением.

Наводнившие Дворец молодые прапорщики из недоучившихся семинаристов или "сознательных" детей не менее "сознательных" родителей из сельских учителей, почтовых чиновников, земских врачей и прочих представителей нашей пресловутой интеллигенции вели себя как по отношению к Государю, которого они позволяли себе титуловать "г-н полковник", так и по отношению к другим Членам Императорской Семьи преднамеренно грубо, по-хамски и возмутительно...

Солдаты не отставали от своего начальства и позволяли себе неприлично ругаться в присутствии Великих Княжен, стараясь, чем только можно, задеть самолюбие несчастных Царственных Узников.

21 марта во Дворце неожиданно появился Керенский, который заявил Ю. А. Ден, что она должна немедленно собираться, так как он ее и А. А. Вырубову, едва оправившуюся от болезни, забирает с собой в Петербург...

- А там дальше видно будет, что я с вами сделаю! - злобно прибавил он.

После невыносимо тяжелого прощания с Их Величествами и Их Высочествами Ю. А. и А. А. покинули Дворец и в поезде Керенского были доставлены в Петербург. С вокзала в придворном экипаже, которым теперь пользовались члены демократического Временного Правительства, они были перевезены в Министерство Юстиции, где их поместили в третьем этаже. Их оставили в комнате, в которую по их приезде втащили два грязных дивана, в одиночестве, а за дверьми поставили оборванного и грязного часового, типичного представителя славной революционной армии.

Ю. А. провела с А. А. под арестом два дня, после чего ее выпустили, а несчастную А. А. Вырубову перевезли сначала в Думу, а потом в Петропавловскую крепость, где она в Трубецком бастионе в нечеловеческих страданиях провела почти два месяца, а 13 июня ее перевезли в арестный дом на Фурштадтской улице.

Почти одновременно было произведено и увольнение Коцебу и замещение его Коровиченко. По словам Ю. А., это был гад в образе человека, всячески измывавшийся над несчастными Страдальцами, еще больше распустивший охрану. К счастью, он потом получил повышение, будучи назначен Командующим Казанским

военным округом, а на место его назначен полковник Кобылинский, относившийся к Их Величествам будто бы несколько сердечнее.

Я сидел и, словно зачарованный, слушал Ю. А. Ден. Если бы это не она мне рассказывала, я не поверил бы всему этому ужасу! У меня вырвалось:

- Юлия Александровна, скажите, ради Бога, разве это так дальше может продолжаться? Ведь необходимо вырвать Их Величества из этого кошмара и помочь Им бежать за границу!

Вместо ответа Ю. А. показала мне письмо, полученное без цензуры от Ее Величества в ответ на ее, в котором она спрашивала Государыню, не желает ли Она, чтобы были приняты шаги для вывоза Их в Италию. В ответ на это Государыня писала:

- Тот подлец, кто бросил свою родину в такой тяжелый момент. Пускай с нами делают, что угодно, сажают в Петропавловскую крепость, но мы никогда не уедем из России...

Так писала эта святая женщина, которую стоустая молва клеймила немкой, шпионкой и злым гением Государя...

Я отчетливо припоминаю, что, прочтя это письмо, ответил Ю. А., что для меня воля Их Величеств была всегда священна, но в данном случае, если Их Величествам будет грозить опасность, то преступно с нашей стороны оставлять Их на произвол судьбы и считаться с Их желаниями, продиктованными чистым сердцем, без сознания грозящей Им опасности.

Я посвятил Ю. А. в мои переговоры с бароном Х., рассказал о моем письме к ней, которого мне, к сожалению, не удалось переслать, и ориентировал ее в предпринятых шагах и создании небольшого ядра из верных Их Величествам офицеров в Новогеоргиевске.

Ю. А. с большим интересом выслушала меня и сердечно поблагодарила за предпринятые мною шаги. От нее я был глубоко счастлив узнать, что Государыня часто вспоминала обо мне, ценя мой приход в безмерно тяжелый для Нее день, когда Она видела вокруг себя лишь трусость и измену. По ее словам, Государь тоже похвально отзывался о моем желании посильно помочь Ее Величеству.

Эти слова Ю. А. были, есть и будут для меня лучшей наградой и самым светлым воспоминанием на всю мою жизнь...

Я получил от Ю. А. приглашение приехать к ней на дачу, чему был очень обрадован, и мы вместе вышли на улицу, так как Ю. А. спешила сделать кое-какие покупки еще до закрытия магазинов, которые по новому, революционному закону закрывались в шесть часов. Мы сели на первого попавшегося извозчика, и Ю. А. приказала ему везти нас на Невский.

Еще с набережной Мойки мы издалека заметили на Невском необычное оживление. Огромная толпа народа валила через мост по направлению к Гостиному Двору. Извозчик, видя наше недоумение, пытался разъяснить его нам:

- Так что, значит, барыня, ночью опять началась леворюция, сказывают, большевики с немецкими солдатами выступали... Оратели, сказывают, у них на митинке кричали, что таперича правительство долой, буржуев долой и капиталистов тоже, и, значит, все принадлежит рабочему народу... Опять же, значит, войну долой и мир без контрибуциев, что значит, что мы никому долгов не должны платить... Там на их стороне тыщи собрались, и опять же к ним матросы из Кронштадта приехали, сказывали, видимо-невидимо... Правительство в таких отношениях посылает на них казаков... Словом, дело скверное, овес опять на двугривенный подорожал!

Было ясно, что выступили большевики. Я об этом уже с утра слыхал, но не придавал этому особой веры. Да и сейчас, услышав это своеобразное объяснение происходивших событий, мы не предполагали, что произойдут кровавые столкновения и что этот день будет иметь решающее значение в судьбе нашей Родины. Единственно, чего боялась Ю. А., это возможности безпорядков в районе Финляндского вокзала, и поэтому она отказалась от мысли делать покупки и решила прямо ехать на вокзал.

Я, к сожалению, не мог сопровождать ее на дачу, так как имел в городе неотложные дела и намеревался поехать к ней на следующий день. Распрощавшись около моста, я пешком отправился по Невскому в сторону Николаевского вокзала, подхваченный толпой, стремившейся сильным потоком в этом направлении.

Около Гостиного Двора глазам моим представилась картина, во многом напоминавшая памятные февральские и мартовские дни. Посреди Невского стояла целая колонна грузовиков, вооруженных пулеметами и через край наполненных матросами и какими-то штатскими, обвешанными пулеметными лентами и всевозможным оружием от автоматических винтовок до офицерских кортиков включительно. На каждом грузовике было по несколько ораторов, что-то дико кричавших собравшейся толпе. Над грузовиками реяли огромные красные плакаты с надписями: "Долой министров, капиталистов, да здравствует Совет солдатских и рабочих депутатов, долой Временное Правительство, продавшееся иностранному капиталу, да здравствует рабоче-крестьянское правительство, долой войну, мир без аннексий и контрибуций, земля трудовому народу!" Преобладали надписи: "Долой Временное Правительство!"

В это время со стороны Литейного проспекта показалась какая-то конница.

- Казаки! Казаки! - послышалось в толпе.

Грузовики зарычали, и колонна медленно стала отходить назад. Раздалось несколько выстрелов. Толпа обезумела и шарахнулась назад. Затрещал где-то пулемет. Так началось выступление большевиков.

Ночь прошла тревожно. Панические слухи росли и ширились. Кто-то поговаривал о возможности обстрела Петербурга с Кронштадтских фортов. К утру стало как будто спокойнее.

Воспользовавшись этим временным затишьем, я поспешил на Финляндский вокзал и вздохнул с облегчением только тогда, когда поезд стал удаляться от взбаламученного Петербурга.

ГЛАВА XXII

Как часто с глубокой тоской и сердечной болью вспоминаю я теперь о "финляндском" периоде моей жизни среди векового соснового леса, на самом берегу моря, на маленькой дачке, занимаемой Юлией Александровной в Келломяках.

Сквозь даль минувших лет я вижу, как живую, скорбную фигуру Ю. А., сидящую около самой воды и погруженную в тяжелые думы. Ощущаю всю прелесть короткой северной ночи, вдыхаю аромат соснового леса и смотрю, как зачарованный, на зеркально тихую гладь уснувшего моря, залитого лучами лунного света... Где-то вдали искрятся огни тяжелого, мятущегося Кронштадта. И далеким эхом доносятся до меня слова Ю. А.:

- Мы должны помочь Им. Господь поможет нам в этом святом деле...

Вспоминаются минувшие безконечные разговоры на эту тему, наши желания, наши планы. И так отчетливо, так ясно вспоминаются они, как будто все это было только вчера, а уже сколько лет прошло с тех пор! Невольно забываю я все прожитое и пережитое с тех пор и думаю, что всех этих лет, лет муки и разочарования, никогда и не было, что Их Величества находятся в Царском, а нас, полных надежд, успокаивает хриплым баском высокий сутуловатый человек, небрежно одетый, с всклоченными седоватыми длинными волосами, нервным движением пощипывающий свою давно не стриженную бороду и смотрящий на нас исподлобья своими проницательными умными карими глазами:

- Ю. А., это мой святой долг помочь Их Величествам! Поверьте мне, что мы работаем, не покладая рук... Мы сейчас только оправляемся от постигшего нас разгрома, но мы все же сильны, и вам безпокоиться нечего. Мы только просим, чтобы Их Величества благословили начатое нами дело, и молим Бога, чтобы Он, Всемогущий, не оставил нас без Своих милостей!

Так говорил Николай Евгеньевич Марков после знакомства с Ю. А., состоявшегося на моих глазах в десятых числах июня 1917 года. Это было вечером, мы сидели, как обычно, около моря, как вдруг увидели незнакомого господина в соломенной шляпе с большими полями, идущего к нам и опирающегося на толстую сучковатую палку. Фигура незнакомца внушала мало доверия. Ю. А. встала и пошла ему навстречу; я направился за ней.

- Я хотел бы говорить с Ю. А. Ден, - обратился к ней незнакомец и, узнав, с кем имеет дело, прибавил:

- Я к вам от... - тут он назвал фамилию одной дамы и, наклонившись, что-то шепнул Ю. А.

- Как же, знаю. Очень приятно с вами познакомиться. Я всматривался в незнакомца, и мне казалось, что уже где-то видел его, но не мог вспомнить.

- Позвольте вам представить - корнет М., он мой маленький друг, и при нем вы можете быть совершенно откровенным.

Я поклонился и назвал свою фамилию. Господин с лукавой усмешкой посмотрел на меня и, протянув руку, ответил:

- Я тоже Марков.

Тогда только я понял, кто предо мною, и, действительно, Н. Е. без грима изменил себя до неузнаваемости.

Н. Е. осведомился у меня, из каких я Марковых. Я объяснил ему, что я внук С. В. Маркова, члена Государственного Совета.

- Тогда мы с вами родственники, - ответил мне Н. Е. - И отлично, отныне вы делаетесь моим племянником, и вы позволите мне называть вас просто Сережей.

Я, само собой разумеется, ответил утвердительно и был в восторге, что смогу быть ему полезным. Для начала я буду состоять, так сказать, "офицером для связи" между ним и Ю. А., как он выразился.

Поговорив немного, Марков ушел. Так произошло знакомство Ю. А. и мое с главой организации, поставившей в основу охранение и спасение Императорской Семьи, находившейся в заточении.

Боже, сколько надежд и упований возлагали мы на это знакомство! Нам казалось, что уже одно знакомство с таким человеком приблизило, по крайней мере, наполовину не только столь желанное нами освобождение Их Величеств, но и восстановление Монархии в России...

Ю. А. горела верой в этого человека, а я, по молодости лет, жил ее мыслями, с закрытыми глазами исполняя все поручения, не мудрствуя лукаво и видя во всем только благие начинания на пользу и счастье дорогих мне Их Величеств.

Я не задавал вопроса, насколько глубоки эти начинания и какую пользу они могут принести и принесут. Ю. А. верила этому человеку, верила в его могущество и действенность, я же возвел его в идеал.

Где же было тут думать о какой-нибудь критике...

Большевицкое восстание в Петербурге было легко подавлено казаками 1-го Донского Казачьего полка, оставшегося верным Временному Правительству. Были жертвы с обеих сторон, дворец Кшесинской был очищен от засевших в нем большевиков, главари которых успели бежать, как говорили, в Кронштадт. Я прожил эти дни в Келломяках и, таким образом, не имел удовольствия лично наблюдать за ходом восстания, но от очевидцев слышал, что казаки действовали лихо, хотя 1-й Донской Е. В. полк был первым революционным казачьим полком. Все же казачья спайка в это время еще нарушена не была, и казаки сумели постоять за себя и не ударили лицом в грязь.

Говорили о необходимости ликвидировать очаг заразы, Кронштадт, но это предложение, к сожалению, не вышло из области разговоров и "краса и гордость" осталась безнаказанно сидеть у себя в цитадели, продолжавшей служить центром пораженческой пропаганды. Выступления большевиков и удачные действия против них казаков ясно показали этому паяцу в образе российского министра-председателя, как нужно разговаривать с большевиками и с сорвавшимся с цепи русским народом! Но, увы, ему совсем не то было нужно: не водворение порядка, а еще большая смута. Он был тогда предтечей большевиков и расчищал для них дорогу. Казаков объявил он своими врагами и пытался опереться на кронштадтских матросов. Они, действительно, сперва помогли ему подавить казачью попытку создания национальной власти, а затем тот же кронштадтский матрос молниеносно низверг с политического горизонта этого бердичевского Наполеона, легким пинком ноги выкинувши этого ничтожного адвокатишку из занимаемых им царских палат.

Через несколько дней после встречи с Марковым 2-м, когда Петербург несколько успокоился, Ю. А. ездила туда, чтобы переслать Их Величествам в Царское Село кое-какие вещи, письма и книги. В числе их и мои письма к Императрице.

Вернулась Ю. А. из Петербурга сияющая и радостная. Оказалось, что она на одной конспиративной квартире виделась с Н. Е. и его деятельным помощником В. П. Соколовым, известным петербургским деятелем "Союза Русского народа". Ю. А. была посвящена в детали организации и была довольна всем ею слышанным. Она рассказала мне, что Марков 2-й, проживавший неподалеку от нас, около станции "Канерва", где он скрывался на одной из дачек, расположенной в стороне от железной дороги, в лесу, довольно часто бывал по организационным делам в Петербурге, явно рискуя собой. Но пока, к счастью, он ни разу узнан не был даже своими знакомыми, с которыми он сталкивался на улице. В данный момент идет тайная мобилизация всех сочувствующих восстановлению монархии и верных присяге людей. Организован военный отдел, который вербует офицеров. Организация построена на самых конспиративных началах, причем проводится в жизнь система троек, где каждый член знает только трех человек, а те, в свою очередь, знают тоже только трех членов организации и т. д.

Вся работа направлена к тому, чтобы создать мощный аппарат, который сможет совершить в Петербурге переворот, освободив Государя, и восстановит Его на Прародительском Престоле, а в случае Его отказа обезпечит трон Наследнику.

К большевицкому выступлению и движению Марков относился сочувственно, придерживаясь пословицы: Чем хуже - тем лучше. Я отчетливо и как сейчас помню, что Ю. А. говорила мне, что предполагается отчасти использовать большевиков в том смысле, чтобы дать им возможность свергнуть Временное Правительство, а потом придушить и их самих. Во всяком случае, среди большевиков Марков 2-й имеет большое количество своих приверженцев, умышленно пошедших на службу к ним, и стремится к тому, чтобы во всех учреждениях и во всех партийных и внепартийных организациях иметь побольше своих надежных людей, дабы быть все время в курсе общего положения дел из первых источников.

Словом, Ю. А. вынесла впечатление, что работа идет полным ходом, и все постепенно налаживается, а главное, пока бояться нечего, и ничто Их Величествам не грозит. Напротив того, она будет счастлива сообщить Ее Величеству, что,

наконец, нашелся человек, беззаветно Им преданный, энергичный, способный действительно помочь Им и взявший на себя ответственность вернуть Им утраченное Ими положение и права.

Он нее же я узнал, что она говорила с Марковым 2-м о планах барона Х. еще в начале революции и, согласно моим словам, рекомендовала его ему. До своего отъезда в Одессу я несколько раз был у барона и еще раз убедился, что его взгляды на положение вещей нисколько не изменились и что он всей душой хочет помочь посильно Их Величествам.

Кроме того, я мог убедиться, что вокруг барона группируется довольно большое количество офицеров, преимущественно гвардейской молодежи, о чем я тоже сообщил Ю. А., передавшей это Маркову 2-му.

Каково же было мое удивление, когда в августе я узнал от Ю. А., что Марков 2-й сказал ей, что он навел справки о начинаниях барона Х. и что они, как и сам барон, не внушают ему особого доверия и не имеют под собою достаточно твердой основы.

- Барон слишком молод и увлекающийся человек, - сказала мне Ю. А. и прибавила, что у Н. Е. Маркова достаточно верных людей, так что он и без барона сможет обойтись, и что не следует мешать и вмешиваться в начатую им работу, а надлежит только в точности исполнять его указания и предначертания, выжидая, как развернутся события.

Я был удивлен такому отношению Маркова 2-го к желанию барона Х. принять посильное участие в общем деле, но делать было нечего, и я с той поры больше не пытался проявлять личной инициативы и всецело подчинился указаниям Маркова 2-го.

Из слов Ю. А. явствовало, что большевики, укрывшиеся в Кронштадте, не дремлют, и можно скоро ожидать их решительного второго выступления, а в связи с этим и того столь желанного нами дня, когда старый Русский Императорский орел снова сможет широко расправить свои могучие крылья над несчастной Россией.

Можно себе представить, как я был счастлив слышать о таком успешном развитии организации, о ее силе и мощи, а главное, о таких близких и блестящих перспективах... Через несколько дней я лично навестил Маркова 2-го на его финляндской даче. Он принял меня более чем радушно, угостил чаем, и мы около двух часов провели в оживленной беседе под приятно шумевший самовар в прохладной тени соснового леса.

Он мне рассказал то, что я уже слышал ранее от Ю. А., но с бо'льшими подробностями. Когда вопрос коснулся Царской Семьи, я привел Н. Е. свои соображения, почему я считаю положение Императорской Семьи в Царском Селе, как окруженной весьма сомнительной охраной, к тому же в городе, который переполнен деморализованными солдатами зап. стрелковых полков, далеко не безопасным и думаю, что нам необходимо вырвать Их оттуда.

- Каким путем, считаете Вы, возможно Их вырвать из Царского, и как и где, вы думаете Их скрыть? - обратился ко мне с вопросом М.

Я ответил, что по моим соображениям, Их Величеств сравнительно легко выкрасть из Дворца вооруженным путем и переодетыми скрыть сначала в Финляндии, а потом переправить в Швецию.

Тут я рассказал Е. Н. о своем пребывании в Новогеоргиевске и о привлечении к моему плану спасения Императорской Семьи 12 надежных офицеров и нескольких солдат, готовых по первому зову приехать к нам, дабы принять участие в предполагаемом освобождении. Подробности моего плана заключались в следующем:

В Петрограде создается офицерская группа человек в 30 из людей, готовых в любую минуту пожертвовать своей жизнью ради Их Величеств, и в эту группу можно влить и моих офицеров. Попутно детально выясняется система охраны Царской Семьи. Группа снабжается штатским платьем, совершенно безупречными документами, а семь человек из наиболее способных, кроме того, соответствующими документами на каждого члена Императорской Семьи в отдельности. Каждому члену группы, кроме хорошего автоматического ружья, выдаются тринитротолуоловые, т. н. толовые, патроны, которые легко спрятать на себе. Таким образом, группа будет иметь при себе 120 фунтов, или три пуда взрывчатого вещества огромной силы... Заранее в конспиративной типографии печатаются несколько сотен прокламаций самого крайнего анархического большевицкого содержания, содержащие в себе смертный приговор всей Императорской Семье, подписанный от имени боевой группы анархистов-террористов, и на Дворец производится в выбранную ночь налет. Остается выяснить, как наиболее удачно произвести его. Мне кажется, что можно привлечь на свою сторону, в помощь нападающим извне, дворцовую прислугу, которая осталась, безусловно, верной Их Величествам и которым подлежит предупредить Их Величества в точности о ночи, в которую предполагается Их освободить. Что же касается снятия наружных часовых, то это не представляет особой трудности. Их можно безшумно снять при помощи сильно бьющих духовых ружей, стреляющих стальными стрелками, которые предварительно нужно смазать каким-либо сильно действующим ядом, убивающим человека на месте. После снятия часовых группа врывается во Дворец. Думать о переодевании Их Величеств не приходится, так как Государь в своем гардеробе имеет много штатского платья. Единственное, что Его Величество должен сделать, это сбрить свою бороду, и тогда можно быть уверенным, что Его никто не узнает. Их Величества и Их Высочества немедленно выводятся из Дворца, а в зеленой гостиной, под роялью сваливается все наличное взрывчатое вещество и зажигается трехминутный фитиль. На боковых улицах в различных местах предварительно располагаются несколько автомобилей с верными шоферами.

Я полагаю, что от взрыва рухнет не только первый подъезд Дворца... Можно себе представить, какой переполох произведет он в патриархальном Царском Селе, и мало вероятно, что при существующем порядке могла бы быть быстро организована погоня за беглецами, тем более, что будут найдены разбросанные вокруг Дворца прокламации вышеупомянутого мной содержания. Ведь убийство Царской Семьи террористической группой будет звучать весьма правдоподобно, а за это время беглецы будут запрятаны в полной безопасности в различные заранее приготовленных местах. Я не настаиваю на том, чтобы Их Величества были обязательно вывезены в Финляндию, а потом в Швецию, если это будет противно Их желанию. После побега будет легко, но, конечно, не совместно, укрыть Их где-

нибудь в глуши северной России, где Их ни одна ищейка не найдет и где Они смогут спокойно выжидать развития событий. Само собой понятно, что это предприятие сопряжено с большим риском, но все же я думаю, что при хорошей подготовке оно может иметь девяносто шансов из ста на успех.

М. внимательно выслушал меня.

- Это, дорогой, невозможно, мы не имеем права подвергать Их Величества такому риску, и потом этот план фантастичен... Это вы по молодости лет думаете, что все это так легко исполнимо, и поэтому так рассуждаете. Этот вопрос нужно решать иначе, и, поверьте мне, что я много думаю о нем, в этом вы можете быть уверены, и поэтому не безпокойтесь! - сказал он мне, когда я окончил изложение своего проекта.

На это я ответил, что я подчиняюсь ему, как главе организации, всецело нахожусь в его распоряжении и буду действовать только по его директивам.

В конце разговора М. неоднократно подчеркивал, что единственной целью его жизни была и будет служба и помощь Государю и Его Наследнику.

Возвращался я под вечер обратно в Келломяки пешком через лес. А часть пути М. шел со мной, показывая дорогу. Расстался я с ним, очарованный прямотой, искренностью и глубокой верой в благополучный исход взятого им на себя тяжелого дела. Каким казался он мне тогда выдающимся, незаурядным человеком, и как я был тогда уверен в нем. Я был готов пойти за ним в огонь и воду...

15 июля я получил через Ю. А. от Государыни ответ на мое письмо. Государыня писала мне:

- Сердечно тронута и благодарна вам за ваше письмо, и что старого Ш. не забыли. Очень жалею, что вам придется полк покидать из-за нездоровья. Часто вспоминаю, когда вас последний раз видела... еще раз спасибо за все... Здоровье мое ничего, когда прохладная погода. Мы три часа гуляем в саду. Они работают, а я сижу, читаю или вышиваю.

Храни вас Господь.

Сердечный привет от

б. Ш.

11 июля. Царское Село.

Письмо это прошло через цензуру, и поэтому Ее Величество написала б. Ш. (бывший Шеф), чего Она впоследствии при нецензурированных письмах никогда не делала.

Как безумно я был счастлив полученной весточкой от горячо мною любимого, доброго и сердечного моего Шефа...

Отпуск мой кончился, и мне пришлось с большой грустью распрощаться с Ю. А. и ее сыном, маленьким другом Наследника, большеглазым, милым и умным не по годам Тити, с которым я так хорошо проводил время на пляже, сооружая ему на песке настоящие окопы с ходами сообщения, блиндажами и пр. 18 июля я выехал обратно в Одессу.

ГЛАВА XXIII

В Одессе я пробыл 10 дней и получил от коменданта документ, увольняющий меня в безсрочный отпуск. Этому документу впоследствии суждено было сыграть большую роль в моей жизни. В нем значилось:

Дано сие Крымского Конного полка корнету Сергею Владимировичу Маркову комиссией врачей при Одесском Военном Госпитале 23 июля с. г., признанного совершенно негодным к военной службе и причисленного к 4-й категории.

Корнет Марков увольняется в отпуск во все города России впредь до приказа по В. В. об увольнении его в отставку. Настоящее удостоверение подписью и приложением казенной печати удостоверяется.

Документ, как видно, революционный, так как вместо подписи симпатичного генерал-майора Мельгунова, Коменданта, на нем значилась подпись какого-то полупочтенного прапорщика, ибо в день получения мною удостоверения Мельгунова "ушли", и по назначению Румчерода был назначен Рязанов, старый партийный товарищ. Быть может, его подпись на этом документе и сыграла роль в моей жизни несколько месяцев спустя.

Желание мое исполнилось. Я был свободен от военной службы, столь любимой мною ранее и ставшей мне теперь ненавистной. Но моя радость омрачилась мыслью о том, что мне приходится расставаться вплоть до окончания войны с моим любимым денщиком Халилем.

Мой бедный татарин плакал на вокзале, как ребенок, провожая меня.

Я утешал его, что мы скоро увидимся в Белецковке, куда собиралась Ю. А. навестить свою мать. Халиля отправляли обратно в запасный полк.

По дороге со мной случился забавный случай, стоящий быть отмеченным. Кажется, около Жлобина, к которому мы подъезжали, рано утром я был разбужен чьим-то грубым окриком, донесшимся из коридора в полураскрытую дверь моего купе:

- Товарищи, дайте ваши удостоверения!

По-видимому, производился военный контроль документов. Я приготовил свое удостоверение, но твердо решил на обращение "товарищ" не отвечать. Я лежал на верхней полке, закутавшись в свежую простыню и чистое одеяло, так как в те времена еще существовал буржуазный предрассудок выдачи чистого запломбированного белья за один рубль.

Контроль приближался. Наконец, настал и мой черед. Мой спутник внизу зашевелился, доставая свой паспорт.

- Товарищи, ваши документы! - снова послышался тот же голос. Я безмолвствовал.

- Товарищ, ваш документ! - повторил он, и кто-то довольно грубо потряс мое плечо.

Я не выдержал и повернулся. В дверях купе стоял огромный детина в фуражке без козырька, в засаленной шинели, с винтовкой в руках.

- Послушайте, любезный, вы на фронте были? - громко и резко обратился я к нему.

- Как же, мы два года страдали! - ответил он мне, разинув рот от недоумения, к чему я клоню.

- Ранены были?

- Н-е-е-т!

- Вы инвалид?

- Н-е-е-т!

- Вы Георгиевский кавалер?

- Н-е-е-т!

- Так вот, я и то, и другое, и третье, а потому я вам не товарищ, - не сказал, а рявкнул я ему, протягивая свой документ.

Детина до того растерялся, что не только не ответил, но и документа моего не посмотрел и сконфуженный пошел дальше.

- Госпо-о-о-да, давайте ваши документы! - послышался снова его голос.

- А хорошо вы его разделали! - заметил мне мой спутник, гражданский инженер.

- Много ли этим хамам надо? - ответил я. - Вот вы и слышите результаты.

В Петербург я приехал 31 июля утром и с вокзала отправился прямо к коменданту, чтобы явить свой документ и получить пропуск в Финляндию, так как без такового туда более не пропускали. Из Комендантского Управления я поехал на Финляндский вокзал и, к счастью, попал прямо к отходу поезда. В поезде, переполненном пассажирами, я встретился с Ю. А. Ден. В первый момент я испугался, когда увидел ее. Ю. А. была так бледна и имела такой измученный вид, что можно было подумать, что она только что перенесла тяжкую болезнь.

В вагоне много разговаривать было нельзя, и Ю. А. смогла мне только сказать, что положение вещей очень серьезно.

Я понял "где", но недоумевал, что могло случиться, и только выходя с вокзала в Келломяках, мог узнать, в чем дело.

- Их сегодня увозят из Царского Села! - дрогнувшим голосом и со слезами на глазах сообщила мне Ю. А.

Эта кошмарная новость ударила меня, точно обухом по голове. Еще за несколько дней об этом ходили слухи, а сегодня они подтвердились. Отъезд назначен на сегодняшнюю ночь.

- Куда везут Их Величеств, совершенно неизвестно, и чем вызван Их перевоз - тоже. Ходят непроверенные слухи, что Их Величеств перевозят в Ипатьевский монастырь Костромской губернии, но это были лишь слухи.

Ю. А. Ден была в полном отчаянии. Я, как мог, утешал ее. Карты как будто смешивались. Положение изменилось, но, как мне лично казалось, к лучшему. Как я уже писал, я не считал Царское Село безопасным для Их Величеств. Петербург был огнедышащим вулканом, так что всякое удаление Их от очага революции я мог только приветствовать. Рушился только мой план возможного спасения Императорской Семьи, так как где-либо в глуши налет террористов будет малоправдоподобен, а вместе с ним и симуляция убийства и сокрытие следов Их пребывания в случае удавшегося Их освобождения.

Но зато, быть может, в другом месте облегчается сама возможность Их спасения, то есть именно ее первый момент, момент освобождения Их из рук революционной охраны.

Так как, насколько мне помнится, Маркова 2-го в Канерве не оказалось, Ю. А. Ден решила в тот же день поехать обратно в Петербург, чтобы попытаться через него узнать о действительном месте заточения Царской Семьи. Я тоже поехал вместе с Ю. А. Ден, желая поехать в Царское, чтобы попытаться увидеть в последний раз перед отъездом Их Величества. По имеющимся у Ю. А. Ден сведениям, отъезд Их Величеств был назначен в час ночи.

В 11 часов вечера я был в Царском Селе, в котором не был с 23 марта. В глубоком волнении шел я по уснувшим улицам, на которых встречались редкие прохожие в контраст с вокзалом, забитым солдатской сквернословящей толпой, видимо, избравшей некогда чистенький, а теперь заплеванный и загаженный вокзал местом своих прогулок с окрестными горничными и кухарками.

Чем ближе я подходил к Дворцу, тем оживленнее делались улицы; но подойти к нему мне не пришлось, так как он был оцеплен сильным нарядом войск.

До 6 часов утра я простоял на облюбованном мною месте, но мне ничего не пришлось увидеть. Около половины шестого мимо меня пронеслось несколько закрытых автомобилей, окруженных всадниками 3-го Прибалтийского конного полка.

Я видел, как несколько мужчин, стоявших около меня, вытирало набегавшие слезы, а женщины плакали.

Я не видел никого, но сердцем, душою, всеми своими помыслами я был с Ними в этот безумно тяжелый для Них момент, когда Они покидали любимый Александровский дворец и родное Им Царское Село. Я дал себе клятву, во что бы то ни стало последовать за несчастными Царственными Узниками, где бы Они ни находились.

Вплоть до 6 августа точное местопребывание Их Величеств не было никому известно.

Их Величества благополучно прибыли в Тобольск - вот такое известие мы получили 6 августа поздно вечером.

Почему перевезли Их именно в Тобольск, а не в какой-нибудь другой город Сибири, неизвестно.

Исходя из соображения, что судьбой Их Величеств распоряжался Керенский, лично присутствовавший при Их отъезде из Царского Села и заставивший всю Царскую Семью от часа ночи до пяти с половиной утра неоднократно и совершенно напрасно спускаться вниз, чтобы сесть в автомобиль, каковое отношение он, видимо, считал признаком хорошего революционного тона, я предполагал и думаю, что был прав, что Керенский выбрал местом заключения именно Тобольск, желая этим лично уязвить Их Величества, отправляя Их на родину Распутина, с именем которого Их связывало столько грязных, возмутительных и лживых легенд. Вероятно, он хотел, чтобы ко всей мерзости, вылитой на несчастную Государыню, прибавился еще один слух, что якобы по Ее желанию была отправлена в Тобольск Ее Семья, на родину человека, которого Она считала добрым гением Своего тяжко больного сына... От этого диктатора над всероссийским хамом с его подлой душонкой всего можно было ожидать. От Ю. А. Ден я узнал, что А. А. Вырубова была выпущена из арестного дома и сейчас живет, медленно оправляясь от всего пережитого в доме своего шурина Пистолькорс, на Морской.

Насколько помнится, дня через два после получения известия о пребывании Их Величеств в Тобольске я вторично был у Маркова 2-го.

Застал я его очень удрученным всем случившимся. Разговор наш вращался вокруг личности полковника Кобылинского, уехавшего с Императорской Семьей в Тобольск в качестве Начальника отряда Особого назначения, составленного из стрелков первого, третьего и четвертого стрелковых полков. В его руках находилась фактическая судьба Царской Семьи, так как он имел неограниченные полномочия от Керенского. Кроме того, в Тобольск уехал некий Макаров, назначенный комиссаром от Временного Правительства. Из лиц Свиты за Царской Семьей в изгнание последовали: гофмаршал князь Долгорукий, генерал Татищев, лейб-медик Боткин, гувернер Наследника Жильяр, фрейлина гр. Гендрикова и гофлектриса Шнейдер.

Я немного знал Кобылинского, так как пролежал около недели в одной с ним палате в лазарете Лианозовой, где я находился на излечении в сентябре и ноябре 1916 года. Кобылинский тогда произвел на меня очень хорошее впечатление. Это был тихий, спокойный и очень уравновешенный человек. Политические его убеждения мне были неизвестны, да и кто из офицеров до революции задавался такими вопросами! Единственно, чем он был известен в лазарете, это была близость

отношений к нашей младшей сестре Клавдии Михайловне Битнер, которая и последовала за ним в Тобольск.

Каким образом Е. С. Кобылинский, старый офицер лейб-гвардии Волынского полка, мог сделать такую революционную карьеру, было мне непонятно.

Во всяком случае, Марков 2-й считал необходимым выяснить настоящее лицо Кобылинского. Не знаю, предпринимал ли он по этому поводу какие-либо шаги, но когда я приехал в Петербург в феврале, Кобылинский продолжал оставаться все тем же невыясненным лицом.

В дальнейшем наш разговор с Марковым 2-м перешел на все возрастающую популярность генерала Корнилова. Я вполне разделял его отрицательные взгляды на эту личность.

- Революционные генералы нам не нужны, и республики в России мы не хотим. Республикой Россию не спасешь, и со стороны монархистов Корнилов поддержки не встретит! - говорил Марков 2-й.

В случае выступления Корнилова Марков 2-й предсказывал ему неудачу. Если же, паче чаяния, Корнилову и удалось бы захватить власть в свои руки, то в очень непродолжительный срок он ее потеряет, так как не сумеет, вернее, не захочет отмести от себя все демагогически революционные элементы, в корне своем явно не государственные и не жизненные.

На этом я расстался с Н. Е. и больше у него в Канерве не был, и мы встречались с ним уже в Петербурге на конспиративной квартире. В начале августа я поселился в Петербурге на квартире у моего товарища по полку А. К. Решко, которому принадлежал бывший дворец Великого

Князя Алексея Александровича на Мойке. Квартира, где я жил, помещалась в б. свитском доме дворца, выходившего на Английский проспект. Решко в то время не было в Петербурге, так что я был совсем один во всей квартире.

В десятых числах августа я, совместно с Ю. А. Ден, посетил А. А. Вырубову, будучи приглашен к ужину ее шурином. В гостиной я застал целое общество, в большинстве мужчин, среди которых преобладал военный элемент.

В числе присутствующих находился и пресловутый Манташев, нефтяник и лошадник, известный всему Петербургу благодаря своим близким отношениям к жене генерала Сухомлинова. Он этих отношений не скрывал, а, наоборот, как будто даже гордился ими. Он был в военной форме, с погонами Красного Креста и с Владимиром 4-й степени с мечами, уж право не знаю, за какие доблести и полученным.

Среди офицеров я заметил капитана 1-го ранга Мясоедова-Иванова, моего знакомого по Царскому Селу.

Все общество находилось в самом веселом, благодушном настроении.

Повсюду слышалась английская и французская речь, словом, обычный петербургский вечер, совсем не напоминающий и не гармонировавший с переживаемыми событиями. А. Вырубовой в гостиной не было, она вышла только к ужину. Как мало подходила к этой веселой, шумной компании эта женщина-мученица, на костылях, в скромном черном платье, с мертвенно-бледным лицом и глубоким шрамом на лбу, следом удара прикладом, полученного ею в тюрьме...

Ее большие васильковые глаза, ясные и выразительные, скорбно смотрели на собравшихся вокруг большого стола, заставленного изысканными закусками и батареей водок и вин, как отечественного, так и заграничного производства.

Разговоры за столом носили самый фривольный характер, кто-то заговорил о политике, но его попросили перестать и не портить настроения собравшихся. О несчастных Царственных Узниках никто даже и не вспоминал!

Провожая Ю. А. Ден домой, я выразил недоумение по поводу своевременности таких развлечений, на что получил ответ, что в этом доме это в порядке вещей, и что у Манташева, живущего в верхнем этаже, ежедневно бывают кутежи вплоть до утра. Его дом не оставляют без посещения и высокие особы. Так, по-видимому, жило и веселилось высшее петербургское общество в те трагические дни!

Внешне Петербург как будто мало изменился, если не считать, что улицы стали еще более грязными, а дома Невского и прилегающих к нему улиц были до высоты третьего этажа сплошь заклеены партийными агитационными плакатами всех величин, фасонов и цветов. Петербург одолела настоящая плакатомания. Отдавались даже распоряжения, ограничивающие наклейку афиш, но ничего не помогало, и афиши клеились где попало и на чем попало.

Невский был переполнен нарядной разодетой толпой вперемешку с разнузданной, оборванной солдатней. Магазины бойко торговали, и цены в них росли не по дням, а по часам. Рестораны были переполнены, и заграничные вина лились в них рекой. Игорных притонов развелось великое множество, и карточная игра в них шла вовсю. Деньги теряли ценность, а появление тысячных купюр с изображением Олимпа "безкровной революции", Государственной Думы, не придавало веры в твердость нашего рубля. Появился новый вид спекуляции, спекуляции на валюте. Это новое завоевание революции распустилось вскоре махровым цветком по всей России и возымело развращающее и пагубное влияние на население. К половине августа 1917 года наша валюта на международном рынке успела уже потерять более 50 процентов стоимости, так английский фунт дошел до 22 рублей 50 коп., доллар - до 4 руб. 72 коп., швейцарский франк - до 1 руб. 5 коп., а голландский гульден - до 2-х руб. Таковыми были пока блестящие плоды новой демократической финансовой политики.

На фронте было не лучше. Боеспособность флота свелась к нулю, и флот противника стал безнаказанно появляться у наших берегов, почти не встречая сопротивления, и, стремясь форсировать Рижский залив, достиг этого в августе.

11-я армия Радко Дмитриева тоже разлагалась под влиянием большевицких агитаторов, нахлынувших из Петербурга и распространявших массами среди солдат поганую пораженческую газету "Правда". После коротких боев фронт под Ригой был

прорван, и 21 августа Рига была занята войсками противника, флот наш потерял броненосец "Славу" и очистил Рижский залив.

Но не только один Северный фронт, но и все остальные держались на волоске, да и то благодаря вновь сформированным особым полкам батальонам из лучших элементов армии, в большинстве состоящих из одних офицеров. Эти части получили наименование ударных. Идея создания этих частей принадлежала генералу Корнилову, и впервые эти части появились в 8-й армии, которой он раньше командовал.

Я не смею спорить и критиковать действия демократического Главнокомандующего, нужно ли было создавать такие части или нет, но одно было для меня совершенно ясным: до революции вся Императорская армия была ударной, и всякая, даже маленькая частица ее была обязана сложить свою голову на поле брани за славу отечества, после же революции основное понятие воинского долга было уничтожено, и одной части армии было предложено биться до последнего, а другой, большей ее части, было предоставлено лущить семечки и спокойно наблюдать, как их товарищи изнемогают в неравной борьбе...

Цвет русского офицерства отдавал свои молодые жизни, а солдатская масса митинговала, решая вопрос: стоит или не стоит идти на фронт. Как-то раз в Петербурге приблизительно в это время я случайно слышал на митинге, как один солдат-оратель кричал:

- Офицера жалование получают, так им хорошо воевать, а мы, товарищи, кипяток и то не всегда получаем... Офицера нашу кровь пьют... За что ж мы, товарищи, на фронт пойдем?

Таково было отношение к офицерам.

Мне кажется, что создание ударников окончательно деморализовало армию, возложившую на них все тяготы войны и что, несомненно, благодаря этим формированиям, абсолютно не достигнувшим своей цели, Россия потеряла безвозвратно не один десяток тысяч лучших сынов своих.

14 августа в Москве произошло знаменательное Государственное Совещание, состоявшее из представителей общественных организаций, армии и флота и всех партий, что особенно подчеркивали расплодившиеся, как грибы, демократические газеты. Партии были, действительно, представлены все, кроме правых. В России, сделавшейся по мановению ока самой свободной и самой демократической страной в мире, все были свободны, включая и большевиков, все, кроме монархистов. Этой партии было предписано не существовать, собраний не устраивать, в союзы не объединяться, печатных органов не издавать. Это было не удивительным, так как подобная система удушения своих противников практиковалась и ранее во всяком социалистическом государстве, в котором могут жить свободно одни лишь социалисты, а остальным предлагается молчать даже тогда, когда на них нападают. Короче говоря, в этом однобоком совещании Керенский хотел найти себе опору для продолжения своих дальнейших измывательств над несчастной страной. Но вместо ожидаемого триумфа над людской глупостью ему пришлось потерпеть неудачу.

На совещании он впервые натолкнулся на оппозицию в лице представителей армии и флота. Здесь впервые прозвучали слова, требовавшие немедленного введения диктатуры. Все собрание в горячих овациях, устроенных в честь генерала Корнилова, председательствовавшего на совещании, выразило ему свое доверие, весьма недвусмысленно указывая на него, как на единственного и желаемого диктатора, которому, быть может, удастся еще вывести Россию из тупика, в котором она очутилась. Заседания этого совещания происходили в Московском Большом театре. Президиум помещался на сцене, где была также устроена трибуна для ораторов. Особое внимание привлекал Керенский, сидевший в кресле развалившись в удобной позе, за ним навытяжку стояли без смены его два адъютанта-офицера. Один из них не выдержал, и во время заседания ему сделалось дурно.

Столь унизительное для офицера положение стоять за каким-то маньяком и революционным временщиком заставило присутствовавших офицеров в лице одного штаб-офицера отправиться лично к Керенскому и осведомиться у него, по доброй ли воле или по его приказанию стоят за его креслом офицеры.

Когда Керенский спросил, почему собравшимся офицерам это интересно знать, полковник ему ответил, что офицеры возмущены этим и просят ему сообщить, что офицерский караул полагается только при трупе...

Говорят, что этот хам при этих словах до того смутился, что приказал не в меру усердным адъютантам больше за его креслом не стоять.

Не повезло ему и с казаками. Один казачий полковник в разговоре с ним ехидно заметил:

- Вы не думайте, г-н министр, казачеству далеко не безразлично, кто сидит в Зимнем Дворце - Александра Феодоровна ли со скипетром в руках или Александр Феодорович Керенский со шприцем.[1]

г----------

[1] Керенский был явно выраженный морфинист.

L_____

А из зала в то время, когда он, по-наполеоновски заложив руку за борт френча, нервно бегал на своих кривых ножках в желтых гетрах по сцене и бросал присутствующим громкие трескучие фразы, кто-то крикнул:

- Эх вы! Горе родины!

Три дня продолжалась эта словоговорильня и как ничем началась, так ничем и закончилась. Корнилов, ничего не добившись (он требовал введения смертной казни в тылу для обуздания дезертиров), уехал в Ставку, а Керенский в Петербург, где снова поселился в Зимнем Дворце, оскверняя своим телом царские кровати и устраивая ежедневно со своими сподвижниками ночные оргии, кончавшиеся порчей дорогой дворцовой мебели и битьем редчайшего старинного фарфора.

По поручению Маркова 2-го я записался в целый ряд организаций, дабы быть в курсе господствовавших в них настроений. Так я сделался членом Союза офицеров армии и флота, членом Союза Георгиевских кавалеров, членом Военной лиги, членом Союза воинского долга, членом Демократическо-республиканского центра, секретарь которого, между прочим, при первом знакомстве со мной и узнав, кто я, весело пожал мне руку и сообщил:

- Подождите, корнет, скоро и на нашей улице будет праздник, скоро, скоро запоем мы "Боже, Царя храни"...

Я был зачислен еще к целому ряду более мелких организаций, не имевших особого наименования и считавших себя конспиративными, но их конспирация была похожа на конспиративность упомянутого выше секретаря. Вообще, в Петербурге ко дню корниловского выступления народилось великое множество однородных по духу, но совершенно раздельных по существу организаций и групп. Думаю, что их было более 50-ти. В одной "Астории", к тому времени немного отремонтированной, я знал пять различных офицерских группировок, друг друга опасавшихся, но силившихся установить между собой идейный контакт и налаживавших между собой связь, хотя центры этих организаций и находились в одном и том же коридоре гостиницы.

Офицерская молодежь увлекалась таинственностью паролей, опознавательными знаками и прочими аксессуарами, применяемыми при подпольной работе, и не имела ни малейшего представления о технической сущности такой работы. Быть может, эта невероятная неразбериха и спасла офицерство от массовых арестов со стороны осатанелого Керенского в дни корниловского краха. Я думаю, что шпики его, шнырявшие между офицерами и старавшиеся втереться в их среду, безнадежно запутывались в этой организационной паутине.

Благодаря такой организационной неразберихе и путанице и стремлению каждой, даже маленькой, группы забрать в свои руки верховенство над другими, Корнилов в Петербурге необходимой поддержки в своем начинании не получил, так как ясно, что, будь офицерство прочно и компактно организовано чьей-либо железной рукой, оно не могло бы не сыграть решающей роли. Дни 26, 28 августа в Петербурге можно сравнить с таковыми же 27 февраля и 2 марта, когда организованные офицеры могли свободно не допустить совершившегося переворота и арестовать главарей-зачинщиков в лице Временного Комитета Государственной Думы. В августовские же дни организованное офицерство могло легко ликвидировать Керенского и иже с ним...

Мне особенно вспоминается один из вечеров, когда Ю. А. Ден и я были в "Астории" у знакомых, у которых собирались многие наши единомышленники, с которыми мы проводили время в дружеской беседе. Среди них часто бывал Князь Константин Константинович, появлявшийся в форме капитана лейб-гвардии Измайловского полка, и которому я имел честь быть представленным. Он произвел на меня очень хорошее впечатление простотой обращения и своей любезностью.

Князь живо интересовался всем происходившим, искренно скорбел душой за несчастную Россию, но ни в каких заговорах он не участвовал и был далек от каких-либо организаций, что я могу категорически удостоверить.

Однажды один офицер генерального штаба, у которого мы как-то собрались, был вызван по телефону. Оказалось, что звонит из Главного Штаба его приятель, капитан генерального штаба С, бывший там на дежурстве, который между другими новостями сообщил, что "горе родины", Керенский, сидит в одиночестве, что, кроме него и нескольких служителей, никого в огромном здании нет, и что поэтому легко...

Мы, конечно, поняли, что можно легко сделать, но как бы легко это ни было, все же нужна была некоторая подготовка такой ликвидации. Надо думать, таких возможностей было немало, и в свое время можно было бы ликвидировать не одного только Керенского, но и Ленина, и Троцкого, когда они говорили речи с балкона дворца Кшесинской, не будучи почти никем охраняемыми.

Но все моменты были упущены. Часть этих висельников вот уже годы как насмехаются над нашей глупостью, прочно сидя в Кремле, другие - в полном здравии и благоденствии вспоминают минувшие дни в тиши кабаков Праги, Парижа и Лондона, услаждая лекциями одураченную эмиграцию.

Бывая с Ю. А. Ден на конспиративной квартире Марковской организации, которая помещалась в одной из коммерческих контор неподалеку от сельскохозяйственного клуба на Невском, где под видом купли и продажи и заключения сделок собирались нужные лица и где Марков 2-й принимал по делам организации, я познакомился с его помощником Виктором Павловичем Соколовым. Он произвел на меня не особенно выгодное впечатление не потому, что он был калекой-горбуном, но его маленькие злобные глазки отнюдь не располагали к себе, манера говорить была неприятная, а главное, особого ума и проницательности за ним не замечалось, сквозила в нем большая самовлюбленность и озлобленность по отношению к людям вообще, чем отличаются всегда обиженные природой. По внешнему виду, а главное, по сутолоке, вечно царившей в конторе, мне казалось, что организация эта действительно живет, работает и ширится.

20 августа распространился в Петербурге слух, что приехавший к Керенскому из ставки бывший обер-прокурор В. Н. Львов привез ему какой-то ультиматум, которого Керенский не принял, и что Львова приказал он арестовать. Настроение в Петербурге стало крайне напряженным, газеты комментировали это событие на все лады и брались публикой у газетчиков с боя. События нарастали... 27-го было опубликовано, что генералу Корнилову предложено сдать должность Главнокомандующего. В городе все говорили, что части третьего конного корпуса под начальством генерала Крымова начали свое движение на Петербург и являются авангардом корниловских войск, долженствующих занять столицу и свергнуть Временное Правительство. Утром 28-го, выходя из дому, я прочел в одной маленькой газетке, названия которой не припомню, воззвание Корнилова, в котором он сообщал, что долг солдата, самопожертвование граждан свободной России и беззаветная любовь к Родине заставляют его не подчиняться приказу Временного Правительства и оставаться на посту Главнокомандующего народными армиями и флотом. Далее говорилось, что он, Корнилов, предпочитает смерть устранению его от должности Верховного Главнокомандующего и, указывая на неумение Временного Правительства управлять страной, приглашает последнее приехать к нему в Ставку для переговоров о создании правительства народной обороны, гарантируя ему своим словом полную неприкосновенность.

Ответом на эту чисто демократическую попытку Корнилова окончить по-хорошему со своими левыми единомышленниками было то, что Керенский от имени Временного Правительства без обиняков объявил его изменником и предателем Родины, ввел в Петербурге военное положение и назначил Б. Савинкова военным генерал-губернатором.

29 августа передовые части генерала Крымова подошли к Петербургу и, неведомо почему, остановились. Керенскому удалось послать на фронт наименее деморализованные, но в боевом отношении никуда не годные части Петербургского гарнизона, так что он вызвал из Кронштадта недавних врагов своих, матросов, сделавшихся неожиданными его союзникам против мнимой белой диктатуры генерала Корнилова.

Решительных шагов предпринять не пришлось, так как наступавшие войска под влиянием агитации и из-за непонятной нерешительности Ставки замитинговали и стали брататься с вышедшими к ним навстречу петербургскими "чудо-богатырями".

Генерал Крымов, ездивший для переговоров к Керенскому в Зимний Дворец, там же при очень загадочной обстановке застрелился. Генерал Алексеев принял на себя посредничество между генералом Корниловым и Временным Правительством и выехал в Могилев уже в должности Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего, каковым объявил себя Керенский.

Так закончилась попытка генерала Корнилова создать национально-демократическое правительство в России... В начале сентября он был арестован и отправлен в Быхов, где вместе с генералами Лукомским, Романовским и другими был заключен в женской гимназии, и над ним было назначено следствие.

Предположения Маркова 2-го оправдались: карта Корнилова была бита.

В самом конце августа уехала в Тобольск М. С. Хитрово, взявшая с собой, кроме вещей для Их Величеств, целую массу писем. Ее поездка окончилась печально. Ее в самый день приезда арестовал Кобылинский и отправил под конвоем обратно в Петербург. Бедная М. С. вела себя во время поездки весьма необдуманно, посылая своей матери с дороги письма, в которых весьма прозрачно писала о своих мыслях и обо всем виденном по дороге. Письма эти, видимо, попали в цензуру, а, кроме того, ее мать где-то в поезде совершенно недопустимо откровенно говорила о поездке своей дочери, что случайно и было услышано одним из пассажиров, оказавшимся чуть ли не приятелем Керенского, которому было немедленно доложено обо всем услышанном.

Поездка М. С. имела для Их Величеств печальные последствия, так как комиссар Макаров, весьма лояльно относившийся в Их Величествам, был вызван в Петербург и заменен неким Панкратовым с помощником, прапорщиком Никольским.

По возвращении в Петербург М. С. была вскоре выпущена на свободу, так как даже революционные следователи не могли найти в ней агента какой-либо организации, до того наивным было все ее поведение.

От нее мы узнали впервые о жизни Их Величеств в Тобольске. Оказалось, что Их Величествам пришлось прожить на пароходе до 12 августа, так как губернаторский дом не был еще готов для Их приема. 12 августа Их Величества переселились в предназначенное Им помещение, а свита еще ранее поместилась в доме купца Корнилова, напротив дома губернатора. М. С. удалось передать письма графине Гендриковой и до своего ареста увидеть всю Императорскую Семью, Которая ее узнала, на балконе.

По словам М. С, Царская Семья устроилась удовлетворительно. Отношение как жителей Тобольска, так и жителей его окрестностей к Высочайшим Узникам прекрасное, даже трогательное. Многие прохожие снимают шляпы, когда проходят мимо дома, и последний начинает делаться местом поклонения для окрестного крестьянского населения...

Ю. Ден решила переехать как можно скорее на юг, к своей матери, дабы заставить нынешних вершителей судеб, интересовавшихся ее личностью, забыть о своем существовании. Так, по приказанию Керенского, она неоднократно допрашивалась Муравьевым, который был председателем комиссии по выяснению деятельности лиц старого режима, и которая поэтому живо интересовалась ее отношениями с Императорской Семьей. По приглашению Ю. А. Ден я согласился сопровождать ее в Белецковку, и 14 сентября мы, распрощавшись с Марковым 2-м и его сотрудниками, выехали из Петербурга в Москву, а оттуда через Харьков в Кременчуг.

ГЛАВА XXIV

Несмотря на то, что я пробыл всего четыре с половиной месяца в Белецковке, мне пришлось пережить немало тяжелых и томительных часов, когда я, терзаемый неизвестностью положения моих незабвенных Их Величеств, ночами не спал, оберегая покой дорогих мне людей, и напряженно прислушивался к малейшему шороху, доносившемуся извне, ежеминутно выбегал на воздух и пытливо всматривался, нет ли чего подозрительного, я все же вспоминаю об этом времени с чувством глубокого удовлетворения.

Конечно, моя помощь была весьма иллюзорна, так как что же я мог сделать один в случае возможного безчинства со стороны белецковских крестьян, числом более тысячи населявших деревню, подходившую почти вплотную к усадьбе, или в случае налета какой-либо посторонней банды. Правда, вооружен я был достаточно, имея несколько автоматических пистолетов и даже ручные гранаты.

Усадьба состояла из двух барских домов: старого большого дома, только что отремонтированного, из четырех больших комнат и служб, помещавшихся в подвальном этаже, в котором жили Ю. А. Ден с сыном и его гувернанткой француженкой, Наталья Михайловна Х., старая знакомая Ю. А., приглашенная ею погостить в имении, и я. В меньшем доме жила Екатерина Леонтьевна Велецкая с матерью, Марией Карловной Хорват, и прислуга, исключительно женская, кроме старика повара.

Таким образом, если не считать повара, то я один мог считаться боеспособным. Остальные постройки усадьбы находились в 400-500 шагах от дома. Сама усадьба

была живописно расположена на гребне возвышенности, обрывом уходившей в Днепровские плавни и заливные луга.

Единственно, чем я мог бы помочь в случае нападения, это, отбиваясь, дать возможность и время спуститься по обрыву в плавни, где при умении легко можно было оы скрыться.

Вспоминая теперь о жизни в Белецковке, я не могу не преклониться перед огромной силой воли Екатерины Леонидовны Велецкой, пред ее чисто мужского склада умом и ее поразительным умением разговаривать и держать себя с крестьянами. Крестьяне, бывавшие у нее по делам, начиная с председателя сельского Совета, отвратительного хитрого мужика, и его сотоварищей по Совету до самого последнего мужичонки, что называется, трепетали перед ней, преисправно снимая шапки и при разговорах величая ее барыней, и не садясь без ее разрешения в ее присутствии.

Когда мы приехали, жизнь в деревне текла еще почти нормально, если не считать мелких краж и порубок леса на помещичьей земле. Мельница, приводимая в движение газовым двигателем, работала вовсю, освещая нас вечером электричеством при помощи довольно сильной динамо-машины.

Но спокойная жизнь продолжалась не долго. В конце сентября пришло известие, что не то крестьяне, не то солдаты сожгли дотла находящуюся в 25-ти верстах от нас усадьбу, принадлежащую Марии Карловне Хорват. Виновники поджога остались не разысканными. Этот поджог произвел на нас неприятное впечатление, как предупреждение и предзнаменование...

Об этом случае долго скрывали от милой старушки, очень любившей свое имение, в котором она провела лучшие свои годы.

Из Петербурга мы получили известие, что Марков 2-й предполагает отправить в Тобольск моего однополчанина и друга Колю Седова, находившегося в Петербурге и состоявшего также членом организации. Он должен был выяснить на месте положение и все возможности для предполагаемого освобождения Царской Семьи. Из полученных сведений явствовало, что в организации все обстоит благополучно и работа развивается нормально.

Монотонность нашей жизни нарушил приезд моего вестового Халиля из Новогеоргиевска, который узнал о моем приезде и привез мне последние новости из полка. Оказалось, что мадемуазель Канель была убита одним из членов Совета солдатских депутатов, с которым она была в близких отношениях. Ее возлюбленный из ревности заколол ее штыком во время прогулки в лесу, около города. Не посчастливилось и главному врагу моему Бекирову. Его товарищи поймали его на краже каких-то советских денег, и он был жестоко избит и арестован, а потом его выпустили, и он скрылся из полка. Халиль, захлебываясь от восторга, рассказывал мне об этом и с гордостью прибавил:

- И здорово же я ему за вас морду побил, ваше Высокородие, когда на часах при его аресте стоял! Я вас ему припомнил.

В первой половине сентября я лично съездил в полк и был крайне расстроен всем виденным. Полк почти совсем развалился. Солдатня деморализовалась окончательно. Отдания чести и в помине не было, исчез и воинский вид. Офицерство разъехалось, кто куда, так что я большинства своих приятелей уже не нашел, но все же человек пять из созданной мною группы, таких, как и ротмистр Н., и поручик А., оба моего полка, командовавшие нашими маршевыми эскадронами, оставались еще в полку. Они часто бывали у нас в Белецковке, и тогда в большом зале устраивались импровизированные музыкально-вокальные вечера. Но это длилось недолго, так как крестьяне стали относиться к этим приездам неодобрительно, видя в наших собраниях одну из ста голов контрреволюционной гидры. Они были по-своему правы, так как все мои приятели приезжали к нам не только ради музыкальных вечеров, но и для обсуждения вопросов, связанных с Императорской Семьей, которой они хотели послужить по мере своих сил и возможности.

Благодаря образованию в Киеве Центральной Украинской Рады, представлявшей собой исполнительный центр украинских политических партий и проявляющей с каждым днем свою все более и более, в противовес Временному Правительству, явно сепаратистскую физиономию, и захолустный Новогеоргиевск откликнулся на это.

Запасный полк стал украинизироваться, т. е. стал принимать украинский национальный оттенок, выделяя все инородческие, то есть русские, элементы всех тех, кто не хотел именовать себя украинцами. При полку стал формироваться Польский эскадрон из бывших в нем поляков, и мои Крымцы также совершенно обособились.

Офицерское собрание полка потеряло прежний вид и даже, по-моему, утратило право на такое наименование. Вместо вестовых прислуживали какие-то босоногие девки и особы женского пола, мало даже похожие на горничных, что придавало собранию весьма странный вид, напоминавший дешевую кухмистерскую. Оставшееся офицерство в "пілку" предавалось с горя карточной игре и очень неумеренному потреблению спиртных напитков. Само собой понятно, что о каких-либо занятиях и речи не могло быть.

Исполняя задание Маркова 2-го, мы установили связь с Одессой, где главой монархического союза был Н. Н. Родзевич, мой старый знакомый. Из Одессы получались очень утешительные сведения, что организация боевых монархических сил идет весьма успешно и что весь юг покрывается монархическими ячейками.

Я занялся организацией таковой в Кременчуге, но по понятным причинам я не могу теперь рассказать в подробностях о моей работе. Скажу только, что уже и тогда можно было создать довольно многочисленное ядро наших единомышленников, и оно было создано. Поддерживалась связь как с Одессой, так и с другими местами, где были подобные тайные организации. Наша работа сводилась к точному учету верных и надежных людей и к созданию боевых групп, независимо от их численности, и руководствуясь только имевшейся наличностью оружия для их вооружения. Кроме того, на нашу Кременчугскую группу было возложено распространение агитационной литературы, получаемой нами, к сожалению, в весьма скромных размерах. Наши прокламации имели большой успех у населения.

Светлым праздником был для нас один из дней начала ноября, когда Ю. А. Ден получила коротенькое письмо из Тобольска от Государыни, Которая узнала ее адрес от А. Вырубовой, сообщившей его Ей из Петербурга. Из письма можно было заключить, что все в Тобольске благополучно и что все здоровы. Я был до глубины души тронут заключавшимся в этом письме Высочайшим приветом мне.

В конце ноября до нас дошли смутные слухи о происшедших в Петербурге кровавых безпорядках, вызванных большевиками, а из полученных нами киевских газет мы узнали, что это были не безпорядки, а государственный переворот. Временное Правительство перестало существовать, Керенский в платье сестры милосердия постыдно бежал, юнкера, защищавшие Зимний Дворец, в котором скрывалось Временное Правительство, были сняты "красой и гордостью", недавними союзниками Керенского, матросами с "Авроры", обстрелявшей Дворец артиллерийским огнем, сотни людей были зверски расстреляны в Петропавловской крепости и просто на улицах. Власть перешла в руки образовавшегося Совета народных комиссаров, составленного из старых знакомых по дому Кшесинской - Ленина-Ульянова, Троцкого-Бронштейна и других псевдонимов, объявивших себя Российским рабоче-крестьянским правительством.

Генерал Духонин, принявший на себя звание Верховного Главнокомандующего, был убит Кронштадтскими палачами, нагрянувшими в Могилев, и по назначению Совнаркома (так сокращенно стало именовать себя новое правительство) его место занял никому неведомый прапорщик Крыленко, 8 ноября Совнарком предложил союзникам начать с немцами переговоры о заключении демократического мира "без аннексий и контрибуций" на основе самоопределения народов. Результатом этого предложения явилось полное презрение со стороны союзников и великая радость немцев по поводу окончательного развала России, выходившей из войны, и самоопределения Украины, так как Рада в Киеве объявила себя самостоятельным Украинским Правительством, независимым от России. 19 ноября русская и немецкая делегации встретились на фронте и начались переговоры о мире, иначе говоря, Совнарком решил заключить с немцами сепаратный мир.

Все эти известия не поразили нас, так как всего этого можно было ожидать, наши взоры были обращены на Тобольск. Как отразятся эти события на нем? Наши мысли были обращены к Петербургу, и перед нами вставал вопрос: Что делает Марков 2-й, и как далеко подвинулась работа, направленная к спасению Их Величеств? Ответа на этот вопрос у нас не было, надо было что-либо предпринять.

В связи с событиями на фронте и в Петербурге положение наше на месте тоже ухудшилось. В Белецковку стали прибывать солдаты с фронта, возвращавшиеся домой вооруженными, зачастую с награбленным добром. Они поучали своих односельчан, что землю у помещиков нужно отбирать, так как она принадлежит трудовому народу, скот разбирать для своих надобностей, а в господских домах устраивать школы и т. д. Белецковка шумела и волновалась. Декреты Совнаркома, приказы Рады и Универсалы, друг другу противоречившие, окончательно сбили народ с толку. Результатом безконечных митингов, происходивших в деревнях, было постановление: в имение назначить комиссара для наблюдения за инвентарем, дом, где мы жили, обратить в школу, прекрасный племенной скот продать с аукциона крестьянам, а деньги, вырученные при продаже, обратить на культурно-просветительные цели. Комиссаром был назначен ехидный малоземельный

мужичонка, взявшийся сократить наше питание, считая наших кур и свиней народным достоянием. В одну половину занимаемого нами дома была переведена сельская школа (другую половину энергичная Е. Л. Велецкая сумела отстоять), в один мало прекрасный для нас день скот был разделен между белецковскими крестьянами, а усадьбе оставлены для пользования лишь две коровы. По поводу всего этого сельский Совет приходил к Е. Л. Велецкой с извинениями, пытаясь объяснить ей, что все, содеянное ими, было сделано лишь потому, что такой новый закон вышел.

Отсутствие каких-либо сведений из Петербурга заставило Ю. А. Ден решиться на отчаянный шаг и предпринять поездку в Петербург, несмотря на начавшуюся демобилизацию армии. В сущности, демобилизации не было. Это было стихийное движение миллионных масс в серых шинелях, переполнявших поезда, терроризирующих железнодорожный персонал и сплоченных лишь одним желанием как можно скорее вернуться в родные места.

В начале декабря Ю. А. Ден уехала и к Рождеству вернулась. Дни ее отсутствия прошли в Белецковке в томительном безпокойстве за нее. Она привезла с собой успокоительные новости. Происшедший переворот на организации не отразился, Марков 2-й работает не покладая рук. В данный момент идет сбор материальных средств для отправки офицеров группами и одиночным порядком, как в Тобольск, так и в его окрестности; у него имеется уже более 150 человек, но пока отправлен один только Седов, от которого, правда, с места известий еще не поступало, и Марков 2-й очень безпокоится за него.

Ю. А. Ден видела в Петербурге А. Вырубову, которой в первую половину октября удалось освободиться из Свеаборгской крепости, где она находилась в заключении после кошмарного пребывания под арестом на яхте "Полярная Звезда".

Несчастная А. Вырубова совершенно разбита и больна после всего перенесенного и только с трудом оправляется на своей квартире. По полученным сведениям, большевицкий переворот до настоящего времени никаких изменений в жизнь Их Величеств в Тобольске не внес, и там все обстоит благополучно. Петербург после понесенного погрома внешне потускнел и побледнел; нарядная толпа с Невского исчезла. Жизнь делается все тяжелее, и дороговизна превзошла все ожидания.

Свою квартиру Ю. А. Ден нашла занятой какими-то комиссарами-матросами, и ей пришлось остановиться у знакомых. Вот какие новости она привезла с собой.

То, что ей пришлось перенести по дороге, не поддается никакому описанию. Вагоны переполнены через край, окна в них отсутствуют, так как они выбиты разгулявшимися товарищами, попутно оборвавшими обивку с сидений, а в некоторых вагонах даже отвинтившими все медные части. Выслушав рассказ Ю. А. Ден о петербургских впечатлениях, я ответил ей, что, несмотря на то, что из Тобольска получены хорошие сведения и работа Маркова 2-го развивается удачно, я все же считаю положение Их Величеств критическим и требующим немедленной помощи. Отправка одного лишь Седова является каплей в море, прошел уже достаточно длинный срок, и подлежало сосредоточить в Тобольске значительно большее количество верных людей.

Ю. А. Ден успокаивала меня, говоря, что за этим дело не станет и что еще в ближайшие дни начнется такая постепенная концентрация.

На это я ответил, что независимо от того, начнет ли Марков 2-й посылать людей или нет, но я во что бы то ни стало проберусь в Тобольск, так как считаю, что мое место вблизи от Их Величеств. Я бы давно предпринял эту поездку, но мне мешало отсутствие надлежащих документов, и мне удалось раздобыть их, и то случайно, только в половине января.

На Рождество маленькому Тити была устроена елка. Этот не по годам развитой мальчик сделался большим моим другом и очень привязался ко мне. Воспитанный в понятиях истинного Православия, он был очень религиозен, и я, присутствуя иногда на его вечерних молитвах, бывал всегда растроган теми горячими молитвами, которые он возносил к Престолу Всевышнего о любимой им тете Бэби и всей Царской Семье.

Скромным семейным праздником отпраздновали мы вступление Нового Года. Как далеки мы были тогда от мысли, что, выпивая первый бокал вина за здравие дорогих нам Их Величеств, нам придется в этом году перенести столько горя и разочарований...

Во второй половине января, когда я деятельно готовился к отъезду, приготовляя себе соответствующий туалет в виде простого и весьма потрепанного солдатского обмундирования, из Киева нам сообщили о борьбе украинских войск с войсками какого-то, дотоле неведомого, большевицкого полковника Григорьева. Киев подвергся форменной осаде... Кроме того, пошли слухи, что создается повсеместно "вільное казачество", что-то вроде отрядов гражданской обороны, и что этими формированиями руководит генерал Скоропадский, бывший мой бригадный командир и начальник дивизии.

В двадцатых числах приехал неожиданно в имение денщик ротмистра Н., который с маршевым эскадроном ушел в ноябре на присоединение к полку в Херсон. Он рассказал мне, что мой родной и любимый Крымский полк подвергся в ночь на 1 января в Симферополе полному разгрому со стороны севастопольских матросов, учинивших над офицерами и солдатами кровавую расправу. Оказывается, что полк в составе 6-ти кадровых эскадронов, стрелкового эскадрона, пулеметной команды и пришедших из Новогеоргиевска трех маршевых эскадронов в начале декабря походным порядком в блестящем виде пришел в Крым, где к тому времени образовалось правое Национальное Правительство, поставившее себе целью создать национальные войска явно антибольшевицкого направления. Этим молодым формированиям вскоре пришлось столкнуться с севастопольскими матросами и рабочей Красной гвардией. Наскоро сколоченная пехота серьезных боев не выдержала, и всю тяжесть принял на себя мой полк. Его неравная борьба с превышающим его во много раз противником окончилась катастрофой. Полк потерял больше половины своего наличного состава офицеров и солдат, и остатки его рассеялись по горам и бежали из Крыма. В бою погиб и мой сводный брат, ротмистр Думбадзе. Погибли мученической смертью полковники Алтунджи, Биарсланов, ротмистр Губарев, барон Медем, поручик Добровольский и ряд других моих друзей и приятелей. Ротмистру Н. с трудом удалось бежать.

Это известие о трагической гибели моего сводного брата и любимого полка как гром поразило меня. Скверно для меня начинался новый год!

Числа 23 января Кременчуг после короткого боя с местными большевиками был занят частями пехотного полка, в мирное время стоявшего в Кременчуге, теперь украинизовавшегося и в большом порядке вернувшегося с фронта.

В то время у нас гостили два члена Одесской организации, приехавшие оттуда для связи с нами. Мы решили сделать разведку и побывали в Кременчуге. Мы застали город в повышенном и радостном настроении, формировалось местное "вшьное казачество". Местная молодежь, реалисты, гимназисты и, кроме того, вообще штатское население, равно как и находившиеся в Кременчуге офицеры толпами шли к вербовочному пункту, где несколько гимназистов вело запись вступающих, а в соседнем помещении выдавались винтовки и патроны. Мы правильно учли, что путем записи в "вшьное казачество" мы сможем легко раздобыть оружие, которое нам сможет пригодиться, но не учли твердости занятого украинцами положения, что едва не стоило мне жизни. Записавшись в "вшьное казачество", мы сумели четыре раза получить винтовки, а так как, кроме нас троих, записалось еще трое наших сотоварищей, то мы перетянули у украинцев 24 винтовки и патроны в количестве 3000 штук. Все добытое нами вооружение мы благополучно доставили в Белецковку, где оно и было спрятано.

Торжество украинцев в Кременчуге продолжалось недолго, всего три дня, после чего большевицкие части тоже почти без боя заняли Кременчуг, а "вшьное казачество" без выстрела разбежалось. Через два дня после водворения в Кременчуге харьковских товарищей нас посетил красный конный отряд во главе с комиссаром Крюковского Совета,[1] армянином по национальности, скрывшегося во время владычества украинцев из Крюкова и вернувшегося уже с красноармейцами. Внешне отряд был очень импозантен. Люди сидели на прекрасных конях, были отлично одеты, в черных папахах и в бурках на плечах.

г----------

[1] Посад Крюков на Днепре - предместье Кременчуга.

L_____

Е. Л. Велецкая приняла этого комиссара, которого знала раньше, так как имела с ним дела по имению. Оказалось, что отряд приехал меня арестовать, так как имелся донос, указывающий на мою принадлежность к "вільному казачеству".

Екатерина Леонидовна принимала этого субъекта в гостиной, а мы находились рядом в столовой и слышали каждое слово из происходящего разговора. Не могу сказать, чтобы я был в восторге от всего слышанного. Бежать было невозможно. Меня спасла огромная выдержка и хладнокровие Екатерины Леонидовны. Она сумела убедить комиссара точнее проверить донос, доказывая ему, что все сказанное в нем ложь, и умоляла его оставить меня, хотя бы временно, в покое, ручаясь, что я никуда не убегу, так как не брошу их беззащитный дом.

Комиссар, плотно закусив и выпив бутылку отличного старого красного вина, раздобрился и, обещав назначить строжайшее расследование по моему делу, уехал, оставив меня в покое.

Я решил как можно скорее скрыться из Белецковки и сначала поехать в Харьков, так как имел поручение от Ю. А. Ден передать письма монархических организаций генералу от кавалерии графу Келлеру и еще одному лицу, проживавшему там, а оттуда проехать через Москву в Петербург.

Задержка произошла из-за отсутствия солдатской шинели, которую я раздобыл только 31-го января утром, и я назначил свой отъезд на следующий день. Меня до Харькова вызвался сопровождать денщик ротмистра Н., бравый малый, очень надежный и хороших старых правил солдат. Документ был уже заготовлен. Я достал несколько чистых бланков с печатью 449-го пехотного Харьковского полка, из которого один использовал для себя, а остальные оставил у Ю. А. Ден для нужд ячейки. На бланке значилось:

Удостоверение.

Дано сие охотнику вольноопределяющемуся 449-го Харьковского пехотного полка Сергею Марченко, уволенному в отпуск в Петроград сроком на 21 день по семейным обстоятельствам, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется.

Печать.

Но отъезд мне пришлось неожиданно ускорить и бежать из Белецковки еще 31-го, и вот почему. Около 8-ми вечера в маленькую гостиную нашего дома вбежал взволнованный Петр, который должен был со мной ехать, и крикнул:

- Ваше Скобл., бежать надоть, крестьяне за вами идут!

Оказалось, что в сельском Совете решили меня арестовать. Об этом он узнал, будучи по какому-то делу в деревне, и немедленно бросился меня предупредить.

По дороге он встретил довольно большую толпу вооруженных чем попало крестьян, шедших к нам.

Раздумывать было нечего. Я мигом переоделся, вернее, на свою офицерскую форму натянул солдатскую рубашку, брюки, надел шинель и из-под фуражки выпустил ухарский, по тогдашней моде, клок волос.

Я едва успел проститься с обитателями маленького дома и обменяться последними фразами с Ю. А. Ден, как вооруженная толпа входила в усадьбу. Еще один последний поцелуй маленькому моему Тити, Юлия Александровна благословляет меня дрожащей рукой...

- Храни вас Господь! - слышится мне вслед ее голос, и мрак зимней ночи скрывает от меня ее фигуру, вышедшую проводить меня на террасу дома, обращенную к обрыву.

Мы с Петром кубарем скатываемся с него и оказываемся в плавнях.

В кромешной тьме мы огибаем имение и выходим на чистое вспаханное поле. Где-то вдали мерцают огоньки. Это Белецковка. Вскоре и они скрываются из виду, и мы остаемся одни среди безпредельных черноземных полей.

ГЛАВА XXV

- Откеле, товарищи? - осведомляется несколько солдат, сидевших на своих сундучках на платформе маленькой станции "Бурты", тускло освещенной керосиновым фонарем, и куда мы усталые и изможденные пришли после двухчасовой безостановочной ходьбы по пахоте.

- В деревню жрать ходили... с хронта, три дня как не жрамши были. На станциях кипятку нетути... идолы проклятые... на фронте страдали, а тут тебе никакого удобствия! - отвечает им Петр, и скоро между ним и солдатами завязывается оригинальный разговор.

Я чувствую себя не по себе. Впервые мне приходится быть в таком положении, и я, стараясь не ввязываться в разговор, отхожу от них и в раздумье прохаживаюсь по темным подъездным путям. До меня доносятся отдельные фразы:

- Повоевали и баста, кончать пора... Теперь как бы землицы получить... Теперь, сказывают, земля-то вся наша... Вестимо, наша, а то чья, буржуйская, что ли?.. А как не дадут? Не дадут? Не дадут. Дурак ты... Мы хронтовали... Сказывают, у нас в Александровке Василий Иванович уже Богу душу отдал... Артемов ему брюхо штыком пропорол, когда он дома отдавать не хотел... Туда собаке и дорога, попил нашей кровушки, теперь, значит, буржуев капиталистов и там всяких разных помещиков долой, к ч... матери на рога! Шалишь, теперь наше время, наше право, свобода, значит, наша взяла! Ну а офицера-то, как они смотреть будут? Офицера... плевать хотел... те, ежели что с нами, пожалуйста, за милое здоровье, а ежели те, которые золотопогонники, то, значит, в расход! У нас товарищи в миг батальонного к дереву пригвоздили, как он погонов снять не захотел... А у нас погонами по морде били... Ишь ты, а здорово придумали, погонами по морде, чтобы, значит, знал наших.

Солдаты расхохотались при этом рассказе. Мне было больно слушать всю эту мерзость. До чего мы дожили! Какой позор, какой ужас!

- А што это у тебя товарищ такой дошлый? - донеслось до меня.

- А он больной, - ответил Петр.

- Что у него? - не унимался голос.

- Чихотка, сказывает.

- Чихотка? - и в голосе слышалось недоверие.

К счастью моему, разговоры прекратились, так как к станции со стороны Кременчуга подходил длиннейший товарный поезд. Он был переполнен солдатами. Из некоторых вагонов неслись пьяные крики и нестройное пение солдатских песен. Наконец, мы влезли в один из вагонов, к нашему удивлению бывшему наполовину пустым. Удивление наше скоро объяснилось. В вагоне одна из дверей была наполовину выломана, и в нем было, пожалуй, холоднее, чем на улице, так как сквозняк был страшный, но делать было нечего. Мы забились в угол и уселись на наши узелки плотнее друг к другу. Я был счастлив, когда поезд загромыхал и мы стали удаляться от "Буртов". Погони бояться было нечего.

Из всех вагонов неслись дикие крики:

- Крути, Гаврила! Наворачивай! По кульерскому! Солдаты, недовольные медленным движением поезда, думали своим галдежом подбодрить машиниста.

В соседнем вагоне играла гармония, и кто-то фальшивым фальцетом ухарски выводил:

Но-ч-ка темная, Маруся,

проводи меня, боюся!

А хор пьяными голосами подхватывал:

Провожала, жала

до вокзала-ала,

проводила-ила

и забыла!

От всего пережитого, от этой невообразимой какофонии и от смрада, стоявшего в вагоне, несмотря на сквозной ветер, у меня смертельно разболелась голова, и я, ничего не соображая, прикорнул на плече Петра и к утру забылся тяжелым полусном, и был разбужен зычным окриком:

- Товарищи, кто из бывших офицеров, давайте ваши удостоверения!

Я открыл глаза. Поезд стоял. В дверях вагона я увидел здоровенную солдатскую фигуру, обвешенную пулеметными лентами, с карабином в руках. В вагоне царило молчание.

- У нас таких нетути! - раздался из противоположного угла вагона чей-то голос.

- Нету, так нету! - и фигура спрыгнула на платформу. Я облегчено вздохнул.

- А ты почему знаешь, что нету? Теперь офицера похуже нашего одеты, народ умный, шинелишко, смотришь, рванное, а на самом деле охвицер!

Такие комплименты в адрес офицерского ума мне крайне не понравились. Но разговор дальнейшего развития не получил, и без особых приключений мы к обеду дотащились до Харькова.

Прекрасный харьковский вокзал был загрязнен до неузнаваемости и переполнен серой солдатской толпой. Повсюду пестрели плакаты:

Все на борьбу с Царскими опричниками, казаками! Долой помещиков и капиталистов! Земля и воля трудовому народу! Смерть Калединцам! Рабочий, исполни свой долг, красная гвардия ждет тебя!

На вокзале я расстался со своим спутником, оставшимся ожидать поезда на юг, сердечно поблагодарив его за оказанную мне услугу. Я успел уже освоиться со своим положением и чувствовал себя много спокойнее.

Из купленной газеты "Известия Харьковского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов" я узнал, что донской атаман Каледин застрелился в Новочеркасске 29 января, и что Таганрог взят Красной гвардией. В ней также сообщалось, что генерал Корнилов, которому удалось бежать из Быхова, начал формировать армию из золотопогонников и кадетов. Далее следовали обычные проклятия, трескучая угроза стереть в порошок наглых белогвардейцев, безпощадно расправиться с гидрой контрреволюции, поднимающей свою голову на Дону, и страшные кары казачеству за его помощь белогвардейской сволочи и т. д. в том же духе.

Передав нужному лицу бывшие при мне документы и письма, я отправился к графу Келлеру, жившему недалеко от центра города.

Когда я проходил по одной из маленьких улиц и на ходу закусывал чайной колбасой, я мог убедиться, что мой грим без грима, видимо, был очень удачен, так как натолкнувшиеся на меня две прилично одетые дамы, взглянув на мою фигуру, отпрянули в сторону, и одна из них даже вскрикнула: Quel horreur!

Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться.

На мой звонок дверь графской квартиры немного приоткрылась, кто-то в щель осмотрел меня и, узнав, что я желаю видеть Его Сиятельство, сказал:

- Отправляйтесь на кухню. Вход со двора! - и дверь перед моим носом захлопнулась.

Делать было нечего, и я покорился. На кухне повар в белом колпаке и фартуке так же, как судомойка и солдат, видимо, вестовой графа, приняли меня весьма нелюбезно и смотрели на меня с большим подозрением.

На принесенном с собою листочке бумаги я написал свой чин, место службы, фамилию и причину приезда, запечатал его в конверт и передал его вестовому с просьбой передать графу. Повар желал со мной разговориться, но возвращение вестового помешало ему.

- Иди за мной, его Сиятельство ждет.

Вестовой проводил меня в кабинет. Когда граф увидел меня, остановившегося в дверях, он и глазом не моргнул:

- Здорово, братец! - услышал я его голос.

- Здравия желаю, Ваше Сиятельство! - ответил я. Когда вестовой вышел и закрыл дверь за собой, граф подошел ко мне, протянул руку и, сердечно здороваясь, заметил, смеясь:

- Ну и вид же у вас, голубчик мой, прямо хоть куда!

Я впервые видел графа, и он сразу же произвел на меня неотразимое впечатление. Чем-то средневековым, рыцарским веяло от этой высокой стройной фигуры. В карих добрых глазах сквозила непреклонная воля и твердость духа, а голос звучал стальными, решительными нотками. Я передал ему привезенные письма, которые он внимательно прочел.

- Меня спрашивают, как я отношусь к событиям? - начал он. - Я писем вам давать не буду, теперь это опасно. Передайте на словах в Петербурге, что я считаю какие-либо выступления преждевременными и лично ни на какие авантюры не пойду. Каледин застрелился, потеряв веру в казаков, начавших бунтовать вместо того, чтобы оказать помощь его начинаниям, да и из корниловского предприятия ровно ничего не выйдет, помяните мое слово... Не место на Дону собирать офицеров, это не плацдарм для таких начинаний. Кончится гибелью. Погибнут невинные жизни... Россия не может восстановить порядок без опоры на какое-либо иностранное государство с его технической и материальной помощью. Без этой помощи нельзя создать боеспособную армию. Во всяком случае, пока не увижу, что такая помощь может быть оказана и будет реально осуществлена, я ни на какие выступления не соглашусь, так как считаю их безполезными.

Кроме того, все эти революционные лозунги еще не изжились. Корнилов - революционный генерал, ему и карты в руки, пускай пытается спасти российскую демократию... теперь, быть может, время для этого. Я же могу повести армию только с Богом в сердце и Царем в душе.

Только вера в Бога и в мощь Царя могут спасти нас, только старая армия и всенародное раскаяние могут спасти Россию, а не демократическая армия и "свободный" народ. Мы видим, к чему нас привела свобода: к позору и невиданному унижению... Так и передайте, что считаю выступление несвоевременным. Быть может, я пессимист, но думаю, что правильно смотрю на положение вещей.

Я с напряженным вниманием вслушивался в каждое слово, сказанное мне этим незаурядным человеком.

Узнав, что я хочу во что бы то ни стало проехать в Тобольск, граф вполне одобрил мое желание, попросив меня, если будет возможно, передать Их Величествам, что он молитвами и всеми помыслами своими находится с Ними, жаждет лично помочь Им, но сознается, что это для него невозможно, так как его слишком хорошо все знают в лицо. Пожелав мне счастливого пути, граф еще раз вкратце повторил все

сказанное, попрощался со мной, позвонил и приказал пришедшему вестовому проводить меня.

- Спасибо, братец, за то, что не забыл меня, - услышал я его голос.

- Рад стараться, Ваше Сиятельство!

- Ну, с Богом, счастливой дороги!

- Счастливо оставаться, Ваше Сиятельство! - было моим ответом, и дверь кабинета захлопнулась за мной.

Вестовой проводил меня через кухню во двор и закрыл за мной калитку на ключ.

Первая часть моей задачи была исполнена, теперь оставалось исполнить заветное желание. Я должен проехать в Тобольск! С этой упорной мыслью я на третьи сутки со дня выезда из Харькова приехал в Петербург после невероятно тяжелого пути. Я не буду его описывать во всех подробностях, скажу только, что безпробудное хамство, окружавшее меня за три дня пути, окончательно закалило меня, и я сделался совершенно равнодушным к разговорам о проклятых буржуях, капиталистах и офицерах, пьющих народную кровь, и только никак не мог понять, как я мог допустить такое упущение и ни разу в жизни не попробовал этой дряни.

На следующий день по приезде в Петербург я навестил Маркова 2-го на конспиративной квартире. Как он, так и В. П. встретили меня более, чем радушно. Я передал Маркову 2-му привезенные письма и с возможной точностью содержание беседы с графом. В конце разговора я попросил Маркова 2-го помочь мне как можно скорее проехать в Тобольск, чистосердечно заявив, что для поездки у меня нет материальных средств, а также необходимых документов, так как мое удостоверение теряет в Петербурге свою силу и должно быть заменено другим.

Марков 2-й очень сочувственно отнесся к этому моему желанию, так как от Седова все еще не было никаких известий, а кроме него никто не был еще отправлен из Петербурга, но прибавил, что, к сожалению, в данный момент у организации нет свободных средств для отправки кого-либо в Тобольск, что же касается документов, то их имеется в изобилии и за этим остановки не будет.

Отсутствие средств, по словам Маркова 2-го, было чисто случайным, так как небольшие суммы в организацию хоть и притекают, но они не достаточны для широкого ведения дела, и что в данную минуту его главнейшей работой и является усиленный сбор необходимых капиталов. Что же касается верных людей для исполнения задачи освобождения Царской Семьи, то их более чем достаточно, они все организованы и только ждут отправки.

Скажу откровенно, что такое заявление Маркова 2-го о положении организации поразило меня, но я стремился пересилить свое сомнение и до самого отъезда из Петербурга не терял веры в силу деятельности Маркова 2-го, привитую мне г-жой Ден.

К тому же слышанные мною разговоры на конспиративной квартире и переговоры с различными лицами, при которых обсуждались вопросы не только политические, но и таковые чисто государственного характера, равно как и планы восстания и мероприятий на случай переворота, все это достаточно убедительно доказывало мне, что организация существует, что она живет и что отсутствие денег является лишь временным явлением, так как трудно было себе представить, чтобы все эти широкие замыслы проводились в жизнь и были мыслимы в организации, имеющей гривенник в кармане.

Из всего слышанного я понял также, что установлена связь с немцами через их представителей, появившихся в Петербурге под видом членов различных комиссий.

Недели за две до своего отъезда в Тобольск я от своих знакомых узнал, что кроме нашей организации интересуется судьбой Их Величеств еще и сенатор Туган-Барановский, брат профессора, который якобы имеет связь с Тобольском, где находятся посланные им туда еще в 1917 году верные люди, сумевшие конспиративно там устроиться, и что он предполагает отправить туда еще несколько человек, по-видимому, располагая кое-какими средствами. Действует ли он по поручению какой-либо организации или на свой страх и риск, мне мои знакомые сказать не могли, но факт отправки людей в Сибирь был им доподлинно известен, и они рекомендовали мне обратиться к нему для получения информации.

Не желая предпринимать чего-либо самостоятельно, я передал Маркову 2-му все слышанное мною и получил следующий ответ:

- Совершенно правильно, мне известно, что этот господин, брат красного профессора, почему-то интересуется Тобольском и посылает туда людей, но мы особого доверия к нему не питаем и предпочитаем действовать самостоятельно. Если хотите, обратитесь к Туган-Барановскому, но я вам этого рекомендовать не могу!

На это я ответил Маркову 2-му, что если он относится отрицательно к деятельности Туган-Барановского, то, вероятно, имеет на это какие-либо веские основания, и поэтому я к нему обращаться не буду, так как считаю, что чем меньше людей будут знать о нашей работе, тем лучше, в особенности, если этим людям нельзя вполне доверять. Я еще раз заверил Маркова 2-го, что раз я ему в свое время подчинился, то я теперь не считаю себя вправе по такому важному вопросу предпринимать какие-либо самостоятельные шаги.

Марков 2-й поблагодарил меня за такую мою верность ему и его организации. На этом наши разговоры и окончились, и я к сенатору Туган-Барановскому не обратился.

Принимаемый как родной и близкий, я часто бывал у А. А. Вырубовой в ее маленькой квартирке на 6-м этаже на Фурштадтской улице. За неделю до моего приезда в Петербург она потеряла своего отца, скончавшегося 25 января. Это новое горе, свалившееся на нее после всего ею пережитого и перенесенного, окончательно убило ее. Я только мог преклониться перед ней, с таким христианским смирением и так безропотно несшей тяжкий крест, возложенный на нее Господом Богом, и в своем горе ни на минуту не забывавшей о тобольских Узниках,

помогавшей Им последними деньгами и вещами и своими письмами ободряя Их в Их одиночестве.

Деятельной помощницей Вырубовой в деле облегчения участи Царской Семьи была ныне покойная жена генерала Сухомлинова, Екатерина Викторовна, проявившая к Их Величествам много трогательной внимательности. Ее можно поставить в пример многим и очень многим нашим придворным дамам, хотя она не только не была таковой, но, напротив, до начала войны не была принята при Дворе ни разу, а потом всего несколько раз, и никогда не пользовалась благоволением и милостями Их Величеств, скорее даже отрицательно относившихся к ней. Но, несмотря на все это, она не забыла Императорской Семьи в тяжелые для Них дни и, как я уже писал, помогала Ей по мере сил и возможности. В половине февраля Марков 2-й обратился ко мне с просьбой, чтобы я познакомил его и устроил ему свидание с Вырубовой, так как он хочет переговорить с ней как с человеком, наиболее близким к Императорской Семье и сохранившим с Ней связь. Свидание их состоялось на одной нейтральной квартире.

Марков 2-й обратился к А. Вырубовой с горячей речью, справедливо указав на твердокаменное равнодушие к судьбе Их Величеств со стороны бывших придворных кругов. Подчеркнув необходимость посылки офицеров в Тобольск, он указал, что для этого необходимы большие средства, и что их должны дать те, кто были близки к Их Величествам.

А. А. Вырубова ответила ему, что она жертвует своим последним для Императорской Семьи, но что она никогда не была близка с большинством придворных лиц и поэтому не может иметь на них какого-либо влияния в этом отношении, да и физически не в состоянии много передвигаться, что необходимо для посещения тех или других лиц.

Марков 2-й особенно подчеркивал ей, что у него находится до ста офицеров в полной готовности, снабженных необходимыми документами и готовых в любую минуту к отъезду.

А. А. Вырубова обещала Маркову 2-му сделать все возможное, чтобы, кроме меня, отправить еще нескольких офицеров.

Но это не удовлетворило Маркова 2-го, и он, должно быть, для вящей убедительности пройдясь на тему об измене придворных и аристократических кругов, что ни с какой стороны не касалось Вырубовой и в чем ее нельзя было упрекнуть, пригрозил, что если эти круги не придут на помощь, то он в состоянии поднять против них белый террор, наподобие имеющегося уже красного!

На этом беседа Маркова 2-го с Вырубовой и закончилась.

Как-то раз я встретил у Вырубовой новое лицо. Это был высокого роста еще молодой человек, блондин, с постриженными усиками, с серо-зелеными вдумчивыми, проницательными глазами и с какой-то особенной одухотворенностью в лице. Он оказался Б. Н. Соловьевым, мужем старшей дочери Г. Распутина, который, как мне сказала Вырубова, много помогает Их Величествам, поддерживая связь между Ними и ею. Он вскоре уехал в Тобольск с вещами для Их Величеств.

Через несколько дней после знакомства с Марковым 2-м А. Вырубова сообщила мне, что в состоянии отправить трех человек, включая меня, о чем и просит сообщить Маркову 2-му, что я немедленно и сделал. Только через три дня я мог сообщить ей фамилии лиц, которых Марков 2-й предполагает отправить вслед за мной.

Я был совсем готов к отъезду, но не имел только документа, который мне обещал выдать Марков 2-й. Дни проходили, а документа я все никак не мог получить.

Выручил меня слепой случай. Как раз в это время приехал в Петербург Н. Н. Родзевич из Одессы, заезжавший по дороге в Белецковку. Он рассказал мне, что крестьяне перерыли оба дома, думая, что я там скрываюсь, но, не найдя и следа моего, особых неприятностей обитателям его не причинили.

Узнав о моем затруднении в неимении для поездки в Тобольск соответствующих документов, он дал мне два бланка 449-го пехотного Харьковского полка. Оказывается, что Ю. А. Ден дала их ему в Белецковке на всякий случай на дорогу и таким образом, сама того не подозревая, помогла мне.

В тот же день я сидел на Невском, на нашей конспиративной квартире № 1, и печатал на машинке текст удостоверения. Дойдя до фамилии мифического солдата, отправляющегося в Ишим в распоряжение Воинского начальника, я задумался над фамилией. Случайно посмотрев в окно, я увидел большую вывеску на углу Владимирской и Невского "Соловьев и С-ья" и почему-то пропечатал эту фамилию на удостоверении. Когда я с гордостью показал свои документы А. Вырубовой, она пришла в ужас:

- Что вы делаете, Сережа, ведь Соловьев же зять Гр. Еф. Распутина!

Я совершенно упустил это обстоятельство из виду, но делать было нечего, стереть фамилию было нельзя.

Перед отъездом я купил книги в подарок Их Величествам от себя: Наследнику "Огнем и Мечом" Сенкевича и "Отрок-Властелин" Жданова, Великим Княжнам несколько книг Лейкина и Государыне три английских романа. От Вырубовой я получил свою книгу, которую дал ей для прочтения, "Земная жизнь Иисуса Христа", и на которой она сделала надпись "Анка", которую я предназначил для Государыни. Кроме того, я получил от Вырубовой сверток вещей для Ее Величества, фотографию покойного ее отца, письма, как от нее, так и от Екатерины Викторовны Сухомлиновой и дочери генерала гр. Фредерикса, Эммы Фредерикс, и срезанный гиацинт.

Вырубова поручила мне обратиться в Тобольск к на стоятелю Благовещенской церкви о. Алексею Васильеву и от него уже получить дальнейшие указания.

От Маркова 2-го я получил инструкцию найти в Тобольске Седова и дать по приезде письменно информацию по условленному адресу и 240 рублей на дорогу.

Штабс-ротмистр Кавалергардского полка Гринвальд и сын члена Государственного Совета Андреевского, С. Андреевский, которые должны были выехать через несколько дней после меня, также готовились к отъезду.

Наконец, 1 марта сборы мои были кончены, и я со свертком в руках, состоявшим из книг, нескольких смен белья и 800 рублей в кармане, распрощавшись с А. Вырубовой и Марковым 2-м, отправился на Николаевский вокзал. Хотя имевшихся денег могло хватить только в обрез, и в случае неожиданной задержки где-либо я рисковал не доехать до Тобольска, мне все было нипочем! Я был счастлив, что уезжаю в Тобольск, и твердая вера в милость Божию придавала мне силы и бодрость, и я был уверен, что доберусь до Тобольска.

ЧАСТЬ III

ГЛАВА I

...Николаевская площадь была освещена несколькими фонарями, тускло мерцавшими сквозь промозглую мглу, в этот вечер окутавшую город.

Я подходил к памятнику Императору Александру III. Грузный медный всадник по прежнему стоял на своем месте, могучей рукой сдерживая шаг своего великана коня.

Я невольно остановился перед ним. Памятник, еще недавно угнетавший меня своей непомерной громоздкостью и безвкусным исполнением, памятник, который все критиковали, считая его чуть ли не оскорблением памяти усопшего Государя, в эти минуты произвел на меня совершенно иное впечатление. В этом колоссе я почувствовал не только силу и мощь Царя, непоколебимо правившего своей Родиной, но и всю державную мощь Российской Империи...

Мне показалось, что революция это сон, что могучая Россия жива.

- Европа может подождать, когда Русский Император отдыхает... - вспоминались мне слова покойного Государя.

- Ванька! За мной! Товарищи, на военную! Куда прешь, стерва! А?

Из главного хода вокзала валила толпа распоясанных солдат с котомками, сундучками и просто узлами за плечами. Толпа дико орала, слышалась мерзейшая брань.

Нескольких женщин, спешивших на вокзал, сбили с ног. Одна с ребенком упала прямо в грязь и пронзительно кричала, ребенок плакал.

- Душегубы проклятые... Спасатели, граждане, прости Господи! - причитала баба.

- Молчи, ведьма, а то живо дух выпущу! - гаркнул ей пробегавший солдат с громадным вихром, выбивавшимся из заломленной фуражки с полуоторванным козырьком, и грубо пихнул бабу ногой. Я стоял остолбенелый около памятника и с ужасом наблюдал эту картину.

Наконец из главного подъезда показалась небольшая группа штатских и солдат с красными повязками на рукавах, осаживавших наседавших товарищей.

- Товарищи, вали на военную... Оттеля поезд идет... Специально для вас, товарищи! - распоряжался мальчишка в солдатской шинели.

- Гай-да, товарищи, на военную! Крути, Гаврило!

- Начальнику станции штык в пузо, ежели поезда не даст, буржуи ездят, а мы на платформах подыхай! Мы страдали, а они что!

Толпа с бранью стала уходить на Лиговку. Мой поезд шел по расписанию в 10 часов 20 минут. Я еще раз взглянул на памятник.

- Вот, это бывшая Россия, а это настоящая... Вокруг меня висела площадная брань. На военную платформу пускали по очереди. Толпа дико гоготала. Царила невероятная давка. Я приготовил свое удостоверение. Этому клочку бумаги, сфабрикованному мною на нашей конспиративной квартире на Невском, предстояло выдержать первое испытание. Мне сделалось немножко не по себе.

Пройдет или не пройдет? - мелькала мысль.

Наконец, под напором сзади стоящих товарищей, я очутился около заветных ворот. Какой-то косматый солдат выхватил у меня из рук бумажку.

- Проходи, товарищ! - услышал я его хриплый голос.

- Слава Богу!

Я не заставил себя ждать и стал усиленно тискаться вперед.

Впереди образовалась громадная очередь. Раздавались крики:

- Довольно нам воинских начальников! Попили нашей кровушки! Чаво смотреть! Напирай, товарищи! Вали на платформу!

Толпа давила плечом, но движения никакого не было. Наконец мы медленно поползли вперед.

В деревянном бараке около платформы с надписью "Военный Комиссар" снова отбирали документы и ставили печати. Это обстоятельство совсем мне не понравилось. С облегченным сердцем я выскочил на перрон после того, как на моем документе оказался штемпель: Военный Комиссар Николаевского вокзала.

К моему удивлению, военная платформа была запружена разношерстным людом, состоящим из баб, детей и большого количества штатских, фабричных рабочих и, наконец, просто подозрительных оборванцев. Платформа была завалена невероятного вида скарбом, кулями, тюками, корзинами и сундуками. На одной куче вещей красовался граммофон с помятой трубой. Как мне объяснили, это были беженцы из Ямбурга и Нарвы, бежавшие при последнем германском наступлении.

Зачем они бежали и куда лежал их путь, они и сами того хорошо не знали. Наседавшие со стороны Лиговки солдаты переполнили платформы и даже свободные пути, что называется, через край.

Делалось что-то уму непостижимое. Было 10 часов 30 минут, но поезда и в помине не было.

Осмотревшись вокруг, я был поражен присутствием в этой давке и толчее баб-торговок, продававших колбасу, подобие хлеба и другую снедь. За рубль я купил полфунта чайной колбасы и кусок хлеба. Когда я попробовал и то, и другое, мне едва не сделалось дурно: колбаса была не "чайная", а "отчайная". Вещество, из которого была сделана колбаса, было мне совершенно не известно. Быть может, это была конина, быть может, псина. Хлеб был несъедобным суррогатом, цвелый и с трудом разжевываемый.

- Товарищи, которые на Вологду, за мной! Поезд идет с пятого путю! - раздался чей-то пронзительный голос.

Точно лавина, хлынувшая с горы, ринулась толпа солдат с платформы на рельсы сквозь стоявший состав классных вагонов. Невыносимый рев, густая брань, звон разбиваемого стекла, треск высаживаемых дверей стоял в воздухе...

Абсолютно непонятным для меня образом я очутился на пятой платформе. Правда, пуговицы на моем пальто держались на ниточке, и в боку я ощущал довольно сильную боль. Кто-то ударил меня в давке краем сундучка, но все же я был на пятой платформе, а к ней подходил, тяжело дыша, длинный поезд, состоящий из товарных вагонов. Поезд, который рано или поздно (я уже забыл о расписании) должен был унести меня "туда", в то далекое далеко, где были Они, где томились Те, Которым я верно служил, Которым я покланялся, на Которых молился, мои горячо любимые Их Величества!

Поезд тронулся. Я снял шапку и перекрестился. При свете спички я убедился, что часы показывали 4 часа утра. В вагоне царило какое-то жуткое молчание. Видимо, никому не верилось, что мы едем и двигаемся вперед, что есть, хоть и отдаленная, но все же маленькая надежда, что рано или поздно доползем до Вологды...

- Товарищи, у кого свечка есть, а то морду разбить можно! - раздался голос из противоположного конца вагона. Чиркнула спичка, слабым светом озарив наше убежище, зажегся огарок. При свете сделалось как-то легче на душе.

Я осмотрелся вокруг. Простой товарный вагон без всяких признаков печки, притом, видимо, недавно перевозивший скот, оставивший по себе на полу память, был битком набит.

Я сразу оценил свое положение. С одной стороны, мое нахождение в углу вагона было блестящим, мне было тепло, с другой стороны, я не мог, при самом горячем желании, вылезти из своего закоулка. Передо мной сидела на узле баба, кормившая грудью ребенка. Перед бабой корзина небывалых размеров, на корзине ворох узлов, а перед корзиной трое товарищей на сундучках. Дверь была завалена какими-то рогожными тюками. Справа от меня до стенки на котомках и узлах сидело, друг к

дружке прижавшись, 20 человек грязных, растерзанных солдат, от которых нестерпимо разило какой-то специфической острой гнилью, смесью пота, кислой капусты и затхлой кожи. В середине вагона на двух солидных сундучках лежал некий штатский субъект в картузе, тот самый, который любезно предоставил свой огарок.

Всего, по моему подсчету, в вагоне было "упаковано" 55 человек, не считая детей и груды домашнего скарба. Температура была ниже нуля, так как на воздухе термометр показывал минус восемь.

Замерзнуть я не боялся, но задохнуться было весьма не трудно! Разговоры в вагоне не клеились, всем хотелось спать. Только в углу слышен был разговор:

- Немцы, проклятые, безпременно заберут Питер! Уж больно прут, сволочи! Сначала все было хорошо, побратавшись мы с ними были... Мы им хлеб, а они нам водку, а значит, третева дня, как напрут... Мы им - товарищи, мы без анекциев!.. Бросай винтовки! А, они, сволочи, как стеганут из пулемета... Наш товарищ командир, хороший парень, раньше в поварах у бригадного служил, такой приказ издал: все по домам, потому что мы, значит, без контрибуциев и ни мира, ни войны не желаем! И первый, значит, на автомобиле до лесу, а мы, как один, по революционной дисциплине за ним... Немцы постреляли, постреляли и бросили... Один из них, видимо, охвицер, нам вдогонку кричал: "Адью Русс!" А потом что еще про "шнапс", но тут уж не до шнапсу-то было... Не успели оглянуться, как уж и Питербурх!... И все у них то охвицера делают, как бы не охвицера, то наши товарищи давно бы в Берлине германскую колбасу жрали, а так безпременно охвицера ихние Питер заберут! - раздавались реплики из середины вагона.

- Это, товарищи, не охвицера у германцев виноваты, что нас прут, это они сами... Они народ сознательный! - заметил Картуз с вышины своих сундуков.

- Со-з-н-а-тельные... Ишь ты... А мы што, не сознательные? А? Ты бы, товарищ, помалкивал, а то мы тебя живо с сундуков стянем и по морде наклепаем! - тут было прибавлено непечатное ругательство. Картуз промолчал и только судорожно вздохнул.

Огарок безпомощно замигал, и через минуту мы погрузились во мрак. Разговор притих.

Ночь прошла более или менее спокойно.

Когда наступило утро и внутренность нашего трясущегося и скрипящего убежища озарилась через маленькое окошко слабыми лучами северного солнца, вагон зажил какой-то особенной жизнью. В углу кто-то отчаянно чихал. Товарищ, грозивший Картузу короткой расправой, сочно сморкался на спину своего соседа. Картуз все лежал на своем сундуке, видимо, боясь покинуть насиженное место и только причитывал: "Спаси, Господи, и помилуй!".

За сундуком пронзительно ревел ребенок. Плач его прерывался тяжелыми приступами коклюша. Мать его успокаивала и чего-то сама плакала в три ручья.

Политические разговоры не поднимались, но между солдатами, сидевшими у двери и находившимися внутри вагона, завязалась ожесточенная перебранка из-за того, что находившиеся у входа не желали "пропущать" к выходу. Брань стояла непечатная.

Как мне надоела эта вечная и безконечная ругань! Ругались по всякому поводу и просто без повода. Поминали всех и вся. Богохульствовали. Вообще ругань в последнее время приняла всероссийские размеры. Это было тоже одно из завоеваний революции.

День прошел как-то совершенно незаметно. К вечеру я совсем одурел, вернее, отупел и больше уже не реагировал на все, происходящее в вагоне, ни на ругань, ни на безпрестанные передвижения моих соседей от середины вагона к выходу и обратно, ни на бешенные атаки на наш вагон на станциях и не менее решительные контратаки наших товарищей, запросто здоровыми тумаками высаживавших стремившихся проникнуть к нам.

Снова пришла ночь, а на следующий день я не без волнения стремительно выскочил из вагона, правильнее, был выброшен на платформу со своим тюком напиравшими сзади товарищами.

Первый этап был пройден: мы приехали в Вологду!

Вокзал походил на сумасшедший дом. По всем направлениям неслись лавины народа, преобладали серые шинели. Слышались отчаянные вопли и крики, ругань; ругань без конца и края.

Людским потоком меня несло к выходу. Зычный окрик отрезвил меня:

- Товарищи, которые на Вятку, за мной, - громоподобно орала фигура в растерзанном полушубке, взгромозившаяся на груду тюков.

С неимоверным трудом мне удалось повернуться, и захватившим течением я был унесен через безконечное количество путей к поезду, состоявшему из вагонов 3-го класса.

Счастливым именинником почувствовал я себя, очутившись на верхней полке одного из вагонов заветного поезда, около окна. В этот момент это было для меня высшим достижением. И, действительно, я попал точно в рай после кошмарного поезда до Вологды.

Я заснул как убитый, не проснулся даже при отходе поезда и только утром с гордостью убедился еще раз в неприступности своего положения. С высоты своей полки я с удовольствием наблюдал творившееся в вагоне, который был набит до отказа. Груда храпевших и сопевших тел вповалку заполнила все могущее быть занятым пространство.

На станции "Буй" появился белый хлеб. Все на него накинулись, как звери, выпущенные из клетки. Я не удержался и съел в один присест порядочную белую

булку, но почувствовал себя довольно скверно. Видимо, желудок отвык за это время от такого обилия пищи.

Поезд шел черепашьим шагом, но я не унывал, все же он двигался вперед и был ближе и ближе к моей заветной цели.

В разговор с товарищами я старался не пускаться, но иногда невольно приходилось вмешиваться в обсуждение животрепещущих вопросов, какими были, обыкновенно, предположения, как далеко дойдут немцы в России и как они отнесутся ко всему у нас происходящему.

Мое внимание привлек молодой еще человек в солдатской форме, так же, как и я, устроившийся на верхней полке рядом со своей огромной корзиной. Он резко выделялся среди солдат своим интеллигентным видом и часто поддерживал меня в спорах. По рассказам оказалось, что он артист по профессии, только что демобилизованный и едущий за своей труппой, успевшей каким-то образом уже сформироваться и очутиться не то в Иркутске, не то в Омске. Быть может, это и было так, быть может, это были все рассказы для отвода глаз, и он был таким же "артистом", как я бывшим служащим пивного завода Габербуш и Шилле в Варшаве, за какового я выдавал себя.

В жизни своей столько не врал, как в эти дни. В конце концов, я до того изоврался в том, кто я такой, что мне стало казаться, что я действительно бывший служащий завода Габербуш, в 14-м году бывший в командировке от завода в Омске и которого война застала в Ишиме, где он был призван местным воинским начальником, а потом, по демобилизации, уволенный в распоряжение последнего.

Откровенно говоря, нет ничего более тяжелого, как всякие экспедиции под чужими фамилиями. Чувствуешь себя все время артистом на сцене, в которого впиваются тысячи глаз. Хорошо, когда это происходит в театре, но много хуже, когда за каждым твоим словом, за каждым движением наблюдает не один десяток злобных глаз подозрительных товарищей. Все кажется, что вот-вот тебя расшифруют и уж тут наверняка поставят к стенке.

На шестой день пути дотащился наш "хамовоз" до Екатеринбурга. Наш поезд был, действительно, в полном смысле "хамовозом".

Как мало на такое название походили петербургские трамваи мирного времени, как мы, кадеты, их называли звучным именем! В приподнятом настроении от сознания того, что скоро, скоро я увижу моих дорогих Их Величеств, я прогуливался по перрону вокзала.

- Товарищ, можно ли мне с вами поговорить?

Я вздрогнул и обернулся. Передо мной стоял мой спутник, солдат, выдававший себя за артиста.

- Я хотел вас предупредить, что товарищи в вагоне думают, что вы не то лицо, за которое себя выдаете.

Стараясь быть совершенно спокойным, я ответил:

- Ну, и идиоты! Из чего же они заключили?

- А, да знаете, как-то в разговоре вы сказали: "у вас по новому стилю, у нас по старому", вот они и придрались к этим словам "у вас" и "у нас" и стали свои заключения выводить.

Действительно, я вспомнил, что был какой-то разговор на тему о введении большевиками нового стиля, и я, не помню уже, по какому поводу, сказал эту фразу, которую эти подлецы и приметили.

Вынув свои бумаги, я показал их своему собеседнику.

- Конечно, конечно, товарищ, бумаги самые подлинные, я в том нисколько не сомневался, но все же я считал своим долгом вас предупредить.

Я искренне поблагодарил его за любезность, и мы вскоре разошлись. Этот первый промах мой в пути нисколько не обезкуражил меня, но ясно показал, насколько нужно быть осторожным в разговорах и насколько подозрительны эти распоясанные хамы, казавшиеся столь некультурными и безмозглыми.

На следующий день около 3-х часов дня наш поезд, тяжело дыша, дотащился до Тюмени. Я был почти что на месте. Распростившись со своими спутниками, крепко пожав руку солдату-артисту и искренне пожелав ему счастливого пути, я с облегченным сердцем выскочил на платформу тюменского вокзала.

ГЛАВА II

Документов на станции не проверяли, так что я без всяких затруднений вышел с вокзала и очутился на большой площади, от которой вела хорошо укатанная снежная дорога в город, подходившая почти к самому вокзалу.

На правой стороне площади с лотков торговали бабы-торговки разной снедью. В противоположном конце стояли ряды саней, по типу похожих на наши среднерусские сани, но очень широкие, низкие и сзади с высокими спинками. Запряжены они были низкорослыми сибирскими лошадками тройкой или коренником с одной пристяжной. Чтобы не очень бросаться в глаза, втерся в толпу, сновавшую около лотков, и от одной торговки узнал, что стоявшие тройки и есть ямщики, ожидавшие пассажиров в Тобольск и в окрестные места Тюмени. Запасшись великолепной колбасой и хлебом, я отправился нанимать себе возницу.

После недолгого торга я нанял себе ямщика, местного татарина, за 30 рублей взявшегося меня отвезти до ближайшей станции, до которой было 20 верст, то есть он взял с меня по 1 р. 50 к. с версты. Предварительно он завез меня к себе. Домик его оказался солидной деревянной избой со службами, и пока хозяин приводил в порядок сани и закладывал их, хозяйка, очень славная татарка, в идеально чистой и по своему богато обставленной комнате чистой половины избы поила меня чаем.

Когда я собрался садиться в сани, ямщик удивленно посмотрел на меня, вернее, на мое осеннее пальто, а главным образом, на ботинки и осведомился, не будет ли мне холодно. Я чувствовал себя отлично и, несмотря на порядочный мороз - было не менее 15 градусов ниже нуля - холода не ощущал. Это объяснялось, по-моему, абсолютным безветрием, поразительной сухостью воздуха и тем, что заходившее солнце все же, хотя немного, пригревало своими угасающими лучами.

И вскоре низкорослая, хорошо кормленная тройка, гремя колокольчиками, быстро понесла меня по окраинам Тюмени, и через несколько минут мы оказались на вольном просторе белого снежного моря. Только где-то вдали виднелись лиловой полоской леса и дым, медленно тающий в воздухе и указывающий на человеческое жилье. Вечерело. Туманная мгла спускалась на землю. Позади нас стали один за другим вспыхивать огоньки, но вскоре они исчезли из виду. Тюмень осталась далеко за нами.

Через некоторое время лошади пошли шагом, и как-то незаметно мы въехали в лес. Я был подавлен величественностью картины, представившейся мне. Мы ехали среди векового сибирского леса. Огромные ели, засыпанные снегом, склоняли свои ветви над дорогой. Взошедшая луна купала лучи свои в, казалось, заснувшей вечным сном хвое, а издали под этим ровным светом лес горел и переливался, как расплавленная платина.

Воздух был насыщен запахом смолы. Дышалось легко и свободно, но вот лес кончился. Раздался где-то вдалеке собачий лай.

Сани побежали быстрей. Вдалеке стали виднеться огни. Почувствовался запах дыма.

- Вот мы и приехали! - нарушил молчание мой возница.

Мы въезжали в большое село. С любопытством я оглядывал постройки. В большинстве это были большие двухэтажные избы с крылечками, обнесенные солидным забором, за которым скрывались многочисленные службы.

В середине села стояла большая церковь красного кирпича с внушительной колокольней. У нас, на юге, не во многих уездных городках я видел такие постройки. Во всем виделось довольство и зажиточность жителей.

Крестьянин, к которому привез меня мой ямщик, оказался здоровенным детиной с широкой, окладистой русской бородой, с очень степенной и благообразной женой.

В большой горнице в углу перед образами теплилась лампада, а на стенах висели портреты Государя и Государыни...

Мне вся поездка, а в особенности это патриархальное жилище казались каким-то сказочным сном. Каких-нибудь шесть-семь часов тому назад - дикие рожи распоясанных солдат, каторжный цвет растерзанных шинелей, вездесущие красные тряпки, площадная брань и прочие революционные прелести, а тут вдруг неугасимая лампада, Царские портреты и ласковый говор хозяйки, предложившей мне неизменный чай и горячие шанги (род лепешек из кислого теста).

Крепла уверенность в том, что не вся, некогда могучая, Россия покрылась социалистической революционной проказой и что действительные верноподданные это не те вылощенные придворные и наше общество, которые первыми предали своего Державного Повелителя, а простые, неотесанные сибирские мужики, твердо хранившие заветы предков и не боявшиеся открыто исповедывать свои убеждения. Для меня стало ясным, что мужик, подобный тому, у которого я сидел в хате, не один, что таких много и что с небольшими средствами здесь легко из такого элемента создать прочное ядро преданных Их Величествам людей, которые смогли бы оказать большую службу в деле освобождения Императорской Семьи из Тобольского плена, но для этого нужно иметь энергичного руководителя здесь, на месте, а не в Петербурге.

Центр организации должен быть здесь, а в России только щупальцы ее, изыскивающие материальные средства безразлично каким путем. Вспомнились мне напутственные слова Н. Е. Маркова 2-го:

- Сережа, я уверен, что нам удастся устроиться в Тобольске, и вы помните, что вы останетесь там не один, но за вами, один за другим, приедут офицеры и т. д.

Я хорошо помнил эти слова, но все же мне было непонятно, почему они не уехали сюда уже раньше, и почему мне поручено только разыскать Колю С[едова], который уехал в эти места еще в сентябре прошлого года. Вспомнилась мне и бешенная атака Маркова 2-го на несчастную А. А. Вырубову с требованием денег. Как все это не вязалось со слышанными мною на Новом проспекте переговорами и разговорами о замещении будущих административных постов, о соединении каких-то организаций и о близости предстоящего переворота и свержения большевиков!

Скорый переворот, заполнение свободных вакансий и постов, с одной стороны, отсутствие денег для священного для каждого из нас дела охранения и освобождения Царской Семьи, с другой стороны, - все это как-то не укладывалось в моей голове.

Но твердая вера в М. 2-го, всем своим обликом выражавшего непреклонную волю и решимость, твердость и настойчивость в его голосе и разговоре держали меня под его обаянием, и все сомнения рассеивались. Я был уверен, что этот человек до конца исполнит все, им сказанное и обещанное...

С этими мыслями и думами ехал я от станции до станции, плотно закутавшись то в огромные бараньи шубы, то в легкие дохи из собачьей шкуры, которыми снабдили меня ямщики, и с огромными пимами[1] на ногах.

г----------

[1] Сибирские валенки с пришивной подошвой.

L_____

Деревни, через которые пришлось мне проехать, были почти все одинаковы, широко раскинуты, с однообразными огромными избами, только татарские деревни были несколько беднее, но у них были прекрасные мечети с тонкими минаретами,

уходившими в высь. Как раз на рассвете я проезжал через татарскую деревню. Восток горел ярким пламенем восходящего солнца. Снежное поле, искрясь, то розовело, то краснело под его лучами. Сани медленно катились по главной улице просыпающегося села.

- Иль, Аллах, - услышал я протяжный голос.

На балкончике высокого минарета я увидел седобородого старика, созывавшего правоверных на утреннюю молитву. Как знакома мне была эта картина! Сколько раз наблюдал я ее у себя, в Крыму, при восходе яркого южного солнца, когда вся земля благоухала ароматами магнолий, сирени и нежных лиловых глициний, где глаза такого же старика-муллы были устремлены на безбрежную синеву уснувшего, казалось, в сладкой истоме моря. И вокруг здесь та же картина, но с безбрежным снежным морем, далекими, вековыми лесами и холодными лучами северного солнца. Я весь был под впечатлением такого контраста.

На одной из остановок мое внимание привлек сгорбленный старик, сидевший в избе, где я ожидал новых саней, приходившийся моему ямщику, вероятно, прапрадедушкой. Старик был довольно бодрый и разговорился со мной. Из разговоров выяснилось, что ему было, по крайней мере, 110-115 лет, потому что он мне рассказывал про те времена, когда в Сибири скакали курьеры Государя, но какого, он назвать не мог, сообщавшие о большой войне, бывшей в России с "разными иноплеменниками"...

Старику, по его словам, было в то время 10 лет. Сам же он своего возраста не знал и на мой вопрос ответил как-то равнодушно:

- А не знаю, сынок... Один Господь знает!

Его пра-пра-правнук, везший меня до следующей станции, говорил, что старик Артем года три тому назад еще работал по хозяйству, но во время ее надорвался и с тех пор сидит, не разгибая спины.

В первый, да вероятно, и в последний раз мне пришлось видеть такого глубокого старика.

Ночью проезжали мы через огромное богатое село. Я осведомился у ямщика о его названии.

- Это, сынок, Покровское!

Я, сам не знаю почему, был поражен, услышав это название! Я ехал через родину Распутина, то село, о котором так много у нас писалось и говорилось. Я спросил ямщика, не тут ли жил Распутин и, получив утвердительный ответ, стал расспрашивать ямщика о личности Распутина.

- Скажи-ка мне, что за человек был Распутин? - спросил я ямщика.

- Хороший мужик был, душевный... Нашему брату много помогал... Поди, в селе ни одного двора нет, кто ему пятерку, кто тройку, а кто и пятьдесят рублев не должен...

Как приедет из Питера, так и начинает помогать... И от болезней лечил. Кровь останавливал. Одно слово - Божий человек... Сказывают, Царь и Царица его принимали... Он у Царя за нашего брата стоял... Ну, за это его буржуи и убили...

Воцарилось молчание.

- А что, он богатый был?

- Сказать, чтоб очень, нельзя, а что денежки у него бывали, это точно, только уж очень много народу раздавал... Семье, сказывают, оставил мало!

Первый раз я слышал такую своеобразную рекомендацию Распутина. Видимо, окрестные мужики считали его своим заступником и ходатаем перед Государем. Модное слово "буржуй" проникло и в эту сибирскую глушь. Очевидно, оно здесь в понятиях местных мужиков объединяло понятия, как дворянин, помещик, а то и просто богатый человек. Из объяснений ямщика явствовало, что и он, и его односельчане считали, что эти классы общества и устранили Распутина за то, что он около трона защищал их мужицкие интересы. Такая точка зрения не удивила меня. Не помню уже, где именно, но где-то в одной южной деревне один старый мужик, свидетель освобождения крестьян, с непреодолимым убеждением доказывал мне, что Император Александр II был убит помещиками и дворянами (тогда выражение "буржуй" еще не было в ходу) за то, что освободил крестьян и отобрал у помещиков землю. Я старался самым понятным образом доказать старику, что это совсем не так, но он упорно стоял на своем и только приговаривал:

- Нет, паныч, это все не так, как вы рассказываете. Очинно хотел бы вам поверить, но безприменно мне известно, что помещики нашего Царя-Батюшку убили за то, что нашему брату-мужику волю дал!

Со своим возницей спорить я не стал, и наш разговор о Распутине прекратился.

Ночь прошла для меня совершенно незаметно, почти без сна. Только изредка одолевала меня дремота, нагоняемая мерным звоном колокольчиков. Затем потянулся томительно скучный день. Тобольск был все ближе и ближе. Как это ни странно, я ощущал это на каждой станции по своему кошельку. Но не потому, что денег делалось все меньше и меньше, это было бы само собой понятно, но по ценам за наем лошадей. Как я уже писал, за первые 20 верст я заплатил по 1 р. 50 к. с версты. Чем дальше я удалялся от Тюмени, тем цены все падали, и, приблизительно в середине пути, я платил от 50 до 70 коп. с версты. Чем ближе подъезжал я к Тобольску, тем больше приходилось платить, и я был уверен, что за последний перегон с меня снова спросят что-нибудь вроде 1 р. 50 коп. за версту. Таким образом, весь перегон в 280 верст от Тюмени до Тобольска обошелся мне рублей в 500. В кармане оставалось 200 с небольшим, но я не унывал, и глубокое радостное чувство охватило меня, когда я услышал голос ямщика:

- Так-то, сынок, мы, значит, по Тоболу едем, скоро и Тобольск!

Мы только что миновали лес, вдруг сани наши с огромной быстротой покатились вниз, и вскоре, как мне показалось, мы очутились в длинной, но довольно широкой ложбине. В это время меня и прервал ямщик. Оказалось, что для сокращения пути

он поехал прямо по льду, и таким образом мы ехали по прекрасно накатанной дороге прямо по середине Тобола.

Вскоре моим глазам открылась дивная панорама. Берега все ширились, как бы расширяясь перед нами. В одном месте мы сделали довольно крутой поворот, видимо, река в этом месте загибала. Когда поворот кончился, я неожиданно увидел перед собой весь Тобольск, залитый ярким лунным светом. На высоком берегу виднелись безчисленные купола церквей, обнесенных огромной каменной стеной наподобие Кремля, а рядом с ней городские дома, опускавшиеся прямо к реке. Берега совершенно раздались перед нами. Мы ехали по огромной, ровной снежной поверхности. Налево от нас вдаль уходила такая же снежная дорога, как та, по которой мы только что проехали.

- А это, сынок, Иртыш, вот туда, где мы едем, Тобол, значит, в него впадает, - пояснил мне ямщик.

Город был все ближе, и вскоре мы стали подниматься в гору и незаметно очутились на улице среди погруженных в сон окраин Тобольска. Только кое-где из окон виднелся свет. Стали попадаться прохожие, торопливым шагом спешившие домой. Наконец, гора кончилась, и лошаденки бодро побежали по Тобольским улицам. Еще два-три поворота, и сани мои остановились около солидного одноэтажного дома с крыльцом, на котором красовалась вывеска с надписью: "Гостиница Хвастунова".

Мой ямщик соскочил и стал звонить швейцару. Я снял шапку и перекрестился. Заветное мое желание исполнилось: я был в Тобольске. Часы показывали 11 часов 5 минут вечера.

ГЛАВА III

Швейцар, коренастый мужчина небольшого роста с плутоватым подобострастным лицом, снес мой тюк в швейцарскую, и я, расплатившись с ямщиком, оказался в маленькой, но очень чистой комнатке с одной кроватью и окном, выходившим на улицу.

Я дал ему свое удостоверение личности для прописки. Когда он осведомился о цели моего приезда, то мне пришлось повторить уже известную сказку о Габербуше и Шиле, но уже с прибавлением жалостливой истории о старике отце и старухе матери, беженцах из Польши, живущих в голоде и холоде в Ямбурге и которых я хочу где-либо устроить доживать свой век в Сибири, где жизнь дешевле и спокойнее, например, в Тобольске. Объяснения мои его, видимо, удовлетворили, и он поплакался о тяжелой жизни, о скверных заработках и, между прочим, сообщил, что гостиница стоит почти пустая, если не считать двух старых постояльцев и одного нового, приехавшего "третева дня" из Тюмени, по всей видимости, большевика и даже комиссара.

Такое соседство весьма мало обрадовало меня, но что больше всего меня поразило, так это то, что комиссар фамилии своей не заявил, а просто занял номер, и этим весь разговор кончил.

При свечке, после трехдневного пути, я впервые развязал свой узел. Все вещи были в полной исправности. Особенно обрадовало меня, что гиацинт, полученный мною от А. А. Вырубовой и уложенный мною в коробку с папиросами, совсем почти не завял. Я отобрал часть книг, сделал новый небольшой пакет и решил его совместно с цветком и портретом покойного А. С. Танеева, а также с письмами, которые я извлек из-под стельки моих ботинок, передать о. Васильеву в первую очередь.

На книгах я сделал надпись: "Почтительнейше просит принять в дар Маленький М." В первую партию книг вошла также большая моя книга "Земная жизнь Иисуса Христа", на которой А. А. Вырубова сделала надпись: "Анка".

Ночь провел я почти без сна. От волнения меня охватило какое-то странное лихорадочное состояние. Часов в десять утра я, забрав свой пакет, вышел на улицу. Стоял чудный морозный солнечный день. На воздухе я несколько упокоился. У первого прохожего я узнал, что Благовещенская церковь, настоятелем которой был о. Васильев, находится на главной улице, параллельно той, на которой находилась моя гостиница. Когда я вышел на главную улицу, я сразу увидел как церковь, так и губернаторский дом, в котором находились Их Величества, и отстоящий от церкви в нескольких стах шагах. Не спрашивая никого, я сразу понял, что в этом именно доме и живут Их Величества. Еще по рассказам в Петербурге я слышал, что он обнесен деревянным забором.

Это было немного не так. Сравнительно большой, самой обыкновенной постройки, двухэтажный белый дом своим длинным фасадом выходил на главную улицу, а боковая часть с деревянным пристроенным крыльцом, над которым был устроен балкон, выходила на поперечную улицу, напоминавшую широкий проспект. Эта часть улицы и была обнесена деревянным забором, подходившим к главному фасаду. В заборе, около главного входа в дом, были сделаны ворота, около которых было устроено подобие гриба, под которым стоял часовой.

Я не захотел долго задерживаться на улице, чтобы это не бросилось кому-нибудь в глаза, прямо вошел в церковь. Она была переполнена молящимися, и я стал в притворе. По окончании службы я узнал у церковного старосты, что о. Алексей живет в доме, находящемся за церковью. Вместе с толпой я вышел на улицу и пошел к небольшому одноэтажному дому в церковной ограде, но имевшему подъезд и с улицы. О. Алексей только что вернулся из церкви и сразу же принял меня. После условной фразы, которая мне была сообщена А. А. Вырубовой, о. Васильев понял, что я действительно приехал от нее и что ему меня бояться нечего. Но все же он был как-то обезпокоен моим появлением, и я из дальнейшего разговора понял, в чем дело. В кратких словах он обрисовал мне положение, в котором находятся Их Величества. У меня составилось из всего им сказанного следующее впечатление. Положение Царской Семьи ухудшается с каждым днем ввиду того, что большевики из центра все более и более начинают обращать внимание на Тобольск. С начала этого месяца на каждого члена Императорской Семьи отпускается по 800 р. в месяц, что, конечно, совершенно недостаточно для мало-мальски приличного Ее содержания. Пробел в питании пополняется добровольной помощью населения и окрестных монастырей.

Отношение жителей Тобольска к Их Величествам в огромном большинстве прекрасное, окрестных крестьян тоже. Отношение охраны, так называемого "отряда

особого назначения", изменилось к худшему ввиду того, что большая часть ее после начавшейся демобилизации уехала домой и была пополнена новыми солдатами, приехавшими из Петербурга и из Царского Села. Все же среди охраны есть большое количество солдат, безусловно преданных Их Величествам, благодаря длительной совместной жизни, и на которых, в случае чего, можно положиться. В городе большевицкой власти до сих пор официально не существует. Совет рабочих депутатов избран еще в прошлом году и особых затруднений Царской Семье не делает. О Седове у о. Васильева никаких сведений не было. По его мнению, он в Тобольск не приезжал, в противном случае он знал бы об этом от Их Величеств, так как имел свободный доступ в их дом. Об организации Маркова 2-го также не было ничего известно, и он не имеет с ней никакой связи. Б. Н. Соловьев был неделю тому назад в Тобольске, привез белье и теплые вещи для Их Величеств, после чего он уехал в Покровское.

Их Величества и Их Высочества находятся в добром здравии и с истинно христианским смирением переносят все тяготы заточения. Лично он, о. Васильев, был одно время арестован за то, что провозгласил многолетие Их Величествам, но вскоре выпущен и с того времени находится под подозрением и наблюдением. После этого сообщения я понял причину волнения о. Алексея при моем появлении. В заключение он сказал мне, что долго в таком положении Их Величества оставаться не могут. Необходимо приступить к решительным действиям, о чем он уже сообщил А. Вырубовой. Необходимо, чтобы в Тобольск приехало небольшое количество верных людей, но главная остановка за материальными средствами, которых вовсе не было, а не имея денежных средств, все предприятие становилось рискованным.

Я заверил о. Васильева, что остановки за верными людьми не будет, что за мной по одиночке и группами в самом непродолжительном времени прибудет в Тобольск и окрестности более, чем нужное количество офицеров. Что же касается материальных средств, то полагаю, что такому энергичному человеку, каким является Марков 2-й, в конце концов удастся тем или иным путем раздобыть для этого, столь для всех нас священного дела, и необходимые средства. Материальное положение А. Вырубовой крайне плохо. Кроме меня она снабжает деньгами на дорогу еще двух человек Марковской организации, которых можно ожидать со дня на день. Большего с ее стороны ожидать нельзя, Закончил я убедительной просьбой помочь мне устроиться конспиративно либо в Тобольске, либо в его окрестностях, так как даже малейшая помощь Их Величествам в данный момент является для меня единственным смыслом моей жизни.

Я просил о. Васильева передать принесенный пакет Их Величествам вместе с моими верноподданническими чувствами горячей любви и преданности, а также и о моем непременном желании, во что бы то ни стало, остаться вблизи Их Величеств. О. Васильев охотно согласился исполнить это и на прощание благословил меня и назначил местом свидания на следующий день церковь после службы, где наша встреча менее всего могла бы быть замечена. В конце нашего разговора в комнату вошел молодой еще человек, который оказался сыном о. Васильева, с которым он меня и познакомил. Он произвел на меня очень симпатичное впечатление.

Я вышел на улицу и, пройдя несколько боковых улиц, снова очутился неподалеку от губернаторского дома. Медленными шагами направился я к нему.

В одном из крайних левых окон второго этажа я заметил Великую Княжну Ольгу и Марию Николаевну. Они разговаривали между собой. Я на несколько секунд остановился, но больше никого мне увидеть не пришлось, и я быстрыми шагами отправился домой.

Когда я закрыл на ключ дверь своей комнаты, силы совершенно оставили меня, я лег на кровать и несколько часов пролежал без движения. Нервы слишком напряглись за эти дни, и скажу откровенно, что только обильные слезы, слезы безысходной тоски, привели меня в более или менее нормальное состояние.

Весь остаток дня и весь вечер я провел в писании длиннейшего письма Ее Величеству, в котором описывал происходившее в России, гибель нашего полка в Крыму с перечислением убитых однополчан, о жизни с Ю. А. Ден в Белецковке, последние известия о А. Вырубовой, а также о своем свидании с графом Келлером. Кроме того я умолял Ее Величество мужаться и не безпокоиться, Их не забыли и не забывают, "тант Ивет", под каким наименованием знала Ее Величество о Маркове 2-м как о главе организации, еще с лета 1917 г., лихорадочно работает, все налаживается, и скоро Их Величества увидят в Тобольске не только одного меня.

Вечером я не выдержал и отправился еще раз к о. Васильеву и передал его сыну письмо, написанное мной Ее Величеству. Когда я вернулся домой, часы потянулись томительно долго. Ночь была невыносима, и только когда настало утро, я почувствовал себя несколько окрепшим. Я чувствовал, что это утро будет для меня решающим.

С трудом я дождался конца длинной великопостной службы. Когда почти вся публика вышла из церкви, я увидел о. Васильева, знаком приглашавшего меня войти в алтарь. Когда я вошел и мы поздоровались, он дрогнувшим голосом в самых теплых и сердечных выражениях передал мне глубокую благодарность Их Величеств за мой приезд и при этом передал мне от имени Ее Величества благословение в виде иконки св. Иоанна Тобольского с одной стороны, а с другой - с изображением Абалакской Божией Матери, молитвенник с собственноручной надписью Ее Величества: *Маленькому М. благословение от Ш.*, и в подарок от Их Величеств большой мундштук мамонтовой кости. Передавая мне его, о. Алексей прибавил: "Ее Величество не знала, что вам подарить, но потом, достав мундштук, сказала: "Он, наверное, курит, я ему вот его и подарю... Когда будет курить, будет чаще меня вспоминать..."

Кроме того, о. Васильев передал мне еще один маленький мундштук мамонтовой кости и открытку собственной Ее Величества работы: наверху ангел, прекрасно исполненный акварелью, а в середине церковнославянскими буквами надпись: "Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю Имя Твое Святое", - с просьбой передать эти вещи А. Вырубовой. Совместно с вещами он передал мне также письмо Ее Величества ко мне.

Я был до того безумно счастлив, что не мог и слова благодарности сказать. О. Васильев дал мне успокоиться и продолжал:

- Ее Величество считает, что вам не безопасно оставаться в Тобольске, потому что вас легко могут опознать, как, например, полковник Кобылинский, так и его знакомая, Битнер. Ведь они вас знают по Царскому Селу еще. Неправда ли?

Я ответил утвердительно.

- Хотя Клавдия Михайловна рассказывала про вас Их Величествам много хорошего и прекрасно о вас отзывалась, Ее Величество все же не знает, как к вашему приезду отнесется Евгений Степанович, и потому Ее Величество вас просит как можно скорее уехать из Тобольска в Покровское к Борису Николаевичу Соловьеву и временно остаться у него.

Охватившее было меня радостное чувство сменилось тупым отчаянием. О. Алексей всячески успокаивал меня. Мне ничего не оставалось, как сказать, что я подчиняюсь священной для меня воле Ее Величества и что еще сегодня же выеду в Покровское. Кроме того, мне пришлось сознаться о. Алексею, что для исполнения этого приказания у меня нет денег, так как их всего-навсего оставалось у меня около 150 рублей. Думаю, что это не особенно понравилось о. Васильеву, так как, давая мне 240 рублей "керенками", он просил меня как можно скорее вернуть их, так как это, мол, его "личные" деньги, в которых он очень нуждается, и просил меня обязательно сказать об этом Соловьеву. В этот момент в церковь пришел камердинер Их Величеств Волков (это был служитель Кирпичников, как я впоследствии узнал), который вошел в алтарь и еще раз со слезами на глазах передал мне благодарность Их Величеств и Их Высочеств за приезд и за привезенные подарки. Он же передал мне, что Государыня заплакала, когда узнала о несчастии, случившемся с Ее полком. Затем он передал мне, что Их Величества обязательно желают меня видеть, хотя бы из окон, что он за этим и послан в церковь, чтобы идти впереди меня, так как Их Величества могут меня не узнать в штатском.

Попрощавшись и получив благословение от о. Алексея и передав Кирпичникову пакет, в который были завернуты оставшиеся еще у меня книги, я следом за ним вышел из церкви.

Еще издали я увидел Их Величеств и Их Высочеств в находившихся рядом с балконом окнах второго этажа. Государь стоял рядом с балконной дверью, рядом в окне на подоконнике сидел Наследник. За ним, обняв Его за талию, стояла Ее Величество. Рядом с Наследником сидела Великая Княжна Анастасия Николаевна. Рядом с Государыней стояла Великая Княжна Мария Николаевна, а за Государыней и Великой Княжной Марией стояли, вероятно, на чем-то высоком Великие Княжны Ольга и Татьяна.

Не доходя шагов двадцать до угла дома, я остановился и для того, чтобы выждать время, сначала достал только что полученный мундштук, потом стал искать в карманах портсигар и спички. Их Величества и Их Высочества сразу узнали меня, и я заметил, что они с трудом удерживались от смеха, до того я был комичен в своем долгополом штатском осеннем пальто и в своей заячьей шапке петербургского лабазника.

Когда я после долгих усилий, затягивая время, пристроил свою папиросу к мундштуку, а потом поднял голову и закурил, я увидел, как Ее Величество едва

заметно кивнула мне головой, а Наследник с видимым любопытством оглядывал меня с головы до ног и что-то говорил Государыне.

Во мне все клокотало и нервные спазмы сжимали горло. Мне стоило огромных усилий, чтобы не показать своего волнения и сдержать готовые сорваться рыдания. Постояв еще немного на углу, я медленно-медленно пошел вдоль фасада. Их Величества и Их Высочества стали переходить от окна к окну. Дойдя до конца дома, я повернул обратно, все время не спуская глаз с окон. Когда я дошел снова до угла, навстречу мне попался извозчик. Я остановил его, сел в санки и снова проехал мимо дома. Я приказал ехать ему в конец улицы, где находился колбасный магазин. Сделавши закупки в магазине, я демонстративно положил большой пакет себе на колени, приказал извозчику ехать прямо мимо дома к себе в гостиницу. Их Величества, видимо, поняли мой маневр и, когда я проезжал, Они все еще были в окнах. Но это уже был один только миг. Я успел уловить еще легкий кивок головы Государыни, и губернаторский дом скрылся за поворотом из моих глаз. Я был безумно счастлив, что увидел Их Величества, что заветное мое желание исполнилось, что я сдержал данную себе в ту достопамятную ночь, когда Их перевозили из Царского Села в эти края, клятву в том, что я доеду, во что бы то ни стало, до Их нового местопребывания, но в то же время я был до глубины души потрясен безпомощностью Их и своего положения...

Этого дня я никогда не забуду. Это был день, когда я последний раз видел Их Величества, Людей, Которых я боготворил и боготворю, Которым верно служил и ради Которых когда угодно, не задумываясь, готов был отдать свою жизнь!

Через два часа готовая тройка стояла около подъезда гостиницы, и вскоре я, провожаемый поклонами швейцара, желавшего как можно скорее увидеть меня, а также и моих "стариков-родителей", под звон неумолчных колокольчиков быстро понесся по знакомой уже дороге, исполняя волю Ее Величества, в Покровское. 10-го марта в 11 часов 5 минут вечера приехал я в Тобольск, и в 4 часа дня 12 марта пришлось мне его покинуть. Не думал я тогда, что более не суждено мне будет в него вернуться...

ГЛАВА IV

Сердечно тронуты Вашим приездом и очень благодарны за подарки. Большой мундштук Вам, маленький Ю. А., открытка А. А. Еще раз спасибо, что Нас не забыли, Храни Господь! Искренний привет от Ш.

В сотый раз перечитывал я эти священные для меня строки, полученные от Государыни, сидя в санях, мчавших меня по знакомой уже дороге.

На этот раз я не обращал уже внимания на красоты природы, мелькавшие перед моими глазами. Я весь находился под впечатлением только что пережитого и только одна мысль упорно сверлила мозг:

- А что же будет дальше?

Ответа ясного я не находил. Оставалось верить, что Соловьев, как более меня ориентированный в создавшейся обстановке, должен найти какой-либо выход.

На рассвете проезжали мы через довольно большой лес. Вдруг откуда-то издалека послышался звон колокольчиков и какие-то дикие крики и песни. Колокольчики заливались все громче и громче. Было ясно, что навстречу нам едет целый караван троек. Вот они все ближе и ближе... Мы сделали довольно большой поворот, и в этот момент нам навстречу вынеслась бешенным карьером тройка с огромным красным флагом, развевавшимся на длинном древке, который держал в руках, стоя в санях во весь рост, здоровенный детина в ухарски заломленной набекрень папахе и полушубке шерстью навыворот. С ним сидели еще три или четыре солдата с винтовками.

За ними летели сани с пулеметом и двумя-тремя солдатами и так далее еще восемь саней, наполненные солдатами, вооруженными, что называется, до зубов, опоясанных пулеметными лентами... Вся эта банда что-то дико орала. Из некоторых саней доносились какие-то песни. Они с быстротой молнии промелькнули мимо нас, и вскоре сделалось все тихо. Я совершенно обомлел от неожиданности, но в мозгу, как молния, мелькнула мысль - это большевики, подтвержденная вырвавшимся у ямщика замечанием:

- Уж не за Царем ли эти товарищи едут?

Да, это действительно были красногвардейцы, в чем я убедился в первом селе, где менял лошадей. Когда мы подъезжали к дому ямщика, от него отъехало еще пять троек, наполненных подобным же сбродом, какой мы незадолго перед этим встретили в лесу.

У ямщика я узнал, что это были красногвардейцы из Тюмени, по их словам, ехавшие для охраны "Николая Романова".

Итак, свершилось... То, что казалось мне кошмаром, воплотилось в действительность. Большевики протянули свою окровавленную лапу к Тобольску...

Это было начало... но начало чего?

Дальше мысли мои не шли, в глазах потемнело. Нужно было действовать. Нервы мои окончательно расходились, и я все время подгонял ямщиков.

После томительного долгого дня, около 9 часов вечера добрался я, наконец, до Покровского и облегченно вздохнул, когда сани мои остановились около дома Распутина.

Дом его отличался от других разве только тем, что по внешнему виду казался лучше других, вернее, тщательнее и чище построенным. Я стал стучаться в ворота. Ответа не было. Я повторил стук настойчивее. Результата никакого. Ставни были наглухо закрыты, и сквозь них не виднелось света. Я не знал, что делать. Оставалось только продолжать стучать, что я и сделал с удвоенной силой.

Наконец я услышал чьи-то шаги, и дрожащий женский голос через ворота спросил меня:

- Кого вам нужно?

Я наклонился вплотную к воротам, стараясь, чтобы ямщик меня не слышал, и проговорил:

- Я к Борису Николаевичу с письмом от о. Васильева из Тобольска.

- Бориса Николаевича дома нету! - ответил мне тот же голос, и я услышал сдержанные всхлипывания.

- Как нет? - удивился я.

Воцарилось молчание. После моих настойчивых просьб ворота, наконец, открылись, и я очутился в просторном дворе. Передо мной стояла пожилая уже женщина в полушубке, с пимами на ногах и нервно всхлипывала.

- Что вам нужно от Бориса Николаевича? Его нет дома, его забрали с собой солдаты - причитывала женщина.

Эта весть, как громом, поразила меня. Я не мог и слова вымолвить. Очнулся я в какой-то комнате, в которой царил невероятный безпорядок и которая была освещена большой лампадой, мерцавшей перед висевшим в углу огромным образом Божией Матери дивного старого письма в серебряной ризе. Из соседней комнаты выглядывали две женские головы, со страхом смотревшие на меня. Стараясь быть кратким, я объяснил встретившей меня женщине, кто я, и что я еду от А. А. Вырубовой, что был в Тобольске, где через о. Васильева получил приказание уехать в Покровское. При упоминании имени А. Вырубовой, женщина просияла:

- Так вы, значит, Аннушку знаете? Она вас послала? Я ответил утвердительно.

Тут мне пришла в голову мысль. Я достал из бумажника две фотографии Ю. Ден и показал их ей.

- А вы знаете, кто это? - спросил я. Эти фотографии произвели магическое действие.

- Варенька, посмотри, ведь это Юлия Александровна!

Она узнала ее по фотографии, тогда мне сделалось ясным, что передо мной стоит вдова Гр. Распутина, а одна из девушек его младшая дочь.

Когда и девушка, названная Варенькой, убедилась, что фотографии, действительно, изображают Ю. Ден, отношение ко мне сразу переменилось.

- Пожалуйте, сынок, в комнату, а мы думали, что вы из тех, что забрали Бориса Николаевича.

Меня проводили в соседнюю комнату, напоминавшую столовую, и где царил тот же безпорядок. На подоконнике были сложены обломки нескольких рам от фотографий. Сквозь слезы жена Григория Ефимовича рассказала мне все, что произошло за этот день.

Оказалось, что часов около двух дня к дому подъехали сани с вооруженными солдатами, которые вошли во двор, где встретили Соловьева. Когда он показал им свои документы, а они были фальшивые, солдаты заявили, что они ищут Соловьева, зятя Распутина, вошли в дом, начали делать обыск, сорвали со стен Царские портреты и побили много посуды.

Не найдя Соловьева, они стали угрожать, что если Соловьев сам не объявится, то они заберут с собой всех членов его семьи. Борису Николаевичу ничего не оставалось делать, как признаться, что он и сделал. Солдаты крепко выругались, но сразу не поверили, так что соседям пришлось подтверждать, что это и есть, действительно, зять Григория Ефимовича. Солдаты еще раз переискали весь дом и нашли его револьвер, после чего усадили его в сани, не дав ему ни с кем проститься, и увезли неизвестно куда.

Услышав этот рассказ, я был уверен, что Борису Николаевичу живым не уйти, если разве какое-нибудь чудо его не спасет. Мое же положение было критическое, а главное, невыносимо глупое. Если бы в тот момент, когда я находился в доме Распутиных, еще раз нагрянули красноармейцы, то мне пришлось бы доказывать, что я, действительно, Соловьев, если не настоящий, то его родственник, так как мои документы были на это имя. Если бы я приехал на восемь часов раньше, то забрали бы меня как Соловьева, а не Бориса Николаевича, так как у него в документах было показано другое имя.

Было ясно, что и пяти минут лишних я здесь оставаться не мог. Девушка, дочь Распутина, дала мне сверток из хлеба, масла и яиц, а вдова Распутина снабдила меня 350 рублями на дорогу, после того как узнала, что денег у меня было разве только, чтобы доехать до Покровского. Я поблагодарил их за гостеприимство и, напутствуемый пожеланиями счастливого пути, вышел на двор, а оттуда на улицу, где меня поджидал ямщик. Через несколько минут тройка вынесла меня из Покровского, которое вскоре скрылось из виду.

ГЛАВА V

Рано утром я приехал в Тюмень без особых приключений, где решил остановиться, чтобы отдохнуть и спокойно обдумать создавшееся положение.

У ямщика татарина, который вез меня четыре дня тому назад из Тюмени, оставшись наедине со своими мыслями в жарко натопленной чистой половине избы, я детально разобрал все мною виденное и пережитое с момента приезда в Тобольск и пришел к следующему выводу: приезд большевиков в Тобольск в корне изменил положение Царственных Узников к худшему и тем затруднял и путал все возможности освобождения Царской Семьи, положение которой становилось явно критическим.

Арест Соловьева, явившийся для меня полнейшей неожиданностью, выбил окончательно почву из-под моих ног. Оставаться здесь было невозможно, равно как и возвращение в Тобольск или Покровское. Пользы для дела из моего пребывания в Тюмени я тоже не видел никакой, если бы даже имел на то материальную возможность.

Помощь Их Величествам должна была быть оказана в возможно скорейшем времени, и потому я решил ехать обратно в Петербург, чтобы лично довести до сведения как А. Вырубовой, так и Маркова 2-го все, мною виденное, и обрисовать им всю тяжесть положения Императорской Семьи в связи с приездом большевиков. Денег на обратную дорогу мне могло хватить только в обрез, а главное затруднение заключалось в отсутствии каких-либо документов, оправдывающих мою поездку из Сибири в Петербург.

Но раздумывать было нечего, и на следующее утро я уже был на вокзале. Поезда ходили, как Бог пошлет, и мне сказали, что поезда на Екатеринбург можно ожидать около часу дня. От нечего делать я стал бродить по небольшому вокзалу типичной казенной постройки из красного кирпича. Станционные помещения, как и всюду, были заплеваны и загажены до невозможности.

Когда я вышел на платформу, мое внимание привлек большой великолепный состав поезда из классных и салон-вагонов, стоявший на подъездном пути. Над одним из вагонов развевалась красная тряпка в виде флага. Около поезда разгуливали субъекты, подобные тем, которых я встретил по дороге. Обычные каторжные рожи, лохматые папахи, пулеметные ленты накрест на груди, распоясанные шинели, словом, все, чем мог гордиться настоящий революционный воин.

Один из мужиков, ждавший поезда также, как и я, разъяснил мне, что это поезд комиссарский. Я зашел в зал 1-го и 2-го класса. Такая же грязь, как и всюду. На столах хотя и скатерти, но засаленные и грязные. О таковых у нас в "Матушке Рассее" давно уже забыли.

Публика была самая разношерстная. Я уже намеревался подсесть к большому столу, стоявшему посреди зала, как неожиданно увидел знакомое лицо. Напротив меня сидел молодой еще человек в солдатской шинели и в фуражке без кокарды. Я присмотрелся к нему ближе. Это был Т., мой товарищ по Одесскому Корпусу, на два-три года старше меня по выпуску, которого я с 1913-го года не видел. Этой встречи я никак не ожидал и сразу не знал, что делать, но потом мелькнула мысль, что лучше уйти незамеченным. Хотя я знал Т. очень близко, но для меня было большим и неясным вопросом, что произошло за эти пять лет с тех пор, как мы не виделись, каких он теперь взглядов. В старые времена мы все были одних взглядов, о политике не говорили, да и странно было бы говорить, так как все мы были проникнуты одинаковой любовью к своему Царю и Родине.

Но теперь... Лучше быть осторожным, и я стал отходить от стола. В этот момент Т. поднял голову, положил газету, которую читал, в карман, встал, и наши взгляды совершенно случайно встретились. Он пристальнее всмотрелся в меня и воскликнул:

- Марков! Какими судьбами? Поздоровавшись, я схватил его за рукав и буквально вытащил на перрон.

- Во-первых, имей ввиду, что я теперь не Марков, а Соловьев. Почему да отчего, объясню потом. Знал тебя как своего товарища и друга, надеюсь, не выдашь. Я был в Тобольске... Теперь понял? - скороговоркой пояснил ему я свое нахождение в Тюмени.

- Во мне можешь не сомневаться, - твердо и решительно проговорил он, пожимая мне руку. - Я все понял, но куда ты теперь собираешься? В Петербург, а соответствующие документы имеешь?

Я отрицательно покачал головой.

- Ну, батенька, благодари Бога, что меня встретил. У тебя какие документы? Увольнительный билет Ишимского воинского начальника? Так видишь ли этот поезд? - он указал мне при этом на привлекший мое внимание состав, - ведь вокзал уже третьи сутки, как занят карательным отрядом Запкуса. Он налагает контрибуцию на желающих получить билет, предварительно опрашивая документы и цель поездки. Без его ордера касса не продает билетов. Хорош был бы ты, если бы сунулся к нему за ордером на Петроград, предъявив увольнительный билет на Ишим!

Я окончательно растерялся.

- У тебя других документов нет?

Я объяснил ему, что имею увольнительное офицерское удостоверение, выданное Одесским комендантом на проживание во всех городах России, впредь до увольнения по приказу Военного Ведомства в отставку. Документ самый форменный на мою настоящую фамилию, и единственно революционное на нем - это подпись коменданта. Подписан он так: "Комендант г. Одессы - Прапорщик Рязанов". В день получения мною этого документа старый комендант ген.-майор Мельгунов ушел, и его место занял, по назначению Румчерода, прапорщик Рязанов.

- Ну, и слава Богу! Отправляйся в город, остановись в гостинице, а завтра с утра поезжай к Воинскому Начальнику и получи демобилизационный билет, а потом уж можешь ехать, по получению временного вида, куда угодно.

По-видимому, он прочел на моем лице полнейшее недоумение от такого совета.

- Ты не безпокойся, здесь товарищи далеко еще не то, что в России. Ты им наври что-нибудь, что ты едешь с юга искать заработка, или что-нибудь в этом роде, и увидишь, что все пройдет благополучно!

Мне ничего не оставалось делать, как поблагодарить его за дружеский совет. На прощание он сообщил мне, что во время войны служил в одном из сибирских стрелковых полков, женился на сибирячке, родители которой живут в Омске, дослужился до капитанского чина и теперь устроился на службу по железной дороге, и живет постоянно в Тюмени. Распрощавшись с Т., я взял извозчика и приказал везти себя в гостиницу. Гостиница Лошкомоева, куда привез меня мой возница, оказалась весьма приличной, как по своему внешнему, так и по внутреннему виду.

Комнату во втором этаже я получил без всяких затруднений, и на вопрос швейцара о моей фамилии и пр. даже с облегчением ответил:

- Марков, бывший военнослужащий, из Проскурова.

Итак, я сделался снова самим собой... Но чувствовал себя далеко не твердо и успокоился только на следующее утро, когда я вышел из большого деревянного дома с надписью "Управление Тюменского Военного Начальника", где мое удостоверение обменяли на увольнительный билет, согласно приказу Совета народных Комиссаров и т. д.

Я отправился в милицию, где подал заявление о желании иметь временный вид на жительство. Как предсказал мне Т., в обоих учреждениях мне никаких препятствий не чинили. В Управлении же Воинского Начальника на меня даже повеяло стариной. Писаря чинно сидели на местах, писали и стучали на машинках. Один из них весьма любезно принял меня, расспросил, написал билет, и тут же один из его сотоварищей подписал его не читая "за Воинского Начальника".

Это было единственным революционным проявлением. Милиция же произвела на меня совершенно иное впечатление. Здание прежнего полицейского управления было загажено с низу до верху и полно самого разнообразного люда, неистово бранившегося и сквернословившего по поводу "милицейских порядков". Какие-то вихрастые субъекты, принявшие меня, обещали выдать вид через три дня.

Из милиции я отправился на телеграф, где послал Маркову 2-му телеграмму по условному адресу с сообщением, что мне пришлось задержаться в Тюмени.

Покрытая глубоким белым пушистым снегом Тюмень произвела на меня отличное впечатление. Город состоял из двух частей, верхней и нижней. Верхняя часть была расположена на краю обрыва, спускавшегося к реке Туре, по побережью которой расположилась нижняя часть его.

В верхнем городе центром движения была Царская улица, довольно широкая, освещенная электричеством и обстроенная в большинстве случаев одноэтажными каменными домами. Посреди улицы была площадь, на которую выходило большое двухэтажное здание реального училища с садом с одной стороны, а с другой - особняк какого-то местного купца, тоже с садом. Боковые улицы, в общем, напоминали главную и были планированы правильными квадратами. Торговля была сосредоточена на главной улице, магазины носили, так сказать, универсальный характер, так как в них можно было найти все, начиная с ваксы и кончая китайским шелком. Торговля, по-видимому, шла бойко. Никаких явных признаков революции, привычных моему глазу, в виде широковещательных плакатов, красных флагов и других аксессуаров революции социалистического режима, я не видел, за исключением разве того, что, например, на некоторых углах вместо прежних надписей "Царская улица", были навешаны новенькие дощечки красного цвета, на которых белыми буквами было написано "Проспект революции", да на некоторых домах висели дощечки с надписью "национализированный дом номер такой-то". Это было бы и все видоизменение в физиономии города, если бы на двух лучших домах города я не прочел две вывески с надписью: "Р.С.Ф.С.Р. Штаб Красной Армии", "Тюменский Совет Рабоч., крест. и солдатских депутатов". Это были два центра управления Тюмени, один военный, а другой гражданский.

Когда я проходил в гостинице мимо доски с указанием фамилий приезжающих, мое внимание привлекла визитная карточка, прикрепленная около № 4. Я прочел ее и глазам своим не поверил. На ней ясно и отчетливо значилось: "Командир 35-го

запасного Сибирского стрелкового полка и начальник Тюменского гарнизона полковник П.". Действительно чудеса творились в этом городе... Хозяйничанье большевиков уживалось с этими "пережитками старого режима!"

Из расспросов швейцара выяснилось, что П. самый настоящий полковник, принявший полк незадолго до революции и пробывший в этой должности как мартовский переворот, так и все лето 17-го года, вплоть до большевицкого переворота и приказа о демобилизации армии. Тогда он устранился от дела, но по-прежнему остался жить в Тюмени. В дальнейшем оказалось, что в его полку были безпорядки, старый командир полка был сменен, а полковник П. назначен, так сказать, на "усмирение"...

Я решил познакомиться с ним, что в этот же день и исполнилось. Полковник П. принял меня весьма любезно. Я представился ему, так сказать, полуофициально, начав свое обращение словами, что я считаю своим долгом как офицер, представиться ему как начальнику гарнизона и т. д.

Он был очень польщен и заметил, что он уже не командир полка и не начальник гарнизона и что он сдает полк образовавшемуся штабу Красной армии, во главе которого стоит один из его бывших офицеров, прапорщик Чувиков.

Само собой разумеется, я ему ни слова не сказал о своей поездке в Тобольск, а придержался своих небылиц, рассказанных мною в управлении Воинского Начальника и швейцару. Услышав, что я собираюсь искать работу, он предупредил меня, что это мое желание сопряжено с большими трудностями.

Он сообщил мне, что после ранения на фронте осенью 1916-го года он получил 35-й запасной полк, где из-за халатности командира произошли безпорядки на продовольственной почве, которые ему пришлось подавить. Настала революция, которая прошла в Тюмени без эксцессов, и ему удалось удержаться на месте. На положение на фронте П. смотрел безнадежно, войну считал проигранной и потому не воодушевлял солдат на революционные подвиги, а смотрел только за тем, чтобы солдаты не безчинствовали в городе и не грабили казенного имущества. Пришел октябрьский переворот. Местный совдеп все левел и левел и, наконец, автоматически сделался большевицким. Ему предложили сдать полк революционному штабу, что он и исполнил.

- Теперь товарищи пытаются создать новую армию, на новых началах. Поживем и увидим, что из этого выйдет. Я же, поляк по происхождению, хотел бы проехать в Польшу, но пока там немцы, туда не поеду... Не люблю я их... Волей-неволей приходится оставаться здесь и ждать у моря погоды! - закончил он свой рассказ. Потянулись безконечные дни за днями. Меня охватила какая-то тупая апатия. Неудача в Покровском, невозможность выехать в Петербург и, наконец, молчание Маркова 2-го, от которого на мою телеграмму я не получал ответа, все это подавляло меня морально, а полная неизвестность о том, что делается в Тобольске, повергла меня в тоску и отчаяние.

Как-то раз вечером на исходе первой недели моего пребывания в Тюмени меня позвал к себе на чашку чая П.

- Знаете ли что, Сергей Владимирович, - обратился он ко мне. - Я для вас хорошее место нашел, а то вы с голоду здесь подохнете. Ведь денег от тетки из Петербурга не получили?

Я еще раньше сказал П., что просил тетку помочь мне. Я ответил отрицательно.

- Встретил я сегодня Чувикова, того прапорщика, о котором я вам говорил. Он Начальник Штаба формирующейся здесь Красной Армии, на новых, добровольных началах. Он мне стал плакаться, что не может найти инструктора-кавалериста для формирования конной части. Ну, я и вспомнил о вас, и сказал ему, что могу помочь ему в его горе. Что вы на это скажете?

Что мог я ему ответить на это неожиданное предложение? Видя мое замешательство, он заметил:

- Я вижу, вас мое предложение поразило, я вас понимаю, но вы ничем не рискуете. Вы поступаете по вольному найму. Не понравится, можете всегда уйти. Воевать вам не придется. Мы находимся в таком богоспасаемом месте, что до нас никакие фронты не доберутся! Жалование платить будут приличное. Советую, пока другого занятия себе не найдете, взять это место.

Я поблагодарил П. за его доброе отношение и заботы обо мне и просил дать мне сутки на размышление.

Оставшись один, я долго думал, как быть, принять или не принять предлагаемое место?

- Я - красноармеец!?

Это новое мое амплуа никак не укладывалось в моей голове. Взвесив все, что было за и против в этом предложении, я пришел к заключению, что мне следует согласиться, и вот почему: принимая на себя формирование конной части при местном штабе, я получал полнейшую возможность принять в число своих подчиненных всех тех офицеров, которые ожидались из Петербурга от Маркова 2-го. Затем, положение Тюмени по отношению к Тобольску было блестящим, потому что и сухопутная дорога, связывающая Тобольск с железной дорогой, шла через Тюмень, и речное сообщение по Тоболу и Туре заканчивались в Тюмени же. Имея в Тюмени ячейку, не только прекрасно скрытую от советского ока в их же части Красной Армии, но и вооруженную и материально обезпеченную, можно многое предпринять... Так, например, попытаться добиться перевода этой части, под моей командой, на охрану Императорской Семьи в Тобольске.

Или устроить фиктивное крестьянское восстание в районе Тобольска и под видом подавления вывести эту часть в угрожаемое место, и постараться задержать ее там.

Или же дать возможность отдельным членам нашей организации, вступившим к нам красноармейцами, постепенно дезертировать вооруженными по направлению к Тобольску, причем мне представилась бы полная возможность снабжать их целым рядом всевозможных фальшивых удостоверений.

Наконец, принимая во внимание бывшую до моего отъезда из Петербурга скудость средств организации, устройством офицеров в формируемой мною части сразу же снималась с организации всякая материальная забота о них, так как они попадали на полное советское иждивение.

Ночь я провел без сна, разобрал все детали создавшегося положения, а вечером, придя к П., заявил ему о своем согласии поступить на службу в Красную армию.

Он обещал мне на следующий же день передать о моем согласии Чувикову.

Утром я пошел на почту и сдал второе письмо Маркову 2-му.

Первое письмо к нему я отправил непосредственно после телеграммы, а теперь сообщал весьма осторожно, что мне удастся, быть может, устроиться на многообещающую всем нам службу. Само собой разумеется, писать более понятно и ясно я не могу, решив сделать это позже по вступлении на новую службу и после детального выяснения возможностей для нашего дела через первого прибывшего в Тюмень от Вырубовой или от Маркова 2-го, отправив его обратно в Петербург с поручением на словах во всех подробностях информировать как А. Вырубову, так и Маркова 2-го.

С почты я отправился в парикмахерскую. Места все были заняты, и мне пришлось ждать очереди. В тот момент, когда я, наконец, дождался и подошел к своему креслу, я лицом к лицу столкнулся с высоким молодым человеком, только что окончившимся бриться, в темно-синей поддевке и шелковой рубашке. Он встал с кресла рядом с тем, на которое я собирался сесть. Молодой человек посмотрел на меня, а я на него. Я глазам своим не верил: передо мной стоял Соловьев, которого я давно мысленно похоронил...

Оба мы, едва сдерживая волнение, поздоровались. Совершенно безразличным голосом Соловьев бросил мне фразу:

- Давненько мы с вами не виделись, что вы нас позабыли? Заходите сегодня на чашку чая... Ведь вы же адрес знаете! - И он назвал адрес, которого я, конечно, не знал. Я извинился, сослался, что, дескать, дела задержали, и обещал как-нибудь зайти.

Само собой разумеется, я сразу же из парикмахерской отправился к Соловьеву. Он жил на окраине Тюмени у одной старушки, давнишней знакомой семьи Распутиных.

Он мне рассказал, что арестовавшие его красногвардейцы были частью того отряда, который я встретил по дороге. Ими же он и был привезен в Тюмень. По до роге ему пришлось испытать много весьма неприятных минут, так как несколько человек его эскорта предлагали своим "товарищам" просто-напросто ликвидировать эту с...., а не тащить его в Тюмень. В совдепе он при допросе рассказал весьма длинную и туманную, но очень тонко составленную историю о происхождении у него фальшивых документов, главным поводом к получению которых было желание еще во времена потуг Керенского заставить революционную армию перейти в наступление, бросить фронт и ненавистную военную службу из-за своих крайних анархических убеждений. Его доводы подействовали на вечно полупьяного

председателя тюменского Совдепа Немцова и его помощника, такого же горького пьяницу Неверова, и он был выпущен на свободу под расписку о невыезде из Тюмени с обязательством являться каждый день в Совдеп. Отобранного чека на сумму 10.000 р. ему не вернули, о чем он очень сожалел, так как это были последние деньги, которые он хотел при помощи епископа Гермогена передать на расходы Их Величествам.

Я, в свою очередь, в мельчайших подробностях описал Борису Николаевичу последние дни моего пребывания в Петербурге и мои Тобольские впечатления.

Он страшно удивился приказу Императрицы о моем отъезде из Тобольска к нему в Покровское, потому что если Государыня и считала, что мне трудно будет устроиться конспиративно в Тобольске, то как же Она могла полагать, что мое пребывание будет незаметно в селе, которое значительно меньше Тобольска, все же являющегося городом, тем более в доме, столь известном не только жителям Покровского, но и всей округе.

Когда же я попросил Соловьева как можно скорее вернуть полученные мною от о. Васильева деньги, он еще более изумился и взволновано ответил мне:

- Я отказываюсь что-либо понимать. Это неправда, что вам сказал о. Васильев... Он дал вам не свои деньги, а мои. Я ему перед отъездом в Покровское оставил несколько тысяч на расходы, связанные с Царской Семьей... Все это очень странно, вообще его образ действий за последнее время мне не нравится... Да мы и без него обойдемся!

Из дальнейшего я понял, почему Борис Николаевич был недоволен о. Васильевым.

Он обрисовал мне положение Царской Семьи в следующем виде. С октября месяца прошлого года, когда он впервые приехал в Тобольск и передал Их Величествам первые вещи, полученные от А. Вырубовой, положение Их сильно изменилось. После увольнения комиссара Макарова, человека, несмотря на определенный революционный стаж, очень благожелательно настроенного к Царской Семье, а случилось это из-за опрометчивости и легкомыслия М. С. Хитрово, задержанной в Тобольске сразу же после ее приезда, на его место был прислан некто Панкратов, бывший политический ссыльный, человек весьма мало энергичный, который сразу же стушевался перед "отрядным комитетом", который не преминул зажать всю власть над Царственными Узниками в свои лапы. Его помощником стал Никольский, типичный прапорщик революционного времени, с ухватками митингового оратора, хам по манерам и по происхождению.

Касательства к жизни заключенных он не имел никакого, а проводил время среди солдат отряда, найдя в них достойное себе общество. Начальником отряда был полковник лейб-гвардии Волынского полка Е. С. Кобылинский, как известно, назначенный на эту должность Керенским еще в бытность Их Величеств в Царском Селе и приехавший в Тобольск с Клавдией Михайловной Битнер, сестрой Царскосельского лазарета Красного Креста, с которой он был в близких отношениях.

О Кобылинском Борис Николаевич был неопределенного мнения. Трудно было себе представить, чтобы кадровый гвардейский офицер мог занять, благодаря своим

революционным убеждениям, должность подобную той, которую он занимал. С другой же стороны, не было никаких данных, которые давали бы возможность думать, что он занял таковую по поручению одной из правых организаций. По отношению Их Величеств Кобылинский держал себя корректно и весьма сдержанно. Отношение к нему Их Величеств было недоверчивым и тоже сдержанным.

Достаточной силы воли в нем не замечалось и никакого особого влияния на комитет, не говоря даже о власти над ним, он не имел. Битнер была принята Их Величествами, имела доступ в дом и давала даже уроки Великим Княжнам и Наследнику. Держала она себя так же, как и Кобылинский, замкнуто и неопределенно.

Во всяком случае, убеждением Бориса Николаевича было то, что если наступит момент насильственного освобождения Царской Семьи, то Кобылинский препятствий к этому чинить не будет, но сам для этого ничего не сделает.

Власть в Тобольске находилась в руках "совета рабочих депутатов" эсеровского состава с несколькими большевиствующими членами, но он власти никакой не имеет. Главой же его даже можно считать "отрядный комитет", как никак, а опирающийся на штыки воинской части, единственной в Тобольске. Отряд же состоял из 150 человек при пулеметах и 8-ми офицерах, не считая самого Кобылинского. Солдаты были набраны из запасного батальона 1-го, 2-го и 4-го гв. стрелковых полков; в большинстве все это были старые солдаты, побывавшие на фронте, унтер-офицеры, георгиевские кавалеры. Среди них сразу же обнаружились солдаты, вполне лояльно относившиеся к Их Величествам, а глядя на них, и другие солдаты, вследствие долгой и близкой жизни при Их Величествах, переменили свою ухарски-революционную физиономию.

Из восьми офицеров надежными можно было считать двух. Словом, конъюнктура для создания побега Их Величеств до большевицкого переворота, если и не была блестящей, то, во всяком случае, более или менее благоприятной. С момента же перехода власти в руки большевиков положение резко изменилось к худшему. В Тобольск стали проскакивать телеграммы из Петербурга, которыми советские власти стали корректировать жизнь Их Величеств, а "отряд" переизбрал председателя комитета, которого и послал в Петербург.

Избран был подпрапорщик Матвеев, полуграмотный субъект, вернувшийся из "красной столицы", исполненный большевицкой благодати и уже в чине прапорщика!.. По его заявлению он был произведен в офицеры самим Лениным. Лучше он от этого не сделался, а напротив, перевел всю свиту в губернаторский дом, где и без того Их Величества жили в страшной тесноте, и, что хуже всего, ограничил питание Их Величеств до крайности.

Вопрос питания вообще стал очень острым. Борис Николаевич до сего дня различными способами передал Их Величествам 50.000 руб., из коих часть была из личных его денег и денег его жены, а другая была передана ему А. Вырубовой. Кроме этого, некоторые тобольские купцы материально помогали Их Величествам. Население относилось к нужде Их Величеств крайне отзывчиво и помогало, как могло, продуктами.

Епископ Гермоген и монастыри тоже посильно приходили на помощь Заключенным, стараясь, как можно, облегчить и осветить жизнь несчастным Страдальцам.

Самым возмутительным было отношение большей части прислуги, деморализовавшейся окончательно, не считающейся со всей тяжестью обстановки и требовавшей аккуратной уплаты жалования, вечно недовольной пищей, пьянствующей и не гнушавшейся даже воровством. Так, были случаи кражи белья у Великих Княжен и Наследника. Особенно поразил меня Борис Николаевич своим рассказом о "доблестях" пресловутого дядьки Наследника Деревеньки, в свое время не пожелавшего ехать в изгнание с Их Величествами и оставшегося в Царском.

Теперь в Тобольске, при разборе вещей, был случайно найден его сундук. Когда его вскрыли, он оказался переполненным вещами Наследника, как то верхним платьем, бельем, ботинками, которые тот, видимо, в течение многих лет выкрадывал из гардероба Наследника.

Я ушам своим не верил, когда услышал про все это от Соловьева, и мне невольно вспомнилось одно солнечное прекрасное утро, года за два до войны, дом моей матери, открывающуюся дверь кабинета моего отчима и выходящая из него коренастая, здоровая фигура в матросской форме с глазами, полными слез, которые он вытирал рукавом своей белоснежной рубашки. Это был матрос Деревенько, которому Их Величества доверили ухаживать за Своим Царственным Сыном. Мой отчим, безгранично преданный Их Величествам, вызвал Деревеньку к себе и в часовой беседе со свойственной ему прямотой и благородством наставлял этого счастливца матроса, в его обязанностях к своему Царственному Воспитаннику. Деревенько плакал и клялся моему отчиму служить Их Величествам до конца дней своих. Теперь я слушал про результат его клятв. Как больно стало у меня на душе после этого.

Очень повредило Их Величествам неожиданное выступление во время Рождественских Праздников в Благовещенской церкви о. Васильева. Его арестовали, но вскоре выпустили, и для него из этого большой беды не вышло, говорил мне Борис Николаевич, нервно прохаживаясь по комнате, но Их Величествам он, безусловно, повредил так же, как напортила много своей легкомысленностью М. Хитрово в августе. Их перестали пускать в церковь, стали относиться подозрительно... В комитете и совдепе пошли толки... Совдеп ведь голову задрал после октябрьского переворота, а в комитете Матвеев и приехавшие на смену уехавшим домой старым солдатам распущенные солдаты более молодых сроков стали видеть в этом необдуманном выступлении какую-то скрытую контрреволюцию! Вообще, теперь положение стало много хуже, в этом я убедился в последний мой приезд!

Оказывается, после этого печального случая о. Васильеву ограничили доступ в дом. Он сообщался с Заключенными большей частью через одного из служащих, а именно через Кирпичникова, которого я ошибочно принял за Волкова. Об этом последнем Борис Николаевич отозвался как о преданном человеке, который был одним из низших членов придворной челяди, делавший много одолжений Их Величествам и, что самое главное, умудрившийся прекрасно ладить как с отрядным комитетом, так и со всей охраной.

О. Алексей, видимо, хочет играть первенствующую роль "спасителя и благодетеля" Их Величеств. Бог с ним, пускай делает, что хочет, но только не мешает... Его связь с домом мне не нужна. Я и без его помощи имею связь с Их Величествами, закончил свой рассказ об о. Васильеве Соловьев.

Несмотря на то, что охрана Их Величеств, благодаря приезду новых солдат, потерпела существенные изменения, Борис Николаевич сообщил мне, что среди них наберется 30 человек, на которых можно вполне положиться и быть уверенными, что они окажут свое содействие при освобождении Царской Семьи из заключения. После ознакомления меня со создавшейся обстановкой Соловьев перешел к теоретическому изложению плана возможного спасения Заключенных.

Обсудив все с Соловьевым, мы могли констатировать следующее: до сего дня никаких реальных шагов для спасения Царской Семьи организациями, находящимися в России, предпринято не было. По всем имеющимся у Соловьева данным, никакой концентрации верных Их Величествам людей в районе Тобольска не было. Наиболее реальную помощь, не в смысле облегчения жизни Их Величеств, путем присылки необходимых вещей и облегчения безконтрольного сообщения в внешним миром, оказала Их Величествам А. Вырубова. Связь между Тобольском и Петербургом она поддерживала как через Соловьева лично, так еще через несколько других лиц. Лично ему, Соловьеву, удалось на месте сделать до сего времени следующее: 1) Твердо установить тайную связь с Заключенными. 2) Образовать в Тобольске и в ближайшем к нему районе группу верных людей. 3) По всей линии от Тобольска до Тюмени на расстоянии, равном приблизительно перегонам ямщиков, установить ряд определенных пунктов с верными и надежными людьми, через которых пересылается корреспонденция и мелкие вещи из Тобольска до Тюмени. 4) Удалось установить после больших трудов постоянный и верный контроль над почтово-телеграфными сообщениями как "отряда", так и Совдепа. Кроме того, и Тюменская почтово-телеграфная станция была у него под наблюдением, так что даже шифрованные телеграммы Тюменского совета не были для него тайной. 5) Наконец, посильная материальная помощь Бориса Николаевича.

Таким образом экономились лишние поездки самого Соловьева и других лиц по длинному и дорогому перегону Тюмень-Тобольск. С радостью согласившись помочь А. Вырубовой в установлении связи между ней и Императорской Семьей, Соловьев сразу понял, что, кроме частичного облегчения участи Их Величеств, ввиду недостатка у А. Вырубовой средств, ему ничего не удастся больше сделать.

Моими рассказами о положении Петербургской организации, возглавляемой Марковым 2-м, и о ее безденежьи Соловьев был поражен. Когда же я рассказал ему, что тот требовал денег у А. Вырубовой, открыто говоря ей, что денег организация не имеет, он мне вполне резонно ответил:

- Я этого никак понять не могу. Это выше моего понимания... Из ваших слов следует, что организация зародилась чуть ли не с мая месяца прошлого года, то есть почти год без малого, и за этот промежуток времени Марков 2-й не мог собрать достаточных средств и мог, по вашим словам, выслать в эти места только одного Седова! Какое же он имел право бросать обвинения А. Вырубовой в ее ничегонеделании в этом направлении? Я могу удостоверить, что она сделала все, что было в ее силах и возможности!

На это я ответил Борису Николаевичу, что нисколько не сомневаюсь, что А. Вырубова отдала последнее горячо ею любимым Их Величествам и что, откровенно говоря, мне самому не особенно понятно, как Марков 2-й не мог до сего дня обезпечить организацию необходимыми деньгами, принимая во внимание, что в его распоряжении было целое лето и осень, вплоть до октября, когда банки действовали еще исправно. Единственно, что остается предположить, это то, что имя его не популярно в тех кругах, которые желали бы материально помочь Императорской Семье. Я же лично могу констатировать только те немногие факты, коих мне пришлось быть свидетелем. В каком положении находится организация и деталей ее я не знаю, так как являюсь лишь маленьким, рядовым членом ее, которому многое знать не надлежит. Не найдя средств для исполнения своей заветной цели, поездки в эти края, в своей организации, я нашел их у А. Вырубовой, за что ей до конца своих дней буду благодарен. Я приехал сюда и готов голову свою сложить ради пользы и счастья Их Величеств.

Из дальнейшего разговора с Борисом Николаевичем я понял, что он сильно рассчитывал на активную помощь некоторых московских кругов, для связи с которыми в ближайшие дни поедет сын о. Васильева.

Обсудив мои предположения по поводу выгоды моего вступления в Красную армию для нашего дела, Соловьев вполне согласился с ними и одобрил их.

В заключение нашей продолжительной беседы Борис Николаевич сообщил мне, что имеет сведения, что отряд, который ездил в Тобольск, там задержался на время, никаких безчинств не произвел и вернулся обратно и что эти поездки, слава Богу, на жизни Их Величеств не отразились. При прощании Соловьев рекомендовал мне не особенно часто наведываться к нему на квартиру. Поэтому мы решили встретиться через два дня в местном театре во время вечернего представления, где, при наплыве публики, наша встреча может быть менее замечена.

ГЛАВА VI

Перед самой сдачей моих "Воспоминаний" в печать, во время моего пребывания в Париже, М. Г. Соловьева, жена Б. Н. Соловьева, о котором была речь в предыдущей главе и который скоропостижно скончался в полной нищете в Париже летом 1926-го года, передала в мое распоряжение ценные черновые, к сожалению, не законченные наброски покойного о его поездке в Тобольск.

Чтобы дополнить сказанное мною о моем пребывании в Тобольске, я привожу ниже без всяких изменений и поправок отрывок из заметок Б. Н. Соловьева, касающихся переговоров его с епископом Гермогеном в одну из его поездок в Тобольск, что и займет настоящую главу. Б. Н. Соловьев так начинает описание своего отъезда из Петербурга в Тобольск:

Приехав на Николаевский вокзал около семи часов утра, я расплатился с извозчиком, который, считая меня возвращающимся на родину солдатом, ругал меня всю дорогу. Выйдя на платформу, от которой должен был отойти мой поезд, я увидел толпу солдат, которая запрудила все запасные и подъездные пути.

Изредка с большим трудом протискивался через нее осыпаемый площадной бранью какой-нибудь служащий дороги. Носильщики злобно ходили около платформы, отмахиваясь от пассажиров, предлагавших взять у них багаж, так как все равно это было безполезно!

Никого в поезд они устроить не могли...

В толпе я узнал, что поезд должны подать минуть через двадцать. Протиснувшись с огромным трудом в первые ряды толпы, я увидел подходивший поезд. Толпа заволновалась, задвигалась и закричала. Когда поезд подошел совсем близко, все это море людей устремилось, сшибая друг друга с ног, топча тяжелыми сапогами упавших, в двери и окна еще не остановившегося поезда. Крики ушибленных, звон разбиваемых стекол, площадная брань, драка и борьба самая ожесточенная, вот была картина посадки в поезд в свободной, не "Царской" России!

Администрация не вмешивалась, так как была совершенно безсильна, да и вмешательство часто оканчивалось кровавой расправой со стороны озверелой толпы. Улучив удобную минуту, я через головы нескольких солдат бросил свой чемодан в одно из раскрытых окон вагона и энергично принялся протискиваться к этому окну. Мне посчастливилось, и я уже держался за окно руками, подтянулся и перегнулся корпусом во внутрь вагона. Еще мгновение, и я был бы там, но мой соперник, которого я опередил, здоровенный гвардейский солдат, в последний момент ухватил меня за ногу и энергично стал тянуть обратно.

Я брыкался ногами, но это еще более разозлило солдата, и он напрягал все усилия, чтобы вытащить меня из окна. Неизвестно, чем бы кончилась вся борьба, если бы на помощь мне не пришел мой собственный сапог, за который солдат тянул меня. Сапог стал слезать с ноги, и, прежде чем солдат сообразил, в чем дело, я с огромным усилием рванулся вперед и, оставив сапог в руках соперника, кубарем свалился на свой чемодан во внутрь вагона.

Солдат с сапогом, потеряв равновесие, упал на платформу, и в этот момент раздался свисток паровоза, и поезд плавно тронулся с места под брань и проклятия несчастливцев, не попавших в него. Бывали случаи, когда люди по несколько дней не могли попасть в поезд.

Осмотревшись и поднявшись с полу вагона, я увидел, что, кроме меня, на сундуках сидело еще трое солдат, а комфортабельное купе, правда, без диванов, оказалось уборной III-го класса!

Делать было нечего, Слава Богу, что и так устроился! Придя немного в себя, я одной из своих рубашек (что же было делать) замотал себе ногу, так как мороз доходил до 13-ти градусов по Реомюру, а окно было не только выбито, но и высажено с рамой.

Закурив, я погрузился в дремоту и незаметно заснул часа на полтора, когда громкие крики меня разбудили. Мы на первой большой станции, и поезд снова атаковывался новыми пассажирами... Надо было защищаться. Мои спутники энергично отталкивали от окна желавших влезть в него, ругались и кричали до хрипоты. Двери пришлось защищать мне, отругиваясь и не пуская ломившихся к нам. Уборная превратилась в цитадель, защищаемую многочисленным (судя по объему)

гарнизоном. Наконец поезд тронулся. Мы одержали победу и провели остаток ночи сравнительно спокойно. К нам товарищи перестали ломиться, видимо, примирившись с занятием нами этого необходимого учреждения... Рано утром, проснувшись, я с удивлением протер глаза: мои спутники сидели и с увлечением распивали чай из жестяных чайников, из которых весело струился пар. Так как чайника у меня не оказалось (большая с моей стороны опрометчивость), спутники любезно поделились со мной своим живительным напитком. На первой же станции я вылез в окно, правда, в одном сапоге, и мог умыться около водопроводной будки и возвратился обратно через двери, так как население вагона сильно уменьшилось за ночь. Протискиваясь сквозь вагон, я вдруг, к величайшей своей радости, увидел на одной из полок свой сапог. Я уже, было, схватил его, как чей-то голос с верхней полки крикнул:

- Эй! Куда ты прешь мой сапог?

Наученный горьким опытом, я ответил изрядным ругательством с обещанием накостылять за воровство. Под общий хохот я одел свой сапог и укрылся в нашем "купе".

На пятый день я благополучно прибыл в Тюмень, где, в ожидании лошадей на Покровское и чтобы немного передохнуть, остановился у моих незаменимых друзей староверов.

Они, не без удивления, рассматривали мой убогий наряд и, охая, поминая Имя Божие, слушали мой рассказ о путевых впечатлениях.

Рано утром на следующий день мне подали тройку, снабдили теплым тулупом, и я отправился в Покровское, которое, как известно, лежит на пути в Тобольск.

К обеденному времени ямщик уже стучался в ворота дома моей жены, а через минуту моя теща, шурин Димитрий и все домашние наперерыв спешили обнять меня, закидывая массой вопросов, на которые я едва успевал отвечать. Только после обеда, когда я остался наедине с моей тещей и Димитрием, я рассказал им о цели моего путешествия. Они сообщили мне, что поездка в Тобольск не безопасна, так как после ареста и высылки каких-то приезжих офицеров и придворной дамы (как я понял, речь шла о М. С. Хитрово), власти тщательно наблюдали за всеми приезжими, а тем более теперь, зимою, их очень мало. Мы решили, что на следующее утро меня отвезет в Тобольск Димитрий и я поеду под видом торговца красным товаром. Так и сделали; на следующее утро мы выехали в Тобольск. Путь был немалый, 240 верст, на одной лошади быстро его не сделаешь, тем более, что ударили сильные морозы, до 35-40 градусов по Реомюру. Лишь через четыре дня пути к вечеру на горе стали обрисовываться башни и колокольни церквей Тобольска.

Утомленные, мы остановились на первом попавшемся постоялом дворе. Рано утром нас разбудил колокольный звон, так как было воскресение, и, торопливо приведя себя в порядок, мы отправились к обедне в соборе, где как раз Литургию служил Епископ Гермоген, злой враг моего покойного тестя.

Епископ Гермоген отлично знал меня еще с детства и очень любил меня. Мой отец был тоже всегда в хороших отношениях с Владыкой, и даже когда его

постановлением Синода выслали из Петербурга, мой отец снабдил опального Епископа необходимыми на дорогу деньгами. Владыка Гермоген был настоящим безсеребренником и все, что имел, всегда раздавал нищим, а потому всегда нуждался в деньгах.

После обедни все присутствовавшие на богослужении стали подходить к Владыке под благословение. С бьющимся сердцем и не зная, узнает ли меня Владыка в наряде торговца, медленно приближался я с толпой к амвону. Несколько мгновений, и Владыка привычным жестом поднял руку, чтобы благословить меня. Взглянув мне в лицо, он вздрогнул, рука его как бы повисла в воздухе. Я наклонил голову, Владыка торопливо благословил меня и незаметно подал мне руку. Никто не заметил происшедшего.

Я отошел в сторону и стал ждать, пока собор опустеет и Епископ удалится в алтарь. Ко мне вскоре подошел старик монах и торопливым шепотом попросил прийти в Митрополичий дом после вечерни. Довольный удачным началом, не торопясь, вышел я из собора и в сопровождении Димитрия отправился на постоялый двор. Спускаясь в город из собора, я не мог не остановиться, пораженный картиной Тобольска, занесенного снегом, со множеством старинных церквей затейливой архитектуры. Действительно, вид из Кремля на город был чрезвычайно живописен.

На постоялом дворе в слободе нас ожидал кипящий самовар и различная сибирская снедь. Как водится, хозяева вступили с нами в разговор: зачем и надолго ли мы приехали? Удовлетворив их любопытство и сообщив, что останемся до первого базарного дня, мы из дальнейшего разговора выяснили кое-какие подробности из жизни Царской Семьи в Тобольске.

Обычно массы народа заполняли улицу перед губернаторским домом, где жила Царская Семья, и народ приветствовал появлявшихся в окнах Ее Членов. Исключения были очень редки. А местные татары, собравшись в один из своих праздничных дней во главе с муллой, перед домом отслужили под открытым небом молебствие о здравии Их Величеств...

Был также случай, когда, при прохождении Их Величеств в церковь, один рабочий крикнул по Их адресу обидное оскорбление, за что его народ чуть не разорвал на части!..

Эти безхитростные рассказы заинтересовали меня, и я мог убедиться, что пребывание Царской Семьи в Тобольске служило животрепещущей темой для обывателей и, если хотите, стало как бы предметом их гордости: вот, мол, знай наших, тобольских, у нас Сама Царская Семья проживает!

Вскоре Димитрий ушел в город навестить кое-кого из знакомых, а я отправился к губернаторскому дому. Он находился совсем недалеко от пристани. Загороженный с одной стороны временным деревянным забором, окруженный караульными будками, он произвел впечатление формальной тюрьмы. Обойдя его кругом и хорошо ознакомившись с его местоположением, я остановился напротив главного фасада, медленно раскуривая трубку, чтобы не обращать на себя внимания часовых, сам же внимательно всматривался в окна, где изредка мелькало светлое

женское платье, по-видимому, одной из Великих Княжен. Но долго задерживаться не приходилось, и я, повернувшись, пошел назад.

Не успел я сделать и нескольких шагов, как из-за угла навстречу мне вышел генерал Татищев. Это вовсе не входило в мои расчеты... Вдруг узнает... Остановит и заговорит?... Закутав поглубже лицо шерстяным платком, я быстро прошел мимо него. Генерал не узнал меня.

Миновав и тщательно обходя дом, в котором помещалась Свита, я пошел обратно на постоялый двор, по дороге заметив хорошенько, чтобы не искать, один дом, куда я намеревался зайти после свидания с Владыкой.

На постоялом дворе я застал Димитрия, с которым поделился впечатлениями. Он, в свою очередь, рассказал мне, что все его знакомые купцы на базаре в один голос подтвердили ему, что население в огромном большинстве, действительно, очень сочувственно относится к Их Величествам и, если и есть недоброжелатели в среде немногочисленных рабочих и прибывающих с фронта солдат, то за их малочисленностью это существенного значения не имеет. Он также рассказал мне, что навестил знакомую монахиню, которая довольно часто бывает в губернаторском доме, куда она носит съестные продукты, и что ею можно воспользоваться для передачи чего-либо Их Величествам.

Вскоре церковные колокола зазвонили к вечерне. Пробыв в соборе до конца вечерни, я подождал, пока разошлись все молящиеся, вышел из церкви и через несколько минут оказался около Митрополичьего дома. Открывший мне массивную дубовую дверь монах сказал мне, что Владыка уже меня ожидает.

Епископа Гермогена я нашел в большом кабинете, склонившегося над письменным столом. Увидев меня, он торопливо пошел мне навстречу и после благословения ласково обнял меня и воскликнул:

- Какими судьбами?! Вот уже не ожидал!

Он приказал келейнику приготовить чай, усадил меня рядом с собой, расспрашивая меня о моем отце и родственниках. Я давно уже не видел Владыку, и мне понадобилось много времени, чтобы рассказать ему о моей жизни за последние годы.

Когда я дошел до рассказа о своей женитьбе, Владыка вскочил со своего места, словно ужаленный, а затем стал быстро ходить по кабинету, что-то бормоча про себя, то вздыхая, то крестясь. Наконец он подошел ко мне, крепко поцеловал и сказал, что это я очень хорошо сделал.

- Я знаю, - говорил он, - что великий крест ты на себя взял, женившись на дочери Григория в такое время, но верю, что ты будешь для нее верной и крепкой защитой! Совершишь великий подвиг, и Господь не оставит тебя за твою любовь к гонимым и обездоленным! Слушай! Ты отлично знаешь историю моих отношений с покойным Григорием! Я его любил и верил в него, вернее, в его миссию внести что-то новое в жизнь России, что должно было укрепить ослабевшие связи между Царем и народом на пользу и благо последнего! Но его самовольное отступление от нашей

программы, противоположный моему путь, по которому он пошел, его нападки на аристократию и на таких людей, как Великий Князь Николай Николаевич, которых я всегда считал опорою Трона, заставило вначале меня отвернуться от него, а затем, видя его усилившееся влияние при Дворе и учитывая, что при этом условии его идеи будут еще вредоноснее, я начал энергичную кампанию против него. В азарте этой борьбы я многого не замечал. Я не видел, например, что моя борьба усиливает вредные элементы среди оппозиции Государственной Думы. Я не видел, что, словно сатана, искушавший Христа, вокруг меня вертится, неустанно внушая мне ненависть, упорство и злобу, это подлинно презренное существо, Илиодор! Результаты ты помнишь? Громкий скандал: я побежден и отправлен в ссылку в Жировицкий монастырь, где, когда волнения души улеглись и я обрел возможность спокойно размышлять, я с ужасом увидел итог моего выступления: борясь за Трон, я своей борьбой только скомпрометировал его лишний раз! Сколько мук и терзаний пережил я потом! И вот, 1916-й год, декабрь месяц, и Григорий убит!.. Тебе расскажу я, как я узнал эту новость. Я служил обедню в монастыре. Богомольцев было мало, и службу я окончил сравнительно рано. Благословив присутствовавших, я разоблачился, надел шубу и в сопровождении своего келейника пошел к себе в келью. На пути, как обычно, меня встретил о. гостинник с отобранной для меня корреспонденцией, немногими письмами и газетами, которые я регулярно выписывал. Поблагодарив о. гостинника, я прошел к себе, где келейник раздел меня, дал домашний подрясник и туфли. Так как время близилось к обеду, то я тут же благословил его идти на монастырскую кухню, что он и исполнил.

Я остался один. Надев туфли, вооружившись очками, я принялся за чтение газет. Первое, что мне бросилось в глаза, это было сообщение о смерти Григория Распутина... Я невольно подумал: вот, он гнал меня, и за него я нахожусь сейчас на положении ссыльного, но возмездие было близко, и кара Божия обрушилась на него, и он убит!

Вдруг, я никогда не забуду этого момента, я ясно услышал громкий голос Григория за спиной:

- Чему радовался?.. Не радоваться надо, а плакать надо! Посмотри, что надвигается!

Я обомлел в первую минуту от ужаса... Уронив газету и очки, я боялся повернуться, да и не мог сделать этого... Словно остолбенел. Наконец, перекрестившись, я быстро встал, оглядел келью - никого! В прихожей тоже никого!.. Опустившись на кресло, я не знал, что предпринять! В это время раздался стук в дверь и обычная молитва: - Господи Иисусе!

- Аминь! - с трудом ответил я; вошел с едой мой келейник. Не успел он переступить порога, как я его осыпал вопросами, не встречал ли он кого-либо по дороге и в коридоре и не разговаривал ли он с кем-нибудь по дороге, на что получил отрицательный ответ!..

Я не мог ничего есть, тщетно стараясь объяснить себе этот странный случай... Наконец я задал себе вопрос:

- Чей голос слышал я?

Пришлось ответить: Григория!.. Я не мог в этом ошибиться!

Не мне тебе рассказывать, ты это не хуже меня знаешь, что Григорий был особенным человеком, и много чудесного связано с его личностью. Одно скажу, я с трудом дождался вечерни, после которой я отслужил по нем панихиду, давно примирившись с ним...

Владыка стал мне много рассказывать о Григории Ефимовиче, но так как я торопился, то он, благословив, отпустил меня, условившись, что во время моего пребывания в Тобольске мы будем видеться после вечерни.

Выйдя из Митрополичьего дома, я быстро пошел по направлению к дому, который я заметил еще днем, и через несколько минут был у цели. Не скоро мне открыли дверь. Сначала подробно опросили, к кому и зачем, и наконец дверь, запертая на несколько засовов, отворилась.

Раздевшись в передней, я прошел в комнату, где меня встретила с недоумением и заметной тревогой молодая девушка лет 23-х.

Это была Х., придворная служащая при Государыне. Во время отъезда Их Величеств из Царского Села она была больна, и было решено, что она приедет позже. Но когда она, поправившись от болезни, приехала в Тобольск, охрана не допустила ее в губернаторский дом, и она была принуждена остаться в Тобольске со слабой надеждой, что, быть может, ей впоследствии удастся изменить решение отрядного комитета.

Она была безпредельно предана Их Величествам и пользовалась Их доверием и любовью.

Меня она никогда не видела раньше, чем и объясняется ее недоумение и страх при виде меня. Я ей объяснил, что приехал по поручению А. Вырубовой и передал ей ее письмо.

Когда она кончила его читать, ее испуг сменился радостью, и она была безконечно благодарна мне за сообщенные ей последние петербургские новости о ее родных и знакомых. Я передал ей, что имею несколько посылок для Их Величеств, которые нужно передать, не возбуждая ничьих подозрений. Она с радостью согласилась исполнить мою просьбу через камердинера Государыни Волкова, который имел свободный доступ в дом и у которого она часто бывала.

Деньги и целый ряд писем для Их Величеств я оставил у Х., и она завтра же обещала передать их Волкову. Условившись прийти к ней на следующий день вечером, я в радужном настроении покинул ее. Все складывалось, как нельзя лучше. Господь не оставлял меня Своими милостями!

На другой день вечером я снова был у Владыки. Благословив и поздоровавшись со мной, Владыка сразу же сказал:

- Вчера за спешкой ты так и не сказал мне толком, зачем сюда приехал?.. Я много думал и догадался еще в соборе, что неспроста ты пожаловал в наши края, но раньше моих догадок ты сам мне все расскажи.

Я подробно рассказал Владыке, зачем приехал, рассказал и о А. Вырубовой и о ее мытарствах и хлопотах по приисканию денег. Я не скрыл от Владыки, что далеко не все, к кому обратилась Анна Александровна, откликнулись на ее мольбы о помощи несчастной Царской Семье, и, что удивительнее всего, пришли на помощь лица, на которых, по теории вероятности, меньше всего можно было рассчитывать, а именно: жена нашего бывшего военного министра Сухомлинова, недавно выпущенная из тюрьмы, милая, добрая Екатерина Викторовна, которая никогда не пользовалась расположением Их Величеств и была впервые принята Ее Величеством незадолго до войны. С христианским всепрощением, забывшая с мужем все, что им пришлось перенести за последние годы кошмарных обвинений, крепости и суда, Екатерина Викторовна пришла на помощь не только материально, пожертвовав последними крохами, но и вещами, которые привез я и которые были доставлены Царской Семье при помощи Х.

Другим лицом, откликнувшимся на призыв Анны Александровны, был известный банкир Ярошинский, поляк по происхождению, который с большой сердечностью материально пришел на помощь для улучшения положения Царской Семьи.

Владыка молча, не прерывая меня, слушал, изредка покачивая головой. Когда я кончил, Владыка сказал, что я сделал благородный поступок, взяв на себя миссию помочь Несчастным.

- Бог наградит тебя за это... А люди, - тут Владыка задумался, - ну, да что о них говорить, будь ответчиком перед своей совестью, будет она покойна, ничьи суждения тебя не потревожат, и помни всегда, что добро и любовь должны светиться в человеке независимо от его политических убеждений.

Затем Владыка поделился со мной своими впечатлениями о своей поездке к Святейшему Патриарху Тихону.

- Много мы беседовали со Святейшим и о судьбе России, и о Царской Семье. Он убежден, да и меня убедил, что царство большевиков на Руси неизбежно и продлится долго, несколько лет, по всей вероятности, а если вспыхнет, не дай Бог, гражданская война, то затянется еще дольше. Его стремление отделить Церковь от политики и сохранить тем ее в тяжелое время. Что касается Царской Семьи, Святейший очень скорбел о Их судьбе, говорил мне, что он хоть бы морально помогал Узникам, но лично для Них ничего сделать не может, а монархистов, которые могли бы помочь, как организации, в Москве не существует. Все рассыпались, все заняты спасанием своих животов. На прощание Святейший дал мне большую просфору, просил передать Государю вместе с его Патриаршим благословением.

Радость, которую я имел по случаю вступления на Патриарший престол Святейшего Тихона, возрождения Патриаршества на Руси, омрачилась беседами со Святейшим и многими лицами, собравшимися тогда в Москве.

Эта поездка нанесла сильный удар моему оптимизму. Я стал внимательно приглядываться к настроению различных слоев общества, особенно его низов. Я почуял большую силу, которая мне не без основания казалась вредной, с которой надо было бороться, хотя бы и без надежды на успех. С тяжелым сердцем я выехал из Москвы и, доехав с трудом до Тобольска, отдался здесь целиком борьбе с большевизмом. И должен тебе признаться, что последний сильнее моей проповеди. Я с ужасом вижу, как эта зараза распространяется по краю.

Что касается моего мнения о судьбе Царской Семьи, то положение ее трагическое. Вряд ли кто думает и отдает себе в этом ясный отчет. С приходом большевизма Их ждет несчастный жребий Марии Антуанеты и Людовика. Все в истории повторяется, и разве ты в России не слыхал пожеланий уничтожить Их? Да что в России! Такие голоса раздаются уже у нас, в Тобольске! Нет, нет, не помогать Им деньгами, не кофточки и одеколон посылать Им - спасти Их надо! Понимаешь, спасти!

Я был потрясен беседой с Владыкой. У меня как бы раскрылись глаза, Да, я слышал повсюду требования судить, а чаще просто убить бывшего Царя. Я лишь не отдавал себе отчета, насколько серьезны эти угрозы. Опасность для Царской Семьи была налицо. Ее тихое и мирное пребывание в Тобольске могло сразу и совершенно измениться к худшему. Для этого только стоило в Тобольске появиться большевикам! Да! Владыка был прав, в истории все повторяется, и Русский Император со Своей Семьей в Тобольске, быть может, были недалеки от трагических дней, пережитых в свое время в Тюльерийском дворце. Владыка, видя мое смущение, прервал воцарившееся молчание:

- Не падай духом, мужайся и помни, что пути Господни неисповедимы! Молись, и вера в Господа даст тебе спокойный и здравый рассудок!

Я чистосердечно ответил Владыке, что есть мудрая русская пословица, которая к создавшемуся положению, к сожалению, не применима, а именно: береженого и Бог оережет.

Я не вижу, чтобы кто-нибудь берег Их Величества и даже серьезно думал над этим вопросом, кроме Владыки. Но разве он один может уберечь Царскую Семью, не говоря даже о Ее освобождении и вывозе из Тобольска.

Владыка встал из своего кресла и нервными шагами прошел по комнате из угла в угол.

- Я пастырь, я призван духовно пасти моих верующих чад. Я по своему положению у всех на глазах. Я не могу быть ни конспиратором, ни организатором тайного общества, кое должно быть тайным, ты это и сам понимаешь... Добился негласной связи с Царской Семьей и поддерживаю Ее не только духовно, но. по возможности, и материально, но эта последняя помощь ничто перед тем, что нужно было бы сделать... Когда Их Величества перевезли в наши края, я был уверен, что непосредственно приедет, действительно, строго конспиративно не одно лицо, а целый ряд преданных и верных Им людей.

У меня и в мыслях не было помышлять о добывании материальных средств, я не говорю уж, для Их спасения, а для Их повседневной жизни. В прошлом сентябре

исподволь да разумно можно было многих людей здесь разместить, ну, а теперь.., Теперь все изменилось. Много напортило неудачное появление здесь М. С. Хитрово. Я ни на минуту не сомневался и не сомневаюсь в ее преданности и безграничной любви к Царской Семье, но она была слишком малоосмотрительна во время своей поездки. И разве от нее можно требовать какой-то партийной конспирации, присущей нашим противникам? Не нам судить ее за ее искреннее желание помочь Их Величествам. Потом приехало несколько человек офицеров. Нашумели, наболтали лишнего и были высланы. Результатом всего этого явилось строгое наблюдение за всеми приезжими. Теперь оно несколько ослабло, потому что за последние месяцы никто сюда не приезжал, но все советую тебе быть осторожным. Помни, что всякий опрометчивый шаг с нашей стороны может быть гибелью для Тех, о ком мы заботимся...

Из дальнейшего разговора с Владыкой я выяснил, что наилучшим способом незаметного пребывания вблизи Тобольска являются его окрестности, на которые местное начальство пока своего внимания не распространяло.

По его совету я на следующее же утро выехал в Абалакский монастырь, находящийся неподалеку от Тобольска.

- Там найдешь ты подкрепление своим духовным силам и увидишь людей, кои, как и ты, хотят помочь Их Величествам, - напутствовал меня Владыка.

Наша отдохнувшая от долгого пути лошаденка бодро бежала по широкому укатанному снежному пути, и совсем незаметно мы очутились перед зубчатыми стенами Абалакского монастыря.

Монах привратник с молчаливой дружелюбностью встретил нас и проводил в приемную комнату монастырской гостиницы, а сам пошел за отцом гостинником. В высокой сводчатой комнате давно, видимо, не топлено и пахло смесью сырости и ладана... Я опустился в широкое клеенчатое кресло, и глаза мои остановились на полинявших портретах Государя и Государыни.

- За что, за что эти муки, страдания? - казалось, говорили мне задумчивые глаза Императора.

Острая сердечная боль прорезала меня, и точно какой-то клубок подошел к моему горлу... В этот момент вошел в комнату о. гостинник.

- Господи Иисусе, - услышал я.

Димитрий и я вскочили с места. О. гостинник очень радушно нас принял, но так как здание не отапливалось, то он предложил нам пройти в церковь, где шла вечерняя служба, чтобы этим временем затопить печь в обеих предоставленных нам комнатах.

Я охотно последовал совету монаха. В небольшой, покрытой сводами церкви царил полумрак. Несколько свечей у икон и лампады были всем освещением. Человек пятнадцать монахов стояли рядами, слушая заунывный голос чтеца, перебирая четками, беззвучно шевеля губами молитвы.

Отогревшись в церкви, я опустился на скамейку в совершенно не освещенном притворе, рассеяно следя за службой, и вскоре целиком предался мыслям. Неизменно мысли возвращались все к той же думе о судьбе Царской Семьи. Я все более убеждался в правдивости слов епископа Гермогена, что не конфеты и шоколад Им нужны, а что нужно Их спасти. Но легко сказать спасти, но как? И упорно думая над этим вопросом, начал намечать план Их спасения.

Предположение, что можно вывезти Их при помощи союзников, путем дипломатических переговоров - долгая и безцельная канитель, так как хозяевами в Москве не сегодня-завтра станут немцы.

Что же делать?

Оставался единственный способ: это похищение и увоз в надежное место, где Они могли бы пока скрываться в безопасности. А сколько времени Они должны будут скрываться? Ведь не до безконечности. Средство радикальное, но применить его можно только в крайнем случае, когда перед лицом опасности другого выхода не будет. А затем, как Их похитить? И кто способен на это рискованное для самой Императорской Семьи дело?

Вдруг неожиданно шагах в двух-трех от меня на каменном полу что-то заворочалось, загремев цепями. От неожиданности я прямо остолбенел. Это "что-то", поднимаясь, приобрело человеческий образ. Неведомый странник в продолжении всего времени был распростерт на полу, и естественно, что в темноте притвора я его не заметил.

Поднявшись, он с укоризной обратился ко мне:

- Измаял ты меня, окаянный, душу вымотал, всю службу испортил. Ты бы, Понтий Пилат, вместо думать, помолился бы. Молись Царице Небесной, а думать за тебя подумают. Муж разумный видит путь и идет по нему, а неразумный сидит у ворот да думает, как пройду.

И, пустив не то ругательство, не то молитву по моему адресу, гремя веригами, прошел вперед к алтарю, где опустился на камни и погрузился в молитву.

Я еще долго не мог прийти в себя. Самое интересное, чем это я потревожил странника? Я сидел безмолвно, и, по правде говоря, это странник меня побезпокоил, зашевелившись неожиданно на полу. Что он говорил? Зачем он говорил, что не надо думать, а молиться?

Как узнал он мои мысли? Такие люди водились у нас на Руси, я знал много примеров и удивлен этому не был. Решив расспросить обо всем о. гостинника, я по окончании службы, приложившись к чудотворному образу Абалакской Божией Матери, пошел в гостиницу, спеша расспросить монаха о страннике. В келии, отведенной мне, было уже тепло, ярко горела керосиновая лампа и в углу перед образами теплилась лампада, придавая уют маленькой комнате.

На столе, застланном белой с красными цветами скатертью, был расставлен чайный сервиз, а через минуту появился о. гостинник с кипящим самоваром в руках.

Я пригласил монаха к столу, на что тот охотно согласился и, сев напротив меня на кресло, принялся разливать чай.

Я вытащил из корзины различную снедь и с аппетитом принялся за горячий чай, и монах принялся тоже. Сразу же, не дав времени монаху расспросить, откуда я, я ему рассказал о своем испуге в церкви. Монах долго смеялся, прежде чем мог рассказать мне о страннике.

Странник, по его словам, уже несколько лет известен в монастыре и ежегодно раз-два появляется на несколько дней у них. Он немного ненормален, а может быть, и прикидывается таким. Народ его называет "блаженненьким", он никого не обижает, милостыни не просит и вообще существо безвредное. Он чрезвычайно религиозен и не расстается с тяжелыми веригами, которые носит на голом теле. Есть богобоязненные люди, которые утверждают, что он читает чужие мысли, что его молитва помогает болящим, но насколько эти слухи правдивы, монах не ручался, говоря:

- Много их тут ходит, так и не разберешь, который святой, а который грешный.

Стук в дверь и обычная молитва: Господи Иисусе, - прервал его рассказ.

В келию вошел тот, о котором шла речь, странник Афоня.

- Чайком побалуешь, что ли, барин? - обратился он ко мне. Я подвинул ему стул, а монах пошел за стаканом. Я думал, что странник неспроста зашел ко мне, и ждал, что он начнет разговор. Но не тут то было. Он целиком погрузился в чаепитие, упорно не желая вступать в разговор.

Самовар потух, чай был допит, а странник все молча сидел на своем месте. О. гостинник стал убирать со стола и скоро, пожелав мне доброй ночи, ушел к себе.

Странник, позвякивая веригами, встал:

- Ну, прощения просим, - сказал он, - ты меньше думай, больше делай. Не робей, воробей, дерись с орлом. Да что меня, дурака, слушать! Купец почтенный, счастливо тебе оставаться, прощай, да звать то как? Борис? Ладно, молиться буду.

Я дал ему денег, и странник оставил меня одного.

Утром, отслужив молебен и осмотрев монастырь, поблагодарив монахов за гостеприимство, мы с шурином отправились в обратный путь в Тобольск. Стояла чудная погода. Яркое солнце переливалось всеми цветами радуги на снежных покровах дремучего леса, окаймлявшего дорогу. Снег приятно хрустел под полозьями саней. Отдохнувшая лошадь, пофыркивая, бодро бежала вперед, покрытая густым инеем от испарины.

Скоро показался город, а через час я с шурином были на том же постоялом дворе, который за время нашего отсутствия словно ожил и наполнился громкой людской речью, игрою на гармонике, оживленным движением и шумом. Все это были

съехавшиеся к базару крестьяне окрестных деревень, среди которых было и несколько деревенских купцов-торгашей.

Напившись чаю, я отправился было в митрополичий дом, но, к сожалению, келейник мне сообщил, что Владыка сегодня занят и очень просит меня зайти завтра в то же время.

Погуляв по городу, я не спеша отправился к дому, где жила Х., и в условленное время позвонил у подъезда. Она уже ожидала меня. Большая часть вещей была уже передана Царской Семье, оставались книги и большая бутылка одеколона, за который Х. особенно волновалась; пронести ее незаметно почти не представлялось возможным.

Оживленная болтовня Х., главным образом, ее забота об одеколоне вызвали у меня в памяти слова епископа Гермогена: не духи и шоколад Им нужны.., что не замедлило отразиться на моем настроении. Действительно, думалось мне, мы все точно ослепли и не видим надвигающегося ужаса. Не выдавая однако Х. своих мыслей, я с интересом принялся за письмо Государыни и записки Великих Княжен. Особенно последние были довольны и счастливы полученным подаркам. Все были очень рады видеть меня и лишь сожалели, что нельзя было говорить со мной лично. Государыня писала Х., что это Бог устроил, что она не попала к Ним в Дом Свободы, так как, оставаясь вне его, она для Них является более полезной, чем кто-либо.

В письме была небольшая записка, сложенная вчетверо и тщательно заклеенная. На ней была надпись рукой Государыни: лично для молодого офицера.

Я извинился перед Х. и с нетерпением вскрыл записку.

По вашему костюму торговца вижу, что сношения с Нами не безопасны. Я благодарна Богу за исполнение отцовского и Моего личного желания: Вы муж Матреши. Господь да благословит ваш брак и пошлет вам обоим счастие. Я верю, что вы сбережете Матрешу и оградите от злых людей в злое время! Сообщите мне, что вы думаете о Нашем положении. Наше общее желание это достигнуть возможности спокойно жить, как обыкновенная семья, вне политики, борьбы и интриг. Пишите откровенно, так как Я с верой в вашу искренность приму ваше письмо. Я особенно рада, что это именно вы приехали к Нам. Обязательно познакомьтесь с о. Васильевым, это глубоко преданный Нам человек. А сколько времени намерены пробыть здесь? Заранее предупредите об отъезде.

Я прочел еще раз письмо и задумался. Что я должен ответить Императрице на заданный Ею вопрос? Подумав, я решил посоветоваться с епископом Гермогеном и передать Х. ответ для Императрицы завтра вечером. Приняв это решение, я скопировал письмо Государыни известным только мне шифром, а сам подлинник вместе с письмом Императрицы к Х. и записками Великих Княжен сжег в топившейся в комнате печке.

Попросив Х. сообщить Императрице, что я пробуду в Тобольске еще несколько дней и дам ответ на Ее письмо завтра вечером, я спросил ее, знает ли она священника Васильева.

Она рассказала мне уже известную историю с его арестом и отстранением его от несения обязанностей духовника Царской Семьи. Лично по ее мнению, о. Васильев вполне преданный Царской Семье человек, горячо Их любящий и, если и есть у него какие-нибудь недостатки, то это один - чрезмерное увлечение вином. Случалось часто, что о. Васильев напивался сильно пьяным. Больше Х. ничего не могла сообщить, и я решил завтра сам увидеть, что собой представляет о. Васильев.

Попрощавшись с Х., я отправился на постоялый двор, где меня ожидала большая неприятность. Шурин, которому надоело безделие в городе, решил оставить меня и уехать домой, и лишь после усиленных просьб согласился подождать еще два-три дня.

Утро началось с посещения базара, потом обедни в церкви, где служил о. Васильев. Торопливое совершение службы произвело на меня неприятное впечатление. После обедни я подошел к нему и попросил его переговорить с ним наедине.

Священник пригласил меня в алтарь и, с любопытством разглядывая меня, ожидал, когда я заговорю.

Я ему сообщил, что приехал в Тобольск, чтобы несколько помочь материально Царской Семье, и что Императрица выразила желание, чтобы мы познакомились. О. Васильев, по-видимому, наученный горьким опытом, с большой осторожностью отнесся к моим словам и делал вид, что весьма удивлен моему появлению, а тем более моему заявлению, что я являюсь по поручению Императрицы, так как он с Царской Семьей ни в каких отношениях не находится. Видя безцельность разговора, я попросил его назначить свидание завтра и сказал ему, чтобы он за это время навел справки обо мне у епископа Гермогена. Распрощавшись с о. Васильевым, я ушел из церкви, недовольный затяжкой из-за этой осторожности о. Васильева, но вместе с тем я отдавал ему должное. Мне очень понравилась его осторожность. Это серьезный человек, думал я про себя, и Императрица недаром меня к нему направила.

Придя на постоялый двор, я попал прямо к обеду, после которого мой шурин начал меня укорять, что я ничего не делаю, зря сижу в Тобольске, а главное, держу его, тогда как в Покровском у него оставлено хозяйство и работа. Я, как мог, успокаивал его, обещая через два дня уехать обязательно.

Едва дождавшись вечерни, я торопливо оделся и ушел в Собор, чтобы потом пройти, как было условленно, к еп. Гермогену.

По дороге к собору я задумался над вопросом:

Что же, собственно, я сейчас делаю, чем я занят? Быть может, шурин прав, что я ничего не делаю и зря сижу в Тобольске?

Ответить утвердительно на этот вопрос я не мог. Я не мог сказать, что я ничего не делаю, так как что-то подсказывало мне, что я нащупываю почву, изучаю обстановку дела, на которое, правда, я еще не решился, но, во всяком случае, я не сижу праздно.

За думами время шло незаметно для меня, и вот я вновь в обширной зале Митрополичьего дома.

Владыка тут же извинился, что вчера не мог принять меня, объяснив, что вчера у него было собрание представителей Тобольского купечества, которое он созвал для решения вопроса о помощи нуждающимся воинам, возвращающимся с войны, так как помощи последним ни со стороны военного, ни гражданского ведомств никакой не оказывалось. Многие из них были больны, ранены и не способны к физическому труду. Не получая ниоткуда помощи, они, естественно озлоблялись и все надежды свои возлагали на время, когда действительная советская власть придет им на помощь. Для того, чтобы помочь несчастным, с одной стороны, и отнять их у большевиков и оторвать от их влияния, с другой, еп. Гермоген и задумал основать в Тобольске союз фронтовиков, рассчитывая на общественную помощь.

Дело организации долго не налаживалось, главным образом, из-за недостатка средств, так как пока на все призывы Владыки ему отвечали лишь обещаниями. Недоволен Владыка остался и вчерашним совещанием у себя.

- Сами лезут большевикам в лапы, словно рассудок потеряли, денег жалко, да денег ли теперь жалеть? Боюсь, что скоро каяться начнут, пожалеют, что ничтожной суммы не дали и не отдали всего до последней копейки! Ну, да что горевать, - закончил Владыка, - не люди, Бог поможет!

Я, подумав, спросил его:

- Велики ли деньги требуются?

На это епископ мне сказал, что пока до тысячи рублей в месяц, я вынул из кармана тысячу рублей и передал их изумленному епископу. Он горячо благодарил меня, говоря, что за этими деньгами потянутся и другие, что трудно только начало. Когда проявления радости Владыки немного улеглись, я ему сказал, что не отказываюсь и от дальнейшей помощи союзу, но лишь, быть может, поставлю впоследствии некоторые условия, вполне, конечно, приемлемые для Владыки.

Затем, рассказав Владыке, как я провел эти дни, я сообщил ему о письме Императрицы и спросил Владыку, что он об этом думает.

Владыка ответил, что я очень хорошо сделал; что у Императрицы, а следовательно, и у Государя, начинаются опасения за свою судьбу, за судьбу горячо любимых детей и что надо быть весьма осторожным в ответе, который для Них чрезвычайно важен, и что я понесу всю моральную ответственность за него.

Долго обсуждали мы его содержание, и, наконец, пришли к заключению, что надо сказать правду, хотя бы она была ужасна и могла смутить Их покой.

- Я не могу лгать, хотя бы из-за соображения, что эта ложь успокоит обреченных, - говорил епископ, - и тебе запрещаю, так как предупреждение об опасности вызовет в Них желание защищаться и не отдаваться без борьбы; исход же борьбы, особенно ежели ты готов к ней, может быть и удачен. Я считаю, что не успокаивать нужно и

усыплять Их безпокойство ложью, но правдою внести тревогу, а с ней и энергию, волю и готовность к борьбе.

Действительно, сомнений в том, что Царской Семье угрожает опасность, ни у меня, ни у епископа Гермогена не было и с уверенностью в нашей правоте я тут же, у Владыки, написал Императрице записку следующего содержания: "Глубоко признателен за выраженные чувства и доверие. Приложу все силы исполнить Вашу волю, сделать Мару счастливой. Вообще, положение очень тяжелое, может стать критическим. Уверен, что нужна помощь преданных друзей или чудо, чтобы все обошлось благополучно и исполнилось Ваше желание о покойной жизни. Искренно преданный Вам Б." Эта короткая записка была написана без обращения и без подписи, чтобы в случае, если она попадется в руки властей, Царская Семья не была бы скомпрометирована. Владыка Гермоген одобрил ее текст, и я положил ее в карман, чтобы передать Х.

- Я совсем забыл тебе сказать, что у меня сегодня был о. Васильев, который приходил специально узнать о тебе, кто ты и можно ли тебе верить, что ты имеешь поручение от Императрицы познакомиться с ним. Я, конечно, дал ему лучший отзыв о тебе, и он не будет так скрытен, как при первом вашем свидании.

Я, в свою очередь, посвятил Владыку в желание Императрицы, чтобы это знакомство состоялось, и просил Владыку сказать, что он думает об о. Васильеве.

- Рассказывать тебе о священнике Васильеве, это писать целый роман с описанием нравов русского общества восьмидесятых годов в Сибири. Кратко, в нескольких словах, могу тебе сообщить следующее: он сын одного дьячка Тобольской губернии, окончил духовную семинарию и был рукоположен в священники. Предаваясь неумеренному потреблению вина, он в пьяном виде утопил в бочке с водой своего псаломщика. Собственно говоря, преступление не было доказано, возможно, что псаломщик в пьяном виде утонул сам, свидетелей не было, а протрезвившись, о. Васильев сознался, что был пьян до того, что ничего не помнит, но все-таки не допускает мысли, чтобы он смог решиться на убийство псаломщика, который был к тому же его близким другом.

Суд осудил его за пьянство на церковное покаяние, и он был сослан на несколько лет в один из сибирских монастырей. Ссылка изменила его несколько, и долгое время, вернувшись в Тобольск, он вел трезвый образ жизни, свихнувшись лишь немного за последние годы. В отношении его политических убеждений, я считаю его убежденным монархистом, преданным всецело Царской Семье, и человеком, которому можно доверять вполне.

Долго мы еще беседовали с Владыкой. Он горевал, что монархизм в России оказался совершенно неорганизованным и рассыпался в прах при первых ударах революции.

Я спросил у Владыки по этому поводу, не пережила ли Монархия сам монархизм? Существует ли он вообще в России и не является ли идеей лишь небольшой кучки заинтересованных материально лиц?

Владыка только печально покачал седой головой.

Условившись, что мы встретимся завтра, мы расстались, и я отправился к Х. отнести свое письмо-ответ Государыне.

У Х. меня ожидало несколько записок от Великих Княжен, восторг которых перед привезенными подарками никак не мог улечься. Наследнику больше всего понравился шоколад, о чем Он и доводил до сведения.

Передав ей записку к Императрице, я отправился домой, условившись встретиться с ней завтра в соборе в четыре часа. Придя на постоялый двор, я достал недавно приобретенную карту Западной Сибири и Тобольской губернии и принялся за ее усердное изучение, время от времени справляясь у шурина относительно деревень и сел, о которых он хоть что-нибудь знал.

Решив проехать по некоторым из них, я стал заманивать шурина, который ничего и слышать не хотел.

- Домой и домой! - вот был ответ.

Я прибегнул тогда к маленькой хитрости. Я знал, что в 17-ти верстах от Тобольска есть глухая деревушка, где жила одна молодая девушка, затронувшая сердце шурина. Я предложил ему съездить туда, говоря, что меня интересует этот подлинно медвежий угол. Шурин согласился, слишком велико было искушение. Решено было послезавтра поехать туда, а потом заехать в Тобольск, а оттуда ехать медленно домой в Покровское, по которому шурин сильно стосковался, не без основания безпокоясь об оставленном на моей теще хозяйстве.

Мой следующий день начался Благовещенской церковью, где служил о. Васильев. Последнего словно подменили. Он радушно поздоровался со мной и долгое время извинялся, что принял меня с таким недоверием в первый раз.

После обедни он пригласил меня к себе, говоря, что там будет удобнее поговорить о делах без риска быть подслушанными. Я охотно согласился и церковным двором прошел вслед за ним.

Оказалось, что специально для меня был устроен обильный завтрак, и матушка, жена о. Васильева, забитое и безцветное существо, радушно угощала сибирской снедью, которой был заставлен обеденный стол. После завтрака я пошел в комнату сына о. Васильева, где и начал беседу со священником.

Чтобы вызвать его на разговор, я начал с выражения сочувствия по случаю перенесенных им неприятностей из-за произнесения многолетия Царской Семье. О. Васильев подхватил эту тему и начал рассказывать, как это случилось. Так как я уже говорил об этом раньше, то не буду на нем останавливаться и перейду дальше.

Много интересного сообщил мне о. Васильев и о Царской Семье, о ее служителях, охране, о настроении многих лиц, причастных к администрации города и т. д. Он был в курсе всех событий в городе, слухов, сплетен и пр. Я сразу же понял, что в лице о. Васильева можно иметь чрезвычайно ценного осведомителя.

Между прочим, о. Васильев рассказал мне, что у него квартирует с семьей некий Кирпичников, придворный служитель, имеющий право свободного входа в дом губернатора. Он помогает Государю в Его физических работах, и при его посредстве о. Васильев может ежедневно и по несколько раз сообщаться с Царской Семьей. Кирпичников находился в хороших отношениях с охраной, хаживал и в отрядный комитет, где завел себе друзей среди отряда писарей. Одним словом, о. Васильев считал его весьма полезным человеком.

Я спросил, знает ли он Кобылинского. О. Васильев ответил, что знает отлично, и сразу же стал предостерегать меня относительно последнего, говоря, что Кобылинский играет на два фронта и благодаря ему была выслана из Тобольска фрейлина Хитрово и два офицера братья Раевские. Раевских он знал отлично, так как они бывали у него. Они произвели на него впечатление очень молодых людей, вернее, мальчиков школьного возраста, начитавшихся Жюль Верна и пр., занятных и увлекавших молодежь романов с приключениями.

Поблагодарив за гостеприимство и взяв обещание никому не говорить о моем пребывании в Тобольске, я обещал перед отъездом зайти еще раз, вышел и медленно пошел к пристаням мимо "Дома свободы", как назывался теперь дом губернатора. Проходя мимо него, я увидел в окне Великую Княжну Анастасию Николаевну, которая сразу же меня узнала и сделала рукой приветственный знак. Через мгновение к окну подошла Мария и Татьяна Николаевны. Все весело улыбались и шутливо приглашали в дом. Не останавливаясь долго, я медленно прошел перед домом и повернул по направлению к слободе.

Вид радостно улыбающихся Великих Княжен, беззаботных и спокойных, сильно взволновал меня. По-видимому, Императрица, решил я, скрывает от Детей те опасения за Их судьбу, которая так волнует Ее саму. Полный жалости к Ним, в подавленном настроении пришел я на постоялый двор. В четыре часа, как было условленно, я застал в соборе Х. Незаметно отойдя в притвор, где не было молящихся, мы сели на дубовую скамью, и она передала мне от Императрицы записку, которую я немедленно вскрыл и стал читать.

"Вы подтвердили мое опасение, - читал я, - благодарю за искренность и мужество. Друзья или в неизвестном отсутствии, или их вообще нет, и я неустанно молю Господа, на Него Единого и возлагаю надежду. Вы говорите о чуде, но разве уже не чудо, что Господь послал сюда к нам вас?Храни вас Бог. Благодарная А."

Условившись зайти вечером к Х., я пошел в митрополичий дом. Показав письмо Императрицы епископу Гермогену, я, как и раньше, тут же снял копию, а оригинал сжег.

Владыка Гермоген быстрыми шагами ходил по комнате, что у него всегда было признаком душевного волнения. Я сидел в кресле, погруженный в одни и те же думы.

- Да, - сказал, наконец, еп. Гермоген, - друзья, друзей нет. Это печально, но еще полбеды, забыли, что кроме друзей есть просто люди... люди с добрым сердцем, чуткой благородной душой, которая не сможет не отозваться на горький призыв униженных, страдающих и нуждающихся в поддержке и помощи. Эти люди есть, и

мы их найдем. С их помощью мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить Царскую Семью. Подумай, ведь нет почти положения, из которого не было бы выхода. Что-нибудь придумаем и тут. Пока налицо опасное положение для Царской Семьи и отсутствие кого-либо, кто смог бы или желал бы Им помочь. Мы одни, мы сознали весь ужас положения, наша обязанность, наш священный долг, не считаясь с собственными силами и возможностями, которыми мы располагаем, прийти Им на помощь и немедленно!

Когда Владыка кончил, я ему заметил, что прежде чем перейти к активной работе, необходимо самое главное - согласие Царской Семьи, а чтобы получить таковое, необходимо представить Императору и Императрице наш план, а у нас такового не имеется. Затем, получив согласие Царской Семьи и одобрение нашего плана, мы принимаем на себя его выполнение, одновременно принимаем и всю ответственность за вытекающие последствия. Больше всего меня пугало последнее обстоятельство, пугало не за себя, но, в случае неуспеха, за судьбу Царской Семьи.

Владыка с неудовольствием посмотрел на меня и спросил:

- Так боишься и отказываешься?

Я ответил, что не отказываюсь, но, действительно, боюсь, так как считаю, что одного желания еще слишком мало для осуществления такой цели, и раньше, чем вступать в какие-либо переговоры по этому поводу с Царской Семьей, мы должны серьезно и спокойно обдумать, что мы можем сделать.

Пылкому по натуре и сильно увлекающемуся еп. Гермогену вначале позиция, занятая мною, очень не понравилась, и он укорял меня даже в отсутствии глубоких, вулканических, по его выражению, чувств к Царской Семье. Я шутя ему возразил, что вулкан долгое время был в действии и действием своим выразил искреннее и глубокое желание помочь Царской Семье, теперь же он успокоился и тем самым дает возможность, не увлекаясь и не фантазируя, обдумать способы достижения этого желания. К этому последнему я и призывал Владыку.

Он, выслушав меня, пришел еще в большее волнение, но уже другого характера. Волнуясь, он обнял меня, потом порывисто подошел к киоту и мгновение громко молился, благодаря Бога, что нами принято окончательное решение спасти Царскую Семью.

- Ты прав, ты прав, - твердил он мне, - спокойный рассудок - это уже шанс на успех. Я ясно теперь понял тебя и совершенно с тобою согласен, не сердись на меня, я так волнуюсь!

Опустившись в глубокое кресло, он закрыл лицо руками.

- Господи! Пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю Имя Твое Святое! - донеслись до меня слова молитвы Св. Иоанна Златоуста, сказанные сдавленным проникновенным шепотом. Я осенил себя крестным знамением.

Владыка поднял голову и посмотрел на меня своими умными, проницательными глазами.

- Теперь, Борис, ты должен посвятить меня во все то, что тебе известно о начинаниях петербургских монархистов, направленных для спасения Царской Семьи.

Я ответил Владыке, что многого по этому вопросу сказать не могу, так как лично ни в какой организации не состою, но слышал от А. Вырубовой, что в Петербурге имеется сильная организация, возглавляемая членом Думы Марковым 2-м, который якобы главнейшей своей задачей считает освобождение Царской Семьи. Об этом А. Вырубова передавала Ю. А. Ден, через которую Марков 2-й сносился с Царской Семьей и получил даже от Их Величеств благословение на свое начинание. А. Вырубова также передала мне, что в этой организации на предмет разведки и ознакомления с существующим на месте, в Тобольске, положением поехал один офицер, но на этом пока все и остановилось, так как Ю. А. Ден, бывшая в декабре у А. В., сообщила ей, что от этого офицера Марковым никаких сведений получено не было. Юлия Александровна получила последние подробности о жизни Их Величеств в Тобольске от А. В., так как в это время вернулся из Тобольска П., ездивший туда по ее поручению. И так прошло полгода, сюда был послан всего один офицер, и тот без вести пропал.

Пришлось согласиться с Владыкой, что посылка одного офицера в эти края знаменует собой только желание Маркова 2-го получить информацию с места, но не желание спасти Царскую Семью, и этот факт никак нельзя назвать начинаниями, до того он ничтожен по сравнению с трудностями всего предприятия.

Я выразил свое соображение, что, быть может, у Маркова 2-го нет для развития своих планов необходимых средств.

Владыка грустно посмотрел на меня:

- Бедный, бедный Русский Царь, Иов Многострадальный... На спасение Русского Царя нет денег! Господь жестоко наказал нас, отняв Его от нас... Но еще более тяжкие кары ждут нас... Ты не раз вспомнишь меня, но нельзя падать духом!

Он встал и, обратившись лицом к киоту, громко слегка дрожащим голосом сказал:

- Господи, пошли благодать Твою в помощь нам, да прославим Имя Твое Святое!

Порывисто поцеловав протянутую мне Владыкой руку, я покинул митрополичий дом, обещав Епископу прийти на следующий день вечером и представить свой план действия для охранения и освобождения Царской Семьи...

На этом обрываются собственноручные записки Б. Н. Соловьева. Тяжелый недуг, скоротечная чахотка, сразил его в расцвете сил и молодости. Его слабый организм не перенес непосильной физической работы и полуголодного беженского существования. Б. Н. Соловьев скончался в июле 1926-го года в Париже, в полнейшей нищете, оставив без всяких средств к существованию свою жену и двух малолетних девочек.

ГЛАВА VII

Вернувшись от Соловьева домой, я встретил полковника П., передававшего мне, что меня просят зайти еще сегодня, после обеда, в штаб Красной Армии. Около четырех дня я уже сидел в канцелярии штаба и ждал прихода начальника штаба, "товарища Чувикова". Наконец он появился. Это был небольшого роста человек, крепкого и коренастого телосложения, гладко выбритый брюнет в офицерской форме.

Он весьма любезно принял меня в своем кабинете. Он осведомился о части, где я служил, о продолжительности моей службы, о целях моего приезда в Тюмень. Я повторил старую историю. Мои рассказы, по-видимому, удовлетворили его. Он произвел на меня впечатление человека очень решительного и, при условии большего образования, могущего сделаться блестящим организатором. В данный же момент он представлял собой самоучку из народа, революционной волной неожиданно для самого себя выброшенного на ответственный пост, в который он судорожно вцепился. Взлетел он на него благодаря большевизму, значит, "да здравствует большевизм". Таким, на мой взгляд, было его политическое кредо. Пообещай такому субъекту монархический батальон и подполковничий чин, он запоет "Боже, Царя храни", чувствуя себя морально правым и считая, что его таланты оценены по заслугам.

Впоследствии я узнал его биографию. Она была проста и не сложна. Он был сыном богатых крестьян. Получив четырехклассное образование, пробыл два года на фронте, потом кончил школу прапорщиков и был незадолго до революции произведен в офицеры. Революция свихнула ему мозги. Из оборонцев он сделался пораженцем. Его убеждения менялись и согласовались с требованиями солдатских масс, бывшими ему близкими и родными. Он шел по гребню солдатских настроений, и когда эта масса хлынула с фронта, имея лозунгом "долой войну", он пошел за ним, но в момент, когда новая власть опомнилась и закричала "караул, нам нужна армия", прапорщик Чувиков остался вне конкуренции. Старого офицерства не было, новые не народились, и вот он оказался сидящим в кресле, на котором так недавно еще сидел П., скромно довольствовавшийся титулом командира 35-го зап. сиб. стр. полка. Чувикову этого показалось мало, и он сделался начальником штаба Красной Армии и Тюменского совета, то есть должности, как мы увидим, весьма опереточной.

Я сидел и слушал его самодовольные рассказы о том, как он дошел до жизни такой, и думал, что же мне ответить, если он вдруг спросит о моих политических убеждениях.

В этот момент в кабинет вошло новое лицо в военной форме с тремя георгиевскими ленточками на груди и с тремя солдатскими нашивками за ранение на рукаве.

- Позвольте вас познакомить, товарищ, с моим военным комиссаром, - обратился ко мне Чувиков.

Товарищ Пермяков, такова была фамилия вошедшего, имел весьма внушительный вид, это был тридцатилетний приземистый мужчина с высоким лбом и глубоко сидящими серо-стальными, казалось, ничего не выражающими глазами. Особенностью его фигуры были волосы, ниспадавшие кудрями ему на плечи. Словом, по внешности это был тип карикатурного революционера-нигилиста прежних годов.

- Так это вы, товарищ, соглашаетесь принять формирование эскадрона? - обратился ко мне своим глухим басом Пермяков.

Я ответил утвердительно.

- Как вы смотрите на создавшееся положение? Пришлось изворачиваться. Я ответил ему, что считаю, что революция в России произошла по двум причинам: из-за непопулярности войны в народных массах, а также благодаря тому, что народ устал от войны. Поэтому я считал попытки Керенского восстановить боеспособность фронта безсмысленными. Лозунги же советской власти "долой войну" и "мир во что бы то ни стало", как показывает жизнь, вполне отвечают настроению рабочей и крестьянской массы, а раз народ признал лозунги правильными, то тем самым он признал и правительство, провозгласившее их. В данный момент старая армия перестала существовать, на смену ей должна быть организована новая, не так для борьбы с внешним врагом, так как такового официально после Брестского мира уже нет, а для поддержания порядка внутри страны. С этой точки зрения я и смотрю на события, принимаю на себя формирование части, которая должна показать образец порядка перед гражданами города, в котором она формируется.

Все здесь написанное я изложил очень пространно, весьма витиеватым языком и, когда кончил, удостоился полного одобрения товарища комиссара.

На следующий день, когда я пришел утром в штаб, я прочел в приказе, что товарищ Марков с 1-го апреля назначается командиром 1-го Тюменского уланского эскадрона и старшим инструктором по кавалерии с окладом в 500 руб. в месяц. Итак, я сделался красноармейцем...

Когда я спросил у Чувикова, почему эскадрон получил наименование уланского, а не гусарского или драгунского и какие к этому имеются основания, он ответил мне, что это желание Георгия Прокопьевича (Пермякова). Я не стал спорить, но весьма удивился. Вскоре же я перестал чему-либо удивляться, так как это было лучшим в моем положении. Я стал неуклонно проводить все комиссарские требования, как бы безсмысленны они не были, сдабривал их хорошей порцией отсебятины и в конце концов пришел к прекрасному результату. За три месяца формирования я ровно ничего не сформировал, что вполне отвечало моим желаниям.

Начало формирования эскадрона ознаменовалось тем, что в штаб явились субъекты, с виду не особенно внушавшие доверие, в полувоенной форме. Они разыскали меня и безапелляционно заявили мне, что пришли из пехотных казарм, где они жили с момента поступления в Красную Армию, так как им было сказано, что их назначили в уланский эскадрон.

Так как весь эскадрон вместе с его конской и материальной частью в данный момент был представляем моей личностью, мне ничего другого не оставалось делать, как, спросив их о месте прежней службы, отпустить их обратно, оставив при себе лишь одного человека. Я намеревался назначить его вахмистром существовавшего пока только на бумаге эскадрона.

Из восьми человек настоящих кавалеристов был только один, а именно, ст. унт.-оф. 18-го гус. Нежинского полка Ковальчук, которого я намеревался назначить

вахмистром. Остальные, по их словам, были конные разведчики пехотных полков. Это были все сибиряки, уроженцы Восточной Сибири, кроме Ковальчука, который был уроженцем Костромской губернии. Ковальчуком я остался в первый же день доволен. Он сразу сообщил мне, что в городе не имеется подходящего места для эскадрона, ввиду недостатка соответствующих конюшен, и он посоветовал мне отправиться за город, где, по его мнению, на заброшенном кирпичном и черепичном заводе легко приспособить имеющийся длинный сарай для просушки под конюшни. И действительно, прибывши на место, я убедился в целесообразности предложения Ковальчука. Находившийся верстах в двух от города завод был приемлем во всех отношениях, кроме одного, так как для людей было место только для одного взвода. Но все же я решил остановиться на нем, во-первых, потому, что я был далек от грозного начальства, что было крайне удобно и выгодно, во-вторых, отсутствие надлежащих казарм привело бы к необходимости постройки хотя бы бараков, что вообще сильно тормозило бы формирование.

Мне пришлось убедиться, что "товарищи" имеют страсть к американизму. Не успел я вечером сказать Пермякову, что нашел соответствующее место для эскадрона, как уже утром на месте были доски, балки с нарядом военнопленных, и работа по приведению сарая в конюшни началась. Но это продолжалось недолго. Рабочие предпочитали курить и сквернословить, чем заниматься делом. Я указал старшему из них, что и как я желаю устроить, оставил для присмотра за работой Ковальчука и спокойно почил на первых лаврах.

В первые же дни своей деятельности я постарался, так сказать, покороче познакомиться с членами штаба и военного комиссариата и вообще с командными лицами.

Прежде всего меня поразила структура местной военной власти. Оказалось, что Пермяков, военный комиссар, не в единственном числе, а был членом коллегии из двух лиц, то есть его самого и еще некоего товарища Рязанова. Очевидно, малообразованность Пермякова компенсировалась в значительной степени Рязановым, тщедушным блондинчиком с неприятными бегающими глазками, бывшим поручиком одного из Сибирских стр. полков.

Я сразу понял, что с этим субъектом надо держать ухо востро. Видимо, это был идейный большевик, человек, не закончивший высшего образования, типичный представитель нашей революционной интеллигенции и только благодаря войне сделавшийся офицером, но задолго до ее окончания свихнувший себе мозги на социалистических теориях и дорвавшийся до счастливого для себя момента проведения их в жизнь.

Словом, Пермяков был для рекламы, а Рязанов для дела. У Чувикова оказался помощник по хозяйственной части, Осипов, бывший прапорщик, типичный одесский маклер и гешефтмахер, не гнушавшийся никакими делишками. На мой взгляд, он большевиком не был. Занял сей пост исключительно лишь для того, чтобы под сурдинку наживаться на поставке и торговле казенными вещами, которые он выводил в расход за "ненадобностью". При ближайшем знакомстве я убедился, что занимался он этими манипуляциями совместно с почтенным Чувиковым.

Засим шли два адъютанта Чувикова, Высоковский и Кашин, также прапорщики, первый безразличный субъект, совершенно безпринципный, которому было безразлично, кому служить, лишь бы жалование платили и его персону не трогали, а второй до конца моего пребывания в Тюмени остался для меня неразгаданной личностью. Он был образованнее всех своих сослуживцев, обладал хорошими манерами, очень мало о себе говорил, порой, казалось, был отъявленным большевиком, а порой производил впечатление человека, играющего насильно свою роль. Одно только было для меня несомненно, что он был человеком правых убеждений, но служил своим хозяевам преисправно, так как вся канцелярщина велась им если не образцово, то, во всяком случае удовлетворительно. Кроме него никто в военной администрации ровно ничего не смыслил.

Потом шли четыре ротных командира и начальник пулеметной команды, также бывшие прапорщики. По всей видимости, это были не большевики, а просто люди, служившие ради жалованья. Одно только возмущало меня, это их служебное рвение. Я лично считал, да считаю и сейчас, что служба офицеров у большевиков не только не преступна, но и весьма полезна, при условии службы "не как начальство хочет, а так, как я хочу". Конечно, это не всегда возможно, но наши тюменские воротилы были до того военно безграмотными людьми, что их можно было провести, как угодно, и которые видели воинскую силу только с показной стороны.

Словом, военная власть в Тюмени была сконцентрирована так: на верху коллегия из двух комиссаров: Пермякова и Рязанова. За ними начальник штаба Красной Армии в лице Чувикова с Осиповым, Высоковским, Кашиным, мною и др. командными лицами.

Придерживаясь старого определения, получалось следующее: Пермяков с Рязановым это командир полка с адъютантом, а Чувиков батальонный командир с многоголовным штабом и четырьмя ротными командирами, начальником пул. команды и отдельным эскадроном. Все же названия их должностей были просто чушью и являлись в лучшем случае творчеством революционных прапорщиков, в один миг желавших сделаться красными командирами. Теоретически все же была видна военная сила, были роты, пулеметы, конница, практически же было налицо 225 красноармейцев (по 60-ти человек на роту), кое-как сбитых, 8 человек улан на одной лошади и пулеметная команда из 2-х учебных пулеметов и 20 человек состава при 2-х повозках.

Так выглядела Красная Армия Тюменского совета в начале апреля... Кроме того, в Тюмени была Красная гвардия в количестве 300 человек, под предводительством какого-то архаровца, как говорили, бывшего уголовного каторжника. Она была подчинена Тюменскому Совету.

Вполне освоившись с обстановкой, в которой я очутился, я стал несколько спокойнее. Ковальчук по-прежнему наблюдал за работами, следуя принципу: тише едешь, дальше будешь. Я же старался прислушиваться ко всему тому, что творилось в штабе, и к тем сведениям, которые в нем получались.

С Соловьевым встречался я почти каждый день в театре. Театр был очень большой и вместительный. По своему первоначальному назначению это был большой хлебный амбар-склад, перестроенный купцом-театралом для театра. Недурная для

провинции драматическая труппа пользовалась успехом, спектакли прекрасно посещались, и среди людской сутолоки и гомона толпы мы встречались и обменивались короткими разговорами на животрепещущие темы. Из Петербурга никто не ехал, никакого ответа на мои письма я не получал. Все это страшно нервировало меня.

К концу первой недели моей службы эскадрон достиг численности 30 человек. Контингент был тот же, что и раньше. Были получены винтовки в числе 50 штук в отвратительном состоянии и требовавшие не только чистки, но и починки. Кроме того, Пермяков меня даже поздравил с сияющим лицом по поводу получения двух заржавленных шашек какого-то допотопного образца. Как оказалось, это были шашки становых урядников, отобранные весною 17-го года и с тех пор валявшиеся где-то в цейхгаузе. Производить с ними занятия было почти невозможно, так как они с трудом вынимались из ножен и рисковали при этом рассыпаться от ветхости в прах. Мне это было на руку. Все занятия сводились к тому, что Ковальчук выводил на полчасика доблестных улан на поле и занимался учением пеших по конному. Занятия не пошли лучше от придания двух помощников, один оказался бывшим подпрапорщиком какого-то стрелкового полка, по фамилии Гусев, уверявший меня в своей службе в команде разведчиков, но мне это было в высшей степени безразлично. Тип этот был довольно понятливый, на службу пошедший, по-видимому, из-за содержания и всем обликом своим напоминавший обозных подпрапорщиков, с присущей им хитростью, изворотливостью, умением обделывать всякие комбинации с фуражом и продуктами и угодничанием перед каким угодно начальством. Словом, это был субъект из породы "что прикажете и что изволите".

На другого же своего помощника я обратил свое внимание на улице в первые дни своего приезда. Как-то, идя по Царской улице, я был поражен, увидя перед собою украинского гусара в длинной шинели, цветной фуражке и красных чакчирах. Я обогнал его и увидел безусую физиономию зеленого юнца с лихо заломленной безкозыркой. Вот этот-то гусар и откликнулся на вербовочный плакат, висевший перед входом в штаб, узнав о формировании эскадрона. Симоненко, такова была его фамилия, оказался весьма милым юношей 18 лет, мать которого, вдова, жила в Тюмени. Оказалось, что он в действующий полк не попал, а пробыл несколько месяцев в запасном полку. Летом 17-го года пожелал он пойти на войну, до революции был принят в запасной полк вольноопределяющимся, и большевицкий переворот прекратил его карьеру. Для меня было понятно его поступление в Красную Армию, это было просто мальчишеством, желанием носить форму, которой он страшно гордился (совсем не по-революционному), звякать шпорами по Царской улице и изображать собой помощника командира эскадрона. Кроме того, он был весьма глуп, именно глуп, а не необразован, что было для меня большим плюсом.

Будучи наиболее близким ко мне подчиненным, он не лез ко мне с расспросами о том, почему я служу и т. д., а почтительно молчал и в точности исполнял мои приказания. Службы он совершенно не знал, так что авторитета моего подорвать не мог, что было самым главным для меня.

Кроме шашек мною были получены и седла в количестве 20-ти штук. Когда я их увидел, я так и ахнул. Это были не седла, а какие-то самоделки различной величины и фасонов, плод кустарного творчества местных крестьян, с веревочными петлями вместо стремян, без потников и с веревочными уздечками. При наличии таких седел

возможность конных учений, даже при наличии лошадей, сама собой исключалась. Одновременно с получением седел мне было предписано выбрать себе лошадей из имевшегося в Тюмени конного запаса, о существовании которого я и понятия не имел.

Я отправился осмотреть лошадей и был приятно поражен представившейся моим глазам картиной советской организованности и еще раз мог убедиться в полной военной безграмотности моего начальства.

На огромном дворе, который был завален, вероятно, еще со времен начала революции навозом, начавшим благодаря оттепели гнить, мирно разгуливало до ста низкорослых сибирских лошаденок. Сердце мое сжалось от боли, когда я увидел этих несчастных лошадей... Это были ходячие тени, еле державшиеся на ногах, видимо, месяцами не чищенные, облепленные грязью и навозом. Конюшни, в которых должны были находиться эти несчастные животные, были наполовину разрушены из-за отсутствия надлежащего ремонта, а наполовину разобраны на топливо.

Я сразу понял, что это лошади не кавалерийского ремонта, а обозного и что на большинстве из них никто и не ездил.

В канцелярии конного запаса я познакомился с его начальником, ротмистром Маркаровым, автоматически оставшимся служить большевикам.

Маркаров был старый офицер, призванный из запаса и получивший это богоспасаемое место. Лошадьми своего запаса он комплектовал обозы сибирских стрелковых частей, транспорты и артиллерийские парки. Узнав о цели моего прихода, он изумился и, махнув рукой, только сказал:

- Быть может, вы сумеете из этого материала сделать кавалерийскую лошадь!

На это я ему ответил, что мы живем во времена неограниченных возможностей, как, например, я из скромных взводных командиров сразу махнул в начальники отдельной части... М. подозрительно посмотрел на меня и буркнул:

- А! Всяко бывает!

Я сразу же почувствовал в Маркарове своего человека, понял его страдания за несчастных лошаденок, но понял также и то, что даже при наличии 20 уборщиков, халатно относившихся к своим обязанностям, и при неразберихе, творившейся у нас в штабе с поставкой фуража, все же можно было бы содержать лошадей в лучшем виде и не допускать их до падежа. М. ничего для улучшения положения не делал и делал это сознательно, не желая сдавать товарищам годный для использования материал. При его помощи я отобрал около 70 лошадей, имевших хоть какую-нибудь видимость, и временно, до окончания постройки моих конюшен, оставил их у него в запасе.

ГЛАВА VIII

В десятых числах апреля я совершенно неожиданно встретился с моим однополчанином Седовым, которого мне поручил разыскать Марков 2-й. Встретились мы лицом к лицу в аптеке на главной улице, куда я зачем-то зашел. Я сразу же узнал его. Вместо вылощенного штабс-ротмистра, всегда безукоризненно выбритого, с милым, располагавшим к себе лицом, серо-голубыми вечно смеющимися глазами я увидел форменного оборванца в засаленной ватной куртке, серо-синих латаных брюках, смазных сапогах. Дырявый картуз еле прикрывал всклокоченную шевелюру, и давно не стриженные усы заканчивались бородкой козликом...

Я глазам своим не поверил, до того переменилось даже выражение лица. Лицо было страдальческое, огонек в глазах потух. Седов узнал меня, вышел из аптеки за мной на улицу, и на боковой улице мы условились сейчас же встретиться у Соловьева.

Через час мы сидели втроем в жарко натопленной комнате старушки хозяйки Соловьева перед уютным, певшим свою песенку самоварчиком. Соловьев был не меньше меня рад встрече с Седовым. Ему много пришлось перестрадать, пока он приехал в Тюмень, где он находился всего лишь третью неделю. Он явился сюда, чтобы легализовать в профессиональном союзе свое положение чернорабочего, и в качестве такового получил место у одного тюменского домовладельца, где находился по сей день.

Несчастному Седову, видимо, пришлось получить от пережитого огромное нервное потрясение, его повышенная нервность чувствовалась во всем, а боязнь быть опознанным привела к тому, что он потерял совершенно свои обычные манеры светского человека и обратился в заправского хама, с подобающими ухватками и даже манерой говорить и выражать свои мысли. Связь с Марковым 2-м он потерял, и установить ему ее до сего дня не удалось. Мы информировали Седова о положении и совместно с ним еще раз обсудили наши планы и пришли к тому же заключению, что ничего другого не остается делать, как ждать приезда офицеров от организации и при помощи первого приехавшего информировать Маркова 2-го о положении. Седов решил остаться на своей должности и не поступать в эскадрон, принятие же мною должности командира он одобрил. Оставаясь чернорабочим, Седов был свободнее располагать собой и был к тому же замаскирован блестяще, как с внешней стороны, так и в отношении документов, которые у него были в полном порядке. Искренним желанием Седова было поехать в Тобольск, чтобы повидать Их Величества, что он вскоре и исполнил.

Соловьев в последнее время страшно нервничал, ожидая приезда жены из Петербурга, которая через два дня после моей встречи с Седовым и приехала в Тюмень. В то же время Соловьев ждал приезда одного инженера француза, с которым у него были коммерческие дела по Кутимской золотопромышленной компании и который должен был привезти Соловьеву некоторую сумму денег. Соловьев был очень недоволен его запозданием и не только потому, что деньги ему были крайне нужны, а так же по той причине, что Бруар, не зная его адреса, начал бы поиски, что в таком маленьком городе могло бы привлечь излишнее внимание властей. Ввиду этого Соловьев написал на имя Бруара записку, которую я должен был оставить в гостинице "Россия".

Я не знаю почему, но когда Соловьев писал эту записку, мне было как-то не по себе, и я заметил ему, что, может быть, не стоит упоминать моей фамилии, на что Соловьев ответил, что это пустяки и что хотя Бруар и не член нашей организации, но человек приличный и не вдающийся ни в какую политику. В тот же день я передал записку и предупредил швейцара своей гостиницы, чтобы в случае приезда Бруара его направили бы ко мне. В другие две гостиницы я не зашел, так как было мало вероятно, что он в них остановится. Я должен был предупредить Бруара, что с Соловьевым вышли неприятности, и точно указать ему его адрес.

Как-то раз вечером, встретившись с Соловьевым в театре, со мной произошел оригинальный случай, которому я не придал особенного значения, но которому впоследствии суждено было сыграть большую роль в моей жизни. Перед началом спектакля я несколько минут поговорил с Соловьевым и отправился в зал. Во время одного из антрактов я прошел в буфет, где увидел Соловьева, сидевшего с одной дамой, местной жительницей, работавшей в Совгорхозе и с которой меня как-то познакомил Маркаров. Я поздоровался с ней и присел к их столику. Как раз неподалеку от нас сидела компания местных вершителей судеб, не только Пермяков и Чувиков, но и члены гражданского управления. Между ними сидел также Кормашев, председатель Совгорхоза, с которым я имел дела по постройке конюшен, секретарь революционного трибунала и др. товарищи. Я сидел и молча пил свой чай. вдруг моя соседка, разговаривавшая с Соловьевым, обратилась ко мне:

- Вы знакомы с Борисом Николаевичем?

Не успел я и рта раскрыть, чтобы ответить ей, что как же, конечно, знаком, как Борис Николаевич встал, протянул мне руку и отрекомендовался.

От неожиданности я встал, поздоровался и пробормотал свою фамилию. По окончании спектакля, выходя, я столкнулся с Соловьевым и, смеясь, спросил его, что сей сон означает. Он ответил мне, что чем меньше народу будут знать о нашем знакомстве, тем лучше для нас обоих, в особенности для меня...

Мои конюшни были закончены, тридцать улан жили рядом в доме и бездельничали целый день, но все же была заведена канцелярия со множеством входящих и исходящих бумаг. Для украшения внешнего вида всюду, где только можно было, на белых дощечках черной краской мною лично были сделаны надписи вроде: "эскадронная канцелярия", "цейхгауз" и т. д. и масса указательных стрелок, показывающих направление, где и что находилось.

В назначенное утро приехал Пермяков и Чувиков с адъютантами для осмотра построек. С ними приехала какая-то мужеподобная, коротко стриженая женщина с папиросой в зубах и хриплым баском. Оказалось, что это был городской архитектор. Все было найдено в блестящем порядке. Пермяков с видимым удовольствием прохаживался по длинной конюшне, по которой в один ряд вытянулись подобия денников для 85 лошадей. Потом пошли смотреть казарму. На вопрос Чувикова, что же я намерен делать, когда эскадрон будет полностью укомплектован, я ответил, что, ввиду приближения лета, можно будет сделать легкие деревянные бараки. Был позван "товарищ архитектор", который немедленно на блокноте вычислил, что постройка трех бараков на 140-160 человек обойдется не менее 75.000 - 85.000 рублей.

- А не дорого ли вы, товарищ, считаете?

Получив отрицательный ответ, Пермяков, подумавши, спросил Чувикова:

- Что же, Аврамий, строить аль не строить? Аврамий привел доводы, что постройка не может быть произведена, так как в казначействе денег мало, в обрез хватает на уплату жалования, а кредиты слишком медленно отпускаются. Пермяков согласился с доводами Чувикова, и тут же гордиев узел был разрублен: было признано, что первейшим делом является забота об удобстве красноармейцев, или, как их с особенной страстью в голосе называл Пермяков, "волонтеров", а лошадь это все же скотина на четырех ногах, требующая меньших забот, а посему людей надлежит перевести в большие удобные казармы, где раньше помещалась конвойная команда при управлении воинского начальника. Лошадей же надлежит поставить, ввиду приближения теплого времени, на коновязь, которую легко можно соорудить из материала, который пошел на постройку моих великолепных конюшен. Плод моих двухнедельных трудов было приказано "снять в два счета", по любимому выражению Пермякова. Я, понятно, не протестовал и вполне согласился с экономическими соображениями Чувикова. Не успела комиссия отбыть из расположения эскадрона, как работа закипела вовсю.

Под мудрым руководством Ковальчука к вечеру топорами и заступами было разрушено не только все, что быпо построено в конюшне, но и все исправления построек, а попутно калечились и здоровые их части. Утром же я заметил, что полуполоманные доски и бревна, сложенные кучами во дворе, сильно приуменьшились за ночь. Видимо, они были растасканы моими солдатами и крестьянами из соседней деревушки для своих надобностей.

В ночь на 15-е апреля скоропостижно скончался от разрыва сердца у себя на квартире Маркаров. Я от души пожалел о смерти этого человека, оставшегося до конца настоящим офицером. Переживаемые времена не положили на него своего хамского отпечатка, но в корне подорвали его и без того слабые силы. От Соловьева я узнал, что он давно был с ним в связи, и что покойный Маркаров только и жил мыслью как-либо активно оказать Их Величествам свою помощь. Значит, мое первое впечатление о нем было правильным, предчувствие не обмануло меня.

Мне было предложено временно вступить в заведование конским запасом, и 16-го вечером пришла телеграмма из Омска, утверждающая меня в должности.

На следующий день утром, когда я спокойно пил свой утренний чай, в дверь моего номера раздался стук, и в мою комнату не вошел, а влетел человек, совершенно мне неизвестный и, волнуясь, обратился ко мне с вопросом:

- Вы - господин Марков?

Я ответил утвердительно. Не дав мне сказать и слова, эта маленькая фигура с лысиной, рыжими усиками и пронзительными глазками обдала меня целым каскадом отдельных слов и предложений, так как связанной речью всего сказанного им назвать было нельзя. Было ясно по произношению и манере говорить, что предо мной стоит иностранец. Это и был долгожданный нами Бруар.

Из всего его словоизвержения мне стало понятным, что он вчера вечером приехал в Тюмень и случайно остановился не в гостинице "Россия", а в маленькой гостинице на той же улице, где находилась и моя гостиница. С раннего утра он отправился в милицию, где узнал адрес Соловьева, к которому он сразу же и отправился, но дома его не застал. У него произошло какое-то объяснение с женой Соловьева, которая ему, видимо, сказала, что Борис Николаевич был арестован и должен являться по утрам в Совдеп, и что, кроме того, на его имя в гостинице "Россия" оставлена им записка. Из дальнейшего я уяснил себе, что он не только не привез денег, а, наоборот, хочет получить деньги с Соловьева. Он же разыскал по телефону в Совдепе Соловьева и меня.

- Да вы с ума сошли! Что, вы ребенок, что ли, что такой простой вещи понять не могли? Разве можно связывать мою фамилию с Соловьевым, да еще телефонировать в Совдеп? - вырвалось у меня.

Бруар как-то сразу осекся и стал спрашивать меня, не оставил ли у меня Борис Николаевич денег для него. Я отказывался что-либо понимать, до того все это было нелепо. Одно было для меня более, чем ясно, что Бруар или провокатор, или непроходимый дурак, и что своими действиями он, безусловно, скомпрометировал нас в Совдепе.

В этот момент ко мне постучались, за мной пришел Симоненко, с которым мы условились отправиться в запас. В его присутствии я резко заявил Бруару, что вообще никаких дел с Соловьевым не имею, ничего для передачи ему он мне не оставлял, и прошу его обратиться по интересующим его вопросам исключительно к Соловьеву лично. Я же только сделал любезность Соловьеву, оставив его записку в гостинице "Россия", дабы по приезде его, Бруара, сообщить ему точный адрес Соловьева, которого он не знал. Бруар, что-то бурча себе под нос, удалился, и я отправился с Симоненко на службу.

Обдумывая неожиданный приход Бруара и все, что он мне наговорил, я с каждой минутой все больше свыкался с мыслью, что легко из создавшейся неразберихи я не выскочу. Придя домой, я уничтожил все, что могло бы меня скомпрометировать. Выйдя на лестницу, я неожиданно столкнулся с сыном о. Васильева. В коридоре никого не было. В нескольких словах я объяснил ему, что благодаря приезду одного лица, случилось какое-то недоразумение, результатами которого можно было ожидать вторичного ареста не только Соловьева, но и моей персоны. Я просил его сообщить об этом его отцу в Тобольск. Оказывается, он только что приехал из Тобольска и сегодня едет дальше в Москву.

Пообедав, я лег немного отдохнуть. Не успел я лечь, как дверь моя без стука отворилась, и в комнату ко мне ворвались две фигуры: какой-то мальчишка в солдатской шинели с револьвером в руках и здоровенный детина в полушубке, папахе, при шашке, обмотанный пулеметными лентами и с карабином на перевесе. Младший заорал:

- Вы будете товарищ Марков?

Я привстал с кровати и преувеличенно спокойно ответил утвердительно и осведомился о цели их вторжения ко мне.

- Выньте руку из кармана, - вместо ответа услышал я. Я держал правую руку в кармане, и это испугало этих красавцев. Я исполнил приказание. Молодой тип успокоился, видимо, удостоверившись, что я вооруженного сопротивления не окажу, и заявил мне, что имеет ордер от Председателя Совдепа произвести у меня обыск и доставить меня в Совдеп.

Ордер был самый форменный. Они перерыли всю мою комнату сверху донизу и, не найдя ничего предосудительного, кроме моего бумажника, в котором, помимо фотографии моего отца, двух фотографий Ю. Ден, разных ничего не значащих записок и 8 р. 50 к. деньгами, ничего не было. Товарищи предложили мне собрать вещи и следовать за ними. Бумажник был у меня отобран, но деньги было разрешено оставить.

Все мои вещи заключались в свертке, в котором находилось полотенце, зубная щетка, паста, мыло, иконка - благословение моей матери и молитвенник, полученный от Ее Величества в Тобольске.

К счастью, письмо Ее Величества, открытка, которая предназначалась А. Вырубовой, и маленький мундштук я своевременно оставил на хранение у хозяйки Соловьева.

Даже смены белья я не мог взять с собой, так как отдал его за день перед тем в стирку.

Швейцар обомлел, когда увидел меня в сопровождении красноармейцев. Около гостиницы стоял извозчик, а к телеграфному столбу была привязана лошадь, на которую взгромоздилась фигура в папахе. Молодой типчик уселся рядом со мной на дрожках, а на вопрос, куда ехать, я сказал извозчику: в тюрьму!

Мой сосед изумленно посмотрел на меня и пробормотал:

- Нет, что вы, товарищ! - и изменил адрес на Совдеп. Дрожки затарахтели по мостовой. За нами гарцевал на водовозном одре красногвардеец. Прохожие не без любопытства оглядывали нас.

В Совдеп мне не пришлось идти, туда отправился мой сосед, а я ждал его на извозчике. Через несколько минут он вышел и отдал приказ извозчику ехать в арестный дом и уселся опять рядом со мной.

- А я был прав, товарищ? Адресом не ошибся! - умышленно спокойно и с иронией бросил ему я. Он ничего не ответил.

Вскоре мы подъехали к большому белому трехэтажному дому, обнесенному высокой белой стеной-оградой. Огромные ворота отворились, мы въехали во двор и остановились у маленького дома с вывеской: контора. Там, по-видимому, ждали меня, так как один из служащих, сидевший в канцелярии, сразу же записал мою фамилию в лист. Деньги у меня отобрали, выдав расписку. Взяли и подтяжки и, ощупав карманы, сдали дежурному надзирателю.

Арестовавший меня молодой типчик любезно раскланялся и получил бумажку о моем принятии, и я под конвоем надзирателя, пройдя еще через одни запертые двери, очутился сначала в длинном широком коридоре, в который выходили двери камер, а потом остановился перед дверью с надписью: камера № 5, каковую мне предупредительно открыл надзиратель. Дверь за мной захлопнулась, я остался в одиночестве.

ГЛАВА IX

Камера, в которой я находился, имела шагов пять в длину и два с половиной в ширину. Все убранство ее состояло из длинной скамейки, на которую на ночь опускались четыре щита, прикрепленных на день к стене, подобие комода, но без ящиков, а с двухстворчатой дверью (внутри находились две полки). Большое окно, находившееся на высоте груди человека высокого роста, за которым была довольно частая решетка, выходило на наружный двор тюрьмы, обнесенный очень высоким каменным забором, за которым виднелись лишь верхушки деревьев и крыши более высоких домов. По двору вдоль стены мерными шагами ходил часовой. В общем, камера была довольно чистая, недавно беленная, но в ней пахло сыростью и было весьма прохладно. Признаков какого-либо отопления я не нашел. Не успел я как следует осмотреться в своей квартире, как в коридоре послышался звонок, загромыхала открывавшаяся дверь, зазвенели ключи, и раздался гомон голосов, среди которых я узнал голос Соловьева. Около своей двери я услышал, как кто-то сказал:

- Одного только что привезли... Седьмая свободна!

Снова заскрипела дверь, щелкнули замки, и все стихло. Соловьев находился через две камеры от меня.

Предчувствие не обмануло меня, Бруар нас предал большевикам. Но как? Что он рассказал в Совдепе, как он связал мое имя с Соловьевым? Все эти вопросы волновали меня, так как наш арест мог как-либо повредить Их Величествам. Мне было ясно, что всякая связь с Тобольском утеряна. Ожидаемые мною из Петербурга Гринвальд и Андреевский, не найдя меня в Тюмени, окажутся без информации и очутятся в том же положении, как и я по приезде из Тобольска в Тюмень, даже в худшем, так как я все же был знаком с обстановкой.

Адреса Седова они не знают... И он ничем помочь мне не сможет. Все наши планы, связанные с моим поступлением в Красную Армию, рухнули. Я проклинал тот момент, когда Соловьев послал свое письмо Бруару. Если бы не оно, то, в крайнем случае, попался бы один Соловьев, но не мы оба. Наше же положение я считал почти безнадежным. Только чудо могло спасти нас от смерти. Я был совершенно спокоен, и только непростительная ошибка Бориса Николаевича, упомянувшего мою фамилию, приводила меня в бешенство. Мне было искренне жаль несчастную Мару Григорьевну. Я мог себе представить, что она пережила при аресте мужа и что переживает сейчас... Она с первого же взгляда произвела на меня симпатичное впечатление. По внешности золотистая блондинка, выше среднего роста, прекрасно сложенная, но с неправильными чертами лица. Ее нельзя было назвать красивой, но в ней было что-то, что как-то особенно к себе располагало. Особенно обращали на себя внимание ее глубоко сидящие серо-стальные глаза, привлекавшие к себе своей

одухотворенностью. Мужа своего она, видимо, очень любила, какой-то особенно страстной, ревнивой любовью. Он отвечал ей теми же чувствами.

Вечерело, в камере сделалось еще более серо, вдруг дверь в мою камеру неожиданно отворилась, и появилась здоровенная фигура в арестантском платье в сопровождении надзирателя. В первый момент я подумал, что ко мне сажают компаньона, но оказалось, что арестант принес мне сенник, подушку набитую сеном, простыню из домотканого полотна, громадный кусок шинельного сукна вместо одеяла и полотенце.

Я был приятно поражен, убедившись, что все принесенное было новое, никогда не бывшее в употреблении. Все это очень удивило меня, к таким советским порядкам я не привык. В пять часов вечера раздался звонок, послышались шаги, и двери камеры стали отворяться одна за другой. Наконец дошла очередь и до меня.

Когда дверь открылась, я увидел целое общество, состоящее из господина весьма приличного вида в черной форменной тужурке, какой-то фигуры в военной форме, надзирателя, приведшего меня в камеру и надзирателя, дежурившего в коридоре.

Господин очень вежливо поздоровался со мной, обменялся шепотом с господином в военной форме, а старший надзиратель что-то отметил на листке, и моя дверь снова захлопнулась.

Оказалось, что это обычный вечерний обход - поверка арестованных начальником тюрьмы. Господин в черной тужурке был сам начальник, а тот в военной форме - комиссар тюрьмы. Этот обход повторялся каждый день ровно в 5 часов вечера. В полшестого раздался снова звонок, и в коридоре раздался крик:

- Кашу, парашу, кипяток!

Я понял, что будет раздаваться ужин, но значение второго слова было для меня непонятно, так как я слышал его впервые, это был, вероятно, специальный тюремный термин. Снова зазвенели ключи. По очереди стали выпускать из камер. Когда я вышел в коридор, я увидел посреди его два больших бака, один наполненный кашей из перловой крупы, а другой с горячей водой.

Ужин раздавали два арестанта. Мне выдали жестяной заржавленный бак, жестяную кружку и деревянную ложку. Раздатчики с любопытством разглядывали меня, в особенности их поразило то, что я был в штатском. Узнав, что у меня нет чайника, они с соболезнованием заметили, что без этого мне будет очень трудно. Получив кашу и полфунта солдатского черного хлеба, я намеревался уже идти в камеру, как надзиратель заметил мне:

- Парашу-то забыли!

Видя мое недоумение, он указал мне в конец коридора на стоявшие у входа в уборную высокие ведра с крышками, и тогда только я понял, в чем дело, и не преминул запастись этой необходимой принадлежностью.

Без четверти шесть в камере появился снова арестант, принесший мне ранее мешок и одеяло, который на этот раз осчастливил меня маленькой керосиновой лампочкой. Тюремный день кончился.

Начиналась ночь, которая продолжалась до 5 часов утра. За этот промежуток времени из камеры ни под каким видом не выпускали, в этом я убедился, когда возымел "буржуазный предрассудок" пойти помыться перед сном. Надзиратель сообщил мне, что для этого есть время до 6-ти часов. Я осмотрел свою еду. Каша была совсем несъедобная и напоминала скверный клейстер, и пахла какой-то затхлой гнилью. К ней я не притронулся и ограничился жеванием и пережевыванием хлеба. Отсутствие чайника сразу дало себя знать, так как, не говоря уже о чае, которого у меня не было, у меня не было даже простой питьевой воды.

Делать было нечего, и я, опустив свои нары, разложил сенник и, как был, сняв только пиджак и воротник, улегся спать, покрывшись сукном и своим долгополым пальто, которое, благодаря своим размерам, сослужило мне прекрасную службу, равно как и моя заячья шапка с наушниками, без которой, как оказалось, спать было невозможно, до того было голове холодно.

Несмотря на физическую, а главное, нравственную усталость, спать я не мог. Тишина стояла гробовая. Мне порою казалось, что я слышу биение собственного сердца. Только изредка в коридоре слышались шаги надзирателя...

После томительной ночи наступило утро, начавшееся с выдачи кипятка и выпуском арестантов в уборную для утреннего туалета. Я все ожидал, что меня потребуют на допрос, но время шло, а за мной никто не приходил. Незадолго до обеда я вдруг услышал знакомый голос, кричавший:

- Камера № 7, оправиться!

Загремел замок, и вскоре я услышал шаги перед моей дверью, кто-то сильно закашлялся, это был Соловьев. Я выждал несколько минут и также возымел желание выйти из камеры, думая встретиться с Соловьевым в уборной. Но моя уловка не удалась, меня выпустили только тогда, когда Борис Николаевич вернулся в свою камеру.

В уборной на подоконнике я сразу увидел опознавательный знак нашей организации, сложенный из бумаги, и таковой же на полу около стенки. Присмотревшись к стенке, испещренной различными надписями, чисто заборного характера, я увидел тот же знак, нарисованный карандашом, и под ним надпись на стене, которая, очевидно, была наскоро нацарапана:

Бруар выдал записку, больше ничего. Познакомились в Тюмени. Настаивайте...

Дальше было неразборчиво и кончалось:

Поняли? Ответ.

Я уничтожил бумажки, затер подпись и подписал: *Понял*. Что же говорить? Когда я очутился в камере, то почувствовал себя значительно бодрее и не таким одиноким. Эта маленькая связь с Борисом Николаевичем придала мне новые силы.

Вследствие сумбура, царившего в голове, не все для меня было ясно, хотя я и написал "понял". Что значило: "познакомились в Тюмени"? Ведь мы были знакомы по Петербургу. О том, что Бруар выдал записку, у меня не было никаких сомнений. "Больше ничего" - значило, что Бруару об организации и деятельности Соловьева ничего известно не было.

Дали обед, состоящий из супа-похлебки, вернее, грязной, вонючей воды с сырым картофелем, который мне пришлось, зажавши нос, проглотить.

Повторилась утренняя история: сначала вышел из камеры Соловьев, а за ним я. На стене нацарапано было:

Вспомните театр, настаивайте на этом.

Мне сразу все сделалось ясным. Все мои сомнения рассеялись, и я только мог поразиться, насколько отшибло память у меня за последнее время. Вернувшись в камеру, я почувствовал новый прилив бодрости после этого напоминания. Как живая, встала передо мной картина нашего знакомства в театре, которому я так удивился. Неужели этому, казалось, нелепому случаю суждено сыграть роль? Я почувствовал почву под ногами, это был все же опорный пункт, за который можно будет держаться на допросе, если таковой будет.

Снова настал вечер. Снова неизменная "каша, параша и кипяток". От прогулки днем я отказался, но наблюдал Соловьева, в одиночестве ходившего в течении 15 минут по двору. На прогулку каждая камера выпускалась в отдельности, независимо от количества арестованных. За все послеобеденное время перед моими глазами в одиночку, парами и по 5-8 человек продефилировали все обитатели тюрьмы. Все это были, видимо, заправские арестанты в тюремном платье. Штатских было только нас двое, Соловьев и я.

После того, как дверь моя на ночь захлопнулась, я еще раз с грустью убедился, что весь мой ужин состоит из бака холодной воды (каши я не взял) и куска черного хлеба, и мне стало очевидным, что долго такого питания мне не выдержать и ничего другого мне не остается, как попытаться попасть в тюремную больницу, где, быть может, питание получше. Я расковырял спичкой свое контуженное ухо, чтобы усилить процесс бывшего в нем воспаления и гноеточения, и решил закатить своему надзирателю припадок, якобы вызванный ушной болью. Припадок разыграл я на славу. Я сам не знаю, как это я симулировал и невероятные судороги, и потрясающий нервный озноб, а в заключение и кровавую пену, шедшую изо рта.

Дежурный надзиратель до того перепугался, что дал тревожный звонок и совместно с явившимся надзирателем, дежурившим, видимо, по всей тюрьме, стал меня отпаивать водой и ставить холодный компресс на голову. Я после долгих их усилий "успокоился", но простонал почти всю ночь. На следующее утро я был у тюремного врача. В больницу я не попал, но врач прописал мне улучшенное питание.

Перед самым обедом дверь моей камеры отворилась, и я глазам своим не поверил: в камеру входил Соловьев со всеми своими вещами. Он был поражен своему переводу не менее, чем я.

Впоследствии это объяснилось. О моем припадке было донесено начальнику тюрьмы, и это, видимо, он настоял перед комиссаром о переводе ко мне Бориса Николаевича.

Начальник тюрьмы занимал эту должность до революции, а комиссар, с которым мы впоследствии ближе познакомились, оказался по профессии поваром одной из больших станций сибирской железной дороги, оставшийся благодаря войне без места и примазавшийся к большевикам ради получения какого-нибудь места.

Начальник же увидел в нас не простых каторжников, а людей, попавших к нему благодаря царящему произволу на попечение и упросил комиссара, бывшего по существу весьма скверным человеком. И вот мы оказались вместе.

Соловьев рассказал мне подробно о том, что натворил Бруар в Тюмени и что привело к нашему аресту. Оказалось, что Бруар явился к нему на квартиру и, не застав его дома (как я и предполагал, Борис Николаевич был в Совдепе для явки), потребовал у Мары Григорьевны, чтобы она ему дала 25.000 р., пригрозив ей, в случае отказа, выдачей Бориса Николаевича большевикам. Все это произошло для нее больше, чем неожиданно. Зная прекрасно, что Борис Николаевич ожидает получения от Бруара денег, она встретила его очень любезно, осведомилась, получил ли он записку, оставленную на его имя в гостинице "Россия", узнал ли он их адрес у меня, и полюбопытствовала, привез ли он долгожданные деньги. Она также сообщила ему, какие неприятности были с Борисом Николаевичем, на что он рассказал ей очень туманную и малоправдоподобную историю о своем аресте в Москве, об отобрании у него денег при обыске и о том, что ему, преследуемому по пятам, пришлось бежать. Результатом всей этой басни явилось резкое требование денег и угроза, в случае отказа, выдать Бориса Николаевича большевикам. Несчастная Мара Григорьевна клялась всеми святыми, что ни у нее, ни у мужа денег нет, и что на это рассчитывать он не может. Тогда он потребовал, чтобы она дала ему свои драгоценности. Получив и в этом отказ, так как никаких драгоценностей она не имела, он окончательно взбесился, заявив что если так, то он достанет их у меня. Он сел на извозчика, отправился в "Россию", а потом и ко мне. Что произошло у меня, уже известно.

Свои угрозы он привел в исполнение. Не успел Соловьев вернуться домой и узнать эти подробности у Мары Григорьевны, как к нему явились красногвардейцы, забрали его и доставили в Совдеп, где ему сказали, что имеются неоспоримые данные о его связи со мной, и что впредь до расследования наших взаимоотношений его арестуют.

Сперва он и не думал, что я арестован, и увидел меня впервые в глазок в двери камеры, который случайно не был закрыт, когда я вечером получал кашу. Тогда на следующий день он решил обратить мое внимание знаком на окне и напомнить мне о том, что я должен говорить в случае допроса.

Борис Николаевич был очень удручен своей опрометчивостью, так как ввязал меня невольно во всю эту историю, но из дальнейшего я понял, что он никак не мог ожидать такой подлости от Бруара.

Сам я лично тоже знал Соловьева сравнительно мало, и только за дни нашего совместного свидания в тюрьме, по его рассказам, я ознакомился с его биографией.

Бруар, француз, долгое время живший в России, с весны 16-го года служил на приисках инженером. В начале войны, будучи военнообязанным, он не поехал во Францию, а устроился у нас при французской контрразведке, сохранив кроме того и службу по своей специальности. Свое дело он в свое время изучал в Америке, в Калифорнии, где, по его же рассказам, перепробовал разные специальности от простого рабочего до заведующего приисками и был даже в одном из городков начальником полиции. В последнее время он исполнял, благодаря своей пронырливости, различные поручения Бориса Николаевича, пока последний их хорошо оплачивал.

Обсудив наше положение, мы пришли к заключению, что нам надо твердо держаться того, что наше знакомство произошло в Тюмени и что передача мною записки для Бруара была с моей стороны лишь простой любезностью по отношению к Борису Николаевичу. В Борисе Николаевиче я не мог видеть чего-либо предосудительного, так как он на моих глазах в театре запросто беседовал как с Кармашевым, так и с Пермяковым. Когда я однажды нарочно спросил Пермякова, с кем он разговаривал, последний ответил:

- А вы не знаете? Да это же зять Распутина! Парень ничего себе, но дурак, нашел на ком жениться!

Соловьев решил написать письмо председателю Совдепа Немцову с изложением своих взаимоотношений с Бруаром, особенно подчеркивая его поведение по отношению к рабочим.

Я же написал письмо Чувикову, в котором подробно описал свое знакомство с Соловьевым в театре, выставляя свидетелем Кармашева, Пермякова и секретаря Революционного трибунала.

Письма эти в тот же день были переданы нашему комиссару, и мы стали ждать ответа. Дни потянулись за днями. С голода мы не рисковали умереть, так как Маре Григорьевне было разрешено передавать мужу пищу - сало, рыбные консервы, чай и сахар. На третий день нашего пребывания в тюрьме Борису Николаевичу были разрешены десятиминутные свидания с женой. Бедная Мара Григорьевна почти все время проплакала, но все же, несмотря на присутствие комиссара, успела передать Соловьеву маленькую записку от Седова, в которой тот сообщил, что едет в Тобольск, и что никто не знает, что он приехал из Петербурга, и что он посылает нам окорок. Мы сразу не поняли, о каком окороке идет речь, но когда получили передачу, то помимо продуктов, присланных нам Марой Григорьевной, оказался большой кусок копченого медвежьего окорока, подарок Седова, который оказался большим подспорьем для нас.

В тот же день однообразие нашей жизни скрасилось разрешением пойти в тюремную церковь ко Всенощной (была суббота пятой недели Великого Поста). Когда мы вышли в коридор, где собралось много арестантов, желающих идти в церковь, один из них подошел ко мне, хлопнул по плечу и осведомился:

- Товарищ, вы по карманному? - И был весьма удивлен, видимо, когда я ему ответил отрицательно, сказав, что я "политический".

В церковь мы вошли прямо с нашего двора через специальную дверь и очутились в задней части храма под хорами. От публики мы были отделены решеткой до самых хор и кроме того барьером. Молящиеся входили в другую дверь, находившуюся посредине церкви. На хорах находились заключенные женщины. Церковь была прекрасно и даже богато устроена. Иконы были отличного письма. Прямо перед нами, перед левым клиросом стояла огромная икона, изображавшая Св. Николая Мирликийского и св. Царицу Александру.

Когда я после освобождения из тюрьмы зашел в церковь уже не как арестант, чтобы помолиться и поблагодарить Господа за Его милость ко мне, я прочел дощечку на богатом киоте этой иконы, еще сохранившейся в те времена: "Принесена в дар таким-то в память Священного Коронования Е. И. В. Государя Императора Николая II и Е. И. В. Государыни Императрицы Александры Феодоровны".

Собравшиеся молящиеся с любопытством смотрели на нас обоих, видимо, мы были не совсем обычными узниками. В начале службы я увидел Мару Григорьевну и с ней Седова, входивших в церковь. Мара Григорьевна сразу увидела нас, не выдержала и заплакала. Она за эти несколько дней осунулась и похудела до неузнаваемости. Седов, конечно, не показывал виду, что знает нас. Он также был очень расстроен, увидев наше безпомощное положение.

25-го апреля Соловьева вызвали в контору на свидание с женой. Когда он возвратился, я был поражен его видом. Обыкновенно он возвращался радостным и ободренным, но на этот раз он был страшно расстроен и бледен, как полотно. Когда дверь закрылась, у него вырвалось:

- Все кончено, Их перевозят!

Я обомлел от неожиданности. Оказалось, что Мара Григорьевна получила известие из Тобольска, что Императорская Семья покидает город. Она сумела дать это понять мужу во время свидания. Это известие как громом поразило нас. Куда и кто Их перевозит? Чем это было вызвано? Никаких подробностей мы не знали, одно только можно было утверждать, что это неоспоримый факт. Мара Григорьевна ошибиться не могла, да никто ей не мог сообщить провокационных сведений. Борис Николаевич смотрел на положение очень мрачно. Не было никаких данных предполагать, что Их увоз из Тобольска будет знаменовать облегчение Их участи или же сулить Им освобождение.

Союзники никакого влияния на московских товарищей не имели, немцы же никакого участия по отношению к Царской Семье не проявили. Ни Государь, ни Государыня к своим германским родственникам не обращались. Незадолго до постигшего нас несчастья Борис Николаевич получил письмо из Тобольска, в котором сообщалось о

положении Их Величеств и, между прочим, было указано, что Его Величество очень подавлен событиями в России, в особенности Брестским миром. Чемодурову, который передал Государю пачку газет, собранных мною для Него в Тюмени, Государь сказал:

- Мне тяжело читать такую мерзость!

При дальнейшем разговоре Он высказал свое мнение, что спасение России Он видит только в тесном единении с Францией и Англией.

Ответ Государыни на письмо Ю. А. Ден к Ее Величеству летом 17-го года, в котором та спрашивала Государыню, желают ли Их Величества, чтобы были сделаны шаги о выезде Их Величеств за границу, ясно определял желание и настроение Императорской Семьи. Их Величества приблизительно в следующих выражениях ответили Ю. Ден (цитирую на память):

- Пускай с Нами делают, что угодно, заключают в Петропавловскую крепость, но Мы ни за что не покинем Россию. Тот негодяй, кто бросает свою Родину в такой тяжелый момент...

Организации, могущей вывезти Их Величеств, не существовало, а образоваться за неделю нашего пребывания в тюрьме она не могла. Оставалось предположить, что отряд, приехавший в Тобольск 13-го апреля под начальством Заславского, о котором я уже писал, или самолично вывозит Их Величества из Тобольска, или по приказанию Москвы.

Мы были безсильны воспрепятствовать этому и не только потому, что находились в заключении, но даже если бы этого не было, то и в таком случае мы не имели бы возможности противодействовать вывозу. Единственный, кто мог это сделать, это Кобылинский, но это было мало вероятным, так как достаточного количества верных людей он у себя в отряде найти не мог, а допуская мысль, что ему как-либо удалось бы отстоять Царственных Узников, то он в дальнейшем очутился бы без материальных средств для осуществления побега Их Величеств, то есть оказался бы в том же положении, в котором находились и мы. Наши карты были смешаны, возможность спасения Их Величеств из Тобольска была утеряна, и гадать было нечего. Приходилось, стиснув зубы, ожидать развития событий.

28-го утром, выходя из уборной, я случайно столкнулся с председателем Совнархоза Кормашевым, осматривавшим тюрьму в сопровождении какого-то неизвестного мне субъекта. Он как-то растерялся при виде меня. Я спокойно подошел к нему и поздоровался.

- Не можете ли, товарищ, сказать мне, за что я арестован? Какие обвинения предъявляются мне? Обыкновенно обвинения предъявляются в течении 24 часов, а я сижу уже одиннадцатые сутки, и меня даже не потрудились допросить. Быть может, меня арестовали за знакомство с зятем Распутина, Соловьевым, так это нелепо, так как вы сами с ним знакомы, и никому, как вам, лучше известно что с ним я познакомился на ваших же глазах в театре.

Это мое обращение еще больше смутило его.

- Как же, как же, товарищ! Я помню, как вы познакомились с Соловьевым в театре. Меня об этом на днях спрашивал товарищ Чувиков, сказавший мне, что ваше дело передано в трибунал.

Я попросил его еще раз напомнить обо мне Чувикову, и на этом мы расстались. После обеда к нам в камеру зашел комиссар, сообщивши последнюю новость, а именно то, что Государь, Государыня и Великая Княжна Мария вчера вечером были доставлены из Тобольска в Тюмень, откуда Они последовали дальше.

На наш вопрос, куда же Их везут и почему не всех сразу, комиссар ответил, что в Совдепе ему сказали, что Государыню и Государя везут в Москву, где они будут преданы народному суду. Почему Их не всех отвезли, он не знает.

Итак, сообщение Мары Григорьевны подтвердилось... Причина, по которой Наследник остался с Великими Княжнами в Тобольске, была для нас понятна. Видимо, Наследник не оправился от ушиба, полученного Им в десятых числах апреля, о чем Великая Княжна Ольга сообщала Борису Николаевичу в своем письме от 14-го числа.

В субботу на 6-й неделе Великого Поста была назначена исповедь после всенощной для говеющих арестантов. Мы были в числе их. После службы к решетке, отделявшей нас от церкви, был принесен аналой. Часть решетки в виде окна была открыта, заключенные по очереди подходили, священник стоял по ту сторону решетки. Таким образом происходила исповедь. Тяжело было наблюдать эту картину, даже в такой великий момент, в минуты покаяния в своих грехах перед Господом, человек не чувствовал воли...

Мы пропустили перед собой всех заключенных, затем подошел Борис Николаевич, я остался последним.

Меня поразила продолжительность исповеди Соловьева и, главное, что он, по-видимому, о чем-то говорил со священником, так как по интонации доносившегося до меня шепота я улавливал происходивший спор.

Наконец священник прочел отпускную молитву, и я увидел, как Борис Николаевич, очень взволнованный, вышел из церкви.

Настала моя очередь. Священник задал мне ряд обычных вопросов и осведомился о причине моего нахождения в тюрьме. Я чистосердечно ответил ему:

- За мои монархические убеждения.

Батюшка сказал мне общую фразу, смысл которой был тот, что человек должен гордиться твердостью своих убеждений, никогда от них не отступать, но должен памятовать, что они не должны противоречить учению нашего Всемогущего Господа, после чего он отпустил меня.

Я застал в камере Бориса Николаевича страшно расстроенным. Оказывается, что и его священник спросил о причине ареста, на что он ему то же ответил, что и я. Батюшка сказал ему, что лично он его убеждений не осуждает, но все же

напоминает ему о том великом зле, какое причинила Государыня России, и еще что-то в этом духе.

Тут Борис Николаевич не выдержал, вступился за Ее Величество, и вместо исповеди у него вышел со священником пренеприятный разговор. Как человек глубоко религиозный, он был этим страшно расстроен.

На следующий день я причащался один, Борис Николаевич притворился больным. Причастие происходило тоже через решетку. Это было еще тяжелее, чем исповедь. Откровенно говоря, после того, что я узнал от Соловьева, я себя не особенно уверенно чувствовал. Политическое мировоззрение батюшки мне совсем не нравилось, и он мог, чего доброго, донести на нас большевикам. Но этого не случилось. Священник соблюл тайну исповеди.

29-го и 1-го мая нам пришлось пережить несколько весьма неприятных часов, и вот почему: 29-го после обеда наша тюрьма как бы оживала. В коридоре из всех камер доносился гомон. Во всех камерах слышались крики и шум. Весь дом зашумел и волновался, как муравейник.

Я постучался в дверь, и старик надзиратель, очень хорошо относившийся к нам, взволнованно сообщил, что разнесся слух, что Запкус хочет приехать в тюрьму. Я сразу же понял, в чем дело. Оказывается, это был тот самый комиссар, в свое время занимавший Тюменский вокзал, который счел своим долгом почему-то посетить тюрьму и, справившись в списке о наиболее штрафованных арестантах, велел их в количестве пяти человек вывести из тюрьмы и тут же расстрелять. Что вызвало такой комиссарский гнев, неизвестно.

Запкус вообще отличался в Западной Сибири. Он носился взад и вперед по линии и терроризировал железнодорожников. Он был знаменит своими телеграммами из Екатеринбурга по линии перед своим очередным походом.

- Идет поезд №... комиссара Запкус, предупреждаю, что за минутную задержку расстреляю виновных на месте.

Свою угрозу он приводил в исполнение. Так, на одной станции, где случайно неисправно действовала водокачка и поезд вместо десяти минут простоял пятнадцать, он тут же на перроне расстрелял начальника станции, телеграфиста и стрелочника... И как ни в чем не бывало тронулся дальше.

Такая новость весьма мало обрадовала нас. Нам стало ясным, что если он на этот раз заедет в тюрьму, то первыми кандидатами к расстрелу будем мы. Помолившись Богу, мы попрощались друг с другом и спокойно стали ждать своей участи. Через час все успокоилось. Оказалось, что слухи о приезде Запкуса простая утка.

Должен отметить, что весь персонал тюрьмы относился к нам прекрасно. Это объясняется тем, что все надзиратели были старослужащие, так что ни среди персонала, ни в тюремном режиме никаких перемен или новшеств не было.

1-го мая, в день пролетарского праздника, мы также почувствовали себя довольно скверно. Стоял первый теплый день, и к нам в открытое окно доносилось пение

интернационала, которое слышалось все отчетливее и отчетливее... Мы ожидали, что толпа пойдет к тюрьме и потребует нашей выдачи, а товарищи, конечно, не задумываясь, выдадут нас на утеху.

Но этот день прошел благополучно. После обеда меня вызвали в контору. Это было впервые за двухнедельное мое пребывание в тюрьме. Каково же было мое удивление, когда я увидел там подпрапорщика Гусева с пакетом. Оказалось, в нем было мое белье, сданное мною для стирки его жене. Мне было ясно, что хотя она и была женой помощника командира эскадрона, но и сама от такого заработка не отказалась, хотя и уверяла, что отдала его прислуге.

Гусев сообщил мне, что за мое отсутствие Красная Гвардия была разоружена и что мои уланы имели по поводу моего ареста собрание, на котором ввиду приближения праздников и полной неясности, за что я, собственно, был арестован, постановило запросить начальника штаба о предъявленном мне обвинении и о причинах столь длительного моего задержания. Как я впоследствии узнал, этому собранию и постановлению, явившемуся решающим в моей судьбе, я был всецело обязан молодцу Ковальчуку.

Я был очень рад получению белья. Я две недели носил свое старое без смены и, несмотря на соблюдаемую нами чистоту, мы все же с Соловьевым не избавились от вшей.

По вечерам, после шахматной игры, которую мы сами сделали, слепив фигуры из черного хлеба, мы объявили войну этим паразитам, поджаривая швы белья на нашей керосиновой лампочке. Но это мало помогало. На эту тему Соловьев написал, между прочим, следующее стихотворение.

Сережа Марков, арестант,

Сидит понурившись, над кашкой

И, распевая грустный кант,

Рукою шарит под рубашкой.

Горстями достает добро.

Но то не серебро, не злато,

Давно уж нету там его!

Рубашка вшами лишь богата!

2-го мая утром к нам явился комиссар и объявил, что из трибунала телефонировали и дали распоряжение освободить Бориса Николаевича. В первый момент мы были ошеломлены таким сообщением, не верилось, что это так. Соловьев, сияющий, собрал свои пожитки и, распрощавшись со мной, покинул камеру. Я остался один. Мне было непонятно мое дальнейшее задержание, так как оно стало явно безсмысленным. В том, что буду выпущен, я был уверен, но когда? Перспектива

провести праздники в одиночестве, да еще в тюрьме, очень мало улыбалась мне. Конечно, я был рад за Бориса Николаевича, а главным образом за Мару Григорьевну, которая с каждым разом, что я ее видел в церкви, худела и худела, прямо таяла. Кроме того, освобождение его знаменовало, что товарищам истинной нашей связи и настоящего нашего лица установить не удалось и что поэтому наш арест никакого вреда Императорской Семье нанести не мог. Подлость Бруара осталась подлостью, но никаких последствий не имела.

Наступило утро Страстной Субботы, которое никаких изменений не принесло, и я был уверен, что Святую ночь мне придется провести взаперти. Ожидал только обещанной передачи от Соловьева пасхальных яиц, которые должны были скрасить мое одиночество и напомнить о Великом Празднике.

С утра я начал приводить камеру в порядок. Незадолго до обеда дверь в мою камеру отворилась, и в нее вошел старший надзиратель.

- Пожалуйте в контору, вас комиссар желает видеть! - обратился он ко мне. Я собрался уже идти.

- Нет, с вещами, вас, наверное, освободят.

Я не заставил себя долго просить и, в минуту собрав свои пожитки, распрощался со своими тюремщиками и отправился в контору. Комиссар сообщил мне, что из трибунала пришли бумаги с приказанием освободить меня из заключения.

Получив оставшиеся у меня в конторе два рубля (остальные деньги ушли на покупку табака) и свои подтяжки, я с молниеносной быстротой очутился за воротами тюрьмы. Большая зеленая калитка со скрипом захлопнулась за мной. Я был на свободе!

ГЛАВА X

В гостинице я был радостно встречен не только хозяином, милейшим толстяком Лошкомоевым, но и всеми служащими. По-видимому, они видели во мне хорошего гостя, а не свирепого большевика.

Не успел я занять номер, как ко мне пришел Седов поздравить с благополучным исходом моего ареста, а потом прибежал запыхавшийся Симоненко, узнавший в штабе об моем освобождении. Когда он увидел меня, так сказать, целым и невредимым, он проявил такую радость по поводу моего освобождения, что я был прямо-таки тронут добротой его души и отзывчивостью. Он передал мне все новости, происшедшие за время моего отсутствия.

Во-первых, он принимал участие в разоружении отряда Тюменской Красной Гвардии, разоруженной по приказанию Пермякова за безчинства, которые она творила, и вылившиеся в ряд самочинных обысков с "изъятием ценных предметов", кои были найдены у начальника.

Как я узнал, им был тот самый детина в папахе, который принимал участие в моем аресте. Мальчишка, который был с ним, как мне рассказывал Симоненко, был сыном

помощника председателя Совдепа Неверова. Он занимал в Тюмени весьма ответственный пост председателя Совнархоза.

Затем Симоненко конвоировал с 15 уланами Государя и Государыню, встретив Их в 20-ти верстах от Тюмени, до вокзала. Вот что он рассказывал мне по этому поводу: 27-го марта он пришел, как обычно, в штаб, его вызвал к себе Пермяков, который приказал немедленно во что бы то ни стало оседлать наличными седлами лошадей, отобрать из эскадрона наилучших волонтеров и ждать его в полной боевой готовности у казарм.

Симоненко недоумевал, в чем дело, исполнил приказание, и к моменту приезда в экипаже Пермякова и председателя Совдепа Немцова он имел в готовности 15 всадников. Пермяков вышел к волонтерам и объявил им, что они будут исполнять чрезвычайно важное поручение, а именно, на них возлагается охрана бывшего Царя, которого перевозят из Тобольска, причем он заявил, что они должны держать себя с достоинством, как подобает настоящим "революционным солдатам".

- Пусть бывший Царь видит дисциплину и мощь Красной Армии, самой свободной армии в мире! - закончил Пермяков свое обращение к ним.

После этого он сел в экипаж и приказал Симоненко следовать за собой. В версте от первой почтовой станции Пермяков остановил отряд, а сам отправился на станцию.

Около 6-ти часов вечера Симоненко увидел целый караван выезжавших из деревни телег, который вскоре поравнялся с ними. Впереди ехало пять всадников, за ними парная телега с пулеметом, за ней телега с солдатами. Потом следовала телега, в которой сидел Государь с каким-то субъектом в шубе и папахе. Как потом узнал Симоненко, это и был тот комиссар, который перевозил Государя, по фамилии Яковлев.

За Государем тоже на простой телеге сидела Государыня с Великой Княжной Марией и затем другая телега со свитой, которой было пять человек, четверо мужчин и одна женщина. Кто это были, он не знает.

Замыкали поезд Пермяков, Немцов и еще четыре телеги с солдатами и одним пулеметом и пять всадников. Всего конвоя Симоненко насчитал до 50 человек.

Пермяков приказал разбить волонтеров на две части. Одну оставить позади каравана, а самому с семью волонтерами ехать впереди.

К вечеру весь поезд, минуя город, проходил по окраинам Тюмени и прибыл на вокзал, где стоял уже приготовленный поезд, состоявший из вагона 1-го класса и трех вагонов III-го. Немедленно по прибытии Государь, Государыня и Великая Княжна перешли со свитой в вагон. Комиссар попрощался с Пермяковым и Немцовым, а также поблагодарил Симоненко за образцовую службу его подчиненных, и поезд тронулся по направлению на Екатеринбург. По словам Симоненко, Государь выглядел совершенно спокойным, Государыня была очень бледна и, видимо, страшно устала с дороги.

На мой вопрос, как держал себя по отношению к Государю комиссар [Яковлев] Пермяков с Немцовым, Симоненко ответил, что очень хорошо. Он помогал Государыне войти в вагон, предварительно осмотрев, все ли в нем в порядке, распоряжался переноской вещей, вообще все держали себя крайне корректно. Наши же комиссары не принимали никакого участия во всем происходившем и были только зрителями.

Когда поезд ушел, Симоненко спросил Пермякова о причине перевоза Царя, и последний ему ответил, что из полученной им бумаги видно, что бывший Царь будет предан суду революционного трибунала в Москве, куда его и должен доставить комиссар Яковлев, являющийся комиссаром ВЦИКа с чрезвычайными полномочиями. По словам Симоненко, волонтеры во все время пути и до отправления поезда держали себя спокойно и безразлично ко всему происходившему, а Ковальчук принимал даже участие в переноске Царского багажа.

- А знаете, что я вам скажу, Сергей Владимирович, ведь, если бы кто-нибудь хотел отбить у нас Государя, то мог бы это сделать с легкостью, нужно было только смелость иметь! - закончил свой рассказ Симоненко.

Я слушал его как во сне... ведь это я был бы на месте Симоненко, если бы не находился в тюрьме! Я должен был конвоировать Их Величества, с сознанием своей полной безпомощности и своего полного безсилия как-либо помочь Им!

Эта мысль жгла мой мозг, как каленое железо, и я был готов благословить тот миг, когда я попал в тюрьму, избавившую меня от кошмара быть тюремщиком своего Государя!

Заключительная фраза Симоненко едва не прорвала накопившееся во мне отчаяние и горе, и мне стоило больших трудов сдержаться. Как прав был, хотя и невольно, Симоненко; но разве только в пути было легко Их спасти?.. А в Тобольске? Что думали и переживали Их Величества во время переезда? Кто этот Яковлев, столь любезно к Ним относившийся? Эти вопросы давили меня, но ответа ни них не было.

Мне начинало казаться, что, быть может, переезд Их Величеств в Москву положит конец Их мукам. Ведь в Москве все же была организация, казавшаяся мне авторитетной и мощной, и которая могла бы повлиять на немецких дипломатов, бывших в Москве. Я не думал, что Германия в лице Императора останется безучастной к судьбе Императорской Семьи. Быть может, Император сделает, чего не сделали наши союзники, имея к тому полную возможность летом 1917-го года. Такое решение вопроса несколько успокаивало меня.

Прекрасная Пасхальная заутреня в Знаменской церкви, куда отправился после ухода Симоненко, горячая молитва, вознесенная мною к Престолу Всевышнего помогли мне провести более или менее спокойную ночь. Не знал я, что утром узнаю новость еще более кошмарную, чем то известие, которое мы получили в тюрьме о переводе Их Величеств. Рано утром я отправился к Соловьеву. Когда я вышел на Царскую улицу, то услышал сзади себя знакомый голос:

- Товарищ, товарищ, куда вы?

Я обернулся и увидел вылезавшего из экипажа Пермякова.

- С праздником вас поздравляю. Очень рад, что вы свободны. Почему это вы на разговение вчера не пришли? - обратился он ко мне, с жаром потрясая мою руку.

- Я вас не понимаю, Григорий Прокопьевич, при чем тут я? Я ведь на службе не состою!

- Что вы, что вы, товарищ, мы уверены что вы на службу вернетесь, вас же по ошибке арестовали!

Я не выдержал и, рассмеявшись, ответил ему:

- Напрасно вы так уверены. Ошибка же вышла весьма неприятная и странная, вы бы меня расстреляли по ошибке, а потом над моим трупом за нее извинились бы!

Пермяков смутился, но все же настаивал, чтобы я обязательно вернулся на службу, что он мне и жалование за время моего ареста выплатит и, во всяком случае, просил непременно зайти в штаб. Я ответил ему преднамеренно безразлично, что "как-нибудь" зайду.

На этом мы расстались, и я отправился дальше. Такой встречи, а тем более такого предложения я никак не ожидал. В одном я удостоверился, что все, начиная с Пермякова, вполне уверены в моей невиновности. Это было мне, да и всем нам очень на руку. Ожидаемого пасхального настроения у Соловьевых я не нашел, Бориса Николаевича я застал мрачным и озлобленным, Мара Григорьевна имела заплаканный и удрученный вид.

Сообщенная мне Борисом Николаевичем новость, как громом, поразила меня. Их Величества задержали в Екатеринбурге. Причины были неизвестны, это задержание не предвещало ничего хорошего. Еще до своего ареста я мог по сводкам Екатеринбургского Военного Комиссариата убедиться, что последний, не в пример Тюмени, никакой роли в городе не играл, а главная сила находилась в руках Красной Гвардии, набранной из всяких проходимцев и рабочих, а по сводкам явствовало, что с военной точки зрения эти части нельзя было рассматривать как таковые.

Все обращения и воззвания Екатеринбургского Областного Совдепа, переданные нам, были крайнего и непримиримого направления. Красный Екатеринбург и Красный Урал объявили себя "цитаделью революции". Резолюции и прокламации Омского Запсибсовдепа были ничто по сравнению с этими революционными перлами.

Борис Николаевич рассказал мне, что Седов, узнав о приезде нового отряда в Тобольск, решил проехать туда, что и исполнил, выехав из Тюмени 26-го числа. По дороге в одной деревне, приблизительно посредине пути, он, к ужасу своему, встретился с Их Величествами, перевозимыми в Тюмень. Он присутствовал при перекладке лошадей Их Величеств и находился недалеко от Них, так что Государыня узнала его. Он хотел вернуться в Тюмень, но безпокойство за остальных членов Императорской Семьи (он сразу не сообразил причины отсутствия

Наследника и оставшихся Великих Княжен) заставило его проехать в Тобольск, где он увидел всех, кроме Наследника, в окнах дома.

С кем-либо из свиты он боялся войти в связь, так как около губернаторского дома, как и около дома Корнилова, где проживали дети лейб-медика Боткина, он видел большое количество солдат как старого, так и нового отряда, оставшегося в Тобольске, так как только небольшая часть его сопровождала Их Величества.

Седову ничего не оставалось делать, как вернуться обратно. 29-го он был уже в Тюмени, и во время нашего разговора он пришел к Соловьеву и во всех подробностях рассказал нам о своей поездке в Тобольск. Общее положение в Тобольске вырисовывалось в следующем виде: в городе, кроме отряда Заславского, прибывшего туда 13-го апреля, находился также отряд комиссара Родионова, состоящий почти исключительно из латышей. Последний отряд прибыл из Екатеринбурга в город 30-го числа, видимо, по какому-то новому маршруту, так как он миновал Тюмень. Еще до приезда Заславского, после столкновения, происшедшего между тем отрядом, который я встретил по дороге и который следовал из Омска, и отрядом, появившимся через несколько дней из Екатеринбурга и вскоре покинувшим город, положение власти существенно изменилось, о чем я уже писал.

За день или за два до того, как мы были арестованы, произошли дальнейшие изменения. Вместо председателя Совдепа Никольского выбран был некий Хохряков, по собранным сведениям бывший матрос. К моменту приезда Яковлева Дуцман, начальник отряда, встреченного мною по дороге, и по приезде объявивший себя не только начальником над охраной Императорской Семьи, но и комиссаром города, также как и Демьянов, покинул Тобольск и уехал в Омск. В Тобольске оставался Дегтярев с небольшой частицей первого отряда.

Соловьев получил следующие данные: Заславский занял по отношению к Императорской Семье самую непримиримую позицию. По национальности он был евреем. Трудно было установить, какие полномочия он имеет, но можно было предполагать, что он отправлен из Екатеринбурга не Областным Советом, а каким-то лицом или группой лиц из безчисленного числа "предкомов", "совкомов" и отдельных комиссаров, в общем, мало подчинявшихся Совдепу, и действовавших зачастую самостоятельно.

Одним из таковых, как мы уже видели, был Запкус. Было несомненно, что Заславский стремился захватить в свои руки власть над Их Величествами. Но этому воспрепятствовала старая охрана, а приезд Яковлева и Родионова с латышами прекратили его деятельность.

Кроме того, сообщили из Тобольска, что Яковлев в Тобольске был поддержан в своих действиях Хохряковым, и можно было предположить, что оба они с собою как-то связаны. Борис Николаевич подтвердил также, что во все время своего пребывания в Тобольске Яковлев был по отношению к Императорской Семье в высшей степени корректен.

Последним известием из Тобольска было сообщение, что Родионов сделался председателем отрядного комитета старой охраны. Нам было не особенно понятно,

как это могло произойти. Одно было ясно, что Кобылинский потерял окончательно и без того призрачную власть над своими подчиненными. Также непонятно было, где пребывала Императорская Семья в период от 27-го по 30-е апреля. Задержка Их в Екатеринбурге произошла 30-го апреля. В общем, положение было до крайности запутанным и тяжелым.

Из Петербурга никто за время нашего ареста не приехал, и на свои письма Седов ответа не имел. Обсудив создавшееся положение, мы пришли к следующему заключению: ввиду имеющейся у меня возможности вернуться на службу мне и следует поступить на нее, так как не исключается возможность приезда офицеров из Петербурга, и хотя Их Величества и задержаны в Екатеринбурге, Тюмень все же находится не так далеко от последнего, а первоначальная легализация офицеров по их приезду через поступление их в эскадрон даст нам возможность получить документы, при помощи которых им удастся сконцентрироваться в районе Екатеринбурга и в самом городе.

Это предполагалось на тот случай, если Их Величества, паче чаяния, задержат надолго в Екатеринбурге. Если же Их перевезут в Москву, то я могу выдать прибывшим офицерам фальшивые командировки для обратного проезда в Россию. Кроме того, мы будем все же информированы о положении Императорской Семьи как в Тобольске, так и в Екатеринбурге. Если же до конца Фоминой недели никто из Петербурга не приедет и никаких известий мы оттуда не получим, то Седов лично поедет туда и во всех подробностях информирует Маркова 2-го, так и А. Вырубову о создавшемся невыносимо тяжелом положении. Совершенно нам непонятное упорное молчание Петербурга повергло нас в тупое уныние. С момента моего отъезда прошло уже два месяца, и не говоря уже о большом количестве офицеров, обещанном мне Марковым 2-м, даже Андреевский и Гринвальд, для которых А. Вырубова достала деньги, которые должны были приехать за мной вслед, не приехали.

Единственно, что оставалось предположить, это разгром организации большевиками.

Борис Николаевич рассказал Седову и мне о подробностях своего освобождения. Оказывается, решающим фактором в этом деле было исчезновение из Тюмени Бруара сразу же после сделанного им в Совдепе доноса. Это, а также и несомненно для них мое с Соловьевым знакомство в Тюмени незадолго до доноса Бруара произвело очень хорошее впечатление в нашу пользу среди местных заправил. Не обошлось без взятки. Маре Григорьевне посоветовали обратиться к одному артисту местной драматической труппы, подвизавшейся в приказчичьем клубе, имевшему, видимо, юридическое образование и устроившемуся при местном трибунале адвокатом или, по-новому определению, правозаступником.

Этот ловкий малый умело повел дело, и когда акты по нашему делу попали в трибунал, он сумел, кому нужно, дать соответствующую мзду из тех 5.000 р., которые с трудом для него добыла Мара Григорьевна, и дело, вызванное доносом Бруара, было таким образом ликвидировано. Остался невыясненным протокол обвинения Бориса Николаевича, для какой цели он пользовался фальшивыми документами и хранил оружие без всякого разрешения.

В этот же день я познакомился с сыном Григория Распутина, Димитрием, приехавшим из Покровского. По виду это был простой деревенский парень. Он кончил церковно-приходскую школу и по мобилизации служил в одном из Сибирских стрелковых полков.

Вечером зашел ко мне Ковальчук, которого я от чистого сердца поблагодарил за участие в моей судьбе. Он рассказал мне о жизни эскадрона за дни моего сидения в тюрьме.

На следующий день после моего ареста люди были переведены в казармы при управлении воинского начальника, были получены лошади из конного запаса, отобранные мною и Маркаровым. Лошади были поставлены на площади перед казармами на скоро сделанную коновязь, на которой они стоят и до сих пор. Занятий никаких не проводится, кроме пешего учения, да и то, когда придется и как придется.

Он повторил мне все, рассказанное Симоненко о перевозе Их Величеств, и по лицу и по голосу его я ясно видел и чувствовал, что Ковальчуку было очень тяжело и неприятно участвовать в конвое Их Величеств. Особенно характерны были его слова:

- Когда же товарищ Пермяков сказал нам, зачем мы едем, то я сказал товарищам без стеснениев, что им всем морды понабью, если они не будут себя держать, как следует, форменно, по настоящей дисциплине, чтобы бывший Царь видел, что есть еще настоящие солдаты!

Я подумал, что если бы у меня было таких Ковальчуков человек 30-40, то многое можно было бы сделать...

Из дальнейшего будет видно, что Ковальчук еще раз помог мне, и, быть может, только благодаря ему мне не пришлось еще раз сесть в тюрьму и удалось покинуть Тюмень.

На третий день праздников я зашел в штаб и только после долгих уговариваний Чувикова "соблаговолил" и согласиться и вернуться на службу. Пермяковым было приказано выдать мне содержание за все время моего ареста, что и было немедленно исполнено. В штабе я узнал о подробностях задержания Их Величеств в Екатеринбурге.

27-го апреля у нас в штабе были получены сведения, что на станции "Поклевская" между Тюменью и Екатеринбургом вооруженные рабочие, в случае провоза Царя, хотят отбить Его силой. Об этом был поставлен в известность помощник комиссара Яковлева Авдеев, присланный в Тюмень Яковлевым 26-го апреля для приготовления поезда, и который должен был увезти Их Величества. В ночь на 28-е апреля это сообщение повторилось, о чем по линии дано было знать Яковлеву, который около 10-ти часов вечера отбыл с Их Величествам из Тюмени. Не доезжая станции "Поклевская", Яковлев получил это известие и повернул поезд обратно. Имея короткую остановку в Тюмени, поезд проследовал на Омск. 29-го на рассвете он был задержан под самым Омском на станции "Куломзино" красногвардейцами. Из сводки Омского военного комиссариата явствовало, что Яковлев покидал поезд и лично ездил в Омск, откуда вступил в телеграфную связь с Москвой, откуда он

получил приказание немедленно везти Государя в Россию. В сводке указывалось, что задержание поезда на станции "Куломзино" произошло из-за телеграммы Екатеринбургского Совдепа, вернее, начальника Екатеринбургской Красной Гвардии таковому же в Омске, в которой первый выражал свое опасение о возможности побега Их Величеств. После переговоров с Москвой Яковлев вернулся в Куломзино и двинул поезд обратно. В Тюмени он узнал, что линия до Екатеринбурга свободна, рабочие, собравшиеся на станции Поклевская еще 28-го апреля, вернулись в Екатеринбург. Поезд пришел 30-го апреля и был на станции немедленно оцеплен большим отрядом Красной Гвардии. Из сводки Екатеринбургского Военного Комиссариата было видно, что задержание бывшего Царя в Екатеринбурге произошло по постановлению Екатеринбургского Совдепа, вопреки приказанию из Москвы, полученному Яковлевым. С вокзала Их Величества были отправлены в дом "особого назначения", ранее принадлежавший местному богатому купцу Ипатьеву. Из Тобольска никаких новых сведений получено не было.

Ознакомившись с положением, в котором находился эскадрон, я убедился в следующем: за мое двухнедельное отсутствие товарищи переменили двух каптенармусов и двух артельщиков, выбрав на эти должности серба, бывшего военнопленного, совершенно не грамотного по-русски, и который, конечно, и понятия не имел о ведении книг. Артельщиком был выбран абсолютно безграмотный русский. Вообще, эскадрон принял интернациональный характер. По списку в нем числилось 11 латышей, 10 сербов, 2 чехословака, один румын, 3 венгра, все бывшие военнопленные, и 45 русских, из коих, по уверению Ковальчука, двое было беглыми каторжниками.

Когда я указал на ненормальность безпрестанных смен каптенармусов, Пермяков мне ответил, что этого права отнять у товарищей нельзя и что на этой должности может быть только то лицо, которому товарищи абсолютно доверяют. Я был несказанно обрадован такой точкой зрения почтенного Пермякова, видя в этом усугубление развала эскадрона. Новые порядки в управлении эскадронным хозяйством дали себя знать. Фуража, который почти никак не приходовался, вышло, по моему подсчету, в пять раз больше положенной нормы. При осмотре цейхгауза я усмотрел недостачу 18 шинелей и массы других вещей. Разобраться, как это могло случиться, было невозможно. Каптенармусы сваливали вину друг на друга.

Я решил особенно не углубляться в поиски и смотреть сквозь пальцы на постоянные переизбрания каптенармусов и на все творящиеся безобразия.

Однажды, проходя по одной из улиц, параллельной главной, я увидел заброшенный двор, в котором находились конюшни. По полуистертой доске с надписью на воротах я убедился, что здесь когда-то стоял обоз какой-то пешей дружины. Осмотрев конюшни, я убедился, что их легко увеличить и приспособить под конюшни для эскадрона, людей же можно поместить в здании школы, находившейся рядом. Такое открытие очень обрадовало меня, можно было снова начать безконечную постройку, а за ней и перестройку. Сказано - сделано. Я обратился к Пермякову, немедленно же получил от него полное одобрение, и через два дня уланы уже пребывали в здании школы, а Совгорхоз, по срочному предложению Пермякова, ремонтировал конюшни.

Из Тобольска были получены известия, что Наследник медленно поправляется и покинул постель. Числа 12-го мая мы получили известия, что Кобылинский окончательно обрезан в своих правах и что, по-видимому, можно ожидать замены его отряда другой охраной. Ясно становилось, что Наследника и Великих Княжен собираются перевезти из Тобольска, Их Величества находились еще в Екатеринбурге. Борис Николаевич получил оттуда известие, что Они находятся по-прежнему в доме Ипатьева, который обносят двойным деревянным забором выше окон, и что связи установить с Их Величествами до сих пор не удалось. Это было неудивительно, так как из сводок Екатеринбургского Военного Комиссариата видно было, что Их Величества находятся в руках комиссара Голощекина.

Еще раз обсудив создавщееся положение, мы решили, что Седов бросает свое место и немедленно едет в Петербург. На совещании я указывал ему, что если Их Величества окончательно задержат в Екатеринбурге, то возможность Их спасения оттуда представляется, на мой взгляд, весьма ничтожной: Екатеринбург - не Тобольск! Поэтому подлежит Маркову 2-му использовать все свои связи, которые он имеет в Смольном и вообще у большевиков (об этом я слышал от Ю. Ден, говорившей мне, что у Маркова 2-го есть свои люди на ответственных советских постах), чтобы точно выяснить причину задержания Их Величеств в Екатеринбурге и немедленно же вступить с немцами в переговоры об охранении Их Величеств. С немцами Марков 2-й имеет несомненную связь, в чем я мог убедиться из разговоров, слышанных мною на конспиративной квартире во время моего пребывания в Петербурге вплоть до отъезда в Тобольск. Я же остаюсь на своем месте до получения известий от Седова из Петербурга с указанием, стоит ли мне вперед сохранять за собой занимаемое мною место. Борис Николаевич просил Седова информировать обо всем А. Вырубову.

14-го Седов уехал из Тюмени в Екатеринбург, чтобы на месте уяснить положение, в котором находились Их Величества, а оттуда в Петербург. Из писем Великих Княжен, полученных из Тобольска Борисом Николаевичем, было видно, что Они получили письма от Их Величеств, в которых Последние писали, что жизнь Их в Екатеринбурге очень тяжела. Кроме того, Борис Николаевич получил из Тобольска икону Иисуса Христа в подарок от Их Величеств, приготовивших для него этот подарок перед отъездом из Тобольска. О нашем аресте Их Величества знали, и Великие Княжны писали нам, что Они все были этим очень огорчены.

19-го мая Соловьев получил известие, что старая охрана заменена отрядом комиссара Родионова. 20-го в штабе я узнал, что Наследник с Великими Княжнами Ольгой, Татьяной и Анастасией и оставшейся свитой выехали на пароходе в Тюмень, откуда Их перевезут в Екатеринбург. Никаких распоряжений я не получил и, желая избавиться от возможного приказания эскортировать Их Высочества с пристани на вокзал, притворился больным, и 22-го мая, день, когда Их привезли в Тюмень, пролежал в постели.

На следующий день я узнал в штабе о подробностях Их проезда через Тюмень. Пароход пришел в Тюмень утром, и немедленно же Они со свитой под конвоем отряда, охранявшего Их, были привезены на вокзал, посажены в поезд, который отошел на Екатеринбург. Кроме комиссара Родионова при отъезде находился также и председатель Тобольского Совета Хохряков. По полученным у нас в штабе

сведениям, Их Высочества благополучно прибыли в Екатеринбург 23-го рано утром и были перед обедом перевезены к Их Величествам в дом Ипатьева.

В конце мая у нас, в штабе, были получены известия, что в Челябинске, через который преимущественно шла эвакуация чехословаков, бывших военнопленных, которым во времена Керенского разрешено было сорганизоваться для участия в войне на нашем фронте, произошло восстание против советской власти, поддержанное проходившими эшелонами последних. Это восстание положило начало общему движению против большевиков во всей Сибири и было поддержано как уральскими казаками во главе с атаманом Дутовым, так и сибирскими во главе с есаулом Анненковым. Наши товарищи в Тюмени всполошились, но особых мероприятий не предпринимали и были уверены в скорой ликвидации восстания, но все же настроение в наших "сферах" сделалось повышенным и нервным.

Несмотря на то, что со дня отъезда Седова прошло две недели, от него не было ни слуху, ни духу.

Соловьев повторил попытку связаться с Их Величествами, но они были неудачны. Было установлено, что охрана определенно подбирается из самых отчаянных элементов, зачастую бывших каторжников, в большом количестве латышей и военнопленных венгров. Можно было себе представить, в каких условиях жила Императорская Семья. Свита, кроме лейб-медика Боткина, по полученным сведениям, была заключена в тюрьму.

Положение Соловьева делалось все менее устойчивым. В трибунале он узнал, что его дело будет назначено к разбирательству в первой половине июня. Я ему советовал не ожидать этого дня в Тюмени, так как ничего хорошего это разбирательство принести не могло и всколыхнуло бы только сравнительно уже забытую историю его ареста и доноса Бруара. Поэтому я советовал ему отправить жену в Покровское, куда под благовидным предлогом в один прекрасный день и самому скрыться.

Я же твердо решил начать исподволь подготавливать себе почву для ухода со службы, продолжение которой считал явно безсмысленным. Я был твердо уверен, что единственно возможным спасением Императорской Семьи является решительное вмешательство в Их судьбу германского правительства.

В приезд кого-либо из Петербурга и в действенность Марковской организации, как и в него самого, я окончательно изверился. Не видя никакой помощи Императорской Семье из России, я глубоко возмущался, читая в местной газетке "Известия Тюменского Совета Раб., Кр. и Солд. депутатов" и ее подголоске, "Тюменском рабочем", органе местной меньшевицкой партии, в принципиальных, партийных и социальных вопросах ведшей с первой ожесточенную полемику, но находившей с "Известиями" общую точку соприкосновения в деле выливания помоев и распространения гнусной клеветы на несчастных Их Величеств.

Почти каждый день появлялись перепечатки из столичных газет о том, что русские монархисты, после освобождения Украины от большевиков и провозглашения гетманства, служат то в Киеве, то в Харькове, то в Одессе молебны о здравии Царской Семьи, что там открыто происходят монархические собрания с

требованиями немедленного уничтожения советской власти и восстановления Государя в Его священных правах. Гетман выставлялся марионеткой в руках русских черносотенцев, видевших в нем генерала, который на белом коне должен войти в Москву и утопить в "море крови" рабочих и крестьян все завоевания октябрьской революции и приготовить путь к трону "Николаю Кровавому".

В Тюмени эти заметки производили мало впечатления, но, само собой разумеется, в Екатеринбурге они находили весьма благодатную почву. В доходивших до нас номерах Екатеринбургских "Известий" сплошь да рядом можно было читать:

"Рабочие, помните, кого вы охраняете! В ваших руках находится судьба Николая Кровавого и Его Семьи!" - и резолюции отмечали, что "красный" Урал, в лице его рабочих, готов до последнего оборонять Николая от посягательств белых на Его освобождение, другие отмечали требования "немедленного предания бывшего Царя народному суду за содеянные Им перед народом преступления". Больно было все это читать, и об этой смеси молебнов за немецкими штыками, и эти кошмарно истерические вопли банды закоренелых преступников, в руках которых всецело находилась жизнь несчастных Их Величеств. Словом, повторялась старая история: "Мы их иконами, а они нас шимозами!"[1]

г----------

[1] Выражение, взятое из русско-японской войны. В русскую армию посылались иконы, а японцы отвечали "шимозами", шрапнелью японского происхождения.

L_____

Будучи глубоко верующим человеком, я до глубины души своей возмущался такому явному подчеркиванию монархического настроения моих единомышленников. Неужели они не понимали, что шумом, поднятым вокруг Императорской Семьи, находящейся в большевицких руках, они только усугубляют Их и без того кошмарное положение! Неужели же они думали, что весть об этих архиерейских молебнах, манифестациях с пением "Боже, Царя Храни" не дойдет до Екатеринбурга и не будет по-своему истолкована и умело использована против Того, о Чьем здравии молились монархисты... И неужели они, хотя на секунду, позволяли себе надеяться, что своими выступлениями они помогают Их Величествам?

Не нужно многолюдных молебнов, а нужно было избрать из своей среды авторитетное и популярное лицо, которое властно предложило бы всем этим верноподданным, чтобы они молча, про себя, возносили свои горячие молитвы к Всемогущему Господу о ниспослании спасения несчастным Царственным Узникам из большевицких каторжных лап, дали бы, хотя по рублю, на дело спасения Их Величеств и выбрали бы из своей многотысячной среды нескольких преданных людей, готовых отдать жизнь за своего Государя и Повелителя!

ГЛАВА XI

5-го июня произошло в жизни города событие, которое должно быть отмечено как характеризующее советские нравы и их отношения к различным "свободам", ими же провозглашенным и декретированным. Это был день, когда "пролетарии всех стран"

праздновали столетие со дня рождения творца социализма Карла Маркса. Это торжественное событие и решили местные меньшевики достойно отпраздновать устройством торжественного собрания в местном Народном Доме.

На собрании должны были быть произнесены речи, посвященные этому "великому" событию. На собрание президиум меньшевицкой партии пригласил, несмотря на открытую вражду, и наших заправил в лице Немцова, Пермякова и др. Этим подчеркивалась не простая "пролетарская" вежливость, но принцип "мы, хоть и в хвосте, но все же с вами". Каким-то образом Пермякову стало известно, что некоторые ораторы и даже сам председатель, которого он терпеть не мог, хотят в своих речах подвергнуть жестокой критике как его, Пермякова, действия, так и вообще советский режим. Пермяков решил ликвидировать одним ударом могущие быть неприятности, так сказать, "рубануть с плеча" и, встретив незадолго до начала собрания Симоненко, он приказал ему явиться на собрание с нарядом улан и без всяких разговоров арестовать председателя собрания и его товарища. Симоненко, исполняя приказание, явился в Народный Дом, оставил 14 человек волонтеров на улице и с двумя вошел в зал.

Стол президиума был большой, и за ним сидело несколько человек; в лицо нужных лиц Симоненко не знал. Обратившись к одному из рабочих с вопросом, кто из сидящих председатель и кто его товарищ, он услышал иронический ответ:

- Ишь, чего захотели... Мы знаем, зачем вы пришли... Мы сознательные!

Так у Симоненко ничего и не вышло.

Председателю немедленно сообщили о "незваных гостях", он сократил список ораторов и поспешно закрыл собрание. Эффект, на который рассчитывал Пермяков, пропал. Симоненко получил изрядную нахлобучку за свою нерасторопность и отправился обратно в казармы.

На следующий день, читая "Тюменский рабочий", я прочел громовую статью, клеймившую Пермякова "вероломным предателем" и другими мало лестными эпитетами, и в которой не без сарказма вообще освещались советские порядки. Кроме того, на первой странице значилось приблизительно следующее: "Мы не такие, как они (читай, большевики), мы не пользуемся подлыми темными средствами борьбы, мы идем с открытым забралом; под нашим воззванием, помещенном в № X нашей газеты и подписанном Р.С.Д.Р.П., мы готовы подписаться своими полными фамилиями". За сим шли 32 фамилии виднейших местных меньшевиков.

Я сразу не обратил на эту заметку особого внимания, но, когда пришел в штаб и зашел к Пермякову, нашел его ходящим в бешенстве по кабинету с номером "Тюменского рабочего" в руках. Вместо приветствия он сунул мне газету и бросил:

- Читайте! Ведь правда, это подлость!

Он ткнул пальцем в приведенную заметку. Я вполне согласился с ним. Пермяков продолжал ходить по комнате и изрыгал не очень лестные для местных меньшевиков слова. Мне неожиданно пришла в голову блестящая мысль:

- Знаете что, Георгий Прокопьевич, не арестовать ли этих подлецов? Сразу все утихомирятся, и другим неповадно будет.

Пермяков посмотрел на меня удивленно, минутку подумал и ответил:

- А знаете, это идея! Я об этом с Немцовым переговорю! Я жаждал привести эту свою мысль в исполнение. Оно хоть как-нибудь оправдывало мое безплодное сидение в Тюмени и было на пользу монархическому делу вообще. После обеда меня вызвали в гостинице по телефону. Пермяков радостно сообщил мне, что мое предложение принято, и он просит меня с наличным составом улан быть ровно в 9 часов вечера около дома Исполкома против штаба.

Я был в восторге. Шутка ли сказать, мне предстояло арестовать виднейших вожаков меньшевицкой партии, бывших в большинстве политическими ссыльными, в свое время сосланными сюда за свою тлетворную работу и так блестяще приготовившими не только Тюмень, но и всю Россию к торжеству своих же собратьев-большевиков!

Как я ненавидел и ненавижу этих идейных поклонников истеричного шута - главковерха, ввергнувшего Россию в море крови и слез... Как я жалел, что мне приходится обезвреживать для будущего только жалких подголосков, а не самих кумиров, всех этих Керенских, Черновых, Миноров и прочей пакости. Но лучше что-нибудь, чем ничего. После долгих сборов, приготовлений и переговоров с Ковальчуком, чем и как мы будем седлать лошадей, к восьми с половиной часам вечера 15 лошадей было выведено на улицу, осмотрено мною, и мои уланы взгромоздились на коней. Я повел шагом свою "кавалькаду", т. к. строем назвать мою команду был трудно, к Исполкому.

Сам я являл собой мало импозантную фигуру в военном смысле ввиду того, что заказанная мною форма была еще не готова, и мне пришлось взять у Ковальчука его сапоги и папаху, штатские брюки были заправлены в сапоги, а поверх тужурки я надел непромокаемый плащ, подпоясал его ремнем, за который для вящего страха я заткнул огромный никелированный "Смит и Вессон" образца 1877 года, к которому даже патронов не имелось... Из-под папахи я выпустил клок волос, а через плечо надел откуда-то добытую казачью шашку. Когда я на себя посмотрел в зеркало, мне самому стало жутко... Я невольно вспомнил начальника красного отряда, который приезжал меня арестовывать незадолго до моего бегства из Белецковки.

Около Исполкома я остановил команду и отправился получить ордер на производство арестов. Исполком помещался во втором флигеле. Когда я поднимался в полной темноте по скрипучей деревянной лестнице и дошел до ее половины, откуда-то сверху послышался тревожный окрик.

- Кто идет?

- Командир эскадрона, - ответил я.

Дверь открылась, и я увидел безподобную картину. В пустой комнате стоял простой стол, покрытый белой клеенкой. Над ним спускалась электрическая лампочка, ярко освещавшая сидевших за ним. На столе кроме чернильницы, бумаги и карандашей

лежали для верности три маузера. В комнате собралась вся, так сказать, аристократия: Пермяков, Немцов, Неверов, товарищ Биценко, отвратительный субъект женского пола, ярая коммунистка, бывшая комиссаром народного призрения, и еще один заезжий коммунист, фамилии которого я не знал и который напоминал своим видом контрабандиста из Фра-Диаволо, рослый тип с красивыми глазами и черными кудрями в широкополой шляпе, и, как особая примета, без указательного пальца на правой руке.

Немцов деловито вручил мне ордер, в котором я с удовольствием прочел, что "товарищу Маркову, начальнику карательного отряда Штаба Тюменской Красной Армии, предписывается производить обыски, выемку документов, конфискацию оружия и аресты нижепоименованных лиц". За сим шли 32 фамилии, перепечатанные из утренней газеты. В помощь мне, как сказал Немцов, но ясно, что скорее для наблюдения за мной, мне придали заезжего коммуниста, который с трудом, и то с помощью двух волонтеров, взгромоздился на лошадь.

Из исполкома мы отправились в милицию, где товарищ Банников, начальник ее, приготовил нам необходимые адреса. Банников был тоже своего рода достопримечательной личностью, характерной для переживаемого времени. По профессии он был вором-рецидивистом, но это не мешало ему занимать пост по охране жизни, а главное, имущества жителей Тюмени.

Получив адреса, мы тронулись по плохо освещенным улицам для изъятия первого по списку, а именно, председателя профессионального союза рабочих г. Тюмени, старого партийного меньшевика, рабочего Макарова.

К трем часам ночи в особо отведенной комнате в штабе я имел счастье лицезреть 22 арестованных из моего списка. Остальные успели скрыться благодаря моей оплошности во время первого ареста. В комнате компания собралась пестрая; тут были рабочие и интеллигенты в лице городского головы демократической думы, избранного после революции, его товарищ, два журналиста из газеты "Тюменский рабочий", товарищ Макаров, мой первый крестник, его секретарь доктор Купенский, старый революционер и, как говорили в городе, приятель Керенского, словом, все сливки местной Р. С. Д. Р. П. Картинка была пикантная, я чувствовал себя по меньшей мере жандармским полковником доброго старого времени и, поглядывая на довольную физиономию Пермякова, пришедшего из Исполкома полюбоваться своими врагами, я подумал:

- И до тебя, голубчик, доберемся... Всякому овощу своя пора... Пока пожирайте друг друга, хоть одна польза от вас будет.

Мне вспоминаются теперь подробности ареста Макарова. Оцепив дом, в котором он жил, я с тремя волонтерами отправился к нему и постучал в дверь. Чей-то голос откликнулся.

- Кто там?

- Именем Российской Советской Федеративной Республики, откройте! - громко и отчетливо произнес я.

- Кто? - голос сорвался.

- Начальник карательного отряда.

Дверь отворилась. Я увидел бледную от испуга женщину и трех подростков, прижавшихся к ней. Навстречу мне вышел здоровенный мужчина в рабочей куртке.

- Что вам угодно, товарищ? - обратился он ко мне.

- Вы товарищ Макаров?

Он ответил утвердительно. Я дал ему просто ордер. Он дрогнувшим голосом сказал мне:

- Что же, ройтесь в моих вещах, коли желаете. Оружия у меня нет!

- Нет, вы уж сами открывайте ваши ящики, я ваших вещей не трону, - ответил ему я.

Мне было противно рыться в его вещах. Он исполнил приказание. Не найдя ничего предосудительного, я приказал ему одеваться и собрать необходимые вещи. Одеваясь, он обратился ко мне:

- Что ж это вы, товарищ, все вы (читай, большевики) себя идейными социалистами называете, а меня, старого социал-демократа, партийного работника арестовываете, ровно как при царском режиме?.. За что же вы меня арестовываете?..

Это я-то "идейный социалист!" Недурной анекдот! - мелькнуло у меня в голове, и я ответил ему первой взбредшей мне мыслью:

- За то, что вам тень Александра IV[1] по ночам спать не дает!

г----------

[1] Александр Федорович Керенский.

L_____

Он с изумлением посмотрел на меня... Отправив его под конвоем в штаб, я тронулся дальше. Благодаря тому, что я показал ордер Макарову полностью и его жена заметила целый ряд фамилий, вследствие чего 10 человек успело, как я уже сказал, скрыться

В 4 часа Пермяков прекратил дальнейшие розыски, найдя, что и этой "сволочи" достаточно и что оставшиеся теперь на свободе товарищи-меньшевики и пикнуть не посмеют! Я отпустил людей и отправился в экипаже Пермякова домой. Когда я вышел из штаба, я услышал тревожные гудки и визжание сирен, доносившиеся из предместий Тюмени. Я так устал, что не обратил внимания на это обстоятельство. Заснул я как убитый. Около 12-ти часов дня меня разбудил Симоненко. Он сообщил мне, что слышанные мною гудки были тревожным сигналом для рабочих, которые в

6 часов утра собрались на фабриках и после митинга отправились на вокзал, чтобы попытаться освободить своих вожаков.

В это время все арестованные были уже заключены в тюремный вагон. Вокзал был оцеплен сильным нарядом красноармейцев, но рабочие пытались прорваться, так что их пришлось разгонять прикладами и залпами в воздух.

- Представьте себе, что когда Пермяков подъезжал к вокзалу, толпа его едва не разорвала! Ему только с трудом удалось вырваться! - докончил свой рассказ Симоненко.

Я искренно в душе пожалел, что этого не случилось... В штабе мне сообщили, что моих "приятелей" отправили прямым сообщением на Минусинские копи, другими словами, на каторжные работы. Когда в России, еще до революции, после длинных переговоров губернатора с вице-губернатором, вице-губернатора с начальником жандармского управления и т. д., арестовывался какой-нибудь единичный рабочий, когда для этого теряли время, изводили кипы бумаги, производили дознания, искалась буква закона, тогда о таком инциденте говорили, как о "неслыханном насилии", "грубом произволе", "ужасах самодержавия" и т. п. Анонимные авторы, брызжа ядовитой слюной, измывались в подпольных брошюрах над "царскими опричниками-губернаторами и всей белой костью, над недоучившимися дворянами, гноящими в тюрьме рабочий народ". Да, это было "лютое время самодержавия!"

Не то теперь. Теперь другие времена, другие порядки. Теперь в России, в советской федеративной, социалистической, ну, словом, как хотите, республике два десятка людей были "в два счета" упрятаны без суда и следствия на каторгу безграмотным росчерком пера такого же пролетария, каковыми были "упрятанные" им товарищи. Как вы назовете эти времена, как вы определите режим, при котором возможны такие порядки?

Вам, быть может, интересна биография Пермякова? Вот она, по его же рассказам:

Сиротой он где-то был подобран Толстым и воспитывался в Ясной Поляне на непротивлении злу, на отрицании войны и прочих толстовских теориях. В начале войны он уклонился от мобилизации и скрывался где-то вблизи Петербурга, но в ноябре 1914-го года был пойман и заключен в Кронштадтскую тюрьму. Там, как он сам мне лично рассказывал, его взяло "сомнение" в правильности Толстовских идей, и он, движимый патриотизмом, вызвался идти на войну, где честно воевал до революции, был три раза ранен, получил три Георгиевских креста и был произведен в старшие унтер-офицеры. После революции он принимал деятельное участие в комитетах и советах. По убеждениям был он эсером, но потом стал леветь и, наконец, пришел к заключению, что к тем теориям, которыми он был напичкан с детства, ближе всего подходит на практике большевизм, и стал большевиком. Демобилизация занесла его в Тюмень, где я его уже и застал на посту военного комиссара.

Таковы были нравы, господствовавшие как у нас в штабе, так и в других советских учреждениях.

Отмечу еще один случай, бывший со мной после выхода из тюрьмы. Однажды, встретившись с моим хозяином гостиницы Лошкомоевым, я получил через него приглашение к одному известному тюменскому купцу, желавшему со мной познакомиться. Какие у него были к этому причины, не знаю. Полагаю, что Лошкомоев рассказал ему обо мне, изобразив меня большевиком не совсем обычного вида.

Я принял приглашение и в назначенный день был у У. Меня угостили великолепным ужином, и я прекрасно провел время в обществе как самого У., так и его семьи и хоть на несколько часов отрешился от окружавшего меня безпробудного хамства и немного отдохнул душей.

На следующий день, придя в штаб, я подвергся едким вопросам со стороны политического комиссара при моем эскадроне, товарища Макарова, очень недолюбливавшего меня.

- Ходят слухи, что вы с буржуями компанию водите (намек на Лошкомоева), и вчера же вы, товарищ, у буржуя пьянствовали.

Я ему ничего не ответил. В голове у меня мелькнула блестящая идея, которую я вскоре и привел в исполнение.

Кстати, несколько слов о личности Макарова. Когда я впервые после возвращения на службу осматривал эскадрон, я был поражен, увидев в эскадронной канцелярии какую-то подозрительную фигуру полувоенной внешности, небрежно развалившуюся с подобострастно склонившимся Гусевым. Гусев так и сыпал:

- Как прикажете, товарищ комиссар! Будет исполнено, товарищ комиссар!

Симоненко почтительным шепотом сообщил мне, что это вновь назначенный в эскадрон политический комиссар.

Мне это весьма не понравилось, хотя в приказе и значилось, что функции его ограничиваются "социальным образованием" волонтеров, но было ясно, что главным его занятием должна быть слежка как за командным составом, так и за красноармейцами. Я не понимал, за какие доблести его назначили на столь высокий пост. Это был формальный идиот, по наружному виду ясный крестьянин, с бельмом на глазу, с вечно подвязанной щекой, так как у него безпрестанно болели зубы, и совершенно без образования. Я слабо верил его рассказам, что он был писарем в полковой канцелярии, слишком уж туп был он даже для этого. Ума у него не было ни на грош, но зато злобности он был невероятной.

Я решил извести его и постараться отвадить его от посещений эскадрона. По расписанию занятий было видно, что три часа в неделю отводятся этому субъекту для социальной подготовки красноармейцев и беседе на политические темы.

Я явился на первую же его, с позволения сказать, лекцию. Он пытался доказывать слушателям превосходство советской системы управления над всеми другими. Это удавалось ему весьма скверно, речь его была несвязанной, основной мысли не было, словом, он нес всякую белиберду, удобренную иностранными терминами, ему

же самому непонятными. Волонтеры слушали его, разинув рты, и видно тоже ничего не понимали.

Я вмешался в его словоизвержение, задавая ему вопросы вроде:

- А скажите, товарищ, какая разница между Амстердамским и Московским Интернационалами? Что вы скажете по существу Эрфуртской программы? Товарищам интересно было бы узнать о резолюциях, вынесенных в Циммервальде и Кинтале... Вы бы посвятили нас в сущность "Труда и капитала" творца социализма Маркса и т. д. в этом же духе.

Макаров глядел на меня дикими глазами, пытался изворачиваться, но из этого ничего не выходило. На следующем собрании я повторил тот же маневр и на этот раз волонтеры стали открыто издеваться над Макаровым, делая ему замечания:

- Как же это вам не известно, товарищ комиссар?

Макаров извелся в конец, бросил свои лекции под предлогом зубной боли и стал редко появляться в эскадроне. Я торжествовал, но он не простил мне моего издевательства, и где только мог, старался наступить мне на ногу.

Так было и теперь, после моего ужина у У.

Случайно в тот же день я прочел громовой приказ Чувикова о том, что в красноармейской среде попадаются случаи пьянства. Чувиков грозил железной рукой безпощадно искоренить это явление.

У нас в гостинице жили два еврейчика, приехавшие откуда-то из России, что-то скупавшие в Тюмени и окрестностях, вероятно, предметы продовольствия и скот, перегоняя их в голодную Россию. Этим же делом занимался сын богатого купца из Петербурга, умудрявшийся, несмотря на запрещение, вывозить из Тюмени сахар. Эта тройка была в штабе на учете как опасные спекулянты.

Живя в одной с ними гостинице, я познакомился с ними. Придя домой из штаба, я предложил им познакомить их с Чувиковым, знакомство с которым могло бы быть им полезно. Они с радостью согласились. Было решено, что я устрою у себя в номере обед, на который приглашу Чувикова и на котором будут присутствовать и они. Так я и сделал.

Вечером я пригласил Чувикова "пожаловать" ко мне к обеду на следующий день. Он согласился, осведомился только, будет ли водка, и остался страшно доволен, получив утвердительный ответ. В назначенный день к часу дня к гостинице подкатил на своем великолепном экипаже Чувиков. Он был невероятно великолепен в своем новом френче и им самим изобретенной кепке красной кожи французского образца. Войдя в комнату, он поразился, не видя приготовленного стола. Я ему любезно открыл дверь в соседний номер.

Он только на секунду остановился, не столько при виде прекрасно накрытого стола с аппетитными графинчиками водки, как при виде компании, поднявшейся из-за стола в лице Лошкомоева, полковника П., двух евреев и купчика.

Я сделал вид, что не замечаю его смущения, под руку ввел его в комнату и перезнакомил со всеми присутствующими. Обед удался на славу, Чувиков безпрестанно лез ко мне целоваться и в, конце концов, заставил меня выпить с ним на брудершафт. До кофе дело не дошло. Чувиков был пьян до безчувствия. С большим трудом мы его около пяти часов выпроводили из гостиницы и усадили в экипаж.

Свирепый начальник штаба, только что отдавший громовой приказ о борьбе с пьянством, еле взгромоздившись в экипаж, развалился поперек его и, обругав трехэтажными словами своего кучера-красноармейца, приказал везти в штаб. Фаэтон тронулся, Чувиков попытался что-то сказать нам на прощание, но мы услышали только какое-то дикое мычание, а он, взмахнув в воздух своей красной кепкой, окончательно свалился на дно фаэтона.

Придя в штаб часов в семь вечера, я там Чувикова не застал, но в его кабинете ясно виднелись следы его пребывания, бумаги были разбросаны, пол залит чернилами и хорошее дубовое полукресло было разбито вдребезги.

На следующее утро, когда меня Макаров спросил, как мои буржуи поживают, я сделал вид, что не слышу его вопроса, и ответил;

- А прекрасно мы вчера время провели с Чувиковым. И компания подобралась отличная - Лошкомоев, П. и трое спекулянтов, отличнейшие парни...

Макаров ничего не ответил, злобно посмотрел на меня и отошел. Я был рад. Мой план удался на славу. Я продолжал ежедневно бывать у Лошкомоева, но на этот раз Макаров больше не лез ко мне со своими вопросами.

Удачная ликвидация меньшевиков, произведенная мною, была отмечена назначением меня членом штаба. Положение мое, пошатнувшееся было во время ареста, как будто упрочилось.

ГЛАВА XII

Казачье и чехословацкое восстание продолжало развиваться, и в первой половине июня бои шли в верстах 70-ти южнее железной дороги Екатеринбург-Омск. Курган был занят казачьими частями, и линия фронта постепенно начинала вырисовываться. С нашей стороны в боях принимали участие красноармейские части из Омска и Екатеринбурга.

Тюменский гарнизон бездействовал. Пермяков пробовал организовать конную разведку в направлении Кургана, но из этого ничего не вышло. При наличии имеющихся у меня седел-самоделок невозможно было и думать о возможности какого-нибудь длительного перехода. В свое время мне было приказано составить требование на присылку 150 седел. Я его составил. Мною были затребованы седла канадского образца с пелямом и мартингалом, явно непригодные для сибирской лошади, и которых было вообще очень немного доставлено из Америки, а в ближайших к Тюмени интендантских складах их и найти было невозможно.

Пермяков, прочтя требование, осведомился у меня, почему я требую именно эти седла. Я разъяснил ему, что раз мои лошади совершенно не обучены, то наиболее пригодной для них является американская строгая уздечка в соединении с мундштуком, которая полагается при канадских седлах, а мартингал дает лошади красивый картинный вид, держа ее все время в сборе, и в заключение заметил, что инструктором по кавалерии являюсь все же я, а не он, и не станет же он оспаривать мои требования!

Пермяков подписал, не говоря ни слова, мое требование, и, к моему удивлению, оно было приложено к срочным бумагам, отправляемым в военный комиссариат в Москву с пометкой: военному комиссару товарищу Троцкому. Весьма спешно!

Пермяков, видимо, представлял возможным снаряжение вверенных ему "вооруженных сил" непосредственно из Москвы.

Как я и ожидал, седел увидеть мне до самого моего отъезда из Тюмени не пришлось, и поэтому мой доблестный эскадрон тихо и мирно пребывал в Тюмени. Получи же я ответ, что канадских седел нет, я потребовал бы японские, затем наши кавалерийские ленчики и лишь тогда, в конце концов, потребовал бы казачьи седла, которые, естественно, легче всего было получить в Сибири... Но когда только пришлось бы к этому прибегнуть? На советскую канцелярскую волокиту ушли бы месяцы, а пока что мои уланы очень недвусмысленно заявили, что "пешком они воевать не пойдут!"

В первой половине июня Соловьев покинул Тюмень, придравшись к случаю, что в Покровское направлен небольшой красноармейский отряд, так как в этом районе было не спокойно. Он показал в Совдепе телеграмму, в которой сообщалось о тяжелой болезни его жены. Подкрепил он свою просьбу о разрешении ему выезда в Покровское еще и тем, что опасаться его побега товарищи не могут, так как он выедет туда совместно с отправляемым туда отрядом, а это может служить достаточной гарантией того, что он никуда не скроется. В Совдепе согласились с этими доводами и дали ему разрешение на время пребывания отряда в Покровском оставаться там, но обязали его прибыть в Тюмень по первому вызову Революционного трибунала. Мне было очень тяжело расставаться с Соловьевым. С его отъездом я терял всякую надежду на возможность каких-либо действий для освобождения Императорской Семьи. При последнем моем свидании с ним общее положение по данному вопросу вырисовывалось в следующем виде: 1) Царская Семья находилась в полной зависимости от Екатеринбургского областного Совдепа. 2) Приказания из Москвы переправить Ее в Москву Совдеп не исполнил. 3) Несмотря на троекратную попытку мою и Соловьева связаться непосредственно с Императорской Семьей, нам это не удалось, и ездившие в Екатеринбург доверенные лица в один голос подтвердили, что насильственным способом освободить Их Величества из дома Ипатьева, не подвергнув Их огромному риску, нельзя. Шансов на успех такого предприятия было настолько мало, что эта попытка была равносильна добровольному самоубийству как спасаемых, так и спасающих. 4) Если бы даже и решиться на такую крайность, то полное отсутствие материальных средств не позволило бы нам сосредоточить в Екатеринбурге достаточное количество верных людей, объединенных епископом Гермогеном в Тобольске, и крестьян, организованных Соловьевым по дороге Тобольск-Тюмень и с успехом поддерживавших связь между Царской Семьей и нами за время пребывания Ее в

Тобольске. Предположив даже, что мы в состоянии будем отправить в Екатеринбург достаточное количество людей, готовых жизнь свою отдать для спасения Их Величеств, мы снова сталкиваемся с материальными трудностями, так как проект о побеге Императорской Семьи без наличия больших денежных сумм был заранее обречен на провал. 5) Я предложил попытаться принять в эскадрон некоторое количество членов союза фронтовиков из Тобольска, дабы на всякий случай иметь их в более близком расстоянии от Екатеринбурга, но предупредил, что это предприятие сопряжено с большими трудностями, так как мои товарищи с большим недоверием относятся к местным жителям и примером чего может служить мой эскадрон, набранный исключительно из пришлого элемента. б) Наша мысль укомплектовать эскадрон лицами Марковской организации, которые должны были уже давно приехать, отпадала сама собой, так как до сего времени даже Гринвальд и Андреевский не появлялись в Тюмени, несмотря на то, что А. Вырубова снабдила их деньгами на дорогу и что они должны были выехать непосредственно за мной. 7) От Седова никаких сведений до сего дня не поступало и мы были в полном неведении о положении Марковской организации, о предпринятых ею за мое отсутствие шагах. 8) Дальнейшее пребывание Соловьева в Тюмени было явно безполезным и для дела даже вредным, так как лишь только его дело начнется в революционном трибунале, то привлекут к допросам и свидетельским показаниям и меня, и из заварившейся каши нам не так легко удастся высвободиться, как в первый раз.

На основании всех этих данных мы пришли к заключению, что Соловьев уезжает с отправленным отрядом в Покровское, поддерживая со мной, впредь до моего отъезда, связь. В случае необходимости, он решил скрыться из Покровского в район Верхотурского монастыря. Я же исподволь приготовляюсь к отъезду в Петербург, чтобы поставить в известность как А. Вырубову, так и Маркова 2-го во всех подробностях о положении Их Величеств.

По нашему обоюдному мнению спасти Их Величества из рук екатеринбургских каторжников можно было только дипломатическим путем, то есть в Их судьбу должна вмешаться иностранная держава, перед которой в то время трепетали большевики... А такой державой была Германия в лице ее Императора.

Именно этим решением вопроса и утешал меня Соловьев, видя мое отчаяние по поводу полной безучастности к судьбе Царской Семьи со стороны Петербургской организации в лице Маркова 2-го, бросившего меня на произвол судьбы. Соловьев был уверен, что отсутствие людей из Петербурга объясняется именно тем, что Марков 2-й, безусловно, вошел в связь с немцами, которые настоят на вывозе Императорской Семьи за границу, и поэтому отказался от мысли послать кого-нибудь в наши края, считая излишним насильственное освобождение, сопряженное с огромным риском, так как вовсе не нужно было быть в Екатеринбурге, чтобы понять, что из столицы "красного Урала" неизмеримо труднее вырвать Царскую Семью, чем из патриархального Тобольска... Это было для меня слабым утешением, но что же было делать?

Итак, я остался один, если не считать Т., который с момента нашей встречи на вокзале все время находился с нами в полной связи. Через несколько дней после отъезда Бориса Николаевича со мной едва не случилась беда, и спасло меня только присутствие духа. В это время мы были почти совсем отрезаны от Омска, так как у

железнодорожной линии в 50-ти верстах от Тюмени появились отряды чехословаков. Туда были двинуты три роты Тюменских красноармейцев, сумевшие закрепиться и задержать дальнейшее продвижение чехословаков и защитить железную дорогу. Товарищи в Тюмени взволновались не на шутку. Было объявлено военное положение.

Как-то раз рано утром ко мне ворвался бледный, как полотно, Симоненко и, волнуясь, рассказал, что два часа тому назад в городе взбунтовались красноармейцы, а наш эскадрон арестовал полностью весь Исполком, а так же и всех наших комиссаров, Пермякова, Рязанова и Чувикова. Пермякова едва не убили при аресте, сейчас их всех привели в театр, где идет митинг и обсуждается вопрос, что с ними делать. Словом, были арестованы все начальствующие лица, кроме меня...

Я был поражен, услышав все это, но раздумывать было нечего. В миг одевшись, я побежал в эскадрон. Пробегая мимо театра, я увидел огромную толпу солдат, дико оравшую и сквернословившую.

- Сволочи, бежать хотели! С народным добром вместе! Там на хронте товарищи жалования не получають, а тут комиссары деньги крадут! Знаем мы их!

Слышались и другие голоса:

- Товарищи, ефто провокация! Ефто белогвардейцы темный народ мутят, чтобы нас живьем забрать!

И т. д. в этом духе.

Из всего слышанного я понял, что весь сыр-бор загорелся из-за жалования, в получении которого вышла задержка. По всему было видно, что до расправы с комиссарами было еще далеко.

Когда я вошел в эскадронное помещение, я увидел своих волонтеров, срывавших со стен винтовки и намеревавшихся бежать в театр. В комнате стоял дикий рев и крик. Увидев меня, все сразу успокоились, и я услышал со всех сторон возгласы:

- Сволочи у нас, а не комиссары, Пермяков с казенными деньгами деру дать хотел. К нам, как к собакам, относятся!

И тут пошло - кто орал, что ему сапог не дали, кто жаловался на отсутствие шинели, словом, о товарищах на фронте, не получающих жалования, забыли, а заговорили в них уже свои, шкурные интересы.

Как молния у меня блеснула мысль: цейхгауз у меня в полнейшем безпорядке, при сдаче его я могу даже иметь неприятности и придирки, так что если я его сейчас раздам товарищам, то в случае освобождения комиссаров смогу мотивировать свое распоряжение желанием удержать волонтеров от агрессивных действий против них.

- Успокойтесь, товарищи, это дело поправимое... Разберите цейхгауз, и каждый получит свое, что ему необходимо!

Товарищи не заставили себя долго ждать, и через пять минут от имущества, находившегося в цейхгаузе, не осталось и следа.

Комиссаров, как я и ожидал, выпустили.

Когда я пришел в штаб, то еще на лестнице услышал бешеный рев на кого-то оравшего Чувикова:

- Расстреляю... Повешу... Без разговора в два счета к стенке!

Я чувствовал себя весьма скверно и подумал, не относится ли это к моей персоне. Стараясь быть совершенно спокойным, я вошел в его кабинет. Он дико уставился на меня и закричал:

- Я прикажу тебя расстрелять, это бунт... Это черт знает, что такое, а не эскадрон!

- Это меня? За что? Не за то ли, что я вас всех спас от смерти? - Чувиков растерялся от такого моего ответа.

- То есть это как же? - крикнул он.

- А ты не ори, а выслушай меня!

Я ему совершенно спокойно рассказал о принятых мною мерах, якобы спасших его и умиротворивших моих озверелых уланов.

- Ну, это мы посмотрим, комиссия все расследует.

- Пожалуйста, хоть десять комиссий! - ответил я ему. Оказалось, что весь сыр-бор загорелся из-за того, что как в эскадроне, так и в пехотных казармах были подброшены анонимные письма, в которых сообщалось, что сегодня ночью Пермяков и Рязанов, под предлогом отвоза денег на фронт для раздачи жалования красноармейцам, хотят бежать с деньгами из Тюмени.

Действительно, они должны были поехать с деньгами на так называемый фронт, о чем стало известно упомянутым авторам анонимных писем, и когда они ночью ехали на вокзал, то были пойманы моими уланами. При них был найден мешок с деньгами, так что содержание письма, как будто, оправдывалось. Взбудораженные красноармейцы принялись за дальнейшие аресты.

Следственная комиссия была назначена. Она подвергла меня всего лишь одному допросу, а наступившие вскоре более важные события невольно прекратили ее деятельность.

Я все реже и реже стал появляться у себя в эскадроне и в штабе, ссылаясь на все усиливавшиеся боли в ухе и на общее недомогание. Как то раз, зайдя вечером в штаб, я прочел готовившийся к выпуску приказ и глазам своим не поверил! В нем значилось:

"Сегодня в одиннадцать с половиной часов дня, прибыв в расположение уланского эскадрона, нашел в нем вопиющий безпорядок. Дежурный по эскадрону отсутствовал неизвестно где. Дневальные спали на сеновале. Командира эскадрона, как и его помощника, в расположении эскадрона также найти не мог. Зайдя в казармы, нашел волонтеров спящими, в помещении невероятную грязь и безпорядок. Ставлю все на вид товарищу Маркову, которого арестовываю на семь суток при Тюменской милиции, а его помощника, товарища Симоненко, увольняю со службы и арестовываю на 14 суток. Обращаю внимание на то, что в случае повторения подобного безобразия приму самые решительные меры..."

Такого финала моей "полезной деятельности", направленной к "процветанию" вверенной мне части, я никак не ожидал. Забрав проект приказа, я отправился к Пермякову. Я вломился в страшную амбицию и, видимо, имел очень удрученный и оскорбленный вид, так что Пермяков всячески успокаивал меня, но я плохо "успокаивался" и доказывал, что если и были упущения, то Чувиков мог бы по товарищески сделать мне внушение, а не позорить в приказе.

Пермяков согласился со мной и, переговорив с Чувиковым, с которым я из-за крайней обиды не захотел лично разговаривать, принес мне измененный приказ, в котором только и значилось, "что, ввиду несоответствия занимаемому посту, товарищ Симоненко увольняется от службы".

На это я после долгих уговоров согласился. Мне было непонятно, почему Чувиков оставил Гусева в покое. Вероятно, потому только, что он все же был ближе к его хамскому сердцу, чем Симоненко и я. За это время наш штаб сильно разросся. Были учреждены два новых отдела: инструкторский и снабжения. Первый принял на себя П., боявшийся, что его мобилизуют и отправят на фронт, а второй полковник Н., приехавший вскоре после восстания в Челябинске к нам в Тюмень и поселившийся у нас в гостинице.

Познакомившись и часто беседуя с ним о происходящих событиях, я чутьем угадывал, что этот старый кадровый полковник приехал в наши края неспроста, и нисколько не удивился, когда он постепенно очень умело втерся к нам в штаб и занял в нем такую ответственную должность.

Увидев его работу, то есть систему, которую он завел у себя в отделе, при которой пару сапог можно было получить из главного цейхгауза не раньше, чем в недельный срок, и его требования, сильно напоминавшие мне мои о пелямах и мартингалах, я понял, что он послан какой-то организацией с информационной целью. Впоследствии я нашел подтверждение моим догадкам.

По работе же П. я тоже сразу же понял его настоящую цель. Он завел у себя громадную канцелярию, которая от нечего делать умирала со скуки. Сам же он исписывал целые кипы бумаг своим мелким почерком, составляя руководство ускоренной двухнедельной боевой подготовки молодых красноармейцев и другие наставления и инструкции. Когда я прочел одну из них, то не мог удержаться от смеха. Сухим, деловым языком казенного устава П. поучал в мельчайших деталях на протяжении 4-х страниц, как можно выучить волонтера отчетливому повороту и блестящей строевой выправке, перебежке же под огнем было отведено мельком всего только несколько строк, но зато детально разбиралось прохождение

церемониальным маршем, а экипированию было уделено полстраницы и т. д. Написано все было идеально, чувствовалась большая работа, но какого-либо применения в жизни все эти наставления иметь не могли.

В начале второй половины июня Омск пал, занятый сибирскими казаками, и железнодорожная линия в 35-ти верстах от Тюмени была перерезана чехами. Наши товарищи отступили на вторые, заранее приготовленные позиции, где и задержались. В этот день, сидя у себя в комнате, я увидел в окно, как к нам в гостиницу вошли два красноармейца из охраны исполкома, учрежденной после памятной ночи, которые вскоре вышли, ведя с собой бледного, как полотно, Н.

Я понял, что случилось что-то неладное. Действительно, придя в штаб, я узнал, что Пермяков приказал арестовать и посадить в тюрьму несчастного Н. Поводом послужила случайно проскочившая в Тюмень телеграмма из Омска. Видимо, телеграфная линия была не сразу испорчена, и телеграмма буквально гласила так:

"Полковнику Н. Гостиница Лошкомоева. Тюмень.

Поздравляю казаки вчера взяли Омск целую Муся".

Телеграмма была, по-видимому, от жены Н. По всей вероятности, в Омске прошел слух, что Тюмень уже занята чехами. Несчастная женщина и не подозревала, как она удружила мужу таким радостным для него сообщением!

Через несколько дней после занятия Омска к Тюменской пристани причалил целый караван пароходов в количестве до 20 штук. На них прибыли омские комиссары со своими многочисленными штабами и с не менее многочисленным женским персоналом, в огромном большинстве состоявшим из женщин легкого поведения последнего разбора. С ними также пришел небольшой отряд красноармейцев, вернее, партийных коммунистов, которые предпочли "стратегическое отступление" со всеми удобствами в каютах люкс безпорядочному бегству под натиском казаков, как это сделали их сотоварищи волонтеры.

Мое тюменское начальство оказалось с молниеносной быстротой оттиснутым на задний план. Все наши Немцовы, Пермяковы, Чувиковы стушевались перед приехавшими "светилами" в лице председателя Запсибсовдепа Усиевича, члена всероссийского ЦИКа Акулова, военного комиссара Омска Логинова и других сибирских и заезжих знаменитостей.

Картина в штабе сразу изменилась. В специальной комнате застучали аппараты Морзе и Юза, в другой были поставлены столы с двухверстными картами Тюменского района, на лестнице появились парные часовые. Словом, работа закипела.

Комендатура города, прообраз будущей знаменитой Чеки, открыла свои действия по защите завоеваний революции. Немедленно же, в качестве заложников, были арестованы 15 именитых граждан города, в том числе и бедняга Лошкомоев. Из нашей гостиницы была срочно выселена посторонняя публика, гостиница объявлена советской и занята приехавшим начальством. Из Екатеринбурга появились в количестве 6-ти человек какие-то типы в матросской форме, но не известно в какой

должности. Они поселились в моем коридоре и узнали каким-то образом, насколько я понял со слов моего комиссара Макарова, что я бывший офицер Крымского полка.

Как-то вечером я сквозь свою дверь услышал не особенно приятный для меня разговор: "Кто этот крымский казак, который служит в штабе?.. Что это за фигура вообще?.. Как она сюда попала?"

После того как находившегося у меня в гостях Симоненко два молодца из пресловутого комендантства арестовали и увели в тюрьму за то, что он в нетрезвом виде где-то обругал от чистого сердца вновь заведенные порядки, я почувствовал себя совсем скверно. Хотя после этого случая я и приклеил на своих дверях плакат, подписанный Чувиковым, на котором значилось: "Комната № 23 занята Членом Тюменского Штаба Красной Армии, Командиром 1-го Тюменского Уланского Революционного Эскадрона и Старшим инструктором по кавалерии товарищем Марковым и поэтому является совершенно неприкосновенной", но я все же чувствовал себя неуверенным в своей судьбе, и решил, во что бы то ни стало, как можно скорее покинуть Тюмень. Я слег в постель, два дня ничего не ел, пересиливал сон, снова повторил манипуляцию с ухом и подал прошение об увольнении со службы по болезни.

Назначенный на мое освидетельствование доктор, приехавший вместе с другими из Омска, признал меня абсолютно не годным к службе из-за крайнего физического ослабления, повышенной нервности, а главным образом, из-за хронического катара уха при гноеточении, требующего оперативного вмешательства. Чувиков пробовал уговаривать меня остаться, но я был неумолим.

О своих опасениях по поводу матросов, точивших на меня зуб, также как и о своем уходе, я сообщил Ковальчуку. Он очень опечалился, узнав, что я уезжаю из Тюмени, и, выслушав меня, сказал:

- Не безпокойтесь, Сергей Владимирович, я так устрою, что вас не тронут.

Ниже следует резолюция собрания моего эскадрона после того, как Ковальчук сообщил волонтерам о моей болезни и уходе со службы.

Протокол.

На состоявшемся сего числа собрании волонтеров 1-го Тюменского Уланского Революционного Эскадрона заслушано было заявление товарища Ковалъчука об уходе со своего поста Командира эскадрона товарища Маркова по болезни. Постановлено было единогласно просить товарища Маркова вернуться на свое место, так как волонтеры ему доверяют, ни в чем плохом он со стороны их замечен не был и является хорошим, примерным вождем.

Затем шли подписи.

Я от глубины души поблагодарил Ковальчука за доброе отношение ко мне, и когда я заявил ему, что я все же не останусь на службе, я услышал от него следующее:

- На кого же вы меня, Сергей Владимирович, покидаете... Ведь меня без вас казаки расстреляют за мою службу в Красной Армии.

И он чистосердечно рассказал мне, что бежал в Сибирь после восстания против большевиков, бывшего в его селе, и только отсутствие денег заставило его поступить на большевицкую службу. Во мне же он давно видит, так сказать, товарища по несчастью. Я, как мог, успокоил его и сказал:

- Много я вам сказать не могу, но когда уеду, вы сами должны знать, что вы должны сделать!

Он, я уверен, понял меня и, по всей вероятности, через сутки после моего отъезда и его в Тюмени не было, он был на той, родной ему стороне.

Без особенного труда я сдал эскадрон Гусеву, и недостаток в имуществе, или, вернее, пустота в моем цейхгаузе была отнесена в расход казны. По мною лично составленному тексту я напечатал себе ряд ниже приводимых удостоверений, подписанных Чувиковым, получил 750 рублей (полтора оклада содержания), полагавшихся при уходе со службы, распрощался со своим начальством и 30-го июня был совсем готов к отъезду.

Особенно тепло я прощался с П., к которому искренно привязался за это время. Пожелав мне счастливого пути, он сказал мне:

- Я давно понял, Сергей Владимирович, для чего вы здесь мучились. Трудно было чего-либо другого ожидать от офицера Крымского Конного Ее Величества полка, но вас оставили одного, не правда ли?

Я ответил утвердительно. П. только безнадежно махнул рукой. Я ему, в свою очередь, пожелал как можно скорее занять там, где ему следует, подобающее место.

- На все воля Божья; если товарищи не укокошат, наверное, долго здесь не останусь, - ответил он.

Нанес я также прощальный визит Т., оставив у него шифрованную записку для Соловьева с сообщением о моем отъезде. В гостинице меня до слез растрогал Ковальчук, он долго желал мне счастливого пути и что-то усиленно сжимал в своей руке и, наконец собравшись с духом, протянул мне старинный крест, который он нашел, копая на кирпичном заводе, со словами:

- Возьмите его у меня, он сохранит вас!

Где-то он теперь, этот хороший, честный солдат, твердо почитавший заветы и традиции полка, воспитавшего его?

В четыре часа дня я был на вокзале, и мне сразу не поверилось, что поезд тронулся, что настал счастливый момент и я, наконец, свободен, что кончилось мое двойное положение и я снова могу свободно и легко вздохнуть и быть готовым к новой работе на пользу и счастье моих дорогих Их Величеств.

ГЛАВА XIII

Смешанный поезд, в котором я ехал (он состоял из двух классных вагонов, остальные были товарные), хотя и медленно, но все же продвигался вперед.

Со мной оказался попутчик. Это был небольшого роста человек в штатском, брюнет с выразительными черными глазами, очень нервный, все время подергивающий свою козлиную бородку.

Я поудобнее устроился на деревянной скамейке и с облегченным чувством посматривал в окно, и думал, не сон ли это, что я действительно удалялся от этого проклятого города, который я возненавидел всей душой.

Мой визави с любопытством оглядывал мою полувоенную форму. Я был в высоких сапогах и френче английского образца, сшитом из шинельного сукна, и защитной рубашке с таким же воротником и галстуком.

Узнав, что я бывший офицер и служил в Красной Армии, он сказал мне, что он тоже офицер, служивший во 2-м пулеметном полку в Ораниенбауме, и что я должен был слышать о нем, его фамилия была Тарасов-Родионов. Мой новый знакомый заявил с гордостью:

- Да, обо мне в газетах писали. Это я раскрыл заговор Пуришкевича.

Я чуть не подпрыгнул на своем месте при такой новости и в тон ему ответил:

- Как же, как же, отлично помню... Очень приятно с вами познакомиться.

Откровенно говоря, я об раскрытии этого заговора имел понятие только по наслышке и его фамилии никогда не слыхал, но был ему несказанно благодарен за то, что он так быстро мне отрекомендовался. На душе все же сделалось скверно, вместо ощущения свободы на меня снова нашла грусть и тоска. Снова приходилось двоедушничать и держать ухо востро.

Родионов оказался очень образованным человеком и интересным собеседником. Он сообщил мне, что ездил по делам в Екатеринбург. Взгляды его на создавшееся положение поразили меня своей ясностью и строгостью оценки всего совершившегося.

Не в пример своим товарищам, до хрипоты доказывающим, что возврат к старому невозможен; Родионов открыто говорил, возврат будет, что большевизм падет, что в России обязательно опять будет Царь. Видя мое удивление, он продолжал:

- Вы удивляетесь? Напрасно, в этом ничего удивительного нет. Мы взяли верх благодаря тому, что монархия пала из-за затянувшейся и к тому же непопулярной войны, кроме того она была расшатана пропагандой наших сотоварищей эсдеков и эсеров, а эти последние за 8 месяцев своего владычества натворили столько глупостей, так набили оскомину российскому обывателю, что достаточно одного пинка ноги, чтобы низвергнуть их с высоты их величия. Но это не все. Не всегда бывает так, что кто палку взял, тот и капрал. Надо, чтобы эти новые капралы были

грамотными в том, что они хотят. Нас, ученых коммунистов, слишком мало, одни мы ничего сделать не сможем, интеллигенция отвернулась от нас, а помощники наши в большинстве случаев тупоголовые идиоты или мошенники, они нас в гроб и вгонят. Большевизм, сравнивая его с температурой, то подымается, то падает. Не только в России, но и во всем свете будут эти вспышки большевизма, а когда все им переболеют и окончательно убедятся в правильности его теорий, то наступит царство большевизма во всем мире...

Я осведомился у него, когда же наступит этот момент, он пожал плечами и ответил:

- А так... Лет через сто!

- Почему же вы думаете, что в случае падения большевизма в России будет обязательно монархия?

- Да потому, что мы никому другому своих позиций не сдадим!

Я пришел в недоумение.

- Да, да, это вполне понятно, нашими злейшими, или, вернее, опаснейшими врагами являются наши же бывшие союзники эсеры и эсдеки. Они до тонкости знают партийную организацию, нашу систему подпольной работы, и дав им власть в руки, нам будет трудно их свалить. Рано или поздно они сами свалятся, потому что наобещают народу золотые горы и ничего ему не дадут. Если же монархисты получат власть, то они, хотя смогут сразу удовлетворить народные нужды, но, ручаюсь вам, за год наделают столько ошибок и глупостей, перегрызутся между собой и до того измельчают, что невольно снова уступят нам свое место!

Не могу сказать, чтобы я был польщен, услышав такую оценку способностей моих единомышленников.

1-го июля, перед обедом, наш поезд дотянулся до Екатеринбурга. На вокзале царило сильное оживление: все поездные пути были заняты поездами. Среди них виднелись наскоро сооруженные бронированные поезда из приспособленных угольных платформ с железными корытами. Масса распоясанных и растерзанных солдат шныряла по платформе и путям. Вокзал усиленно охранялся латышами, имевшими несколько более воинственный вид. Всюду пестрели плакаты и воззвания с лозунгами, вроде:

- Все на фронт! На защиту красного Урала! Мы на горе всех буржуев мировой пожар раздуем! Будь готов, рабочий! и т. д. без конца.

С вокзала отправился прямо в город. Когда я подошел к дому Ипатьева, где находились Их Величества, который был расположен почти в центре города и фасадом выходил на Вознесенский проспект и на площадь, где находилась церковь того же наименования, а боковым фасадом на Вознесенскую улицу, сердце мое сжалось от боли.

Действительно, то, что я увидел по первому взгляду, производило удручающее впечатление: небольшой белый особняк был обнесен бревенчатым, наскоро

сделанным забором, как со стороны площади, так и со стороны улицы. По высоте забор был выше окон дома. Со стороны площади около будок стояли двое часовых. Со стороны улицы еще двое.

Когда я подошел к самому дому, по внешнему виду этой охраны я смог убедиться, что, действительно, читанные сводки и полученные нами сведения в Тюмени не были преувеличенными и что эта охрана была действительно собрана из уголовных элементов.

По Вознесенской улице забор доходил до двора и сада, находившегося позади дома, обнесенных в свое время приличной деревянной оградой. Дом был построен на склоне, и видимо фасад его был одноэтажный, а задняя часть его двухэтажная. В сад выходил балкон, в виде крытой террасы, на которой я увидел пулемет, поставленный на барьер, и часового около него.

Со стороны же Вознесенской улицы в деревянном частоколе была сделана калитка, через которую, по-видимому, и сообщались с домом.

Я пробыл в Екатеринбурге до вечера. Три раза со всех сторон подходил я к нему и убедился, что спасти Их Величества вооруженным путем из этого здания и думать нечего!

Такая попытка неминуемо кончится Их гибелью. Ипатьевский дом представлял собой западню, выхода из которого не было, и попытка могла иметь шансы на успех лишь в том случае, если бы охрана состояла на половину из своих людей, да и то эта попытка была бы подвергнута неимоверному риску, так как положение дома в центре города сильно усложняло Их вывоз.

Потрясенный до глубины души всем виденным, я вернулся на вокзал и явился коменданту. По представлении своих документов, к которым отнеслись очень почтительно, я получил ордер на место в делегатском поезде, везшим делегатов от местных совдепов на пятый съезд советов в Москву.

Это мне было очень на руку, так как этот поезд был лучше других. Вообще же пассажирское движение было крайне неправильным, что было, положим, в порядке вещей, но в последнее время оно еще более ухудшилось из-за подвоза красноармейцев на "сибирский фронт".

В вагоне я немного пришел в себя. Все виденное мною настолько ужасно, что единственным моим желанием было как можно скорее добраться до Петербурга и заставить понять организацию в лице Маркова 2-го, что другого выхода нет, как мольба к немцам о немедленной помощи. Если же им не удастся вырвать Их Величества из Екатеринбурга, то Императорская Семья обречена на погибель...

Об этом не могло быть двух мнений. Нам нечего было скрывать от немцев, что мы сами не смогли и не сумели обезопасить и спасти Их Величеств; почему и отчего - это иной вопрос, но раз над большевиками нет другой власти, как власти немецкого штыка, нам надо без всяких разговоров к нему обратиться! Иного выхода нет!

С этой мыслью я прибыл в Петербург 7-го июля, то есть после недельного пути, и это при условии, что я мог пользоваться наилучшими способами передвижения!

Я сразу же отправился на знакомую квартиру на Васильевском острове. Когда я позвонил и мне открыли дверь, еще в переднюю ко мне выбежала старушка, хозяйка квартиры, которая, увидев меня, в ужасе замахала руками и, волнуясь, сообщила, что я должен как можно скорее уходить, так как дом находится под наблюдением и что в нем неоднократно были обыски. Маркову 2-му и Виктору Павловичу едва удалось бежать, и во время одного из обысков арестовали Седова, бывшего у них случайно по делу, но, продержав его в Крестах около месяца, его, к счастью, выпустили.

Я был, как громом, поражен этими новостями! И тут произошло несчастье! Нам фатально не везло! Мне не оставалось ничего другого, как поспешно покинуть этот дом, и я, умышленно исколесив Васильевский остров на трамвае по разным направлениям, только через несколько часов попал домой.

На следующее утро у меня был Седов, узнавший о моем приезде, и который рассказал мне, что через неделю после его приезда из Тюмени он был арестован во время обыска в доме, где мы собирались. Марков 2-й и Соколов случайно в это время отсутствовали. Они были своевременно предупреждены о случившемся и сумели скрыться в окрестностях Петербурга. Он полагал, что Марков 2-й находился, должно быть, в Финляндии, так как он, при всем желании, вот уже около двух недель никак не может встретиться с ним.

Еще до своего ареста Седов успел информировать Маркова 2-го о положении, которое создалось в связи с переводом Императорской Семьи в Екатеринбург, но никаких положительных результатов от его беседы не видел. Все шло по-старому... Марков 2-й заявил ему, что у него до сего дня не было средств для отправки людей, что, когда он достанет, то все пойдет по намеченному плану... Седов говорил также, что Марков 2-й предпринимал решительные шаги летом для спасения Их Величеств водным путем, но что перевоз Их Величеств в корне разрушил все его расчеты.

Седова же спасли от верной смерти при аресте его тюменские документы. Он сумел доказать товарищам, что приходил в дом, где его арестовали, наниматься к хозяйке на черную работу, и они его выпустили из Крестов за десять дней до моего приезда.

Единственным его желанием является теперь возвращение в Екатеринбург, дабы быть в близости к Их Величествам.

Я рассказал Седову обо всем, что произошло в Тюмени после его отъезда, о моих Екатеринбургских впечатлениях и сообщил ему свое мнение, что только Германия в данный момент в состоянии вмешаться в судьбу Императорской Семьи. Если и мне не удастся установить связи с Марковым 2-м и добиться от него решительных шагов в пользу Их Величеств у немцев, с которыми он, вероятно, имеет связь, то я сам, на свой риск, обращусь к Брату Императрицы, Великому Герцогу Эрнсту Людвигу Гессенскому, с просьбой о немедленной помощи, изложив чистосердечно все мною виденное за мое пребывание в Сибири. На мой вопрос, не знает ли Седов о том, что, быть может, Марков 2-й все же вошел по этому поводу в связь с немцами, он

ответил мне отрицательно, так как о чем-либо подобном он от Маркова 2-го не слышал.

Его желанием было как можно скорее связаться с передовыми отрядами наступавших на Екатеринбург казачьих частей, найти среди них единомышленников и при помощи их вырвать Царскую Семью из рук большевиков. Он вполне соглашался со мной, что налет на Ипатьевский дом невозможен, что в случае, если Екатеринбургу будет угрожать опасность, то большевики в первую очередь вывезут из него Их Величества, и тогда, во время перевоза, быть может, возможно будет попытаться Их спасти.

Я слабо верил в возможность осуществления такого плана. Большевики произвели бы вывоз Их Величеств по железной дороге, а для этого нужно было сделать молниеносный глубокий прорыв в тыл Екатеринбургу, дабы не дать возможности далеко вывезти Императорскую Семью. Все это очень сложно, но, в крайнем случае, можно было и на это решиться. Я лично видел главную опасность в том, что по сей день Их Величеств не вывезли из Екатеринбурга и Они продолжали находиться в руках сибирских каторжников.

Я не стал разубеждать Седова и пожелал ему счастливого пути и полного успеха.

Прошло уж десять лет с того дня, как я виделся в последний раз с моим однополчанином и другом. Как часто вспоминаю я этого рыцаря без страха и упрека, искренно и безкорыстно преданного Их Величествам!

А. Вырубова, которую я навестил в первый же день своего приезда и которой я рассказал о всех своих мытарствах, переживаниях и впечатлениях, была в полном отчаянии. Я передал ей полученную мною от Государыни открытку, и мне искренно, до глубины души жаль и тяжело было видеть муки этой несчастной женщины. Что могла сделать для Их Величеств эта больная страдалица, с трудом передвигавшаяся на костылях, без всяких средств и имевшая так мало друзей!

Она мне передала, что после моего отъезда в Сибирь она потеряла всякую связь с Марковым 2-м, Гринвальд и Андреевский к ней не явились, и она не знает, уехали ли они в Сибирь. Также и Седов, которого я спрашивал о них, ничего не мог мне сказать.

Я попытался связаться с Марковым 2-м через посредство одного офицера Гвардейского экипажа, имевшего с ним связь, но безуспешно, так как он не знал его местоположения.

Тогда я обратился к тому лицу, на квартире которого произошло знакомство А. Вырубовой с Марковым 2-м. Я его подробно информировал о положении Императорской Семьи, и он, согласившись со мной, что нужно обратиться к немцам, обещал все, мной ему сообщенное, передать графу Бенкендорфу, так и графу Фредериксу, жившим в то время в Петербурге, и попросить их предпринять в германском генеральном консульстве соответствующие шаги.

Я до сего дня не знаю, предпринимали ли что-нибудь в этом направлении упомянутые лица. Не веря больше ничьим обещаниям, я стал искать связи с немцами сам, но это было далеко не легко.

Генеральный консул был в отсутствии. Нужно было найти ход к одному из чиновников консульства. Я старался найти среди своих знакомых кого-нибудь, знающего или знакомого с кем-нибудь из консульского персонала.

Петербург в эти дни еще не успел приобрести ярко большевицкого характера, разве только что он сделался еще грязнее. Голод давал себя сильно чувствовать. Я, благодаря своим документам, получил продукты по 2-й категории.[1] Положим, это слишком громко сказано, так как продукты заключались в хлебе в количестве 1/2 фунта и 2-х сельдей. Хлеб был отвратительный суррогат: смесь муки, овса, соломы и других малоизвестных примесей! Но за деньги можно было купить все, включительно до самых изысканных деликатесов. Цены стояли феерические, как, например: кусок колотого сахара, равный приблизительно 4-м кускам пиленного, стоил 1 р. 50 к., 1 коробка шпрот 10 р., приличный обед от 50 до 60 рублей.

г----------

[1] В то время большевики разделили петербургское население на три категории: 1-я категория объединяла собой чистокровных пролетариев, 2-я советских работников, а 3-я буржуев и им подобных, коим вообще было отказано в праве питаться, так как им по их карточкам продуктов никогда не выдавали.

L_____

Я питался по карточке в советской столовой, помещавшейся в кафе "Ампир" на Садовой улице, за 3 р. 50 к. и получал неизменно отвратительную похлебку, на второе селедку с картофелем, а в лучшем случае, зеленый борщ и на третье гречневую кашу!

Принимая во внимание, что в то время 1 рубль был равен одному швейцарскому франку, можно было себе представить действительную высоту тогдашних цен в золотой валюте.

Вечером я дома на "хлопкожире" (суррогат из хлопкового масла, заменявший с грехом пополам масло) жарил картофель, очищая его от кожуры, которую на следующее утро утилизировал, пропуская через мясорубку, и из полученной каши делал оладьи... Гнилой картофель стоил 5 рублей пуд! Так питался счастливый советский Петербург в памятное лето 1918-го года!

20-го июля я шел после обеда по Литейному к Невскому. Когда я подходил, я заметил на перекрестке какое-то необычайное скопление публики. Мальчишки газетчики, целыми массами бежали по Невскому, оглашая воздух своими криками. Толпа, что называется, рвала у них газеты из рук.

Э-к-с-т-р-е-н-ы-й выпуск! Расстрел бывшего Царя в Екатеринбурге! Смерть Николая Романова!

Я на минуту как бы одеревенел, и мне едва не сделалось дурно...

Итак, первая часть величайшей трагедии кончилась! Государь погиб!

"В ночь на 17-е июля по приговору Екатеринбургского областного совета расстрелян бывший Царь Николай Романов. Семья Его перевезена в надежное место", - вот что я прочел в купленной газете. Коротко, цинично и ясно.

Ни слова, почему и за что!..

Я посмотрел на окружавшую меня толпу. На всех лицах я видел печать тоски и отчаяния. Все молчали, боясь комментировать это кошмарное известие. Все по горькому опыту убедились, что советские шпики шныряют повсюду. Но все же я услышал голоса, выражавшие недоверие по поводу полученного известия. И на всем протяжении Невского я заметил в толпе растерянность и повышенную нервность. Часовня около Гостиного Двора, куда я зашел, была переполнена молящимися. В ней были и простолюдины и интеллигенты. Она была ярко освещена сотнями только что поставленных свечей. Поставленных за упокой души Царя Великомученика... Многие женщины плакали навзрыд. Я не помню, как дошел домой. Чаша переполнилась. Я бросился на кровать и зарыдал, как маленький ребенок...

ГЛАВА XIV

Одному Богу известно, что я пережил в последующие дни. Шаги, предпринятые мною в первые дни моего приезда для установления связи с Германским консульством, дали свои положительные результаты только лишь 22-го июля. Я себе представить не мог, что это займет столько времени. Мне пришлось перебывать у целого ряда лиц, прежде чем мне было указано лицо, к которому я мог обратиться и откровенно рассказать о своем желании.

Итак, 22-го июля, получив соответствующие рекомендации, я познакомился с чиновником Германского Генерального консульства Германом Шилем. Свидание наше состоялось в уютной гостиной в здании Шведского посольства, на Дворцовой набережной, где в то время помещалось одно из отделений Германского консульства.

Я с полной откровенностью рассказал ему, кто я, и о своих взаимоотношениях с Императорской Семьей, о своей поездке в Тобольск, о службе в Красной Армии и екатеринбургских впечатлениях. Шиль выслушал меня очень внимательно и, видимо, близко к сердцу принял все мною рассказанное, и с величайшей готовностью согласился переслать мое письмо Великому Герцогу.

Не без стыда рассказал я ему о наших попытках к спасению Их Величеств и о результатах, достигнутых в этом направлении Марковской организацией. Когда же на его вопрос, почему же организация не предприняла решительных шагов для освобождения Царской Семьи, я ответил, что у нее не было к этому достаточных средств.

Шиль развел руками, и у него могло только вырваться: Unglaublich![1]

г----------

[1] Невероятно! (нем.)

L_____

Я ему ответил, что, по-моему, это тоже больше, чем невероятно, но раз это так, раз мы, русские, ничего не могли сделать для спасения своего Императора, то мне не только как человеку, безконечно преданному Их Величествам, но и как офицеру Шефского полка не остается ничего другого, как исполнить свой последний долг перед Ее Величеством, обратившись за помощью к Ее Августейшему Брату, который один только может вмешаться в судьбу своей Сестры-Мученицы и Ее ни в чем не повинных Детей!

Шиль вполне согласился со мной и заметил, что он уверен, что не только Великий Герцог, но и сестра Государыни, Принцесса Ирена Прусская и в мыслях представить не могли и не могут, насколько Семья Русского Императора была одинока в своем заключении, и что все, что было сделано для нее как отдельными лицами, так и организациями, ограничилось посылкой нескольких лиц и небольшого количества предметов первой необходимости...

Предложив мне стол для составления письма в соседнем кабинете, он прибавил, что его еще особенно поражает, что идея обращения к Родственникам Государыни пришла только мне, что же думали руководители организаций, видя, что положение Их Величеств ухудшается с каждым днем, а они безсильны помочь Ей? Почему же, хотя бы Марков 2-й, взявший на себя моральную ответственность по охранению Царской Семьи, еще в феврале или марте не обратился за помощью к Родственникам Императрицы?

Мне пришлось ответить, что мне, как рядовому члену организации, не дано право много знать, и что я верил, что Маркову 2-му удастся создать ядро верных людей, готовых на все, и своевременно перебросить их в Сибирь, не говоря уже о приобретении материальных средств. О действительном положении Марковской организации, как мне казалось, наиболее была осведомлена Ю. Ден и раз она решилась сообщить Ее Величеству, что наконец нашелся человек, на которого можно положиться, как на каменную гору, то не мне было сомневаться в правильности ее информации, хотя я и неоднократно выражал ей свои опасения за судьбу Царской Семьи, в особенности после ее возвращения из Петербурга, когда выяснилось, что Марков 2-й за четырехмесячное пребывание Их Величеств в Тобольске смог отправить туда только одного Седова.

Шиль ничего не ответил мне на это и, пожав плечами, вышел из кабинета, оставив меня одного.

Мое письмо к Великому Герцогу было похоже на подробный обстоятельный доклад. Понятно, что копии письма я не мог сохранить, и теперь, по прошествии 10 лет, мне невозможно в точности восстановить на память все, мною написанное, но содержание его по пунктам было следующим:

1. Моя автобиография, причины моей поездки в Тобольск.

2. То, что мне пришлось видеть и пережить с 1-го марта сего года по 1-е июля н. с, дня моего приезда в Екатеринбург.

3. Что было сделано нами и организацией Маркова 2-го по делу охранения и помощи Царской Семье.

4. Каковы были результаты.

5. Мое мнение о положении Ее Величества и Августейших Детей после трагической гибели Государя.

6. Указание на полную нашу несостоятельность и невозможность чем-либо помочь Им.

7. Объяснение, почему только Германия может помочь ее Величеству.

8. Указание (что особенно подчеркнуто) желательности вызова Ее Величества и Детей в одну из нейтральных стран или, если возможно, в Крым.

9. Указание на то, что я действую исключительно по собственной инициативе и никаких полномочий от Ее Величества не имею.

10. В заключение я еще раз подчеркивал самым решительным образом трагизм положения, в котором находилась Ее Величество, и поэтому позволял себе настаивать на безотлагательной и срочной помощи и энергичной интервенции Его Высочества по этому вопросу.

11. Заканчивая свое письмо, я указал, что мое дальнейшее пребывание в Петербурге я считаю для себя не только безплодным, но и не безопасным. Моим единственным желанием является личный доклад Его Высочеству обо всем, что я вкратце изложил в своем письме. Письмо мое было Шилем лично запечатано и 23-го июля отправлено через дипломатического курьера в Германию для немедленной доставки по назначению.

Об этом письме и отправке его я сообщил тому лицу, которое обещало мне переговорить с графом Бенкендорфом по поводу моего приезда. Узнав об этом, он выразил свое крайнее удивление моей смелости. Я был поражен.

- Неужели мои года и чин могут служить препятствием исполнению моего долга и священной обязанности? - с изумлением спросил я его.

- Да нет, что вы! Это право каждого человека обращаться к Высочайшим особам. Но ведь в письме вы написали свою фамилию?

Я ничего не понимал.

- Не только фамилию, но и биографию, также и адрес.

- Ну вот... А представьте, что большевики арестуют курьера и найдут у него ваше письмо?

- Это маловероятно, но если даже и так?

- Да вас же поймают и расстреляют.

Я не выдержал и выпалил, совершенно не считаясь ни с возрастом, ни с положением, которое в свое время занимал мой собеседник:

- Знаете, если и в этом случае, страха ради Иудейского и опасаясь за свою шкуру, не протянем руку помощи несчастной Государыне, Наследнику и Великим Княжнам и не сделаем последней попытки помочь Им, то что же мы за люди после этого и какого названия мы заслуживаем?

Для того, чтобы получить документы на право выезда из Совдепии, я решил было украинизироваться, но, когда я пошел к зданию, в котором помещалось Украинское консульство, и пытался неудачно проникнуть в него через толпу в несколько сот человек, я эту идею отбросил. Прочитав в газете, что в Петербурге организовался Крымский Комитет с правами консульства, регистрировавший уроженцев Крыма, в то время объявившего себя самостоятельным, и выдававший уроженцам его документы для проезда на родину, я решил обратиться туда. Комитет помещался в бывшей конторе "Вечернего времени" на Невском, где я узнал, что для того, чтобы быть принятым в Крымское подданство, мне надлежит представить документы о своем рождении в Крыму и долгом проживании там, а также получить согласие председателя Комитета, сенатора Султан-Крым-Гирея.

Я отправился к нему на квартиру. Он очень любезно принял меня и, расспросив меня о том, кто я и что я. сразу же приказал дать мне проездное свидетельство. Это был замечательный документ, который мне, к сожалению, не удалось сохранить, отпечатанный по-русски, немецки и украински. Особенно интересна была печать на нем с изображением Крымского полуострова вместо герба, так как о том, как должен выглядеть герб нового государства, его представители в Петербурге, видимо, представления не имели.

До своего отъезда я несколько раз виделся с Шилем. Ответа от Великого Герцога еще не было. Шиль подтверждал мне, что Ее Величество и Августейшие Дети были вывезены из Екатеринбурга 17-го июля и в данное время находятся в районе Пермской губернии. Таковы были сведения, полученные Консульством из Москвы от Германского посольства.

В газетах о смерти Государя и вообще по этому поводу писать совершенно прекратили, видимо, по приказанию свыше. Большевики воочию могли убедиться, какое ужасное, отвратительное впечатление произвело на петербуржцев их кошмарное злодеяние.

3-го августа я через Шиля отправил второе коротенькое письмо к Великому Герцогу с приложением двух рисунков, которые я сделал по памяти, изображавших те два дома, где жили Их Величества в Тобольске и Екатеринбурге.

Навещал я также и несчастную А. Вырубову. Ко всем ее горестям и жизненным невзгодам прибавились еще болезнь ее матери, добрейшей и симпатичнейшей Надежды Илларионовны.

А. Вырубова вполне одобрила посылку мною письма Великому Герцогу. Отъезд мой тормозился из-за отсутствия средств на дорогу.

Деньги, полученные в Тюмени, приходили к концу. Меня выручил милейший Шиль, узнавший о моих затруднениях, и ссудил мене 1500 р. на дорогу, и 14-го августа я смог, наконец, вырваться из Петербурга и без особых приключений под вечер 15-го приехал в Оршу.

ГЛАВА XV

Будучи еще в Петербурге, я читал в газетах о жизни, порядках и нравах в Орше, пограничной станции новой великой коммунистической России. Описания были довольно откровенны, так как я читал буржуазные газеты, в то время еще с грехом пополам выходившие и кое-как прозябавшие под неумолимым оком новейшей цензуры.

Правда, их закрывали почти немедленно за каждый пустяк или облагали непомерными штрафами, но окончательно их удушить товарищи еще не решались, вернее, конфузились. Бывало, читаешь сегодня, предположим, "Петроградский листок", а завтра, смотришь, его уж и в помине нет, кончился, голубчик, а на его месте "Петроградское утро", послезавтра "День", потом "Вечер", "Эхо", "Час" и т. д. до безконечности.

Вскоре после моего отъезда, как мне передавали позднее меня вырвавшиеся из Совдепии, большевики конфуз свой спрятали в карман и плюнули, так сказать, прямо в лицо всем обещанным свободам и окончательно задушили свободное слово.

В этих газетах сообщалось о кошмарных условиях жизни многих тысяч беженцев из Польши, жаждавших вернуться в родные края, громадного количества украинцев, вернее, просто русских, спасавшихся от прелести советского рая, и большого скопления военнопленных, как русских, так и немецких, стремящихся скорее вернуться на родину.

Газеты не преувеличивали. Донельзя загрязненная станция была забита многотысячным людом, все пути заставлены поездами, но движения никакого не замечалось. Всюду на видных местах висели надписи: Граница временно закрыта.

Как мне сказали, это "временно" продолжается уже неделю, но вскоре ожидается открытие границы. Объясняли это обстоятельство на все лады, но самым правдоподобным было объяснение, что у немцев с товарищами вышли недоразумения. Пропускались с обеих сторон только санитарные поезда. Граница, как ее тут все называли, вернее сказать, демаркационная линия начиналась в нескольких стах шагах от вокзала. Орша-пассажирская была в пределах Совдепии, Орша-товарная была уже в руках немцев. Демаркационная линия была весьма ясно обозначена высокой оградой, метра в три вышиной, из колючей проволоки, весьма солидно и прочно построенной. Ограда эта тянулась направо и налево от вокзала, сколько глазу было видно. За ней стояли немецкие посты, приблизительно по одному часовому на каждые сто пятьдесят шагов.

По-видимому, германская каска была в большом респекте - к ограде и на 10 шагов никто не проходил.

С нашей стороны часовых не было, и только изредка вдоль ограды проходили патрули каких-то оборванцев в полувоенной форме с винтовками, болтавшимися на веревках за правым плечом, вместо ремня. Во время осмотра мною демаркационной линии, проходя недалеко от забора по тропинке, ведшей к пропускному пункту, я наткнулся на такой патруль. С немецкой стороны до меня донеся такой диалог:

- Du, Karl, was fuer Halunken sind das?[1]

г----------

[1] Эй, Карл, это что еще за мерзавцы? (нем.)

L_____

Я увидел здоровенного немца, видимо, только что приехавшего сюда и с удивлением смотревшего на наших красавцев, проходивших мимо него. Его сосед Карл ответил ему:

- Das sind keine Halunken, das ist die russische Grenzwache![1]

г----------

[1] Это не мерзавцы, это - русские пограничники! (нем.)

L_____

- Ah, so... Und ich dachte...[1] - вырвалось у него, и он мерно и тяжело зашагал к своему участку.

г----------

[1] Ах, вон что... А я было подумал... (нем.)

L_____

Что думал этот немец, он не сказал, но нетрудно было догадаться, за кого мог принять наших товарищей этот бравый немец и что он о них подумал. После фронта я впервые видел немцев, так сказать, на мирном положении, но когда услышал этот разговор, сердце мое облилось кровью, сделалось нудно и обидно на душе... До чего мы дожили? Какой позор!

Когда я подошел к пропускному пункту, устроенному на шоссе для проходивших границу пешком и на лошадях, я увидел огромные ворота в ширину шоссе и рядом с ними калитку с вертушкой перед воротами. За ними стояли усиленные наряды часовых, а в нескольких десятках шагов был выстроен прехорошенький деревянный домик, где, видимо, помещался караул и начальник пропускного пункта. Около калитки стояла большая очередь разнообразного люда, стремившегося попасть на

немецкую сторону. Несколько унтер-офицеров и фельдфебелей очень тщательно контролировали документы, по очереди пропускали столпившихся. Я уж было обрадовался, что, быть может, здесь мне удастся проскочить, но на мой вопрос один из унтер-офицеров очень любезно ответил:

- Ausgeschlossen! Hier laesst man nur die Grenzbewohner durch![1]

г----------

[1] Исключено! Здесь пропускают лишь приграничных жителей! (нем.)

L_____

Потерпев неудачу, я вернулся на вокзал. В это время на немецкую Оршу подходил санитарный поезд с немецкими военнопленными. Из открытых окон вагонов слышались веселые голоса, возгласы, крики и неслось пение: "Deutschland, Deutschland ueber alles!"[1]

г----------

[1] "Германия, Германия превыше всего!" (нем.) - название и припев популярной немецкой патриотической песни.

L_____

Многие солдаты высовывались в окна, махали платками и своими шапочками. Доносились прощальные крики, вроде "прощайте, товарищи", с прибавлением трехэтажного непечатного ругательства... Так поминали немцы наших товарищей, давших им возможность вернуться на родину за их доблести!

Поезд быстро проходил мимо вокзала, и вскоре за ним мелькнули два глаза красных фонарей, и он скрылся в немецкой Орше, провожаемый с нашей стороны тысячами завистливых глаз.

Я уже собрался войти в заплеванный зал 1-го и 2-го класса, как увидел длинную фигуру германского офицера в гусарском доломане, цветной фуражке, мерно похаживавшегося с папиросой в зубах и стеком в руках по перрону.

Еще в Петербурге среди разных заметок об Орше я прочел, что эвакуацией немецких военнопленных в Орше заведует гусарский офицер фон Боден.

Я решил идти напролом, так как другого способа вырваться отсюда не было, и, подойдя, обратился к нему по-немецки:

- Verzeihen Sie bitte, Herr Leutnant, darf ich Ihnen ein paar Worte sagen?[1]

г----------

[1] Простите, пожалуйста, господин лейтенант - можно мне сказать Вам несколько слов? (нем.)

L_____

Он вздрогнул и обернулся:

- Was wuenschen Sie denn?[1]

г----------

[1] Что же вам угодно? (нем.)

L_____

- Ich bin russischer Offizier und reise von Petersburg zu S. К. H. Grossherzog von Hessen in wichtiger Angelegenheit.[1]

г----------

[1] Я русский офицер и еду из Петербурга к Е.И.В. Великому герцогу Гессенскому по важному делу. (нем)

L_____

Говорил я почти шепотом, на лице немца не выразилось ни малейшего удивления.

- Haben Sie Dokumente?[1]

г----------

[1] Документы у вас есть? (нем.)

L_____

- Jawohl.[1]

г----------

[1] Так точно. (нем.)

L_____

- Morgen um 10 Uhr kommen Sie zu der Demarkationslinie![1]

г----------

[1] Завтра в 10 часов подойдите к демаркационной линии! (нем.)

L_____

Он повернулся налево кругом и тихими шагами, пощелкивая себя стеком по сапогу, как ни в чем ни бывало пошел дальше по перрону.

Перемучившись всю ночь на твердой скамье, чемодан я сдал на хранение (тогда это еще существовало!) и собирался уже пройти к пропускному пункту, как вдруг услышал недалеко от себя разговор, из которого понял, что кое-кого большевики пропускают, но для этого надо сходить в местечко и исхлопотать себе в местном совете пропуск. Его дают, но это стоит денег. Я принял это к сведению и без четверти десять был около заветных ворот. С немецкой аккуратностью (часы мои показывали ровно 10 часов) из сторожки вышел офицер, с которым я вчера говорил, подошел к воротам, сделал знак часовому, ворота приоткрылись, и еще один шаг, и я оказался на немецкой стороне.

Я пошел за лейтенантом к сторожке и, когда вошел туда, то в одной из комнат застал еще двух офицеров, капитана генерального Штаба и поручика в форме летчика.

Офицеры представились мне. Лейтенант, который привел меня, как я и не ошибся, оказался фон Боденом, тем, о котором я читал в газетах. Фамилии других я сейчас не помню. Капитан попросил у меня документы. Когда я вынимал их (они просто у меня весьма аккуратно спрятаны), то летчик, наблюдая мои манипуляции, одобрительно покачал головой и заметил:

- Sehr gut! Tadellos! So aehnlich habe auch ich gemacht, als ich in London war.[1]

г----------

[1] Очень хорошо! Безупречно! Примерно так делал и я, когда был в Лондоне. (нем.)

L_____

Когда офицеры убедились в подлинности моих документов, а особенно когда увидели два удостоверения Германского Императорского Консульства в Петербурге, свидетельствовавших о том, что 26-го июля и 5-го августа мною отправлены два письма на имя Великого Герцога, они сделались предупредительно любезными, расспросили меня о цели моей поездки, причем капитан попросил информировать их командование в Орше о моих петербургских впечатлениях вообще и о жизни в Совдепии в частности. Мне дали одного солдата в провожатые, и я, распрощавшись с ними, отправился в Штаб Командования.

Он находился приблизительно в версте от пропускного пункта. На большой поляне среди леса, недалеко от станции Орша-Товарная, немцы за их пребывание построили целый городок, состоящий из солидных деревянных домов и легких дощатых бараков, идеально распланированных между широкими улицами с электрическим освещением. Перед домами почти всюду виднелись палисадники с зеленью и цветами. Чистота всюду стояла идеальная. Были также и магазины, около которых толпились солдаты: книжная торговля со свежими газетами, галантерейный магазин, мануфактурная и сапожная торговли. На улицах виднелись надписи, вроде:

"Kaiser-Wilhelm-Strasse",[1] "Hindenburg-Strasse"[2] и т. д.

г----------

[1] Улица Императора Вильгельма (нем.)

[2] Улица Гинденбурга (нем.)

L_____

А на домах вывески: "Verbindungsoffizier",[1] "Garnisonsverwaltung"[2] и стрелки с надписями: Zur Kommandatur[3] и др.

г----------

[1] Офицер связи (нем.)

[2] Управление гарнизона (нем.)

[3] К комендатуре (нем.)

L_____

Густыми пачками тянулись телеграфные и телефонные провода. Мой проводник проводил меня в Комендатуру и мы остановились перед дверью с плакатом: "Kommandatur".[1]

г----------

[1] Комендатура (нем.)

L_____

Солдат пошел обо мне доложить, вскоре вернулся, и я очутился перед хозяином комнаты, высоким, здоровым лейтенантом, человеком средних лет с неизменной сигарой в зубах.

Узнав, по какому делу я пришел, он любезно пригласил меня сесть, взял лист бумаги и стал на нем записывать мои рассказы и впечатления, полученные мною в Совдепии, и о порядках, царящих по ту сторону колючей проволоки. На его вопрос, как относятся в России к ним, немцам, я чистосердечно ответил, что за навязанный нам Брестский мир не хвалят, Антанта имеет много сторонников, но, несмотря на это, мы ждали немцев во время наступления их на Петербург в январе и феврале как избавителей, и если бы они взяли тогда Петербург, то им усыпали бы путь цветами и всячески облегчили их действия, направленные против большевиков. Теперешняя их политика в отношении большевиков - на юге одна, на севере другая - популярности им не делает, и такая политика, по-моему, не только гибельна для их престижа в русских глазах, но гибельна и для Германии, так как рано или поздно большевицкая зараза перекинется к ним. Крооль (так звали лейтенанта) молча слушал меня, но, при последних моих словах он рассмеялся, и у него вырвалось:

- Davor haben wir keine Angst![1]

г----------

[1] Мы этого не страшимся! (нем.)

L_____

Я же, настаивая на своем, утверждал, что по-моему немцам надо как можно скорее освободить Петербург, потом Москву и выкинуть большевиков, по крайней мере, за Волгу, где они сдохнут сами. Когда я, особенно сильно подчеркивая, заявил Кроолю, что если в самое ближайшее время, а именно в течение ближайших двух-трех месяцев, германское командование не сделает этого, то я не уверен, не проиграет ли Германия благодаря этой ошибке войны.

Крооль даже обиделся на меня:

- Wie koennen Sie so was sagen? Wir koennen den Krieg nicht verlieren! Das ist ein Unsinn! Ausgeschlossen![1]

г----------

[1] Как Вы можете такое говорить? Мы не можем проиграть войну! Это чепуха! Исключено! (нем.)

L_____

Я ему ответил, что спорить с ним не буду, пускай он остается при своем мнении, но я его прошу официально занести в протокол следующее:

"Корнет Марков высказывает, что дальнейшее пребывание большевиков у власти является не только для России, но и для Германии гибельным. В случае, если Германия освободит Россию от большевизма, она встретит в лице русских самое доброжелательное к себе отношение. Никакого противодействия со стороны русских национальных организаций германские войска не встретят. Освобождая Россию от кучки бандитов и хулиганов, засевших в Кремле, немцы спасают тысячи невинных жизней, что им никогда не забудется. Корнет Марков указывает, что, по его глубокому убеждению, Германия должна в самый короткий срок покончить с большевизмом, заняв Петроград и Москву, помочь нам создать настоящее национальное правительство и прекратить творящиеся безобразия. Если же Германия этого не сделает, то корнет Марков уверен, что большевицкая зараза в той или иной степени проникнет в Германию, и она войну проиграет".

Когда Крооль закончил записывать мое заявление, я прибавил, что очень хотел бы, чтобы мои предположения не оправдались и чтобы события развернулись так, как ему, Кроолю, хочется, но я пессимист в этом вопросе и таковым останусь.

Хотелось бы мне теперь, через десять лет повидать лейтенанта Крооля, попросить его разыскать в архиве Командования в Орше мои заявления и попросить его прочесть их мне вслух. Что сказал бы теперь этот самонадеянный лейтенант? А, может быть, мои показания пошли на растопку сознательными немецкими солдатами в памятном для них ноябре 1918 года?

- Очень рад, что вам благополучно удалось вырваться из советского рая! Вы, вероятно, сегодня же поедете дальше? Если вы хотите поехать в Германию, то вам надлежит обратиться в "Обер-Ост"[1] за пропуском! - любезно обратился ко мне Крооль, поблагодарив за данные ему сведения. Я ему ответил, что сначала хочу проехать в Киев для свидания с некоторыми лицами, к коим меня направил один петербургский политический деятель, тоже заинтересованный в вопросе спасения Царской Семьи, и уже там, через Оберкомандо, буду просить разрешения на въезд в Германию, а в данный момент я собираюсь вернуться обратно на русскую сторону. Крооль в ужасе посмотрел на меня и подумал, вероятно, что я сумасшедший.

г----------

[1] Сокращенное название германского Главнокомандования на Востоке

L_____

- Зачем? - вырвалось у него.

Я ему объяснил, что у меня остались вещи на вокзале, которые я не мог взять с собой, идя по пешеходной дороге, не будучи замеченным товарищами. Он покачал головой и осведомился, нет ли у меня с собой еще чего-нибудь, чего я не хотел бы показывать большевикам, в случае, если они меня на границе обыщут.

Я вспомнил, что у меня спрятаны на себе две пятисотки, которые я достал и отдал Кроолю на сохранение. Распрощавшись с ним, я отправился обратно.

С тяжелым чувством перешел я заветную черту и снова оказался в царстве хамства, насилия и произвола.

На следующий день я отправился в местечко Оршу, в местный совдеп, где я слышал, дают пропуски для выезда за границу. И, действительно, на дверях этого почтенного учреждения висел плакат, возвещавший собравшейся в довольно большом количестве публике, что граница впредь до распоряжения закрыта и что пропуски выдаются только больным совработникам и учащимся высших учебных заведений. Прочтя это объявление, я воспрянул духом... Чем же я не больной совработник?..

И в самом деле, когда эта лавочка открылась и до меня дошла очередь, какой-то носатый, с отвислыми ушами брюнет, осмотрев мои документы, нашел их вполне достаточными и поставил выездной штемпель. Я ликовал и хотел подсунуть товарищу 25 рублей, но он отказался, любезно ответив:

- Что вы, товарищ! С вас? Ни за что!..

Получив еще одну отметку от самого комиссара, я стрелой помчался на вокзал, взял находившийся на хранении чемодан, нанял жида-извозчика за 25 рублей, согласившегося перевезти меня в немецкую Оршу и тронулся в путь.

Через полчаса езды по шоссе я оказался около домика, находившегося в версте от Германского пропускного пункта, где помещалась советская таможня.

Извозчик мой остановился. Ко мне подошли два субъекта с винтовками, сотоварищи тех "Halunken",[1] которых я уже видел в первый день приезда. Они отобрали у меня паспорт и удостоверение и пошли с ним в дом. В то время ко мне подошел благообразный старичок, оказавшийся старым таможенным чиновником, но состоявший теперь на советской службе, который спросил меня о том, что находится в моем чемодане. Получив от меня два десятка папирос, старичок оставил меня в покое и сказал вернувшимся субъектам, что вещи мои досмотрены и ничего предосудительного у меня нет. Получив документы, я приказал извозчику гнать скорее, так как я рискую опоздать к поезду. Мне не верилось, что все мои муки кончились, что красный кошмар остается позади, и что пережитый год душевного рабства окончился.

г----------

[1] мерзавцев (нем.)

L_____

Вот и ворота. Я показал пропуск. Часовой открыл их, и мы очутились в ином, свободном мире!..

Я снял шапку и перекрестился широким русским крестом...

Спасен! - мелькнуло у меня в голове...

ГЛАВА XVI

Курьерский поезд Жлобин-Киев быстро мчался, строго следуя расписанию, и не останавливался на маленьких станциях. Они быстро мелькали перед глазами, совсем как раньше, чистенькие и аккуратные, но с неизменными немецкими часовыми в касках, мерно прохаживавшимися по перрону.

Я сидел в чистом купе с мягкими диванами, и мне не верилось, что это явь, не сон, а действительность! В вагоне публики было мало. Всюду виднелись надписи: для курящих - Fuer Raucher, занято - Besetzt, заказано - Bestellt, только для офицеров - Nur fuer Offiziere и т. д.

Медные части вагона сверкали своей полировкой, коридор был подметен, окна протерты, и даже имелся проводник, к моему изумлению принесший, как встарь, вечером запломбированный мешок с чистым бельем и постеливший мне кровать!

Все надписи были не пустым звуком, а их почтительно читали и строго исполняли, и если купе в дороге и заполнялось, то в пределах положенного количества пассажиров, словом, в каких-нибудь нескольких часах от советского рая все шло по-старому, все было в полном порядке и жизнь текла нормально. Грустно было сознавать, что причиной такого благополучия являются немецкий сапог и немецкая каска, твердо стоявшие на нашей земле и перед которыми русский народ в массе трепетал и низкопоклонничал...

Никакого хамства и в помине не было, его как рукой сняло. На станциях ко мне обращались какие-то типы в военной форме, видимо, бывшие солдаты и, присматриваясь к моей полувоенной форме, прикладывали руку к козырьку, величали:

- Ваше Благородие...

Но это мало меня радовало, и я не без омерзения вспоминал недавно виденную мною в Жлобине картину.

Перрон в блестящем порядке. Всюду у входов и выходов бравые немецкие часовые и какой-то лейтенант, фланирующий, видимо, для порядка по платформе.

В ожидании поезда меня, благодаря удостоверению, полученному в Орше, пропустили на перрон, остальная же публика, столпившаяся внутри вокзала, сдерживалась немецкими фельджандармами. За пять минут до отхода поезда они стали, после проверки документов, пропускать по очереди на платформу.

Одним из первых на перрон попал здоровенный парень в военной форме, распоясанный (пояс висел у него на плече), с воротником рубашки, загнутым вовнутрь, и фуражке, блином сидевшей на голове, из-под которой выбивался ухарский клок волос. Одним словом, это был, по-видимому, типичный сотоварищ тех революционных воинов, о которых я уже писал, виденных мною не только в Орше, но и во всей Совдепии, который с легкостью мог стать красой 1-го Тюменского уланского эскадрона! Парень остановился в конце платформы, заложив руки в карманы, закурив цыгарку, и с интересом стал наблюдать образцовую смену германских часовых. Лейтенант заметил этого субъекта и, игриво помахивая своим стеком, ленивыми шагами подошел к нему, и, не говоря ни слова, огрел этого молодца по физиономии накрест стеком так, что багровые полосы, как шрамы, сейчас же выступили на ней. В миг исчезло с лица этого молодчика ясно выраженное революционное нахальство, цыгарка вылетела изо рта, рубашка была застегнута и пояс оказался на месте. Перед лейтенантом стояла жалкая фигура с рукой у козырька, на дрожащих согнутых коленках, умоляюще лепетавшая:

- Вв-в-вин-о-ов-ват, Ва-ш-аше Благ-лаг-о-о-родие!

Лейтенант презрительно сплюнул.

- R-r-raus! Gauner![1] - свирепо крикнул он.

г----------

[1] Вон! Мошенник! (нем.)

L_____

"Gauner" не заставил себя долго ждать и быстро затерся в толпе. В душе я вполне понял лейтенанта, возмутившегося при виде такой распущенной, хамской фигуры, вполне одобрил его поступок, но мне было безумно больно сознавать, что этот, все

же русский, солдат, без объяснения понял свою вину, затрепетал и затрясся, прося прощения у своего бывшего врага...

Этот же солдат в каких-нибудь десятках верст от Жлобина, встретив по ту сторону колючей изгороди своего, родного ему офицера, был волен распорядиться его жизнью и смертью. Рубашку декольте, отсутствие пояса и цыгарку в зубах считал он признаком особого шика и чуть ли не главнейшим завоеванием революции...

Вспомнились мне и озлобленные рожи комиссаров, виденных мною в немецкой Орше, когда, очутившись вне советской досягаемости, меня одолело шалое, быть может, мальчишеское желание сбросить штатское и надеть свою полувоенную форму, сшитую еще в Тюмени, с той лишь разницей, что я мог теперь надеть на фуражку офицерскую кокарду, которая была хорошо припрятана в чемодане, и пришить на борт плаща георгиевскую ленточку, тоже бывшую со мной. Сказано - сделано. Я остановил своего извозчика, не доезжая до станции, около большого состава товарных вагонов, стоявших порожними на запасных путях, расплатился с ним, дотащил чемодан в один из вагонов и там переоделся. Не успел я вылезть во всем своем великолепии из вагона на шоссе, чтобы пешком дойти до станции, как навстречу мне попался шикарный парный фаэтон. Когда он поравнялся со мной, я глазам не поверил: среди трех штатских, сидевших в нем, один был тот самый комиссар, который за два часа до этой встречи выдал мне пропуск в совдепе!

Мы узнали друг друга. Сначала он при виде меня до того растерялся, что даже разинул рот, потом что-то сказал своим спутникам, и лицо его исказилось от бешенства. Я не выдержал, снял фуражку, помахал ею вслед удалявшемуся экипажу и крикнул что было мочи:

- Товарищи! Кланяйтесь совдепам!

Почему мне именно эта фраза в голову пришла - не знаю... В отличном настроении я пришел к лейтенанту Кроолю, который от души хохотал, когда я ему рассказал об этой встрече.

Получив свои деньги и проездной документ, напутствуемый пожеланиями счастливого пути как со стороны Крооля, так и пришедшего Бодена, я отправился на вокзал, и вскоре небольшой "буммельцуг" прифронтового сообщения, тяжело пыхтя своим маленьким паровозом, потащил меня в Жлобин.

ГЛАВА XVII

19-го августа перед обедом я приехал в Киев. Оставив свои вещи на вокзале, я отправился пешком в город, чтобы разыскать Ф. Н. Безак. Киев мало изменился за то время, что я его не видел. Германская оккупация никакого особенного отпечатка на город не наложила.

На улицах стояли новые украинские полицейские в солдатской форме с винтовками на плечевом ремне, немецких постов нигде не было видно, и только вокзал и Липки, где помещалось Оберкомандо, были прочно заняты германскими войсками. Присутствие в городе оккупационных войск было заметно по сотням и тысячам телеграфных и телефонных проводов, окутавших город, как паутиной.

Жизнь в Киеве била ключом. На Крещатике я был подхвачен волной безчисленных прохожих, разодетая толпа наполняла все окрестные улицы, кафе и магазины. Виднелись повсюду прекрасные выезды, роскошные автомобили, то и дело оглашая воздух зычным окриком:

- Х-е-е-п! Берегись!

По улицам пролетали самые старорежимные, толстые лихачи на дутых шинах. Не потому так жил Киев, что неожиданно стал столицей новой Державы, а потому, что был переполнен беженцами из Москвы и Петербурга, вырвавшимися из Совдепии и очутившимися в свободной стране, швырявшими без счета с трудом спасенные ими деньги по различным злачным местам, народившимся в городе, как грибы после дождя.

Украинизации никакой не замечалось. Все говорили по-русски, вывески остались русскими, газеты выходили по-русски, были и украинские, но я не знаю, читал ли их кто-нибудь. В министерствах и учреждениях новой Державы говорили по-русски, наконец, блюстители порядка в солдатской форме в большинстве были старыми городовыми и жандармами.

Но, несмотря на казавшуюся безпечность шикарной толпы, в воздухе чувствовалась нервность, в разговорах сквозила неуверенность в завтрашнем дне, все жили принципом "хоть день - да мой" и кутили, расшвыривая последние гроши, стараясь в вихре удовольствий забыться от всего пережитого и заглушить в себе щемящие предчувствия недолговечности обретенного покоя...

Таковыми были мои первые киевские впечатления.

Среди толпы я видел множество офицеров всех родов без оружия, без погон, но в фуражках с русскими кокардами, а также представителей новой украинской армии, тоже бывших офицеров, но уже во всем великолепии новой, только что изобретенной формы, основными отличиями которой служили жгутовые погоны на манер немецких, но во всю ширину плеча, и круглые золотые кокарды с украинским гербом в виде трезубца на голубом фоне.

На Крещатике мое внимание привлекла третья категория офицеров в старой, родной мне форме, с погонами, при орденах и оружии. Единственным отличием у них был угол острием вверх из романовской ленты на левом рукаве выше локтя. Этот знак до того заинтриговал меня, что я в конце концов не выдержал и подошел к проходившему мимо меня прапорщику, извинился и попросил объяснить мне, что сей знак означает. Он очень любезно объяснил мне, что этот знак принадлежит к Астраханской казачьей армии, находящейся на фронте около Царицына, и которая разворачивается и вербует офицеров в Киеве через свое Представительство, которое помещается в гостинице "Прага" на Владимирской улице.

Как это видно из цветов ленты, армия, не в пример Добровольческой, преследует явно выраженные монархические тенденции и из своего лозунга "За Веру, Царя и Отечество" секрета не делает. Немцы очень сочувственно относятся к этому формированию и оказывают ему всяческое содействие. Я представился прапорщику. Он, услышав мою фамилию, воскликнул:

- Так вы родственник такого-то?

Я ответил утвердительно. Оказалось, что мой новый знакомый является племянником сенатора Ш., семья которого очень дружна с нашей, но мы почему-то раньше не были знакомы, хотя и слышали друг о друге. Я был очень обрадован такой неожиданной встрече. От Ш. я узнал, что Астраханская армия состоит из Астраханских казаков и калмыков, но теперь, при разворачивании, формирует и инородческие части. Наказным атаманом является князь Тундутов. Представителем армии на Украине состоит капитан первого ранга Ратманов, с помощником л.-гв. Павловского полка полковником Потоцким и его братом, полковником артиллеристом.

Ш. долго упрашивал меня идти к ним в армию, и я, в день приезда, оказался в Представительстве, где был радушно, как родной, принят как энергичным капитаном Ратмановым, так и всем персоналом Представительства. В тот же день я записался в армию, дух и принципы которой вполне отвечали моим убеждениям, и был временно прикомандирован в распоряжение Ратманова. Через начальника контрразведки при Представительстве, капитана Б., я вошел в связь с немецким командованием и при любезном содействии начальника одного из его отделов, лейтенанта Р., отправил телеграмму на имя Великого Герцога Гессенского с извещением о своем прибытии в Киев и с просьбой сообщить мне, будет ли желателен Великому Герцогу мой приезд в Германию.

В Киеве я решил не задерживаться и до получения ответа от Великого Герцога решил проехать к Ю. А. Ден в Белецковку, чтобы информировать ее о всем мной пережитом и виденном, а также в Одессу к отцу, которого не видел с июня 1917 года.

Ф. Н. Безак, которого я навестил на следующий день, принял меня очень сердечно, познакомил меня со своей женой Еленой Николаевной, симпатичнейшей и добрейшей женщиной, и пригласил меня к обеду.

За обедом, кроме семьи Ф. Н., присутствовал также Волынский губернатор П. В. Скаржинский, бывший начальник Главного управления по делам печати Катенин, и Кавалергардского полка полковник А. А. Пантелеев, который, как я слышал, во время своего пребывания в Петрограде был очень близок к Маркову 2-му по организации. Первые двое, как сам Ф. Н. Безак, были виднейшими лидерами не только киевских монархистов, но и вообще южнорусских. После обеда я во всех подробностях рассказал присутствовавшим о положении организации Маркова 2-го до моего отъезда в Тобольск, о Тобольске и Тюмени, о моей службе в Красной Армии, словом, в мельчайших деталях о всем, мною виденном и пережитом. Рассказал я также о жизни Их Величеств в Екатеринбурге, о моих опасениях, о разгроме организации, о чем я узнал после своего приезда в Петербург, об отправке мной писем В. Герцогу Гессенскому, ввиду того, что я не верю, чтобы мы смогли не только вырвать несчастную Царскую Семью из рук большевиков, но охранить Ее.

Собравшиеся выслушали меня с живейшим интересом, и по тому, что я узнал от них, я ясно понял, что все надежды были возложены на Маркова 2-го, сами же они никаких шагов к отправке людей в Сибирь не предпринимали. Они мне это объяснили тяжелым положением, в котором находились как они сами, так и организация во время переменного владычества то большевиков, то украинцев,

затем отсутствием надлежащей связи с Петербургом, которая если и была, то носила чисто случайный характер, а также плохой информацией о ходе работ Маркова 2-го по делу спасения Их Величеств. Все они были очень поражены и удивлены тем, что Маркову 2-му не удалось собрать нужных средств.

Ф. Н. Безак говорил мне, что во время монархического съезда, происходившего незадолго до моего приезда в Киев, он говорил с Ю. А. Ден, присутствовавшей на нем, и получил впечатление, что она больше чем уверена, что Марков 2-й пойдет на все, но изыщет средства для спасения Императорской Семьи, и что у него в руках находится вполне налаженная организация, которая легко может быть переброшена в Сибирь, если она уже не находится на месте.

От Ф. Н. Безака я впервые услышал, что ходят слухи, что погиб не только Государь, но и Ее Величество и вся Семья. Я ему ответил, что слышу это впервые и что, по имеющимся у меня сведениям, это не так.

Узнав о такой пассивности киевской организации в деле спасения Их Величеств, я чистосердечно высказал своим собеседникам, что нужно сожалеть о том, что было потеряно столько времени зря, что, по-моему, было большой ошибкой возлагать все свои упования на Маркова 2-го и его организацию, что дело спасения Императорской Семьи является для всех нас священным долгом, где бы мы ни находились, что посылка людей с их стороны нисколько бы делу не повредила и, наконец, что положение организации в Петербурге было менее затруднительным, так как под наблюдением советских ищеек работа не так легка, как кажется, и, во всяком случае, не легче работы в Киеве, и что средства для спасения Их Величеств должны были быть собраны по всей России, а не только в Петербурге. Теперь же, когда все возможности, на мой взгляд, утеряны, нет другого исхода, как молить германских родственников Государыни о спасении как Ее, так и Ее Семьи.

Присутствовавшие согласились со мной.

Понятно, все эти разговоры мне бодрости не придали, я был страшно подавлен, я был только рад, что в свое время связался из Петербурга с Великим Герцогом, и теперь только ждал от него ответа. Получив от капитана Ратманова двухнедельный отпуск, я выехал в Кременчуг на пароходе 23-го августа. В представительстве я оставил свой адрес, дабы, в случае получения ответа от Великого Герцога, мне могли бы об этом сообщить.

Погода благоприятствовала моему путешествию. Небольшой пароход быстро скользил по зеркальной глади красавца Днепра, окаймленного то плоскими, то обрывистыми берегами, по которым в поэтическом безпорядке были разбросаны деревушки со снежно белыми домиками в чащах вишневых садов. Душная, темная южная ночь спустилась на землю. Призрачно замелькали мириады звезд на бархате сине-черного неба, а луна, волшебница, засеребрившая водный простор, обратила его в безконечную парчовую ленту, которой, казалось, не было ни конца, ни края. Тихо шумя своей машиной, легонько вздрагивая всем корпусом своим, пароход, казалось, резал ее надвое, и от него во все стороны летели бриллиантовой пылью тысячи брызг.

Я сидел на палубе и жадно вдыхал бодрящий воздух. Тяжелые думы о том, что через несколько часов мне предстоит встреча с Ю. А. Ден. Что я скажу ей? Исполнил ли я данное обещание?

И вспомнилось мне бледное петербургское утро... И сама Ю. А. Ден измученная, расстроенная, проведшая безсонную ночь. В это утро я вернулся из Царского Села после того, как Их Величества покинули родное Им гнездо для того, чтобы уехать узниками в кошмарную, тяжелую неизвестность... Как я понимал терзания несчастной Ю. А. Мое сердце разрывалось на части при рассказе ей всего, мною виденного. В этот миг мы жили одними мыслями, одними желаниями. Мы должны поехать туда, за Ними, посильно помочь Им и разделить Их страдания, и до боли резко вспоминаю свои слова, сказанные Ю. А.:

- Если нам вместе не суждено будет поехать за Ними, то я вам даю слово, клянусь, что во что бы то ни стало, я проберусь к Ним и исполню свой долг!

И вот теперь, вспоминая это кошмарное утро, я в сотый раз задавал себе вопрос, исполнил ли я свой долг? Сделал ли все, что было в моих маленьких силах? И как я тогда не мог найти на эти вопросы ответа, так и теперь, спустя десять лет, я его не имею... Я не предупредил о своем приезде, и потому мое появление в Белецковке было совсем неожиданным. Встретили меня, как встречают без вести пропавших. Я не успевал отвечать на тысячи вопросов, задаваемых мне. Нашел я всех в добром здоровье. Ю. А. Ден мало изменилась за это время, но печально и грустно смотрели ее глаза при моих рассказах о жизни Их Величеств, а мой маленький друг Тити, сильно выросший за это время, смотрел на меня своими большими глазами, в которых я видел скорбь и жалость за любимую им тетю Бэби и своего Царственного Друга, с которым он так часто резвился и играл в Царском Селе. Я передал Ю. А. мундштук, полученный мною от Государыни для нее и в целости довезенный мною до Белецковки. Юлия Александровна была сильно расстроена всем услышанным. Ее твердая вера в действительность Марковской организации, неоднократно высказываемая ею еще в бытность Их Величеств в Царском Селе в ее письмах к Ее Величеству, была поколеблена. Ей пришлось признать, что прав был я, когда после возвращения в декабре 1917-го года из Петербурга позволил себе выражать сомнения в серьезности начинаний этой организации, гипноз которой рассеялся у меня лишь после тяжелых неудач, кои я потерпел в Тобольске и Тюмени. Ю. А. очень сожалела, что сама не поехала в Тобольск, но я для успокоения ее заметил, что ее появление в Тобольске могло иметь чисто моральное значение, а реальной пользы для положения Их Величеств все равно не принесло бы.

Ю. А. вполне одобрила мои шаги, предпринятые для связи в Великим Герцогом, так как она так же, как и я, была уверена, что только Германия может с пользой вмешаться в судьбу несчастной покинутой Императорской Семьи. Она была страшно удивлена, что Марков 2-й еще в феврале месяце, когда появились в Петербурге и Москве первые немцы в качестве консулов, членов посольств и связанных с ними различных миссий, и не видя никакой возможности для себя реально помочь Их Величествам, еще тогда не довел до сведения Брата и Сестры Императрицы о трагизме Ее положения. Эта мысль со времени оккупации и твердого занятия Украины азстрийцами и немцами, неоднократно приходила Ю. А. в голову, но из-за потери связи с Марковым 2-м и полной неосведомленности о его работе ей казалось, что мечта ее об обращении к Их Высочествам могла бы вызвать

интервенцию и вызвать осложнения в положении Императорской Семьи в Тобольске.

Первое известие о перевозе Государя и Государыни из Тобольска Юлия Александровна склонна была принять за вывоз Императорской Семьи под давлением Германии. Но это объяснение было нарушено известием о задержке Их в Екатеринбурге. За сим последовало кошмарное сообщение о смерти Его Величества...

Когда я рассказывал Ю. А. о подробностях приезда комиссара Яковлева в Тобольск и о переезде Их Величеств, она спросила меня, не предполагаю ли я, что Яковлев был послан из Москвы под немецким давлением, ради спасения Их Величеств. Этот вопрос уже не раз приходил в голову не только мне, но и Соловьеву и служил предметом наших обсуждений. Детально разбирая все происшедшее, я еще в Тюмени склонялся к выводу, что из всего того, что я слышал о Яковлеве в красном штабе Тюмени, можно было установить, что это старый партийный революционер-эмигрант, пользующийся несомненным доверием в высших советских кругах, но почему выбор для исполнения столь важного поручения пал именно на него, мне установить не удалось. По сведениям, полученным Соловьевым из Тобольска, отношение Яковлева к Императорской Семье было за все его пребывание там самое лояльное. Это же подтвердили мне Симоненко и Ковальчук, имевшие возможность в непосредственной близости наблюдать за отношением Яковлева к Их Величествам. По его действиям во время передвижения в поезде с Их Величествами и по его боязни столкнуться с рабочими, враждебными Императорской Семье, можно было уловить его желание благополучно доставить Их Величества, согласно полученным директивам, в Москву.

Чем объясняется такая необычайная мягкость советского комиссара по отношению к Их Величествам?

По-моему, корректное и предупредительное отношение к Их Величествам объяснялось полученным им, видимо, за границей образованием, будучи, таким образом, далеким от русского хамства и могущим лояльно и по-человечески относиться к своим врагам.

Для меня Яковлев был не единственным примером. Пермяков, простой мужик, тот хотел похвастаться перед "бывшим Царем" своей революционной дисциплиной и таковой своих подчиненных, и тоже никакого хамства и издевательства по отношению к Их Величествам не допускал. Отношение Усиевича, тоже бывшего политического эмигранта, приехавшего с Лениным в одном вагоне, к женам заключенных тюменских заложников, как по моим личным наблюдениям, так и по рассказам бывшей у него Лошкомоевой, было всегда изысканно любезным, а к заключенным он относился совершенно по-человечески, разрешив им пользоваться собственным постельным бельем и пищей, приносимой им их родственниками в неограниченном количестве.

Я вполне допускаю возможность, что Яковлев мог иметь и затаенную мысль о том, что, в случае благополучного перевоза в Москву Их Величеств, немцы потребуют у Совнаркома выдачи Императорской Семьи, и тогда он, Яковлев, сторицей будет вознагражден за свое отношение к Их Величествам. Но чтобы Яковлев мог

действовать под немецким руководством, я категорически отрицаю и вот по каким соображениям: ему было отлично известно о екатеринбургских настроениях, а скопление рабочих на станции "Поклевская" служили тому достаточным доказательством и предупреждением. Он, однако, вторично избрал свой путь через Екатеринбург, хотя имел возможность прорваться через Омск на линию Курган-Челябинск и через Уфу, минуя Екатеринбург, и вывезти Их Величества в Москву. Задержавшие Яковлева около Омска местные красногвардейцы не смогли бы ему оказать сильного сопротивления, так как он мог заручиться поддержкой у нас, в Тюмени, если бы считал свой охранный отряд малочисленным. Однако он предпочел с омскими красноармейцами в конфликт не вступать, а снова попытался проехать через Екатеринбург. Если даже предположить, что он, проехав со станции Куломзино в Омск, связался с Москвой и получил оттуда приказ везти Их Величества по маршруту Тюмень-Екатеринбург, то, будь он германским агентом, из страха перед ними он московского приказа не исполнил бы, видя при его исполнении опасность для жизни Их Величеств, а сделал бы попытку прорыва линии Курган-Челябинск. Опасаться за свое своевольство и неисполнение приказа ему не приходилось бы, так как он был бы в таком случае всегда поддержан и защищен немцами. Единственно, что могло удержать Яковлева от насильственного прорыва через Омск, это его боязнь за оставшихся в Тобольске членов Императорской Семьи, на которых, очевидно, со всей злобой обрушились бы екатеринбургские товарищи, узнав о насильственном провозе Их Величеств через Омск.

Таково было мнение о Яковлеве, которое я изложил Ю. А. Ден. Теперь же мои тогдашние соображения вполне подтверждаются г-м А. Магенером, вошедшим со мной в связь по приказанию Великого Герцога в октябре месяце 1918-го года в Киеве. Я получил точное категорическое подтверждение, что Яковлев никогда германским агентом не был, хотя в Киеве ходили тогда вздорные слухи о предложении немцев Его Величеству подписать ради Своего спасения Брест-Литовский мир. Подобного предложения Германия никогда и ни через кого Его Величеству не делала. Все, выше изложенное, было мне подтверждено при личном свидании с братом Ее Величества, Герцогом Эрнстом Людвигом Гессенским и Августейшей сестрой Ее Величества, Принцессой Иреной Прусской и Ее мужем, братом Императора Вильгельма, Принцем Генрихом Прусским.

По собранным мною сведениям, Яковлев не являлся агентом какой-либо другой державы, так как и союзные правительства, и родственники Его Величества с момента революции ясно показали свое полное равнодушие к судьбе Императорской Семьи. Это лично подтвердил мне в Берлине в 1919-м году сенатор Туган-Барановский, сообщивший мне следующее: в сентябре 1917-го года он вел в Петербурге переговоры с французским генералом Нисселем и посланником Нюлансом. Генерал был вполне готов оказать всяческую поддержку Императорской Семье, Нюланс же категорически отказал в какой-либо помощи. Английский поверенный в делах, сэр Линдлей, обещал над этим вопросом "подумать"! Такому индифферентному отношению правительств Антанты имеется еще целый ряд других подтверждений.

Суммируя все данные и соображения, мы с Ю. А. Ден пришли к заключению, что ничего другого не остается делать, как ждать ответа от Великого Герцога и, в случае пожелания Великого Герцога видеть меня, Ю. Ден соглашалась на совместную

поездку со мной, дабы лично просить Герцога о возможно скорейшем вмешательстве в судьбу Императорской Семьи.

Прожив в Белецковке три дня, отдохнув и окрепнув душой в кругу дорогих и близких мне лиц, я уехал для свидания с отцом в Одессу.

ГЛАВА XVIII

Небо было объято багровым полымем пожара. Облака красного едкого дыма стелились над охваченным паникой городом. Земля ежеминутно содрогалась и гудела под чудовищными взрывами, доносившимися со стороны вокзала.

Я выбежал при первом же ударе на улицу. Картина, представившаяся моим глазам, было до жуткости величественна. По улицам толпами бежали обезумевшие женщины, дети и даже мужчины. С некоторыми делались истерики, толпа дико кричала и, неведомо почему, искала спасение в районах, граничащих с морем. Причина этого, как с первого момента казалось, природного бедствия, постигшего Одессу (один кричал о землетрясении, другой даже об начавшемся извержении открывшегося вулкана), быстро выяснилась. Это взрывались артиллерийские склады, расположенные около станции Одесса-Товарная, то есть в добрых 4-5-ти верстах от того места, где я находился. Взрывы методически следовали один за другим, один сильнее другого. Давление воздуха было настолько сильно, что в нашем районе в домах, обращенных в сторону взрыва, воздушной волной выдавило все стекла. Треск и звон разбитого стекла еще более усиливал панику. Были случаи ранения падающими осколками.

Я из любопытства быстро пошел к центру города. На соборной площади стоял невообразимый хаос. Народ волнами валил, сбивая друг друга с ног, по направлению к порту.

Бешенным ходом, с трудом пробиваясь через людскую толпу, неслись австрийские санитарные автомобили, оглашая воздух своими ревунами, к месту взрыва. По всем направлениям сновали кареты скорой помощи. Время шло, а воздух все еще потрясался, то единичными глухими взрывами, то трелью мелких взрывов, барабанной дробью отдававшейся в ушах. А панические слухи все ширились, росли и раздувались, как мыльные пузыри.

Кто-то кричал, что через час последует взрыв каких-то погребов, и тогда вся Одесса в один миг взлетит на воздух. Число убитых и раненых определяли чуть ли не десятками тысяч. Первый взрыв раздался в два часа дня и только к девяти вечера стало понемногу стихать, но во мраке наступившей ночи феерически красиво прорывались кровавые языки пламени, заливая пурпурным светом начинавший приходить в себя после всего пережитого город.

Так, 1-го сентября 1918 года ознаменовался мой приезд в Одессу. Следствие так и не установило точную причину взрывов, бывших уже до этого в Киеве и Яссах. Одни утверждали, что это дело агентов Антанты, не желавших, чтобы немцам достались огромные запасы снарядов, другие уверяли, что это дело немецких рук, чувствующих свою слабость и не желающих, в случае чего, чтобы эти богатства попали в руки союзников, и, наконец, третьи категорически настаивали на том, что

это дело большевиков, желавших насолить и тем, и другим. Как бы там ни было, но Одесса получила сильную встряску и это событие еще долгое время служило неиссякаемой темой для разговоров у Робина, Фанкони и Либмана. К отцу я приехал также неожиданно. Не нужно описывать встречи после более, чем годичной разлуки, она сама собой понятна. Мне было приятно видеть и узнать, что мой отец вполне одобряет все мною сделанное за время, в течении которого мы не виделись. Я рассказал ему о всем, мною пережитом, и видел, как он был удручен и опечален, узнав все подробности начинаний, предпринятых монархической организацией в Петербурге для спасения Императорской Семьи, и результаты моего пребывания в Тобольске и Тюмени. Деятельность Петербурга и Киева его нисколько не удивила, он только безнадежно махнул рукой и заметил:

- А ты думаешь, у нас, в Одессе, что-нибудь сделали по этому вопросу?

И он рассказал мне, что вскоре после занятия Одессы австрийцами он поинтересовался узнать у председателя Союза русских людей в Одессе, Н. Н. Родзевича, в каком положении находится дело спасения и охранения Императорской Семьи и что для этого предпринято одесскими организациями. Получил он очень туманный ответ, что этот вопрос подлежит, мол, компетенции петербургских организаций, имевших лучшую связь с Сибирью. Мой отец не успокоился и отстаивал свою точку зрения, заключавшуюся в том, что нельзя уповать на Петербург и что необходимо немедленно учредить особый комитет исключительно для деятельного выяснения всех возможностей спасения Их Величеств, отбросив совершенно вопросы высшей монархической политики, направленной к свержению большевизма и восстановлению монархии в России. Об этом он много раз настойчиво говорил как Родзевичу, так и Толстому-Маразли, богатейшему человеку, крупному помещику и убежденному монархисту, материально помогавшему правым организациям Одессы.

- На все мои предложения, - говорил мне, волнуясь отец, - мне наши конспираторы монархисты, собирающиеся в Лондонской гостинице, отвечали, что для решительных шагов, направленных к спасению Императорской Семьи, время еще не наступило, так как общая политическая обстановка еще недостаточно выяснилась, и, во всяком случае, думать о восстановлении монархии еще преждевременно, иначе говоря, они вопрос спасения Императорской Семьи ставили в прямую зависимость от насильственного свержения большевизма в России, путем переворота. На это я им ответил, что раньше, чем думать о восстановлении Трона в России, нужно позаботиться о сохранении жизни Монарха, который должен сесть на трон, а то, чего доброго, когда мы восстановим монархию, мы можем оказаться без Монарха!

Все доводы моего отца не подействовали, и вопрос о создании комитета спасения Царской Семьи остался открытым. После этого отец мой махнул рукой на одесских заправил монархизма.

Я сидел, слушал все это и думал: как прав был мой отец, когда он в свое время отказался участвовать в одной из трех монархических организаций Одессы: Союза русского народа, Союза Михаила Архангела и Союза русских людей. Во главе их стояли в Одессе его хорошие знакомые, граф А. Коновницын, Б. Пеликан. Каждый из них зазывал его в свои организации, уверяя, что таковая и есть настоящая

монархическая, не то, что другие, но отец категорически отказывался, говоря, что может быть членом только одной монархической организации, служащей на пользу Родины и Царя, и не понимает того дробления, которое только губит своими действиями саму идею монархизма.

В первые дни своего пребывания в Одессе я посетил Родзевича и имел с ним продолжительную беседу. Припоминая теперь содержание ее, я твердо помню, что он мне тогда говорил, что вскоре после моего отъезда в Тобольск он тоже покинул Петербург и с большими трудностями пробрался в Одессу. Из Петербурга он уехал совершенно спокойный за успешное развитие начатого Марковым 2-м дела спасения Императорской Семьи, осуществление которого предполагалось летом. Родзевич был уверен, что Маркову 2-му удастся найти средства и что, во всяком случае, он сумеет в достаточной мере оградить Их Величества от какой-либо опасности. Благодаря оккупации связь с Петербургом была утеряна, и дальнейшей информации у Н. Родзевича не было. После всего мною переданного Радзевич согласился со мной, что югу подлежало проявить большую активность в деле спасения Императорской Семьи, в данный момент вся активность организации в этом направлении свелась к отправке некого С., верного человека, лично хорошо известного ему, в Екатеринбург с целью собрать точные данные о действительном положении Императорской Семьи для информации южных организаций. С. был отправлен на личные средства Толстого. В конце беседы я указал ему, что события 17-го июля отнюдь не исключали необходимости создания комитета спасения Императорской Семьи, ввиду того, что участь Государыни, Наследника и Великих Княжен была совершенно не выяснена. Н. Родзевич ответил мне, что этот вопрос касается компетенции Ф. Н. Безака в Киеве, являющегося главой монархического блока, созданного после съезда в июне месяце.

Толстые узнали о моем приезде от Н. Родзевича, и я был приглашен с отцом к ним, дабы рассказать о своей поездке в Тобольск, службе в Красной Армии и т. д., как им самим, так и гостившей у них и недавно бежавшей из Совдепии Великой Княгине Марии Павловне младшей, вышедшей после революции замуж за л.-гв. 4-го стр. Имп. Фамилии полка капитана князя Путятина.

В назначенный день я имел счастье сделать подробный доклад Ее Императорскому Высочеству и симпатичнейшей чете Толстых. Ее Высочество по окончании, выразила свою благодарность за все, сделанное мною для Их Величеств.

Покидая после недельного пребывания Одессу, я получил от отца письмо на имя Ф. Н. Безака, в котором он в кратких словах излагал свое мнение о положении Императорской Семьи, настаивал на необходимости скорейшего создания особого комитета для выяснения возможностей спасения Ее, и особенно подчеркивал, что в нужный момент монархия окажется без Монарха.

Уезжая из Одессы в сентябре месяце 1918-го года, не думал я, что свижусь с отцом уж не в России, а в Сербии, где мы встретились совершенно неожиданно в 1921-м году, не имея друг о друге никаких известий в течение двух лет.

Одесса произвела на меня почти то же впечатление, что и Киев, но в Одессе было значительно спокойнее и порядка в ней было больше. Одесса, как и южная часть Украины, начиная от Кременчуга, была занята австро-венгерцами. Надо отдать

полную справедливость немцам, что в занятой ими части порядка было куда больше, и население относилось к ним с опаской. Южнее Кременчуга порядка было меньше, и население относилось к оккупантам не так, как к победителям, а по-прежнему, как к врагам. Но все же австрийцы вывели хамство, лущение семечек на вокзалах, а в вагонах давки не замечалось. Поезда ходили правильно. Пассажиры сидели в вагонах согласно купленным билетам, и в офицерские вагоны солдаты не пытались ломиться.

Особенно почтительно население относилось к венгерским частям, производившим очень хорошее впечатление своей выправкой и, как мне рассказывали, безпощадно расправляющимся с большевиками, бандитами всякого рода и бунтовавшими крестьянами, встречавшимися по пути во время движения их в глубину России.

По приезде в Киев я посетил Ф. Н. Безак, передал ему о своей беседе с Родзевичем, о его соображениях по поводу создавшегося положения, а также передал ему письмо моего отца. Ф. Н. Безак внимательно прочел его и сказал мне, что лично ответит моему отцу, так как этот вопрос настолько серьезен, что над ним нужно подумать... К глубокому сожалению, Ф. Н. Безак, вероятно, был настолько поглощен текущей работой, что ему было не до письма и предложения моего отца, так что подумать даже над ним он не успел, а падение гетмана и совсем прекратило его деятельность по укреплению монархизма в России.

8-го сентября я получил приглашение явиться в немецкое Оберкомандо, которое помещалось в ряде реквизированных домов возвышенной части Киева, называемой Липками. Весь район, занятый командованием, был после убийства в Киеве большевиками фельдмаршала Эйхгорна забаррикадирован рогатками и проволочными заграждениями, на всех перекрестках улиц и выездах в Липки стояли усиленные немецкие посты, были устроены пропускные пункты, через которые по особым пропускам, и то в сопровождении дневальных, пропускалась публика, имевшая дела в Оберкомандо.

Когда я туда явился, лейтенант В. встретил меня очень любезно и сообщил мне, что на мое имя получены две телеграммы, которые тут же мне передал, но не в подлиннике, а перепечатанными на машинке на листке бумаги с удостоверением их подлинности. Они были следующего содержания (в переводе):

1. Вольфсгартеншлосс 25.8.1918.

Г-ну корнету Маркову гостиница Прага Киев Г-н Магенер из Москвы войдет с Вами в связь.

Эрнст Людвиг Великий Герцог Гессенский.

2. Дипломатическое представительство Москва 5.9.1918.

Г-ну корнету Маркову гостиница Прага Киев Г-н Магенер надеется быть через две недели в Киеве.

Хаусшильд-Магенер.

Я был несказанно счастлив, получив эти телеграммы. Значит, мои письма дошли по назначению также, как и телеграмма, и произвели известное впечатление. Получение этих телеграмм доставило мне одну неприятность. Лейтенант В. очень заинтересовался моими советскими документами, которые были в надлежащем порядке, начиная с паспорта и безсрочной книжки, выданной Тюменской милицией и кончая приведенным выше протоколом и плакатом, который висел на двери моего номера в гостинице. Всего советских документов у меня было 17 штук. Так мне с того дня больше не пришлось увидеть своих документов. То В. не было в Киеве, то я находился в Кременчуге, кончилось тем, что В. уехал в Германию и документы мои пропали. Зачем они ему понадобились, не знаю. Я очень сожалею, что у меня не сохранились в подлинниках эти, действительно, достопримечательные документы.

О личности Магенера никто в Оберкомандо ничего определенного сказать не мог, хотя я и обращался к майору Гассе и Яроши, начальнику штаба Оберкомандо. По моим расчетам, Магенер мог приехать в Киев не ранее конца сентября, и поэтому в ожидании его приезда я согласился принять предложенное мне место начальника бюро записи в армию, которое предполагалось открыть в Кременчуге. Я был очень счастлив, что получил место именно в Кременчуге, оттуда было всего лишь 8 верст от сделавшейся мне родной Белецковки, а также недалеко от Киева, с которым я должен был поддерживать связь. Одно лишь нарушало все мои расчеты, это неопределенность приезда Магенера, который мог случайно приехать и раньше срока, мог и запоздать. Я же не мог поэтому совершить предположенную мною поездку в Крым, где я хотел явиться к Ее Величеству Государыне Императрице Марии Феодоровне, проживавшей в то время в имении Харакс Великого Князя Георгия Михайловича, находившемся на побережье между Алупкой и Ялтой, для доклада Ее Величеству о совершенной мною поездке в Тобольск.

В половине сентября я выехал в Кременчуг совместно с назначенным мне в помощники подпоручиком л.-гв. Кексгольмского полка Н. Р. Грандмезон, только что вернувшимся из германского плена, где он пробыл с момента Самсоновской катастрофы. Грандмезон оказался отличнейшим товарищем, и я очень подружился с ним за время службы в Кремечуге. Поступая в Астраханскую армию и принимая на себя вербовку добровольцев для нее, я невольно вступил в конфликт с несколькими моими приятелями, пробиравшимися из Киева в Добровольческую Армию, находившуюся тогда под командованием генерала Алексеева на Кубани. Русское офицерство в те времена, как молодое, так и старое, разделилось на несколько разных течений. Большая часть увлекалась лозунгами Добровольческой Армии, продолжая видеть в немцах, все же освободивших половину Европейской России от ужасов большевизма, своих врагов и продолжая кричать о верности союзникам, бывшим тогда так далеко от нас. Эта же часть офицерства предала жестокой критике и чуть ли не анафеме Донского атамана генерала Краснова, который, увидев, что от союзников немедленной помощи ждать невозможно, и памятуя, что промедление смерти подобно, схватился за предложенную недавними врагами верную и быструю помощь и в короткий срок очистил Дон от пришлого большевизма. Под крайней националистической окраской в противовес красному интернационалу он создал Всевеликое Войско Донское, в котором царил образцовый порядок и спокойствие, и казаки имели возможность, вздохнув всей грудью, готовиться к достойному отпору наглому врагу, большевику, если бы тот дерзнул нарушить неприкосновенность их родной земли.

На Астраханскую, а за ней и на Южную армию, которая стала формироваться в районе Воронежа с разрешения Германского командования, и на кредиты снаряжения и амуницию, отпускаемую из немецких же рук, в Добровольческой армии смотрели, как на явных изменников доблестным союзникам.

Я вспомнил слова своего незабвенного начальника и доблестного рыцаря без страха и упрека, генерала графа Келлера, сказанные мне 1-го февраля 1918-го года, когда я был у него в Харькове, что в начинание Корнилова он не верил, что тот даст армии не тот нужный дух и что, во всяком случае, без твердой опоры какой-нибудь иностранной державы, которая смогла бы оказать неограниченную поддержку национальному движению в России, ни на какой успех рассчитывать нельзя, и все начинание обречено на провал. Я с чистым сердцем, отбросив все симпатии и антипатии, пошел на службу именно в Астраханскую армию, которая своей опорой имела немцев, в тот момент широко шедших навстречу новому начинанию и у которых в это время была действительная и реальная возможность одеть, вооружить и снабдить всем необходимым формирующиеся части.

К Украинской Державе отношение офицеров, как служащих в Добровольческой армии, так и на Дону, и в Астраханской и в Южной армиях, было явно пренебрежительное, как к стране опереточной, созданной немцами, так сказать, для собственных надобностей. Лучшее, самое способное офицерство шло на Дон и на Кубань, и только немногие на украинскую службу. Сознаюсь, что в те времена я и сам был заражен общей болезнью осмеивания украинских порядков. Я украинской державности не признавал и смотрел на все Украинство с точки зрения пословицы, что немец обезьяну выдумал.

Для характеристики того, как к нам относились и как смотрели на нашу междоусобную борьбу, на наше население, на ориентации, партии и пр. немецкие и австрийские офицеры, я могу привести один из многих подобных случаев, бывших со мной: за мое пребывание в Астраханской армии мне по делам службы часто приходилось ездить из Кременчуга в Киев и обратно, причем, я пользовался своим правом и ездил всегда в вагонах, предоставленных для германских офицеров. Как всегда бывает в дороге, мне долго и много приходилось говорить и спорить на различные темы, политические и военные, со своими спутниками, германскими и австрийскими офицерами. Как-то раз в купе, где я находился один, по дороге вошел германский майор генерального штаба. Я встал, поклонился, спросил разрешения курить и продолжил читать, прерванный его появлением, газету. Майор долго с любопытством осматривал мою фигуру в форме, наконец, не выдержал и обратился ко мне:

- Простите, г-н лейтенант, скажите мне, пожалуйста, что это за отличие у вас на левом рукаве?

Я ему объяснил, что это Астраханская Армия, в отличие от Добровольческой, носит угол острием вниз из Романовской ленты.

- Ah... so, so! Ich habe schon gehoert. Sie sind also von der deutschfreundlichen Armee, und Ihre anderen Kameraden... nun, Gott, wie heissen sie doch... ach, ja... Dobrowoljacy... betrachten uns bis jetzt als Gegner und wollen nicht unsere Hilfe annehmen. Wovon leben die denn, sagen Sie mir, bitte?[1]

г----------

[1] А-а... вон что! Я уже слыхал. Значит, вы из дружественной немцам армии, а ваши остальные товарищи... ну, Боже, как же они называются... ах, да... добровольцы... до сих пор считают нас противником и не хотят принимать от нас помощь. На что только они живут, скажите мне, пожалуйста? (нем.)

L_____

Я объяснил ему, что Доброармия питается через нас; так, например, я недавно, с разрешения германского командования, отправил в нашу армию из Кременчугского артиллерийского склада три вагона шрапнели, причем знаю наверно, что один вагон будет передан Доброармии. Но наша помощь ничтожна, Доброармия, главным образом, получает боевые припасы от Донского атамана, который, в свою очередь, получает их от германского командования. Добровольческая армия сохраняет верность союзникам и ожидает получить от них помощь.

Пришлось согласиться, что по воздуху, как сказал мой немец, Пуанкарэ помочь Доброармии действительно не может, но не мне, маленькому лейтенанту, критиковать политику и действия командования Доброармии. Немец, с явно враждебным состраданием на лице, посмотрел на меня и проговорил:

- Эх, жалко мне вас, мой милый друг, вас всех русских, несчастные вы люди и несчастная страна Россия... Вы знаете, что сделали бы мы, немцы, если бы мы очутились в вашем положении? А? Не знаете? А вот, что бы мы сделали. Допустим на один момент, что вы это мы, и обратно. Вы нам предлагаете активную помощь против пожирающих нас большевиков, вы, наши бывшие враги, поняли? Мы видим, что наши союзники быстро и решительно нам помочь не могут, а что продление большевизма будет стоить тысяч невинных жертв и моря крови, а ваша помощь близка, она тут на месте. Ну, конечно, мы берем ее, используем вас до конца, берем у вас все, что вы можете и чего даже не можете нам дать. У нас нет партий, нет раздора, мы только немцы, и мы должны спасти нашу родину... Мы свергаем большевизм, мы крепнем, нам ваша помощь больше не нужна, и мы говорим вам: довольно, спасибо за помощь, дорога на родину вам открыта. Что? Не уходите сами? Так мы вас заставим уйти.

So wuerden wir machen, wir deutsche Patrioten... Aber, woran denken Sie?.. Poincare... Foche..., alles ist Luft und Bloedsinn![1]

г----------

[1] Так поступили бы мы - немецкие патриоты... О чем только Вы думаете?.. Пуанкаре... Фош... все это воздух и чепуха! (нем.)

L_____

Поезд подходил к какой-то станции, майор встал и, пожимая на прощание мне руку, сказал:

- Ich bedaure Sie sehr. Ich liebe Russland... ein grosses maechtiges Land... aber ein Land mit schlechten Patrioten. Sie muessen sich einigen und den Bolschewismus auf unsere Rechnung und mit unserer Hilfe bekaempfen, dann werden sie gute und ehrliche Patrioten sein... Sagen Sie das alles Ihren Kameraden... Aber Poincare... das ist doch kindisch.[1]

г----------

[1] Мне весьма Вас жаль. Я люблю Россию... великая могучая страна... но страна с плохими патриотами. Вам нужно объединиться и стать на борьбу с большевизмом за наш счет и с нашей помощью, тогда Вы станете хорошими и честными патриотами... Скажите это всё своим товарищам... Пуанкаре же... это ведь ребячество. (нем.)

L_____

С этими словами он вышел из купе. Я остался один. Как был прав неизвестный мне германский майор! Я думаю, что и сам Пуанкарэ не мог иначе думать, наблюдая из далекой Франции героическую борьбу Доброармии, свято хранящей верность союзникам и, отказываясь от германской помощи, истекающей кровью и теряющей напрасно лучших, храбрейших сынов своих, и про себя, втихомолку, он наверное думал:

- Удивительно странной честностью отличается русский народ, ставящий международный договор и благо своих союзников выше блага собственной родины и тысяч жизней.

Разве я мог рассказать майору о появлении у меня в бюро, через несколько дней после отправки снарядов, какого-то подозрительного штатского господина. Когда я предложил ему сесть, я увидел, что он недоумевающе и с любопытством рассматривает царские портреты, висевшие за моей спиной.

- Если вы пришли записаться в армию и хотите служить в ней, то прошу запомнить, что девизы нашей армии вот какие, - тут я ему указал на Царские портреты. - Им армия служит, за Них она погибнет... Если вы бывший военный и знаете уставы, то помните, что они остались неизменными и в полной силе... никакого выкания, никакого титулования по чинам, вообще ничего из революционной жизни вы у нас в армии не найдете.

- Да, собственно говоря... - и тут мой собеседник, исподволь огорошенный моим строгим вступлением, стал объяснять причину своего прихода ко мне. Оказалось, что он прибыл из Харькова от негласного представителя

Добровольческой армии с поручением ознакомиться с положением в Кременчуге, что он капитан...

- Так почему же вы, г-н капитан, мне сразу не сказали об этом - прервал его я.

- Да, собственно говоря... Мне сказали, что вы германофилы, а я, так сказать...

- То есть как германофилы, позвольте вас спросить?

- Ведь вы же формируетесь на немецкие деньги, все получаете от немцев, а мы...

- Вот что я вам скажу, г-н капитан. Передайте от меня вашему начальству то, что вы услышите. Если у вас нас считают состоящими на немецком содержании, немецкими нахлебниками, то вы попросту являетесь немецкими прихлебателями. Я три дня тому назад послал в вашу армию снаряды, наши русские снаряды, находящиеся в данное время в германских руках. Я сделал это открыто, пришел, попросил немцев и получил их.

Снаряды будут использованы нами против нашего общего с вами врага, большевиков, и вы получите из них для этой же цели пару тысяч снарядов, заведомо зная, что эти снаряды немецкого происхождения, то есть иначе говоря, вы получите объедки с немецкого стола! Я не стану объяснять вам, почему нужно брать у немцев все, что можно и нужно, а не надеяться на союзников... Это само собой понятно. Так вы и передайте, что представитель Астраханской казачьей армии предпочитает питаться с немцами за одним столом, а не быть немецким прихлебателем и питаться объедками с его барского стола... А теперь я к вашим услугам.

Капитан был очень сконфужен и долго много извинялся передо мной. Мне кажется, что эти два случая достаточно характеризуют как отношение к нам наших врагов, так и наши взаимоотношения и атмосферу, в которой приходилось работать для общего дела. Прав был немецкий майор, говоривший со мной в купе!

Да! Мы действительно достойны сожаления!

ГЛАВА XIX

В начале октября я снова приехал в Киев. Г-на Магенера все еще не было, и о нем в Оберкомандо не было никаких сведений. Я просил лейтенанта Р. навести справки о причине задержки Магенера в Москве.

В связи с неудачами, которые потерпели болгары на Салоникском фронте, начатое 15-го сентября наступление союзников в районе Дойранского озера привело к тому, что болгарское Главнокомандование принуждено было отдать приказ об отступлении, а 24-го сентября Болгария заключила перемирие и начала переговоры о сепаратном мире. Германия лишилась одного из своих союзников. Строгая гармония твердо установленных фронтов была нарушена, и Германия теряла связь с Турцией и вообще с Малой Азией.

Повышенная нервность чувствовалась и в Оберкомандо. Нервность немцев, все более неутешительные известия о внутреннем положении как в Германии, так и в Австрии накладывали отпечаток на жизнь Киева и, как это всегда бывает, тягучие, липкие и лживые слухи, преувеличивавшие во стократ действительное положение вещей, еще более усиливали шаткость положения. Товарищи-большевики, как местные, так и приезжие, подняли голову.

Во время моего пребывания в Киеве туда приехал из Харькова генерал от кавалерии граф Келлер, к которому я не замедлил явиться. Граф с подкупающей сердечностью принял меня, с большим интересом выслушал мой доклад и, когда я кончил, пожимая мне руку, сказал:

- Очень рад и счастлив, что мой однокашник и офицер родных мне полков[1] по своим силам и разумению исполнил свой долг перед Их Величествами!

г----------

[1] Граф Келлер ушел из Николаевского Кадетского Корпуса добровольцем на войну в 1877 г. Впоследствии он командовал Крымским Конным Дивизионом и 5 гусарский Александрийским Ее Величества полком.

L_____

Граф очень заинтересовался моей попыткой связаться с Родственниками Ее Величества и просил меня немедленно поставить его в известность о результатах встречи моей с г-ном Магенером. Узнав о деятельности Петербурга в деле спасения Императорской Семьи, о безденежьи организации, он сказал мне:

- Раз это так, так я сам вмешаюсь в это дело. Если события развернутся по намеченному мною плану, то средства у меня найдутся, а за людьми остановки не будет.

Через несколько дней я узнал, что графу предложено было принять на себя формирование и командование Северной армией, которую основал в районе Пскова генерал Вандам при активной поддержке местного Германского командования. Оттуда приехал сенатор Туган-Барановский, председатель образованного в Пскове "Совета обороны Северо-Западной России", политической и экономической организации при формирующейся армии. С ним приехали в Киев член Государственной Думы Горсткин и гв. ротмистр Н. К. Гершельман, один из инициаторов создания армии. Они и вели переговоры с графом по поводу принятия им Главнокомандования над армией, которой немцы обещали самую широкую материальную поддержку и техническую помощь.

После свидания с графом я вернулся в Кременчуг, где приступил к ликвидации Бюро, так как немцы сильно сократили кредиты, отпускавшиеся раньше Астраханской Армии и нашему Представительству; из-за экономических соображений пришлось закрыть целый ряд вербовочных бюро. 25 октября, оставив в Кременчуге Грандмезона, который должен был закончить все наши дела до 1-го ноября, я приехал в Киев, где узнал, что меня усиленно разыскивает г-н Магенер, приехавший накануне меня. Он оставил свой адрес, и, не теряя ни минуты, я отправился в гостиницу "Палас", где он остановился.

К своему счастью, я застал Магенера дома. Магенер оказался пожилым уже человеком, великолепно, почти без акцента говорившим по-русски, так как он двадцать лет до войны прожил в России, где у него в одном из приморских городов было большое техническое дело. Из России он уехал на родину незадолго до войны и во время ее служил в Министерстве Иностранных Дел. В середине августа он получил от своего начальства приказание приехать в Москву, исполняя поручение Принцессы Ирены, Сестры Государыни, и Великого Герцога Эрнста-Людвига Гессенского для того, чтобы выяснить подробно положение, в котором находилась Царская Семья, а также для того, чтобы на месте проверить правильность всех тех противоречивых слухов, которые циркулировали о Ней за последнее время.

Ему было сообщено, что Великий Герцог получил письмо от русского офицера, бывшего в местах заключения Их Величеств, и ему было предписано вступить с ним, т. е. со мной, в связь.

Из Москвы он снесся с Германским Консульством в Петербурге и там узнал, что я выехал в Киев 15-го августа. В начале сентября он получил подтверждение из Берлина, что я нахожусь в Киеве, и он послал мне вышеприведенную телеграмму.

Магенер просил меня самым подробным образом посвятить его во все, что мне было известно о пребывании Императорской Семьи в Сибири, главным образом ознакомить его со всеми деталями тех шагов, которые предприняли в целях освобождения Их Величеств наши организации.

Магенер выслушал мой доклад с глубоким интересом.

- Из ваших слов следует, что в данный момент никакой организации в Сибири не существует и связи с теми краями вы не имеете? - обратился он ко мне. Я ответил утвердительно.

- Должен вам совершенно чистосердечно сказать, что особой энергии ваши организации в деле спасения и охранения Царской Семьи, на мой взгляд, не проявили, но это для меня не новость! Подобные сведения я уже имел в Москве. Мне известно, что наше Командование на Востоке, при приближении к Петербургу, уже имело связь с русскими монархистами по вопросам общеполитическим. Вопрос же положения Императорской Семьи не обсуждался. Можно было предполагать, что русские монархисты сами позаботились о Ее безопасности. Но мне тоже известно, что некоторые русские круги обращались к покойному графу Мирбаху в мае месяце с просьбой интервенировать для облегчения участи и освобождения Императорской Семьи, находившейся уже в Екатеринбурге. Из этого можно заключить, что, если и не все русские монархические организации, по крайней мере московские, сознали свое безсилие помочь своему Императору и Его семье! Из ваших слов вытекает, что еще в феврале никаких решительных шагов по этому вопросу Марков 2-й не предпринял и что все ограничилось отправкой в Сибирь одного офицера! Почему же вы, видя такую вопиющую инертность организации, тогда же не обратились за помощью к Великому Герцогу?

Скажу откровенно, я был очень смущен этим вопросом и ответил, что не предпринял этого самостоятельного шага только лишь потому, что считал себя маленьким, рядовым членом организации, подчиненным своему начальству, которому положение было виднее, чем мне.

Магенер на это только укоризненно покачал головой. Из моего доклада явствовало, что я считаю какие-либо шаги с нашей стороны к спасению Царской Семьи совершенно безнадежными и вижу единственную возможность Их спасения только при помощи немцев.

- Итак, вы считаете, что только Германское правительство в состоянии вырвать Государыню и Семью из большевицких рук и что вы безсильны помочь Им? - спросил он меня. Я ответил утвердительно.

- Ну, если ваши северные организации ничего не могли сделать, то, быть может, южные предприняли какие-либо шаги?

Я ответил, что, насколько мне известно, из Одессы был послан один человек в Екатеринбург для выяснения положения на месте. Ничего другого, по-моему, сделано не было, но во всяком случае я прошу его по этому вопросу обратиться к нашим Киевским лидерам, Безаку, Скаржинскому и Катенину, дабы не только узнать от них лично о их работе в этом направлении, но и услышать их мнение по вопросу, как они смотрят на создавшееся положение.

Магенер охотно согласился посетить Ф. Н. Безака. Я рассказал ему также о соображениях моего отца по этому вопросу и о моих взаимоотношениях с Ю. А. Ден, являющейся здесь, на Украине, человеком наиболее близким к Ее Величеству, безпредельно Ей преданным, мнение которого о наших дальнейших действиях необходимо выслушать. Магенер вполне согласился со мной и, в свою очередь, посвятил меня в подробности своего пребывания в Москве. Я считаю себя не вправе писать о всех деталях всего того, что мне сообщил Магенер, но одно мне было ясно, что никаких доказательств гибели всей Царской Семьи он не имел. Его сведения во многом сходились с теми, которые я получил в Германском Консульстве в Петербурге. В Москве Магенер виделся лично с Иоффе и Радеком, и оба категорически отрицали факт расстрела в ночь на 17-е июля Царской Семьи совместно с Государем.

Магенер собирался проехать на 10-12 дней в Одессу по личному делу и просил меня сообщить о его приезде Ю. А. Ден, с просьбой приехать к 5-му ноября в Киев для совместного обсуждения создавшегося положения.

На следующий день, ровно в 12 часов, Магенер и я были приняты Ф. Н. Безаком у него на квартире в присутствии Скаржинского и Катенина. После обмена приветствиями, когда все сели, Магенер сказал:

- Я приехал к вам узнать, что вы сделали для спасения своего Императора и Его Семьи?

- Мы, мы, собственно говоря, ничего не сделали... т.е. ничего не могли сделать отсюда... Мы бы хотели очень знать, что вами сделано в этом направлении!.. - ответил ему Феодор Николаевич.

Наступило неловкое молчание, его прервал Магенер:

- Видите ли, я имел поручение войти в связь с русскими монархическими организациями для того, чтобы скоординировать свои действия с тем, что было уже сделано ими ради охранения или спасения Царской Семьи. Для исполнения этого мне было предписано вступить в связь с г-ном Марковым, обратившимся за помощью к Брату вашей Государыни, Великому Герцогу Гессенскому, что я вчера и сделал. От г-на Маркова я узнал подробности о его поездке в Сибирь и обо всем, им там виденном. Теперь я хотел бы услышать от вас, как вы смотрите на создавшееся положение и что вы намерены предпринять по этому вопросу в дальнейшем?

Из последующего разговора Магенер мог убедиться, что как Феодор Николаевич, так и его сотрудники всецело разделяют мою точку зрения, считая, что только Германия дипломатическим путем может вмешаться в судьбу Царской Семьи, если таковая жива, и что они лично безсильны помочь Ей.

На этом беседа наша кончилась. Магенер обещал довести это категорическое мнение южнорусских монархистов до сведения надлежащих лиц и по получении ответа информировать их о своих дальнейших шагах.

Я не могу сказать, чтобы Магенер был удовлетворен своим свиданием с нашими деятелями. Когда мы с ним вышли на улицу, чтобы идти в гранд-отель совместно завтракать, Магенер долго шел молча, угрюмо потупившись, и наконец у него вырвалось:

- Я не понимаю вас, русских, вы настаиваете, что Германия и только Германия может спасти и должна спасти Государыню и Ее Семью, а ведь у нас не только при Дворе, но и повсюду известно, что наша Императрица считает Себя настолько русской, что ни за что не согласится на немецкую помощь!

Хотя я и знал, что это была правда, но, чтобы не охладить Магенера, стал его убеждать в том, что теперь не время думать о том, согласится или не согласится Государыня на немецкую помощь, но что человеколюбия ради надо Ее вырвать из большевицких лап и что незачем везти Царскую Семью в Германию, когда Их можно вывезти в Швецию, что по политическим причинам будет наилучшим выходом из положения. Об этом же я и писал в своем письме к Великому Герцогу. Во время завтрака Магенер рассказал мне, что в Германии совершенно не понимают сущности большевизма, плохо информированы о всех ужасах, творимых нашими товарищами, и том хаосе, в каком пребывает Россия. Никто и в мыслях не имеет верного представления о тяжести положения, в котором находилась Царская Семья. Лично Магенер был потрясен, когда увидел, в каком безпомощном состоянии Она находилась в Сибири, и, скажу откровенно, не особенно лестно отозвался о преданности русских людей своему Императору и Его Семье... Во всяком случае, никто в Германии не ожидал трагедии, которая случится в ночь на 17-е июля.

Поэтому мое письмо к Великому Герцогу было первым показанием очевидца страданий Царской Семьи, и, несмотря на это, Магенер был снабжен для своей поездки суммой только в 30.000 марок, для Германии большой суммы, но совершенно ничтожной для России! Даже о дороговизне, царившей у нас, немцы не имели ни малейшего представления. Кроме того, Родственники Ее Величества были уверены, что Царская Семья в достаточной степени защищена верными Ее людьми. Я не могу сказать, что мне было особенно приятно слушать все эти излияния Магенера... За кофе он составил телеграмму своему начальству по поводу свидания со мною и нашими лидерами, текст ее был следующий:

Die Markow'sche Gruppe besteht kategorisch darauf, dass Deutschland allein imstande ist, die aufgerollte Frage zu loesen.[1]

г----------

[1] Марковская группа категорически настаивает, что решить поставленную задачу в состоянии лишь Германия. (нем.)

L_____

Почему Безак и его сотрудники оказались в одной со мной группе или, вернее, "моей группой" - не знаю, но я не стал разубеждать в противном милейшего Магенера. По молодости лет мое мнение могло быть недостаточно веско, так пускай будет, что его имела целая "группа"!

На следующий день Магенер уехал в Одессу, а я написал подробное письмо Юлии Александровне с просьбой обязательно приехать в Киев.

Мои расчеты не оправдались. События предупредили наши желания. Начавшееся 5-го ноября восстание Петлюры с быстротой молнии повергло несчастную "Украинскую Державу" в состояние полнейшей анархии. Киев оказался осажденным бандами пресловутого "батьки", а мы, русские и вместе с тем как бы "иностранные" офицеры, попали в положение невольных защитников украинской независимости!.. Какая ирония! О моих переживаниях за этот трагический месяц я не буду упоминать на страницах этой книги. Они не имеют прямого отношения к затронутому мною вопросу жизни Царской Семьи за эти кошмарные года.

О своей службе в качестве личного ординарца Главнокомандующего всеми вооруженными силами на Украине и Главнокомандующего Северной Монархической Армией, ген. от кавалерии графа Келлера, о последних днях Гетманского режима и, наконец о моем пребывании в Германской Комендатуре города Киева и совместной работе с генерал-майором Димитрием Иосифовичем Гурко по спасению и вывозу из Киева офицеров и их семейств в Германию я буду писать в отдельной книге.

Из-за перерыва железнодорожного сообщения между Одессой и Киевом Магенер в Киев уже больше не вернулся, и мне вторичной связи с ним установить не удалось.

Слухи о гибели всей Царской Семье в памятную ночь на 17-е июля ширились и росли. Но это были всего лишь слухи и рассказы третьих лиц, слышавших об этом ужасном злодеянии из четвертых и пятых рук.

Я гнал прочь от себя возможность такого кошмара и не верил ему. Я имел возможность проехать в Одессу при помощи швейцарского консула в Киеве, чтобы соединиться снова со своей семьей, но избрал другой путь. Я решил, во что бы то ни стало, проехать в Германию для свидания с Великим Герцогом, чтобы лично доложить Ему о жизни Его Августейшей сестры и Ее Семьи за этот последний год. В этом своем шаге я видел последнюю обязанность по отношению к Тем, на Кого я молился, Кого боготворил и Кому верно и честно служил всю свою жизнь.

Я не был очевидцем Их трагической гибели, но был свидетелем Их безмерных страданий в заточении. Я был свидетелем того, как прошли последние дни жизни Русского Императора и Его Семьи в снегах далекого Тобольска, всеми покинутого и забытого! И я представлял Великому Герцогу Самому сделать Свои заключения по поводу всего случившегося и оставлял вопрос о трагической ночи открытым.

Я исполнил свое желание. 21-го января, переодетый в германскую военную форму, покинул я Киев с эшелоном 68-го пехотного полка, отправлявшегося на родину. Солдатам было официально заявлено, что я студент, едущий Германию на продолжение образования и временно принят переводчиком при штабе батальона, находившегося в нашем поезде. На товарной станции посадка батальона прошла в образцовом порядке, и около двух часов дня я сел на паровоз в сопровождении германского фельдфебеля.

Фельдфебель был, так сказать, для моего прикрытия, а я для разговоров с машинистом. На тендере имелся у нас телефон, соединявший нас с центральным вагоном эшелона, где помещался штаб. Машинист пытался доказать мне, что у него в машине мало пара и имеется какой-то дефект, но это была знакомая история. Ощутив в руке бумажку в 1000 карбованцев, машинист сделался предупредительно любезен, и пар неожиданно и скоро поднялся в котле. Заревел гудок, и наш поезд медленно потащился, унося нас из стольного града Киева, над которым реяли чужие "жовто-блакитные" флаги и слышалась чужая украинская речь, отдававшая запахом Тернопольского гетто.

ГЛАВА XX

Девять лет прошло с того дня, как я увидел старый германский флаг над вокзалом старого русского города Ковеля, почувствовал себя "за границей" и в безопасности... Какая ирония! Кто хотя немного любит свою родину, поймет мои переживания в этот день и теперь, когда я об этом дне вспоминаю!

30-го января, к полудню, я не заметил уж особенной разницы между старой Россией и освобожденной от "русского нашествия" полуразрушенной Восточной Пруссией и как-то совершенно незаметно переехал старую русско-германскую границу у Просткена. Наш эшелон после четырехдневного пути дотащился до Алленштейна. В Алленштейне я распрощался как с офицерами эшелона, которые любезно приняли меня под свою защиту, зная мое настоящее "я", от глубины души поблагодарив их за любезное отношение ко мне, так и с солдатами, в среде которых мне пришлось прожить эти дни и которые видели во мне "студента М.", едущего в Германию продолжать свое образование.

Когда эшелон медленно стал отходить от дебаркадера, унося моих счастливых спутников в глубь Германии, в родные места, со мной случился инцидент, во многом напоминавший мне отъезд моего отчима из Киссингена.

Я шел по перрону за уходившим поездом, обмениваясь последними приветствиями с солдатами, столпившимися возле раскрытой двери товарного вагона.

"Glueckliche Reise!"[1] - кричал кто-то, давший мне свой адрес, и, наконец, раздался бас молодого еще вольноопределяющегося, желавшего поступить в университет: "Auf Wiedersehen in der Alma mater in Leipzig!"[2]

г----------

[1] Счастливого пути! (нем.)

[2] До встречи в альма-матер в Лейпциге! (нем.)

L_____

Не долго думая, я выхватил из бумажника десятка два моих визитных карточек и пачкой бросил их ничего подобного не ожидающим солдатам. На карточках, кроме моего имени и фамилии, стояло:

Leutnant a. D. im Krimschen Regiment zu Pferd I. M. der Kaiserin Alexandra von Russland und persoenlicher Ordonannzoffizier des Generals der Kavallerie Graf Keller.[1]

г----------

[1] отставной лейтенант Крымского Е.В. Императрицы Александры кавалерийского полка и личный адъютант генерала кавалерии графа Келлера (нем.)

L_____

Солдаты сразу поняли, в чем дело. Из вагона поезда, прибавившего ходу, раздалось громкое троекратное Hurra![1] и крики: Auf Wiedersehen, Herr Leutnant![2]

г----------

[1] Ура! (нем.)

[2] До свиданья, господин лейтенант! (нем.)

L_____

Пока поезд не скрылся из виду, я видел десятки рук, махавших мне шапочками и платками.

Инкогнито мое было окончательно раскрыто. Я снова сделался для всех тем, чем был и есть и на этот раз, кажется, уже навсегда.

Так началось мое пребывание в Германии, где я прожил до мая 1920 года. 31-го января 1919 года я приехал курьерским поездом в Берлин, на следующий же день явился в Управление нашего Военного Представителя в Германии, приехавшего незадолго [перед этим] туда под флагом Начальника Миссии Красного Креста, генерал-майора Д. Н. Потоцкого.

От приехавших ранее генерал уже слышал обо мне и моей деятельности в Комендатуре. Он сердечно поблагодарил меня за все, сделанное мною для эвакуации офицеров и их семейств из Киева.[1]

г----------

[1] От генерал-майора Д. И. Гурко я перед отъездом из Киева получил следующее удостоверение:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 4.

Киев, 8. 1. 1919 года.

Предъявитель сего Крымского Конного Ее Величества Императрицы Александры Феодоровны полка корнет Сергей Владимирович Марков, бывший личный ординарец генерала от кавалерии графа Келлера по моему поручению содействовал освобождению из тюрем и больниц и отправлению за границу офицеров Добровольческой армии, оказав при этом большие услуги.

(подписано) Генерал-майор Гурко

L_____

Генерал оставил меня при себе офицером для поручений, на каковой должности я оставался вплоть до поступления в Западную Добровольческую Армию.[1]

г----------

[1] От генерал-майора Потоцкого мною в Белграде в 1920 году был получен следующий аттестат:

Белград, 31-го октября 1920 года.

Настоящим свидетельствую, что корнет Крымского Конного полка Сергей Владимирович Марков, уволенный по болезни (вследствие ран) от военной службы, в бытность его в Киеве ординарцем при графе Келлере, затем во время его нахождения в Берлине в числе эвакуированных из Киева военнослужащих - состоя для поручений при мне, по должности нач-ка Военной Миссии, отличался отменной дисциплиной, служа на пользу Родины, не жалея сил и здоровья.

Обладая тактом и прекрасно выполняя все возлагаемые на него поручения, корнет Марков представляет собою образцового обер-офицера.

Уволенный по болезни, как негодный для строевой службы, корнет Марков может выполнять ответственные поручения.

Печать

Управления Российского

Военного Агента

в Королевстве С. Х. С.

Военный Агент в Королевстве С. Х. С.

Генерал-майор

(подписано) Потоцкий

L_____

От моего нового начальника я узнал, что в Киеве после отъезда последнего эшелона произошли снова насилия над оставшимися офицерами, что дни Петлюровской директории сочтены и что на советско-украинской границе уже начались бои отрядов "батьки" с красногвардейцами.

На первый день Св. Пасхи того же года, в Дармштадте я удостоился счастья быть принятым Августейшим Братом Государыни, Великим Герцогом Эрнстом-Людвигом Гессенским, принявшим меня у Себя во дворце в более чем 4-часовой аудиенции. Он меня представил Своей Супруге, на редкость симпатичной и простой Великой Герцогине Элеоноре и Своим очаровательным сыновьям Принцам Георгу и Людвигу.

В этот день я был приглашен к завтраку во дворец, во время которого я делился с присутствовавшими впечатлениями о своей поездке в Сибирь.

В самых сердечных и теплых выражениях благодарил меня Герцог за мою службу и работу на пользу и счастье Его Августейшей Сестры и всей Ее Семьи.

На следующий день после того, как я был принят Великим Герцогом, меня посетил Гофмаршал Его Королевского Высочества граф Куно фон Гарденберг, сообщивший мне, что ввиду того, что Великий Герцог считает меня Своим гостем, то он, исполняя желание Его Высочества, распорядился уже в дирекции отеля о том, чтобы все мое пребывание - как комната, так и стол должны быть отнесены на счет Гофмаршальской части.

Я был глубоко тронут внимательностью Его Высочества и не знал, как благодарить графа, потрудившегося зайти ко мне! В дальнейшем милейший граф своей предупредительностью растрогал меня буквально до слез.

Мне не только было предоставлено место в Великогерцогском театре, но мне был специально показан Большой Дармштадтский Замок, картинная галерея, но, когда граф случайно узнал о том, что я страдаю ушными болями, он немедленно отправил меня к придворному врачу, пользовавшему меня в продолжении всего моего пребывания в Дармштадте!..

И теперь, вспоминая об этих днях, которые никогда не изгладятся из моей памяти, я считаю своим долгом от глубины души поблагодарить графа Гарденберга за то трогательное внимание, которое он проявил в отношении меня!

Пробыв гостем Великого Герцога в Дармштадте одну неделю, я вернулся в Берлин и, исполняя просьбу Великого Герцога, 18-го июня приехал в маленький, типичный немецкий приморский городок Екернферде на берегу залива того же наименования в Шлезвиг-Голштинии, в пяти километрах от которого находится имение Геммельмарк Принца Генриха Прусского, Брата Императора Вильгельма, женатого на старшей сестре Государыни, Принцессе Ирене Прусской.

Три дня я был Их гостем в Их большом, новой постройки доме, типичной усадьбе богатых германских помещиков, мало напоминавшем дворец.

Я был счастлив так близко провести эти дни около родной Сестры моей любимой Государыни и Ее Мужа, обвороживших меня Своим вниманием и сердечностью.

Я окреп морально и нравственно, присмотревшись к этой идеальной любящей Супружеской Чете, жившей в деревенской глуши, вдали от какой-либо политики, и как отчетливо слышатся мне сейчас слова Принца за одним из five-o-clock-ов[1] в прелестном холле Их дома. Он вспомнил один из эпизодов своей жизни, Сестер Своей Жены:

"Elisabeth ist die schoenste, Alix ist die kluegste, aber meine ist die beste".[2]

г----------

[1] five-o-clock - буквально: пять часов (англ.) Чай, который в Англии традиционно пьют в 5 часов пополудни.

[2] Елизавета - красивее всех, Аликс - умнее всех, а моя - лучше всех. (нем.)

L_____

Я не могу судить, кто лучшая из трех Царственных Сестер, но, думаю, что Принц был по-своему прав, делая такое определение, так как действительно лучшей спутницы в жизни и лучшего друга, чем была и есть для Него Принцесса Ирена, по-моему, Он найти не мог.

Как в Дармштадте, так и в Геммельмарке я сделал Августейшим Родственникам Государыни подробные и детальные доклады о своей поездке и был счастлив получить от Них благодарность за свою службу и работу.

В январе 1920-го года я представил Ее Величеству Государыне Императрице Марии Феодоровне подробный письменный доклад о своей поездке и также удостоился получить от Ее Величества через посредство генерала Безобразова, бывшего командира Гвардейского Корпуса, Высочайшую благодарность за все сделанное мною для Их Величеств.

21-го апреля 1920-го года я был осчастливлен получением письма от адмирала князя Вяземского, состоявшего при Ее Величестве Государыне Императрице Марии Феодоровне.[1]

г----------

[1] См. приложение к настоящей книге.

L_____

К письму был приложен портрет Ее Величества с Ее Собственноручной подписью и чек на 6000 герм. марок. Этот знак Монаршего внимания был и будет мне лучшей наградой на всю жизнь, за все то малое и ничтожное, что мне по мере сил и возможности Господом Богом дано было сделать для моего Державного Повелителя, любимого Шефа и Их Августейшей Семьи.

На полученные деньги, а также ввиду широкой материальной помощи от долголетнего сотрудника моего покойного деда, графа Владимира Николаевича Коковцева, мне в начале мая того же года профессором Клаусом в Францискус-Санаториум в Берлине была произведена сложная операция трепанации черепа в области левого уха, воспалительный процесс которого принял угрожающий для жизни характер.

Операция прошла блестяще, и жизнь моя была спасена.

И я считаю своим нравственным долгом от глубины души, от всего сердца еще раз принести свою благодарность Ее Величеству Государыне Императрице Марии Феодоровне за Ее Высокомилостивую помощь, графу В. Н. Коковцеву и светлейшей княгине О. В. Лопухиной-Демидовой, без сердечной помощи которых мне невозможно было бы в достаточной мере поправить свое здоровье и закончить послеоперационное лечение.

Они меня вернули к жизни и дали сил бороться за свое существование на чужбине!

Всемогущий Господь да вознаградит их сторицей за все сделанное для меня!..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мои воспоминания о 1917-1918 годах, прожитых мною в столь необычной трагической обстановке, закончены.

Закончена также и служба моя Их Величествам, служба офицера своему Монарху и долг глубоко преданного человека, который по мере сил и возможности пытался всеми доступными средствами прийти на помощь Ему и Его Семье в тяжких условиях пленения в родной стране.

Теперь можно безпристрастно и нелицеприятно подвести итоги тому, что, собственно, было сделано и предпринято нами, верноподданными своего Царя, для облегчения участи Царственных Узников и для спасения Их из рук красных палачей.

Я постараюсь припомнить здесь все мне известные попытки к спасению Царской Семьи, предпринятые как отдельными лицами, так и организациями.

Но, прежде чем перейти к оценке этих попыток, я считаю своим долгом глубоко преклониться перед светлой памятью тех, кто не на словах, а на деле запечатлел свою преданность Царской Семье. Они пошли за своим Повелителем в изгнание и кровью своей доказали свою преданность и верность Ему.

Князь Долгорукий, лейб-медик Боткин, генерал Татищев, графиня Гендрикова и гофлектриса Е. А. Шнейдер безтрепетно приняли смерть, последовав за Державной Семьей в изгнание.

- Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя!..

Среди лиц, близких к Царской Семье и пользовавшихся Ее исключительным благорасположением, одно из первых мест должно быть отведено А. А. Танеевой (Вырубовой).

В начале 1923-го года я, к своей большой радости и счастью, узнал, что ей удалось благополучно покинуть пределы советского "рая" и что она со своей матерью проживает заграницей.

Я немедленно списался с ней и был несказанно обрадован получением от нее следующего письма:

17-го января 1923 г.

Милый маленький Марков,

как я была рада узнать, что Вы живы и здоровы!.. Ведь я с тех пор ничего о Вас не знаю!.. Теперь скоро два года, что мама и я выехали из России и жили... у сестры.

Сколько перенесено с тех пор, что я Вас не видела!..

А Вы как поживаете, где Вы все это время были, когда уехали и каким путем? Буду рада узнать все подробности о Вашей жизни!..

Мы бежали через лед два года тому назад! Я даже босиком, так как ничего не было; финн, который нас вез, сжалился и отдал мне свои носки!..

За эти два года я очень поправилась, но еще порядочно нервная. Буду ждать с нетерпением Вашего письма! Пишите через...

Мы с мамой сейчас в... Хочу Вам послать фотографии, которые Вам будут дороги, когда получу от Вас ответ. Читали ли Вы мои воспоминания, которые вышли в Париже? Если нет, то пришлю. Храни Вас Господь, милый "маленький Марков"! Слава Богу, что Вы живы!..

Сердечный привет и пожелания всего светлого в наступающем году!

Танеева.

Вскоре я получил и книгу с авторской надписью: "На добрую память маленькому Маркову от автора." Чтение этой замечательной книги, этих исключительных по своему содержанию воспоминаний, в которых Анна Александровна раскрывает перед читателем свою исстрадавшуюся душу, вводя его в мало знакомый круг интимной жизни Царя-Мученика и Его Семьи, всколыхнуло во мне воспоминания о тихих, спокойных днях жизни в Ливадии, и я снова пережил в малейших деталях все, что казалось уже погребенным в тайниках моего сердца!

Жгучей, нестерпимой болью отозвались в душе воспоминания о кошмарных 1917-1918 годах, годах безмерных страданий Святой Семьи Царственных Мучеников в далекой снежной Сибири!..

И мы, русские люди, вольно или невольно оставившие на произвол судьбы Семью наших Венценосцев, должны преклониться перед образом этой больной физически женщины, подвергшейся истязаниям и надругательствам, но ни на одну минуту не забывшей Семьи своих Царственных Друзей, для Которой она отдала свои последние силы, не словом, а делом помогая Им в изгнании.

И что всего удивительнее, несмотря на весь ужас перенесенных издевательств и страданий, эта глубоко религиозная женщина полна всепрощения к своим врагам.

Она безропотно шла и идет по своему крестному пути.

"Укоряемы - благословляйте, гонимы - терпите, хулимы - утешайтесь, злословимы - радуйтесь...[1] - вот наш путь с Тобою!" - пишет ей из Тобольска ее Царственный Друг, Государыня.

г----------

[1] Из молитвы Св. Серафима Саровского.

L_____

Твердо помнит глубоко несчастная женщина завет, пришедший к ней из далекой Сибири и, кончая свои записки, говорит:

- Господь мне помощник и не убоюся, что мне сотворит человек!

За 12 лет близости своей к Императорскому Дому, отдав все свои силы, все свое разумение ее превыше всего на свете любимой Государыне, подвергаясь за эти долгие годы неслыханной клевете, обвиненная в чудовищных преступлениях, истерзанная физически и душевно своими палачами-тюремщиками, она и теперь не оставлена в покое людской подлостью и завистью! С крестом в сердце и молитвой на устах, голодная, в нищенских лохмотьях, босая в зимнюю стужу, она и вдали от несчастной, поруганной Родины не нашла желанного покоя!

Ославленная в свое время как "наложница Распутина", "германская шпионка", "отравительница Наследника" и "всесильная временщица, правившая Россией", она отдала последнее, что у нее было, в дни заключения своих Друзей и сделала для Них больше, чем кто-либо.

Сколько грязи и низкой клеветы было брошено в нее за это нашими "спасателями" в лице Маркова 2-го и его бывшего сотрудника В. П. Соколова, обвинившими ее в том, что она им мешала в их плодотворной работе на пользу Их Величеств в Сибири и что, если бы не она, то, быть может, все было иначе!..[1]

г----------

[1] Показания Маркова 2-го судебному следователю Соколову, стр. 95-96. Показания В. П. Соколова ему же, стр. 96-97 из книги "Убийство Царской Семьи" Н. Соколова, в издательстве "Слово", Берлин 1925.

L_____

Прочтя эти заведомо ложные показания, кои дали судебному следователю Соколову эти пресловутые "спасатели", Анна Александровна, вероятно, подумала:

- Прости им, Господи, они не ведают, что творят! Нет! Они ведают, но боятся сознаться, что не по плечу было им дело спасения Царской Семьи! Все их попытки кончились тем, чем они начались, т. е. праздными разговорами... Кто им, осмелившимся взять в свои руки великое дело спасения Царской Семьи, может поверить, что им не удалось Ее спасти, так как у них не было денег?..

В стране с 150-миллионным населением они не могли найти средств для спасения своего Царя!..

16/29 мая 1921-го года на монархическом съезде в Рейхенгалле никто иной, как Марков 2-й сказал:

- Нашелся русский человек не только хороших слов, но и хорошего дела, он пришел и сказал: "Я достал необходимые деньги, соберите съезд монархистов!" - и мы приступили к делу![1]

г----------

[1] См. Журнал "Двуглавый орел" № 10 от 15/28 июня 1921 г. (стр. 5).

L_____

Итак Марков 2-й нашел в 1920 году деньги для съезда монархистов, а в 1917-1918 годах денег для спасения Царской Семьи он найти не мог!

Не нашел он в необъятной Родине нашей человека, который пришел бы к нему и сказал:

- Я достал необходимые деньги! Спасите Царя и Его Семью!

В одном из писем ко мне Анна Александровна, между прочим, пишет:

- Маркова 2-го видела всего один раз в жизни. Никаких "организаций" я не имела и потому **логично** не могла о них говорить с ним... Я посылала и собирала, что могла, для своих Друзей и посылала с теми, кто рисковал всем, лишь бы доставить Им радость!..

Эти "многоглаголивые спасатели" с их замечательными организациями не могли сделать того, что удалось сделать полузамученной женщине, которая сразу же после освобождения из Свеаборгской крепости в конце сентября 1917 года немедленно же стала устанавливать связь с Их Величествами.

Это ей вполне и удалось, и с ноября месяца того же года вплоть до увоза Их Величеств из Тобольска связь эта не прерывалась.

При деятельной поддержке жены бывшего Военного Министра Екатерины Викторовны Сухомлиновой Анна Александровна изыскала возможность к отправлению в Тобольск вещей и денег, столь необходимых Их Величествам. Вещи и деньги были переданы в различные сроки Б. Н. Соловьевым, мною лично и другими лицами.

Все вещи и деньги достигли места своего назначения, что подтверждается многочисленными письмами к Анне Александровне как Государыни, так и Великих Княжен. На Соловьева Анна Александровна возложила организацию отправок и создание на месте возможности безконтрольного общения с Узниками.

Как видно из моих воспоминаний, обе эти цели были Соловьевым достигнуты. Позволю себе спросить, что же было достигнуто за это время Марковым 2-м и его могучей организацией?

К сожалению, ничего, кроме многообещающих фраз и добрых намерений!..

Оставляя в стороне Б. Н. Соловьева и мои попытки придти на помощь Царской Семье, так как описанию их посвящены предшествующие страницы, я вкратце перечислю все мне известные попытки, предпринятые в этом направлении как отдельными лицами, так и организациями. Полагаю, что список этот будет исчерпывающим:

1) В конце августа 1917-го года фрейлина Ее Величества М. С. Хитрово неудачно пыталась проехать в Тобольск с письмами и подарками для Их Величеств. Она хотела остаться и разделить тяготы заключения с Царской Семьей, но была в административном порядке выслана из Тобольска.

2) Сенатор Туган-Барановский имел связь с Тобольском, посылая туда своих людей. Связи с Их Величествами ему установить не удалось. По моим сведениям, одно из посланных им доверенных лиц устроилось в Тобольске под видом владельца кинотеатра. О нем упоминает Т. Боткина в своих воспоминаниях.[1]

г----------

[1] Воспоминания Т. Боткиной, стр. 46.

L_____

3) По показаниям В. И. Гурко, А. В. Кривошеина, А. А. Трепова, Н. Д. Тальберга, Д. Б. Нейдгардта и князя А. А. Ширинского-Шихматова, данным ими Н. Соколову, московские организации имели связь с Тобольском, и им удалось в период между январем и апрелем передать Их Величествам деньги через посредство генерала Татищева.[1] Организации на месте, которая могла бы иметь решающее значение в деле спасения Царской Семьи, создать им не удалось.

г----------

[1] Н. Соколов. "Убийство Царской Семьи". Стр. 105.

L_____

Эта же группа интервенировала в Москве в пользу Царской Семьи у германского посла графа Мирбаха, но, как видно из показаний членов группы, безуспешно.

4) Н. Н. Родзевич, глава южнорусских монархических организаций, отправил в июле 1918-го года на средства Толстого-Маразли из Одессы в Екатеринбург своего доверенного человека для информации. Последний прибыл в Екатеринбург после 17-го июля, и никакого положительного результата его поездка не дала.

5) Поздней осенью 1917-го года мой однополчанин штабс-ротмистр Николай Яковлевич Седов был послан Марковым 2-м в Тобольск, дабы информировать его о создавшемся на месте положении. О подробностях его поездки читатель ознакомлен по написанному мною по этому поводу.

6) При моем отъезде 2-го марта 1918 года в Тобольск Марков поручил мне разыскать Н. Я. Седова, информировать о его деятельности, сообщить о положении в Тобольске и, задержавшись, во что бы то ни стало на месте, войти в состав посылаемых за мною вслед офицеров.

7) И, наконец, Марков 2-й удостоверяет, что им была организована группа из 18 офицеров под начальством генерала Х., которая с конца июня 1918-го года стала концентрироваться в районе Екатеринбурга, но "из-за недостатка денег, препон со стороны большевицких застав группа генерала Х. только в июле месяце стала стягиваться к Уралу. Некоторые офицеры достигли Екатеринбурга 7-го (20) июля. Но было уже поздно".[1]

г----------

[1] См. "Высший монархический совет". № 121 от 28.4.1924, стр. 5.

L_____

Мой большой и искренний друг, ныне покойный л.-гв. 1-го Стрелкового полка полковник Димитрий Димитриевич Лебедев, бывший одним из участников этой, как справедливо замечает Марков 2-й, отчаянной попытки верных людей, рассказывая мне в Киеве осенью 1918-го года о ней, весьма неодобрительно отзывался о роли Маркова 2-го, бросившего на верную смерть горсточку офицеров без средств с весьма неудовлетворительными документами. Лично же Марков 2-й по понятным причинам в этой "отчаянной попытке" участия не принимал...

Вот и все, что сделали для своего Царя русские монархисты! Нам надо честно сознаться перед грядущими поколениями, что мы, в сущности, ничего не сделали, в то время как можно и должно было сделать многое!

Как на одну из причин того, что ничего сделано не было, Марков указывает на недостаток средств. Н. Е. Марков, продолжающий и теперь считать себя единственным столпом русского монархизма, в свое время называл себя единственным человеком, могущим охранить и вырвать Их Величеств из заточения. Ближайшему другу Императрицы Ю. А. Ден он клялся "исполнить свой долг до

конца", уверяя ее в том, что работа организации развивается "планомерно и успешно".

Правда, эти слова находятся в явном противоречии с его последующим заявлением о "скудости средств организации" и о "твердокаменном равнодушии" со стороны всех, к кому он обращался за помощью еще в декабре 1917 года.

Остается изумляться, что Н. Е. Марков, видя полный неуспех своих попыток, тогда же не сложил с себя обязанностей главы организации, считавшей себя "обязанной спасти Их Величества" и не передал своих полномочий другому лицу.

Может быть, этому скорее бы удалось сломить "твердокаменное" равнодушие среди тех, кто, не доверяя Н. Е. Маркову лично, мог и хотел спасти своего Императора и Его Семью!

Почему Марков 2-й, видя полной крушение своих начинаний, в том же декабре 1917-го года не сознался в этом Ю. А. Ден? Быть может, тогда все обстояло бы иначе и Юлии Александровне удалось бы найти другого человека, который сумел бы довести святое дело освобождения Царственных Узников до конца, а Государь, основываясь на переданных Ему Ю. А. Ден словах Маркова 2-го, не ожидал бы напрасно помощи от всесильной "tante Ivette"[1] проживавшей в Петербурге в тщетных поисках денег у "недавних царских блюдолизов".

г----------

[1] "Tante Ivette" - условное имя Маркова 2-го, известное Государю.

L_____

Непонятно также и то, что, узнав весной 1918-го года от Н. Я. Седова о якобы "провокаторской" деятельности Б. Н. Соловьева, Марков 2-й, зная мой тюменский адрес, не предупредил меня о том тогда же, чтобы я был более осторожным в сношениях с ним. Не сказал он этого и тогда, когда я приехал в июле 1918-го года в Петербург. В это время он предпочел скрываться от меня, "опасаясь меня как активного сотрудника провокатора Соловьева".

Из приложенных к моим воспоминаниями дословных перепечаток двух статей Маркова 2-го, помещенных в еженедельнике "Высший монархический совет", видно, что еще в 1918-ом году, весной, он был твердо уверен в том, что Соловьев является чистейшим провокатором, "губящим святое дело спасения Царской Семьи".

Как согласовать этот взгляд на Соловьева с совершенно иным его отношением к нему же в 1921 году, как это видно из нижеследующих трех писем, адресованных на имя Б. Н. Соловьева:

I.

Временное Бюро

Съезда Хозяйственного

Восстановления

России.

21.апр. н. ст. 1921. №42.

Берлин

Friedenau Kaiserallee 80

Его Высокородию

Б. Н. Соловьеву

Милостивый Государь

Борис Николаевич!

Временное Бюро Съезда осведомилось, что в Праге находится Общество "Русский Комитет". Прошу Вас оказать нам содействие в следующем:

1) Выяснить, какого политического направления придерживается этот комитет.

2) Если это направление соответствует той программе "Объединения", которая Вам известна, то уполномочиваю Вас войти с Комитетом в соглашение о командировании одного или двух делегатов на Съезд.

3) Если по своим политическим убеждениям состав Комитета смешанный, то не представится ли возможным выделение из его состава особой группы, в которую вошли бы люди близких к нашему "Обществу" убеждений и от которой можно было бы избрать делегатов на Съезд. Разумеется, что очень желателен выбор облеченного уже доверием Комитета, например, председателя или ответственного члена президиума, если они принимают программу Съезда. Очень прошу Вас не замедлить с ответом по содержанию этого письма.

Примите уверение в совершенном почтении и искренней преданности.

Подлинное подписал:

Н. Марков

II.

26 марта 1921. № 153

Kaiserallee 80.

Gartenhaus

Friedenau

Berlin

Милостивый Государь

Борис Николаевич!

Я не знаю адреса г-на В.., а почему обращаюсь к Вам с просьбой передать ему письмо.

Пользуюсь случаем приветствовать Вас как нашего ответственного работника в Чехо-Словакии.

Поручив Вам руководительство, полковник Е. Г. Скупинский сообщил нам, что дело передано в энергичные и надежные руки.

Желая Вам успеха, мы надеемся, что Вы не пожалеете трудов на пользу святого дела.

Примите уверения в моем уважении.

Подлинное подписал:

А.Римский-Корсаков

Сенатор

Печать:

"Председатель совета

Русского Общественного

Собрания в Берлине"

III

Совет Хозяйственного

Восстановления России.

29 апр. 1921.

Берлин Фриденау

Кайзераллее 80

Его Высокородию

Б. Н. Соловьеву

Милостивый Государь

Борис Николаевич!

Настоящим письмом покорнейше просим Вас пожаловать на Съезд Хозяйственного Восстановления России, который с разрешения Баварского Правительства состоится 15-18 мая текущего года в гор. Рейхенгалль в Баварии и продолжится 8-10 дней.

О Вашем согласии прибыть на Съезд благоволите заблаговременно уведомить Бюро Съезда. На основании правил о Съезде настоящее приглашение заменяет собой членский билет и при регистрации участников Съезда подлежит предъявлению в секретарскую часть.

Подлинное подписал:

Председатель:

Н. Марков

Секретарь:

Е. Скупинский

Приходится признать, что в этот период Н. Е. Марков 2-й ищет сотрудничества "заведомых провокаторов" и привлекает их к участию в монархическом Съезде!

В заключение моего исчерпывающего ответа на недостойные выпады по моему адресу как в показаниях, данных Н. Соколову, так и на страницах своего журнала, я должен удостоверить, что явным вымыслом является утверждение Маркова 2-го о том, что якобы он меня видел после возвращения из Тобольска весной 1918 года, что я уверял его в том, что А. А. Вырубова своими средствами организовала в достаточной мере охрану Царской Семьи и что его помощь не нужна и т.д.[1]

г----------

[1] См. "Убийство Царской Семьи" Н. Соколова, стр. 95-96.

L_____

Уехав из Петербурга 3-го марта 1918-го года, я вернулся туда 7-го июля т. г., и, несмотря на все усилия, мне Маркова 2-го разыскать не удалось. Он и сам, противореча своим показаниям, данным Н. Соколову, в № 124 еженедельника "Высший монархический совет" пишет, что "скрывался от меня, так как опасался меня как активного сотрудника провокатора Соловьева"...

После своего отъезда 3-го марта 1918 года из Петербурга мне пришлось встретиться с Марковым 2-м только в апреле или начале мая 1920 года в Берлине около входа в Полицейпрезидиум на Александерплатц.

Он страшно смутился, увидев меня.

- Здравствуйте! Здравствуйте!.. Пожалуйста, уходите скорее... Я здесь совершенно конспиративно... Мы можем с вами встретиться в другой раз!.. - услышал я от него, когда я, радостный, бросился к нему, чтобы приветствовать его после скольких лет разлуки, полный надежд, что наконец путем личного свидания с ним и доклада о своей поездке мне удастся выяснить много наболевших вопросов...

Но Марков 2-й в Берлине был так же неуловим для меня, как и в свое время в Петербурге!..

Злостным вымыслом является также и утверждение Маркова 2-го (В.М.С. № 124, страница 4), что якобы я за свое пребывание в Тобольске виделся с лицом, привозившим из Москвы Государю деньги и что оно "встретило со стороны Сергея Маркова всяческие придирки и затруднения в сношениях с Заключенными и вынуждено было снабдить корнета солидной суммой денег, чтобы он скорее уехал из Тобольска и не мешал. Получив деньги, С. Марков тотчас отбыл в Тюмень".

Как видно из моих записок, никого, кроме о. Васильева, его сына и служителя Кирпичникова я за свое пребывание в Тобольске не видел, уехал из него, согласно воле Государыни, в село Покровское, а не в Тюмень.

"Лицо", о котором говорит Марков 2-й, является плодом его больной фантазии!

Покажется, быть может, странным, почему это вдруг Марков 2-й потратил столько драгоценного времени, чернил и бумаги, чтобы на страницах своего пресловутого "Еженедельника" оклеветать, облить грязью и так наивно изолгаться по адресу маленького, никому не известного офицера?.. Почему это вдруг этому "вождю" русского монархизма потребовалось давать ложные свидетельские показания судебному следователю по особо важным делам?..

А вот почему:

Уж больно стыдно этому неудачливому политику и организатору услышать правду, быть может, и горькую от хорошо и близко (вопреки его уверениям!) известного ему молодого его сотрудника, который паче его чаяний остался жив и может много рассказать о деятельности этого не признанного монархического Мессии!..

Если верить Маркову 2-му, что он боялся меня в советском Петербурге в 1918 году, то чего же он боялся меня в 1920 году в Берлине, находясь в такой дали от нелюбезных ему Чека и ГПУ?

Что же касается материалов судебного следствия, опубликованных Н. Соколовым, то я отнюдь не могу признать их безпристрастными и отвечающими истине. По непонятной для меня причине, Н. Соколов весьма легкомысленно и пристрастно распорядился имевшимся у него следственным материалом, сделав из него выборки свидетельских показаний, осветив известные факты и роль некоторых лиц в угодном ему свете. В 1921 году я, будучи проездом в Берлине, был у своих знакомых познакомлен с капитаном л.-гв. Петроградского полка Павлом Петровичем Булыгиным, который рассказал мне, что он по поручению Ее Величества

Государыни Императрицы Марии Феодоровны летом 1918 года ездил из Крыма в Екатеринбург, куда он прибыл после тяжелого пути уже после памятных событий июля месяца 1918 года. Он остался при войсках Сибирской армии, впоследствии познакомился с неким Н. Соколовым, судебным следователем по особо важным делам, который был назначен адмиралом Колчаком для ведения следствия по делу об убийстве Царской Семьи. Он помогал ему при ведении следствия, и как Соколов, так и он лично после Сибирской катастрофы и гибели Колчака прибыли в Европу. Н. Соколов остался во Франции, а он приехал в Германию.

Я никогда не скрывал от лиц, которых считал нужным посвятить в детали моей поездки в Сибирь, всего того, что мне лично пришлось видеть и пережить и что мною было предпринято в деле облегчения участи Царской Семьи. Таким человеком я и считал капитана Булыгина и от него не скрыл ничего, что мне было известно по интересовавшему его делу, и во всех подробностях описал ему свою поездку в Тобольск, службу в Красной Армии, о своей связи с Братом Ее Величества, Великим Герцогом Эрнстом Людвигом Гессенским и т. д.

Уступив его просьбам, я согласился дать свои письменные заметки по всему мною рассказанному для передачи их судебному следователю Н. Соколову на предмет сохранения со всем следственным материалом, собранным последним. Передавая свои письменные заметки, которые можно охарактеризовать, как краткий конспект настоящей книги, я убедительно просил капитана Булыгина просить Н. Соколова не пользоваться этим материалом для мемуарных целей, т. е. ни в коем случае не публиковать его за границей, так как я считал, что предание гласности некоторых фамилий более, чем преждевременно.

Я заметил капитану Булыгину, что на основании всего того, что мне пришлось пережить и видеть, я мог бы сам написать сенсационные мемуары, но я далек от мысли о спекуляции на памяти дорогих для меня Их Величеств. Капитан Булыгин заверил меня, что и Н. Соколов далек от мысли публикования собранного им материала, что этот материал представляет из себя не только судебную, но и государственную тайну и что весь материал, как и найденный пепел, обрубок пальца и кусочек кожи, вместе со всеми найденными в Ипатьевском доме вещами Царской Семьи будет в самом непродолжительном времени передан на благоусмотрение Ее Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны.

Каково же было мое удивление и негодование, когда в газете "Последние новости" № 1208 от 30 марта 1924 года я прочел статью г-на Словцева "Три попытки спасения Царской Семьи". Из этой статьи мне сделалось ясным, что Н. Соколов, вопреки уверениям капитана Булыгина, решил предать судебную тайну гласности путем издания книги своих воспоминаний на французском языке, что ясно говорило мне о коммерческой подкладке этого предприятия, так как совершенно ясно, что французская публика более кредитоспособна, чем русские беженцы, которых Н. Соколов заставил прождать более года, прежде чем он дал нам всем возможность ознакомиться с русским подлинником его книги.

Так как в статье г-на Словцева, написанной на основании книги Н. Соколова, была затронута и моя фамилия, и затронута весьма безцеремонно, то я счел в целях установления истины ответить на эту статью письмом в редакцию газеты "Руль" с

кратким объяснением своей поездки в Тобольск и связи с Братом Государыни. Это письмо было напечатано в газете "Руль" и перепечатано газетой "Вера и верность".

Мое письмо нашло отклик, и Марков 2-й на страницах своего еженедельника разразился, как замечает газета "Руль", "гнусной руганью" по моему адресу.

Я решил не вступать в дальнейшую перебранку с почтенным автором статьи "Ловцы правды" в № 124 еженедельника "Высший монархически совет". Я полагаю, что предлагаемая книга является достаточно исчерпывающим ответом на все инсинуации по моему адресу, состряпанные Марковым 2-м.

В приложении к моим воспоминаниям читатель найдет весь этот полемический материал без всяких комментариев в хронологическом порядке.

Ознакомившись с книгой Н. Соколова сначала во французском издании, а потом в русском подлиннике, я констатировал, что Н. Соколов, воспользовавшись позднейшими показаниями Маркова 2-го и Соколова-Баранского,[1] кои он воспроизвел на страницах своей книги "Убийство Царской Семьи", стр. 95, 96, 97, моими показаниями совершенно пренебрег, хотя они и проливали достаточный свет на деятельность Маркова 2-го по делу освобождения Императорской Семьи.

г----------

[1] Марков 2-й дал свои показания 2-го июня, а Соколов 3-го июля 1921 г.

L_____

Далее. Н. Соколов не отказывается от того, что у него были мои письменные показания и, выбирая из них две или три нужных ему строки, пользуется ими явно пристрастно. Так, например, я показываю, что, насколько мне известно, Б. Н. Соловьев бывал в мирное время в Берлине (а кто же из нас там не бывал?). Пользуясь этим показанием, Соколов силится этим подчеркнуть свои предположения видеть в Б. Н. Соловьеве немецкого агента.

Совершенно точно зная о причинах моей поездки в Сибирь, о моей службе в Красной Армии и о целях, побудивших меня поступить в нее, Н. Соколов совершенно пренебрегает этими сведениями, но зато приводит показания генерала Х., допрошенного им 2-го сентября 1919 г., почему-то скрывая от гласности его фамилию. В этих показаниях последний делает обо мне сенсационно бульварные разоблачения, характеризуя меня не только как "определенного монархиста", что, конечно, сущая правда и за каковую аттестацию я могу только благодарить анонимного генерала, но и как монархиста "определенной германской складки"!

Доказательств к последнему не приводится никаких! Мне еще придется остановиться на этих баснях почтенного анонима обо мне, так как и генерал М. К. Дитерихс принял за чистую монету эти весьма относительные разглагольствования.

Читателю книги Н. Соколова должно быть совершенно ясным, что покойный ныне автор при составлении своего труда был одержим какой-то неотвязной, бредовой идеей. Красной нитью через всю его книгу проходит желание доказать читателю, что

германское правительство и даже германские Родственники Государыни в той или иной мере повинны в Екатеринбургской трагедии. И для подкрепления этого своего убеждения судебный следователь Н. Соколов не гнушается ничем!

Вот достаточно красочный пример:

На 100-й странице своей книги Н. Соколов пишет, что я имел связь с германским Генеральным Консульством в Петербурге через чиновника Консульства г-на Германа Шилля, но, зная причины таковой, он умышленно о них ничего не пишет.

Далее у Н. Соколова можно прочесть:

"В октябре месяце 1918-го года происходит в Киеве свидание Маркова с неким Магенером... и т. д." - и снова Н. Соколов, зная, что Магенер является посланным от Августейшей Сестры Государыни Принцессы Ирены Прусской, предпочитает назвать его "неким"!

Еще далее можно прочесть, что я говорил о судьбе Царской Семьи с германским военным шпионом, но он не пишет, что я встретился с ним в Германской Комендатуре города Киева, где, скрываясь от петлюровцев, помогал генералу Д. И. Гурко в его самоотверженной работе по вывозу офицеров заграницу!..

Кстати, вспомнив о разговорах моих с германским шпионом, Н. Соколов совершенно забывает упомянуть о том, что я имел совершенно идентичный разговор с начальником чехословацкого эшелона, возвращавшегося на родину на станции Шпильфельд в Каринтии в мае 1920 года...

Н. Соколов делает все эти передержки совершенно сознательно.

"Таков, - говорит, - "хороший русский человек", от которого Императрица ждала себе спасения. И какой странный круг знакомств для русского офицера..." - так заканчивает свои разоблачения обо мне Н. Соколов!

Читатель и сам из прочитанных страниц может убедиться в том, ждала ли Государыня от меня лично спасения и странный ли у меня был круг знакомств.

Я же скажу, что меня поражает странная манера писать и извращать факты, чем отличился Н. Соколов на страницах своей книги!

Считая собранный им на месте следствия материал совершенно неопровержимым, Н. Соколов безаппеляционно приписывает найденную им искусственную челюсть лейб-медику Боткину. Но ему достаточно было допросить придворного зубного врача Их Величеств С.С. Кострицкого, чтобы у него узнать, что найденная им челюсть никогда Боткину не принадлежала. Е. С. Боткин носил челюсть работы С. С. Кострицкого особой формы и фасона.

Так чья же эта была челюсть? Ни Государь Император, ни князь Долгорукий, ни генерал Татищев искусственных челюстей не носили. Но на этот важный факт мы ответа в книге Н. Соколова не находим.

Н. Соколов пишет, что по его "требованию" я дал ему свои показания. Но этот маленький факт не верен. Я дал свои показания гв. капитану Булыгину, произведшему на меня очень симпатичное впечатление, поставив ему при этом условия, о которых я писал выше. Понятно, я не могу поставить в вину капитану Булыгину факт опубликования судебного следствия, да еще в такой печальной редакции, как и не виноват П. П. Булыгин в том, что его, в некотором роде, начальник не передал Императрице Марии Феодоровне священных для нас останков и всего собранного материала и вещей Царской Семьи, которыми он не имел никакого права распоряжаться, а передал их в одни более чем сомнительные руки, так что, к моему глубокому прискорбию, можно очень сомневаться, получит ли когда-нибудь воспрявшая от сна Национальная Россия прах Тех, Кто безтрепетно за нее принял мученическую кончину!..

Не могу не остановиться и на других, не менее фантастических, в буквальном смысле этого слова, данных обо мне, коими заполняет 4 страницы своего труда "Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале" (Владивосток, 1922. Издание автора) генерал М. К. Дитерихс, совершенно запутавшись в "нитях", кои он на протяжении своей книги пытается "соткать" между Берлином и Уралом, силясь также, как и Соколов, доказать какое-либо причастие Германии к Екатеринбургской трагедии. Почтенного генерала Н. Соколов не особенно жалует. На первых же страницах своей книги он обвиняет генерала в том, "что он не удержался на высоте исторического безпристрастия", объявив себя "высшим руководителем следствия", что, по мнению Соколова, отнюдь не соответствует действительности.[1]

г----------

[1] См. Н. Соколов "Убийство Царской Семьи", стр. 3.

L_____

Я вполне согласен с Н. Соколовым, что действительно, М. К. Дитерихс далек и даже весьма далек от "исторического безпристрастия", что же касается того, руководил ли М. К. Дитерихс работой судебного следователя Соколова или Соколов был совершенно самостоятелен в своей работе, то это положения вещей нисколько не меняет. Одно только совершенно несомненно, что работу по столь для нас всех святому и чистому делу, работу безпристрастного и нелицеприятного судебного следователя, каковую, как справедливо замечает Соколов, "великий Достоевский определил как "свободное творчество, свободное от какого-либо давления, симпатий и антипатий", они оба сделали весьма и весьма безцеремонным творчеством!..

Как иначе назвать тот детский лепет, коим пестрят страницы 78-79-80-81-я труда почтенного генерала?...[1]

г----------

[1] См. приложение к настоящей книге.

L_____

Тут упоминается и о письме Ее Величества к Брату, "Принцу" Гессенскому. Мне стыдно за генерала Дитерихса! Неужели же генералу неизвестно, что "принцем" Брат Ее Величества был во времена своей далекой юности, до вступления на Прародительский Престол. И что в данное время титул Его следующий:

Ernst Ludwig Albert Karl Wilhelm, Grossherzog von Hessen und bei Rhein, Herzog von Brabant, Landgraf Herr von Hessen usw.[1]

г----------

[1] Эрнст Людвиг Альберт Карл Вильгельм, Великий герцог Гессенский и Прирейнский, Герцог Брабантский, Ландграф Гессенский и прочая.

L_____

Такового письма, как видно из моей книги, никогда не существовало, но генерал утверждает, что письмо это "существовало, его видели другие (офицеры - *примечание автора*) и видели такие лица, которые могли знать почерк Императрицы".

Почему же генерал не сообщает фамилии этих "знатоков" и "других" лиц?..

Странно и непонятно все это!.. И кому нужна эта заведомая неправда?.. Не оставлен без благосклонного внимания и Император Вильгельм, который якобы предлагал Государыне и Великим Княжнам приехать в Германию, забыв о существовании Государя и Наследника!..

Как грустно и больно, что уважаемый русский генерал столь легкомысленно отнесся к своей работе, обратив свой труд, на который он смотрит как на труд исторический, в чисто романтическое повествование!

Так, например, я, будучи личным ординарцем генерала от кавалерии графа Келлера в Киеве, могу выходить на улицу только в сопровождении двух немецких капралов!.. Почему именно двух, а не четырех или шести?!.. И почему именно капралов, а не фельдфебелей или даже лейтенантов?!.

Словом получается что-то, еще никогда не виданное на военной службе: ординарец ходит гулять с ординарцами же, к тому же еще и иностранными!

И потом, какое это было командование в Берлине, с которым я сносился по телеграфу?..

Неужели же генералу Дитерихсу неизвестно было, что Германское Командование на Украине находилось в Киеве, Главнокомандование было в то время в Аахене?

Из моей книги явствует, что единственную телеграмму, которую я послал из Киева в Германию, была телеграмма на имя Великого Герцога Эрнста Людвига Гессенского с извещением, что прибыл в Киев!

Я не буду дольше затруднять читателя дальнейшей полемикой с генералом Дитерихсом, который, доверчиво отнесшись к досужим осведомителям, не постеснялся столь легко и лицеприятно отнестись ко мне. Господь Бог да будет ему Судьей!..

Быть может, читателю покажется странным, что я ни словом не упоминаю о трагических событиях июля месяца 1918-го года.

Я не делаю этого потому, что о них много написано лицами, считающими себя в этом вопросе компетентными, мне же ничего нового по этому делу неизвестно.

В моей душе и в моем сердце память о Царственных Узниках и Святых Страдальцах, брошенных нами в далекой Сибири на произвол судьбы, никогда не умрет!! И скорбные Лики Их, виденные мною в последний раз в Тобольске, будут мне на всю жизнь укором, что мы, считавшие, пытающиеся и ныне считать себя Их Верноподданными, не так должны были отнестись к Ним, не такой помощи Они ждали от нас!..

И мы должны признать, что присяги, данной Им на Кресте и Святом Евангелии, мы не сдержали, и за это преступление Русский Народ сторицей расплачивается, десять лет пребывая во власти кровавой большевицкой тирании, а мы, беженцы из родной земли, в голоде, холоде и нищете прозябаем на чужбине!!!..

Вена, 1928

http://emalkrest.narod.ru/txt/ub/smarkov.htm